

СТЕФАН  
ЦВЕИГ

# СТЕФАН ЦВЕИГ

Собрание  
сочинений  
в десяти  
томах

# STEFAN ZWEIG

*Stefan Zweig*

Собрание  
сочинений  
в десяти  
томах

# СТЕФАН ЦВЕИГ

Собрание  
сочинений

Том 2



МОСКВА  
«ТЕРРА» — «TERRA»  
1996

НЕЗРИМАЯ  
КОЛЛЕКЦИЯ

НОВЕЛЛЫ

ЛЕГЕНДЫ

РОКОВЫЕ  
МГНОВЕНИЯ

ЗВЕЗДНЫЕ  
ЧАСЫ  
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ  
МИНИАТЮРЫ

ББК 84.4 А  
Ц26

Внешнее оформление  
И. САЙКО

**Цвейг С.**

Ц26 **Собрание сочинений: В 10 т. Т. 2: Незримая коллекция: Новеллы. Легенды. Роковые мгновения; Звездные часы человечества: Исторические миниатюры / Пер. с нем.— М.: ТЕРРА, 1996.— 512 с.**

ISBN 5-300-00428-6 (т. 2)

ISBN 5-300-00427-8

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций.

В второй том вошли новеллы под названием «Незримая коллекция», легенды, исторические миниатюры «Роковые мгновения» и «Звездные часы человечества».

Ц 4703010000-204 Подписное  
А30(03)-96

ББК 84.4А

ISBN 5-300-00428-6 (т. 2)

ISBN 5-300-00427-8

© Издательский центр «ТЕРРА», 1996



# НЕЗРИМАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

НОВЕЛЛЫ





## ЛЕПОРЕЛЛА

**Е**е христианское имя было Крещенца-Анна-Алоиза Финкунгубер. Ей было тридцать девять лет. Она родилась вне брака в горной деревушке Циллертала. В ее рабочей книжке в рубрике «особые приметы» был прочерк; но если бы чиновникам вменялось в обязанность давать характеристики, то самый беглый взгляд, брошенный на нее, без сомнения отметил бы ее сходство с загнанной ширококостной, тощей горной клячей. Что-то лошадиное было в тяжело свисавшей нижней губе, в продолговатом и резком овале смуглого лица, в тусклых глазах без ресниц и, главным образом, в смазанных жиром, гладко прилизанных волосах. И в ее походке бросалась в глаза неповоротливость, свойственная упрямым горным мулам, зимой и летом с угрюмым видом таскающим все тем же спотыкающимся шагом по тем же каменистым дорогам все те же груженные тележки вверх — в гору и вниз — в долину. Освободившись от рабочей узды, она имела обыкновение сидеть в полудреме, скрестив костлявые руки, расставив локти, с затуманенным сознанием, как животные в конюшнях; она с трудом ворочала мозгами и соображала туго: каждая новая мысль, как сквозь густое сито, просачивалась в ее мозг; но раз восприняв что-нибудь, она жадно и упорно цеплялась за это. Она никогда не читала ни газеты, ни молитвенник, писать ей было трудно, и неуклюжие буквы в книге ее кухонных записей были похожи на ее собственную грубую, угловатую фигуру, в которой ничто не напоминало о формах женщины. Столь же жес-



тким, как ее кости, лоб, бедра и руки, был ее голос, который звучал ржаво, несмотря на густые гортанные тирольские звуки; но в этом нет ничего удивительного, ибо Крещенца никогда не имела друга, и не с кем ей было обменяться лишним словом. Никто не видел ее смеющейся, и в этом тоже сказывалось ее сходство с животным, ибо неосмысленное творение лишено возможности выражать свои чувства, что является, может быть, более жестоким, чем отсутствие речи.

Незаконнорожденная, воспитанная общиной, она в двенадцать лет уже была отдана в услужение, потом поступила судомойкой в трактир и, наконец, из этого извозчичьего кабака, благодаря своей упорной, иступленной страсти к труду, которой она обращала на себя внимание, попала в кухарки хорошей гостиницы для туристов. Каждое утро она поднималась в пять часов и бралась за работу — мела, топила, чистила, убирала, стряпала, месила, катала, выжимала, стирала — и так возилась до поздней ночи. Никогда она не пользовалась отпуском, никогда не выходила на улицу, кроме тех дней, когда посещала церковь. Круглая, горящая под плитой колода заменяла ей солнце; тысячи поленьев, которые она колола в течение года, заменяли лес.

Мужчины оставляли ее в покое. Оттого ли, что почти тридцать лет тяжелой работы стерли с нее всю женственность, оттого ли, что она упрямо и молчаливо отталкивала всякую попытку сближения. Единственная ее радость заключалась в деньгах, которые она с кротовым инстинктом крестьян и старых дев упорно копила, чтобы на старости лет не пришлось снова жевать в богадельне горький хлеб общественной благотворительности.

Исключительно из-за наживы это тупое существо оставило в тридцать семь лет свою тирольскую родину.

Профессионалка-посредница, которая во время летнего отдыха наблюдала за ее возней в кухне и комнатах, переманила ее обещанием двойного заработка в Вену. За всю дорогу Крещенца не проронила ни звука и держала тяжелую корзину со своим имуществом на болевших коленях, отказавшись от

помощи соседей, предлагавших поставить ее на верхнюю полку: ибо обман и воровство были единственными мыслями, которые возникали в ее крепкой крестьянской голове в связи с представлением о большом городе. В Вене приходилось первые дни провожать ее на рынок, так как она боялась экипажей, как корова автомобиля. Но как только она ознакомилась с четырьмя улицами, ведущими к рынку, она больше ни в ком не нуждалась, она шагала со своей корзиной, не подымая глаз, до рынка и обратно, мела, топила, возилась у новой плиты, так же, как у прежней, не замечая разницы. В девять — обычный для деревни час — она ложилась в постель и спала, как животное, с открытым ртом, пока будильник не подымал ее утром. Никто не знал, как она себя чувствует, и она сама не думала об этом; ни с кем она не сближалась, отвечала на приказания «ладно, ладно» или, если они ей не нравились, упрямым движением подымала плечи. Соседей и служанок своего дома она не замечала; их насмешливые взоры и шушуканье стекали, как вода, с толстой шкуры ее равнодушия. Только раз, когда одна девушка передразнила ее тирольский говор и не переставала насмехаться над ней, она вдруг выхватила из-под плиты горящую головню и бросилась на заоравшую от ужаса девушку. С этого дня все избегали неистовой женщины, и никто не осмеливался задевать ее.

В воскресенье утром она отправлялась в широкой юбке с фалдами и плоском деревенском чепце в церковь. Один раз, в свой первый свободный день, она отправилась прогуляться, но, не желая воспользоваться трамваем и не видя во время своей осторожной прогулки ничего, кроме каменных стен, она дошла только до Дуная; там она пристально смотрела, как на что-то знакомое, на быстро текущую воду, потом повернулась и зашагала обратно тем же путем — вдоль домов, избегая мостовой. Эта первая и единственная разведочная прогулка, должно быть, разочаровала ее, так как с тех пор она никогда не покидала дома и предпочитала в воскресный день сидеть с шитьем или с пустыми руками у окна. Так большой город не внес ничего нового в толчею ее дней; разница заключалась

лишь в том, что в конце каждого месяца она сжимала в своих огрубелых, обожженных и покрытых ссадинами руках четыре голубых бумажки вместо прежних двух; эти деньги она обычно рассматривала долго и недоверчиво, заботливо их разворачивала, разглаживала и присоединяла, наконец, к остальным, хранившимся в желтой резной деревянной коробке, которую она привезла из деревни. Эта неуклюжая грубая шкатулка хранила в себе всю тайну, весь смысл ее жизни. Ночью Крещенца прятала ключ от нее под подушку; где она его хранила днем, никто в доме не знал.

Таково было это странное человеческое существо (мы говорим так, хотя человеческое в нем сказывалось лишь в очень тусклом и скрытом виде). Но, может быть, для работы в также чрезвычайно странном хозяйстве молодого барона фон Ф. требовалось именно существо с таким, ограниченным шорами, затуманенным мышлением. Ибо обычно слуги не могли вынести сварливой атмосферы этого дома дольше, чем требовал закон для отказа от службы. Хозяйке дома был свойствен раздраженный, доходящий до истерики тон. Немолодая дочь очень богатого эссенского фабриканта, она познакомилась на одном из курортов с молодым бароном, отпрыском не очень старого и почти разоренного дворянского рода, и поторопилась выйти замуж за этого очаровательного ветренника, изощренного в искусстве аристократического шаржа. Но не успел пролететь медовый месяц, как новобрачная должна была убедиться в справедливости сопротивления столь поспешному браку, проявленного ее родными, настаивавшими на более солидном и более серьезном выборе. Ибо, помимо обнаружившихся многочисленных долгов, она убедилась, что быстро пресытившийся барон стал больше внимания уделять своим холостяцким привычкам, чем супружеским обязанностям. Не лишенный добродушия, веселый от природы, как все легкомысленные люди, но необузданный в своих поступках, он презирал помещение капитала на процентных началах и считал это бессмысленной алчностью, присущей людям плебейского происхождения. Когда, несмотря на ее богатство, ему

пришлось выпрашивать всякую более или менее значительную сумму и когда расчетливая супруга отказала ему даже в исполнении его самого горячего желания — в приобретении скаковых лошадей, он перестал усматривать надобность в ласковом обращении с широкоплечей массивной северянкой, оскорблявшей своим громким, повелительным голосом его слух. Он спокойно отвратил от нее, как говорится, свой взор и без всякой резкости отстранил от себя разочарованную женщину. Когда она осыпала его упреками, он выслушивал их вежливо, даже участливо, но как только она умолкала, он вместе с табачным дымом отгонял в пространство ее увещания и продолжал жить согласно своим вкусам. Эта вылощенная, почти официальная любезность озлобляла оскорбленную женщину пуще всякого сопротивления, и, обезоруженная его непроницаемой вежливостью, она обращала накопившуюся злобу в другую сторону: она воевала с прислугой, жестоко вымещая на ни в чем не повинных людях свой справедливый, но не по адресу направленный гнев. Последствия не замедлили сказаться: в течение двух лет ей пришлось шестнадцать раз сменить прислугу; однажды дело дошло даже до побоев и кончилось благополучно лишь благодаря значительному денежному возмещению.

Только Крещенца, как извозчицья кляча под дождем, невозмутимо стояла под этим бурным натиском. Она не переходила ни на чью сторону, не интересовалась никакими переменами и как будто не замечала, что у разделявших с ней помещение чужих существ менялись имена, цвет волос, запах тела и поведение. Она ни с кем не разговаривала, не слышала, как с шумом хлопали дверьми, не обращала внимания на прерванные обеды, на обмороки и истерические выпады. Она безучастно, деловито ходила из кухни на рынок, с рынка опять в свою кухню; все, что выходило за рамки этого очерченного круга, ее не касалось. Как цепом, бессмысленно и круто разбивала она один за другим свои дни, и два года жизни в большом городе, ни на йоту не расширив ее кругозор, протекли без всяких событий; только кучка накопленных голубых бумажек

в шкатулке поднялась на вершок, и когда, к концу года, она влажными пальцами пересчитывала бумажку за бумажкой, она замечала, что магическая тысяча уже не за горами.

Но случай располагает алмазными буравами, и судьба грозным напором умудряется неожиданно проникнуть в самую твердокаменную натуру и произвести в ней грандиозное потрясение. Для Крещенцы внешний повод был столь же незначителен, как она сама: после десятилетнего перерыва государству заблагорассудилось предпринять перепись населения, и во все дома для точного подсчета были посланы чрезвычайно сложные листки. Относясь недоверчиво к каракулям слуг, верным лишь с фонетической точки зрения, барон предпочел сам заполнить бланки и для этой цели велел и Крещенце явиться к нему в комнату. Он задавал ей вопросы об имени, возрасте и месте рождения, и при этом выяснилось, что, как страстный охотник и друг владельца тех мест, он часто охотился за дикими козами в ее родном уголке Альп, и что проводник, две недели служивший ему, был ее земляком. Так как оказалось, что этот проводник приходился Крещенце дядей, а барон был в хорошем настроении, то между ними завязался продолжительный разговор, в котором обнаружилось, что в той гостинице, где готовила Крещенца, он ел великолепную оленину, и что он и сегодня помнил все эти мелочи, удивительные лишь своим случайным совпадением, но представлявшие Крещенце, встретившей здесь впервые человека, знавшего ее родину, просто чудом. Она стояла перед ним с красным возбужденным лицом и неуклюже сгибалась, смеясь его шуткам; ловко подражая тирольскому говору, он спросил ее, умеет ли она выделывать тирольский «йодль», и, увлеченный этими мальчишескими выходками, окончательно развеселившись, он ударил ее, по деревенскому обычаю, пониже спины и, смеясь, сказал ей:

— Теперь ступай, Ченци, и вот тебе гульден за то, что ты из Циллерталя!

---

\*Своеобразное гортанное пение с руладами.

Конечно, само по себе это происшествие не было ни потрясающим, ни значительным, но на подсознательное чувство этого тупого существа пятиминутный разговор произвел такое же действие, как камень, брошенный в болото: лишь постепенно и лениво образует он расходящиеся круги, грузными волнами медленно добираясь до берега сознания. В первый раз за многие годы это упорно молчаливое существо завело разговор, и сверхъестественным показалось ей, что первый человек, заговоривший с ней в этом каменном нагромождении, знал ее родные горы и даже когда-то ел зажаренную ею оленину. Прибавьте к тому же шуточный шлепок, который на деревенском языке заменяет обстоятельные разговоры и содержит в себе лаконичное предложение женщине; если Крещенца и не осмелилась подумать, что этот элегантный, важный господин действительно выразил по отношению к ней желание, то все же эта физическая интимность как-то вырвала ее из обычного сонного оцепенения.

И вот, благодаря этому случайному поводу, на ее внутренней тверди начало отлагаться слой за слоем новое чувство, сходное с той непоколебимой уверенностью, с которой собака в один прекрасный день признает в одном из окружающих ее двуногих существ своего хозяина; с этого часа она бежит за ним, приветствует лаем или вилянием хвоста предназначенного ей судьбой повелителя и покорно следует за ним по пятам. Точно так же проник в узкий кругозор Крещенцы, ограниченный пятью или шестью понятиями — деньги, рынок, плита, церковь и постель, новый элемент, который надо было вместить и который резким толчком отодвинул все остальное на задний план. С алчностью она вобрала внутрь, в смутный хаос своих тупых чувств этот новый элемент. Правда, это превращение тянулось довольно долго, и первые проблески его были едва заметны. Она чистила, например, костюмы и ботинки барона с особенной фанатической заботливостью, в то время как платье и обувь всех остальных обитателей дома предоставляла заботам горничной; появлялась чаще прежнего в коридоре и комнатах; услышав поворот ключа в замке входной двери,

торопилась встретить барона, чтобы принять из его рук пальто и палку. С исключительным старанием она приготавливала блюда и разузнала даже, не без труда, дорогу к центральному рынку, специально для того, чтобы добыть оленину. Она стала также тщательнее заботиться о своей внешности.

Прошла неделя или две, пока эти первые ростки неиспытанных чувств стали пробиваться из ее внутреннего мира. И прошли еще недели и недели, пока вторая мысль прибавилась к первому ростку и из неоформленной превратилась в яркую и образную. Это второе чувство было лишь дополнением к первому: ненависть, сначала неосознанная, но постепенно определившаяся и открыто выступившая ненависть к сварливой, невыносимой хозяйке. Оттого ли, что она — теперь внимательная к окружающему — присутствовала при одной из унижительных сцен, когда обожаемого хозяина самым отвратительным образом оскорбляла раздраженная супруга, оттого ли, что наряду с его веселой непринужденностью резче выделялась надменная сдержанность этой северянки, — так или иначе, но Крещенца вдруг противопоставила ей какое-то упорство, щетинистую враждебность, сопровождавшуюся тысячью колкостей и злобой. Хозяйка бывала, например, вынуждена не менее двух раз позвонить, прежде чем она с нарочитой медлительностью и явным пренебрежением являлась на ее зов, причем ее высоко поднятые плечи уже заранее выражали решительное сопротивление. Поручения и приказания она принимала молча и угрюмо, так что хозяйка никогда не знала, верно ли та ее поняла, а в ответ на повторение Крещенца хмуро кивала головой или презрительно бросала: «Я слышала». Или перед самым выездом в театр, когда баронесса нервно носилась по комнатам, вдруг обнаруживалось, что не хватает какого-нибудь нужного ключа; через полчаса на него неожиданно натыкались где-нибудь в углу. Переданные поручения и телефонные звонки ей угодно было забывать; призванная к ответу, она без малейшего раскаяния или сожаления цедила: «Ну, что же, я забыла!» Она не смотрела хозяйке в глаза, быть может опасаясь, что не сумеет скрыть свою вражду.

Между тем домашние неурядицы порождали все более неприятные сцены; быть может, раздражающая сварливость Крещенцы послужила отчасти неосознанным поводом для возрастающей нервозности хозяйки, нервозности, доходившей до крайнего возбуждения. При расслабленных, вследствие позднего замужества, нервах, озлобленная равнодушием своего супруга и дерзкой враждебностью слуг, измученная женщина все более и более теряла равновесие. Тщетно успокаивали ее возбуждение бромом и вероналом: от этого лишь резче прорывалось напряжение нервов при каждом недоразумении; с ней делались истерики, но никто этим не интересовался, никто не оказывал ей помощь и не проявлял к ней ни малейшего сострадания. В конце концов врач посоветовал двухмесячное пребывание в санатории; это предложение было так горячо одобрено супругом, что она, преисполненная недоверия, тем более не хотела согласиться. Но все же было принято решение о поездке, баронессу сопровождала горничная, а Крещенце поручено было остаться одной в обширной квартире для прислуживания хозяину.

Известие, что барон всецело предоставлен ее заботам, произвело как бы взрыв в неповоротливом мозгу Крещенцы. Все ее соки и силы подверглись бешеной встряске, словно взболтали волшебную бутылку; и из недр ее существа поднялись залежи страсти, заново окрасившие ее поступки. Скованность, тяжеловесность внезапно спали с ее твердых, застывших членов; казалось, эта весть наэлектризовала ее суставы, походка ее стала быстрой и упругой. Она бегала по комнатам, летала вверх и вниз по лестницам; когда начались приготовления к отъезду, она упаковывала, не ожидая приказаний, все сундуки и тащила их сама к экипажу. А когда поздно вечером барон вернулся, вручил услужливо подоспевшей женщине пальто и палку и со вздохом облегчения вымолвил: «Благополучно сплавил», произошло нечто из ряда вон выходящее: сомкнутые губы Крещенцы, которая, словно животное, никогда не смеялась, вдруг стали напряженно подергиваться и шириться. Рот скривился, перекосялся, и внезапно вырвался из



этого идиотски сиявшего существа открытый и животнo-неудержимый смех; барин, неприятно пораженный этим зрелищем, устыдился своей неуместной фамильярности и молча прошел к себе.

\* \* \*

Но этот миг неприятного ощущения быстро умчался, и в последующие дни обоих, барина и служанку, связало общее наслаждение тишиной и благодатной свободой. Отсутствие хозяйки точно очистило атмосферу от тяжело нависших туч: счастливый супруг, освобожденный от неизбежных отчетов, в первый же вечер пришел домой поздно, и молчаливое усердие Крещенцы явилось приятным контрастом слишком многоречивым приемам, оказываемым ему женой. Крещенца со страстным воодушевлением бросалась в работу, вставала рано, убирала в комнатах каждую пылинку, чистила ручки и замки, как одержимая, составляла волшебные меню, и, к своему удивлению, барон заметил, что для него одного ставился дорогой сервиз, обычно хранившийся в специальном шкафу и вынимавшийся лишь в особо торжественных случаях. В общем невнимательный к житейским мелочам, он не мог не заметить бдительную, почти нежную заботливость этого странного существа, и, побуждаемый своим добродушием, он не скупился на выражение удовольствия. Он хвалил блюда, иногда награждал Крещенцу добрым словом, и, когда на следующее утро, в день его именин, она испекла торт с его инициалами и искусно сделанным из сахара гербом, он шаловливо улыбнулся ей:

— Ты меня избалуешь, Ченци, что же я буду делать, если, упаси Боже, вернется моя жена?

Все же несколько дней он соблюдал еще некоторую сдержанность. Но потом, убедившись по некоторым признакам в ее молчаливости, он, обратившись в холостяка, разрешил себе все удовольствия в собственной квартире. На четвертый день после отъезда жены он позвал к себе Крещенцу и без лишних объяснений равнодушным тоном велел ей приготовить холод-

ный ужин на двоих и лечь спать; все остальное он пожелал сделать сам. Ни взглядом, ни словом она не дала ему повода заподозрить, что ее тупое мышление восприняло это приказание как нечто необычное. Но он с приятным изумлением убедился, что она хорошо поняла его намерения: когда он вернулся из театра в сопровождении молоденькой ученицы оперной школы, он нашел не только великолепно накрытый, убранный цветами стол, но и в спальне, рядом со своей кроватью, нагло манящую к себе соседнюю кровать постланной, причем на видном месте были приготовлены халат и туфли его жены. Освобожденный муж невольно улыбнулся далеко зашедшей заботливости, и вместе с тем сама собой отпала последняя преграда к сообщничеству Крещенцы. Утром он позвонил ей, велел помочь милой гостье одеться, и, таким образом, молчаливое согласие между обоими было окончательно закреплено.

В эти дни Крещенца получила новое имя. Веселая артистка, которая как раз разучивала партию донны Эльвиры и в шутку величала своего нежного друга Дон Жуаном, сказала ему как-то, смеясь: «Позови свою Лепореллу». Это имя понравилось ему, потому что оно необычайно выпукло пародировало сухую тирольку, и с тех пор он ее иначе и не называл. Крещенца, сначала удивившаяся, но прельщенная благозвучием непонятного ей имени, приняла это переименование как особую фамильярность: каждый раз, когда он в шутку называл ее этим именем, ее тонкие губы раздваивались, точно занавес, обнажая оскал зубов, и покорно, точно виляя хвостом, она приближалась, чтобы, сияя, принять приказание или поручение.

Это имя было придумано как пародия; но с невольной меткостью будущая оперная дива облачила своеобразное существо в изумительно подходящее одеяние, ибо эта не знавшая любви, высохшая старая дева испытывала гордую радость от похощений своего господина. Было ли это лишь удовлетворение при виде развороченной то одним, то другим молодым телом постели ненавистной женщины, или в ее сознании шевелилось тайное наслаждение богато и расточительно прояв-

лявшей себя мужской силой ее господина, но эта набожная строгая старая дева выказывала почти страстное усердие, помогая всем похождениям своего повелителя. Без участия своего изнуренного десятилетиями тяжелой работы и ставшего бесполом тела, она приятно согревалась своднической радостью, наблюдая за второй и третьей женщинами, переступившими за эти несколько дней порог спальни: эти визиты и пряный, насыщенный эротикой воздух действовали возбуждающе на ее застывшие чувства. Крещенца становилась действительно Лепореллой и делалась такой же подвижной, услужливой и живой, как тот веселый малый; странные качества, точно ее пламенное сочувствие заставило их разлиться горячим потоком по всему ее существу, обнаружились в ней: способность к разным ухищрениям, лукавство, изощренность, что-то настоорожившееся, любопытное, выслеживающее и суетливое. Она прилипала к дверям и скважинам, обшаривала комнаты и кровати, летала, гонимая непонятным возбуждением, вверх и вниз по лестницам, когда охотничьим инстинктом чуяла новую добычу, и постепенно это постоянное бдение, это полное любопытства участие создавали что-то вроде живого человека из прежней пустой и угловатой деревянной оболочки. К общему изумлению соседей, Крещенца стала обходительной, болтала с девушками, отпускала тяжеловесные шутки почтальону, разговаривала и сплетничала с продавщицами, и однажды вечером, когда свет во дворе погас, служанки из другой квартиры слышали какое-то странное мурлыканье, доносившееся через двор из молчаливого окна: неуклюже, тихим, скрипучим голосом Крещенца тянула одну из тех альпийских песенок, которые поют пастушки вечером на лугах. Исковерканная непривычными губами, тяжело проталкивалась наружу однообразная мелодия; но это было удивительно трогательно и странно. Впервые с детских лет Крещенца попробовала петь, и в этих спотыкающихся звуках, с трудом воскресавших из мрака погребенных лет, было что-то потрясающее.

Для барона, невольного виновника этого преобразования

преданной ему девушки, оно осталось незамеченным. И в самом деле: кому же придет в голову следить за своей тенью? Чувствуешь, как она преданно и безмолвно следует по твоим стопам, иногда забегая вперед, как неосознанное желание, но редко кому взбредет на ум измерить эти пародийные формы и следить за их изменениями. Барон отметил только, что она была неизменно готова к услугам, рабски предана и всегда на месте. Именно эта покорность и доставляла ему особенное удовольствие. Иногда он небрежно бросал ей несколько добрых слов или одобрительный жест — точно погладит собаку; раз-другой пошутил даже с ней, милостиво дернул ее за ухо, дарил ей деньги или билет в театр; для него — безделушки, беззаботно вынутые из жилетного кармана, но для нее — реликвии, которые она благоговейно прятала в свою деревянную шкатулку. Постепенно он привыкал думать в ее присутствии вслух и доверял ей самые интимные поручения; и чем больше он давал ей доказательств своего доверия, тем большей благодарностью и старанием она преисполнялась. В ней проявлялись постепенно удивительный нюх, чутье, инстинкт охотничьей собаки, и с их помощью она выслеживала все его желания и даже предупреждала их; вся ее жизнь, мечты и стремления как будто слились с его существованием; на все она смотрела его глазами, прислушивалась к его переживаниям, наслаждалась с почти порочным воодушевлением всеми его радостями и победами. Она сияла, когда новая женская фигура появлялась на пороге, казалась разочарованной и точно обманутой в своих ожиданиях, когда он вечером возвращался один, не сопровождаемый нежной женщиной. Ее медлительная мысль заработала теперь так же быстро и ретиво, как раньше работали ее руки; теперь ее внимательный взор блестел и сверкал новым светом. Пробудилась человеческая душа в загнанной, усталой рабочей кляче — темная, замкнутая, хитрая и опасная, размышляющая и озабоченная, беспокойная и коварная.

И однажды, когда барон раньше времени вернулся домой, он удивленно остановился в коридоре: не раздавались ли за

кухонной дверью, неизменно немой, хихиканье и смех? И вот, с растопыренными пальцами, теребящими передник, выглянула из полуоткрытой двери Лепорелла, наглая и в то же время смущенная.

— Извините, барин, — сказала она, блуждая по полу глазами. — Там дочь кондитера... красивая девушка... она очень хотела бы познакомиться с барином.

Барон изумленно посмотрел на нее, не зная, рассердиться ли ему за эту неслыханную фамильярность или посмеяться над ее сводническим усердием. В конце концов любопытство взяло верх.

— Да, я погляжу на нее, — сказал он.

Белокурая, с хорошенькой мордочкой шестнадцатилетняя девушка, которую Лепорелла ласковыми уговорами постепенно заманивала к себе, краснея и смущенно хихикая, вышла, подталкиваемая служанкой, и неуклюже вертелась перед элегантным мужчиной, за которым она с полудетским восторгом следила из окна магазина. Барон нашел ее миловидной и предложил ей выпить с ним в его комнате чашку чаю. Не зная, согласиться ли ей, девушка повернулась к Крещенце, но та с необыкновенным проворством уже исчезла в кухне, и, таким образом, втянутой в приключение, охваченной любопытством девушке оставалось лишь, краснея, принять опасное приглашение.

\* \* \*

Но природа не делает скачков: если, под давлением причудливой и извращенной страсти, в этом толстокожем, оупевшем существе произошел некоторый духовный сдвиг, то все же спорадическое узкое мышление Крещенцы, как будто родственное инстинкту животных, не отличалось дальновидностью. Охваченная желанием угождать и собачьей преданностью своему господину, Крещенца совсем забыла об отсутствующей жене. Тем ужаснее было пробуждение для этого ненасытного и алчного существа, которое, захватив что-нибудь своими жесткими руками, никогда добровольно не раз-

жимало их. Как гром среди ясного неба, обрушились однажды утром на нее слова барона, который быстро и сердито вошел с письмом в руках и сообщил ей, что необходимо все приготовить в доме для предстоящего на следующий день приезда его жены из санатория. Бледная от испуга, Крещенца стояла с открытым ртом, как прикованная: эта весть вонзилась в нее, как нож. Она пристально смотрела на барона, как будто не понимая его. И таким безграничным испугом отразился этот удар на ее лице, что барон счел нужным несколько успокоить ее ласковым словом:

— Мне кажется, Ченци, это и тебя не радует. Но тут уж ничего не поделаешь.

Но вот что-то зашевелилось на ее каменном лице. Точно из сокровенной глубины поднялась жестокая судорога, покрывшая багровой краской ее бледное лицо. Медленно, тяжелыми толчками, она подступала к горлу, и рука задрожала от гневного напряжения. Наконец она прорвалась, и Крещенца глухо пробормотала сквозь стиснутые зубы:

— Тут... тут... можно... тут можно кое-что сделать!..

Жестко, как смертоносный выстрел, выпалила она эти слова, и так мрачно, так сурово задрожали искаженные черты ее лица от этого бурного разряда, что барон невольно испугался и отшатнулся в изумлении. Но Крещенца уже отвернулась от него и с судорожным усердием стала чистить медную ступку, как будто хотела переломать себе пальцы.

\* \* \*

С возвращением жены гроза снова забушевала в доме; баронесса с треском хлопала дверьми и угрюмо носилась по комнатам, выметая, как сквозняк, уютную атмосферу из квартиры. Может быть, благодаря соседским сплетням, обманутая узнала, как недостойно муж использовал свое право хозяина квартиры, может быть, ее огорчило его почти откровенное недовольство при встрече, — во всяком случае, казалось, что эти два месяца, проведенные в санатории, принесли мало пользы ее нервам, так как слезы сменялись угрозами

или истериками. Отношения становились невыносимыми. Несколько дней барон мужественно сопротивлялся потоку упреков давно испытанным способом — вежливостью, отвечал уклончиво и умиротворяюще, когда она заговаривала о разводе и о письмах родным; но его холодное равнодушие увеличивало раздражение окруженной тайной ненавистью покинутой женщины.

Крещенца замкнулась в молчании. Но в этом безмолвии было что-то вызывающее и опасное. При приезде хозяйки она не показала; когда ее позвали, она забыла поздороваться с возвратившейся и дала понять, что отсутствие барыни прошло незамеченным. С упрямо поднятыми плечами, она стояла, как колода, и так грубо отвечала на все вопросы, что нетерпеливая женщина быстро от нее отвернулась; но в одном взгляде Крещенца швырнула всю скопившуюся ненависть ей в спину. Охваченная жадностью, она почувствовала себя обворованной этим возвращением, от радости страстного наслаждения прежними обязанностями она была снова отброшена в кухню к плите, и интимное прозвище Лепорелла не звучало больше в ее ушах. Ибо из предосторожности барон избегал выказывать Крещенце малейшее внимание в присутствии жены, несмотря на то, что втайне горестно ощущал контраст между приятными беззаботными неделями и снова наступившей семейной жизнью; иногда, подавленный отвратительными стычками и нуждаясь в чем-нибудь утешении, он тихонько прокрадывался к ней на кухню и садился на табуретку, лишь бы иметь возможность горячо пожаловаться живому человеку: «Больше я этого не вынесу!»

Эти мгновения, когда он искал у нее убежища от чрезмерного напряжения, были для Лепореллы самыми счастливыми. Ни звука в ответ, ни слова в утешение; безмолвно, углубленная в себя, сидела она, изредка смотрела на него внимательным, полным сострадания взором, и это безмолвное участие благотворно действовало на него. Но когда он оставлял кухню, свирепая складка опять ложилась на ее лоб, и тяжелые руки вымещали весь гнев на беззащитном мясе или распыляли его

в мытье посуды, ножей и вилок. Она опять ни с кем не разговаривала, никто не слышал ее пения. Она меньше спала, чем прежде, и часами ходила взад и вперед по кухне: с недавних пор новая мысль засела где-то в глубине ее мозга, и мучительное раздумье придавало ее взору что-то мрачное и угрожающее.

Наконец мрачно сгустившаяся атмосфера возвращения разразилась грозой: во время одной из диких сцен барон потерял терпение, оставил покорную позицию выслушивающего нравов учения школьника, вскочил и с треском хлопнул дверью.

— Будет с меня! — крикнул он так гневно, что дверь комнаты задребезжала, и, разгоряченный, с ярко пылающим лицом, он выбежал в кухню к дрожащей, как туго натянутый лук, Крещенце:

— Приготовь мне сейчас же мой чемодан и ружье! Я на неделю уеду на охоту. В этом аду сам черт не выдержит! С этим надо покончить!

Крещенца посмотрела на него, грубый смех вырвался из ее горла:

— Барин прав, с этим надо покончить.

Дрожа от усердия, бегая из комнаты в комнату, она поспешно собрала из шкафов и из столов все необходимое. Каждый нерв этого неуклюжего создания дрожал от напряжения и жадности. Она сама понесла ружье и чемодан к экипажу. И, подыскивая слова, чтобы поблагодарить ее за усердие, барон испуганно отвел глаза, ибо снова коварная усмешка широко ползла по ее сомкнутым губам, в то время как глаза угрожающе сверкали. Когда он увидел ее настороженный вид, ему невольно вспомнились готовые к нападению когти животного, но она опять съежилась и хрипло пробормотала с почти оскорбительной фамильярностью:

— Поезжайте с Богом, я уж тут управлюсь!

\* \* \*

Три дня спустя барон был вызван с охоты срочной телеграммой. На вокзале его встретил двоюродный брат. С первого



же взгляда встревоженный барон понял, что стряслась какая-то беда, ибо брат имел нервный и расстроенный вид. После нескольких подготовительных слов он узнал, что его жена утром была найдена мертвой в постели, комната была наполнена газом. Не могло быть и речи о том, чтобы невнимательное обращение с газовой печкой, бездействующей в мае, могло послужить причиной смерти, и версия самоубийства подтверждалась еще тем, что несчастная вечером, по обыкновению, приняла веронал и, опьяненная им, была утром найдена в постели с синим лицом, без признаков жизни. К тому же кухарка Крещенца, единственная из слуг оставшаяся в этот вечер дома, показала, что слышала, как вечером несчастная хозяйка выходила в переднюю, очевидно для того, чтобы открыть тщательно закрытый газометр. Приняв во внимание это сообщение, полицейский врач исключил возможность случайности и составил протокол о самоубийстве.

Барон вздрогнул. Когда его двоюродный брат упомянул о показаниях Крещенцы, руки у него сразу похолодели: неприятная, отвратительная, вызывающая дурноту мысль зашевелилась в нем. Но он усилием воли подавил ее и, смущенный, безвольный, отправился с братом домой. Покойной уже не было. В гостиной ждали родные, с мрачными и враждебными лицами, выражения сочувствия были холодны, как лезвие ножа. Их участие было только лишенным всякой задушевности исполнением долга вежливости. Желая уколоть его, они упомянули, что «скандала», к сожалению, не удалось замять, так как служанка утром выбежала на лестницу, вопя: «Барыня лишила себя жизни...» Они устроили скромные похороны, особенно потому, сказали они, снова остро подчеркивая свою холодность, что уже до события любопытство общества, благодаря разным сплетням по поводу их брака, было неприятно возбуждено. Мрачный, полный смятения, он слушал их речи; невольно бросив взгляд на запертую дверь спальни, он трусливо отвел его. Ему хотелось довести до конца мысль, неотступно сверлившую его мучительным вопросом, но эта пустая и враждебная болтовня отвлекала его. Еще с полчаса мрачные,

но разговорчивые родные оставались с ним, наконец друг за другом они удалились. Он остался один в пустом полумраке комнаты, усталый, с тяжелой головой, дрожа, как от глухого удара.

Постучали в дверь. Он вздрогнул:

— Войдите.

И за его спиной раздались неуверенные знакомые шаги, тяжелые, медленные, шаркающие. Ужас внезапно охватил его: он не мог повернуть голову, ледяная дрожь пробежала по всему телу — от висков до колен. Он хотел повернуться, но мускулы не повиновались ему. Так он стоял посреди комнаты, дрожащий, безмолвный, с пустым взглядом и безжизненно повисшими руками, сознавая, как смешон его трусливый, виноватый вид. Но тщетно он старался выйти из этого оцепенения. И ровно, невозмутимо, с сухой деловитостью прозвучал за его спиной голос:

— Я хотела спросить, будет ли барин обедать дома?

Барон задрожал всем телом. Ледяная волна разлилась в его груди. Трижды он тщетно пытался заговорить, пока, наконец, не вымолвил:

— Нет, я не хочу есть.

Снова зашаркали шаги и удалились; у него не хватило мужества повернуться. Но вдруг оцепенение спало, уступив место не то отвращению, не то судороге, охватившей все его существо. Одним прыжком он бросился к двери, дрожащими пальцами повернул ключ, чтобы эти шаги не могли приблизиться к нему. Он бросился в кресло, желая подавить жуткую мысль, холодную и липкую, как ползущая улитка. Но эта мысль была навязчива, она не покидала его всю бессонную ночь и все последующие часы, даже когда он, весь в черном, безмолвно стоял во время отпевания у изголовья гроба.

\* \* \*

На следующий день после похорон барон поспешно покинул город; ему стали невыносимы все лица. Наряду с их участием у них был — или это ему только казалось? — удиви-

тельно пытливый, мучительно-инквизиторский взгляд. И даже неодушевленные предметы глядели злобно, бросали обвинение: каждый предмет в квартире и, в особенности, в спальне, где еще оставался приторный запах газа, отталкивал его, едва он до него дотрагивался. Но самым невыносимым кошмаром — во сне и наяву — была невозмутимая холодная фигура его бывшей доверенной, бродившая тенью по опустевшему дому с таким видом, как будто ничего не случилось. С того мгновения, как двоюродный брат назвал ее имя, он содрогался при каждой встрече с нею. Как только он слышал ее шаги, им овладевало мучительное беспокойство: он не мог больше выносить ее шаркающие, равнодушные шаги, ее холодное, немое спокойствие. Его охватывало отвращение, когда он вспоминал о ней, о ее скрипучем голосе и жирных волосах, о ее тупой животной бесчувственности, и в его злобе было негодование на себя, на свое бессилие порвать эти узы, стягивавшие ему горло, как веревка. Он видел только один исход: бегство. Как вор, не сказав ей ни слова, он тайно сложил вещи и оставил короткую записку, что уезжает к друзьям в Керnten.

Все лето барон не возвращался. Раз, вынужденный приехать в Вену по делам наследства, он предпочел сделать это тайно, жить в гостинице и ничего не давать знать ночной сове, поджидавшей его дома. Крещенца так и не узнала о его приезде, так как она ни с кем не разговаривала. Без работы, угрюмая, сонная, она сидела весь день дома, ходила в церковь два раза вместо одного, получала через поверенного барона поручения и деньги на расходы; о нем самом она ничего не слышала. Он не писал и не велел ей ничего передавать. Так она, молча, сидела и ждала; ее лицо становилось все жестче и суше, ее движения — все более деревянными, и в этом оцепенении она проводила неделю за неделей.

Но осенью срочные дела заставили барона вернуться домой. На пороге он остановился, не решаясь войти. Два месяца, проведенные в кругу близких друзей, заставили его позабыть о тягостном присутствии Крещенцы, и теперь, при предстояв-

шей встрече, он снова почувствовал, как к горлу подступила вызывавшая тошноту судорога отвращения. Пока он поднимался по лестнице, с каждой ступенькой невидимая рука все сильнее сжимала ему горло. В конце концов ему пришлось напрячь все силы, всю энергию, чтобы заставить оцепеневшие пальцы повернуть ключ в замке.

Изумленная Крещенца выскочила из кухни, как только услышала, что отпирается дверь. Когда она увидела барона, она остановилась на минуту, побледнев, и схватила, низко склоняясь, чемодан, который он поставил на пол. Но она забыла вымолвить слово приветствия. Он также не издал ни звука. Безмолвно понесла она чемодан в его комнату, безмолвно он пошел за ней. Молча он подождал, пока она не ушла из комнаты. И тотчас быстро повернул ключ. Это была их первая встреча после трехмесячной разлуки.

\* \* \*

Крещенца ждала. Ждал и барон, — не оставит ли его это ужасное чувство отвращения. Но лучше не становилось. Как только шаги Крещенцы раздавались у дверей или в коридоре, неприятное чувство уже подымалось в нем, и он с утра уходил из дому, не возвращаясь до поздней ночи, чтобы избежать ее присутствия. Немногие поручения, которые ему приходилось возлагать на нее, он давал, не глядя и делая вид, что углублен в чтение письма: горло его было сдавлено — он не мог дышать одним воздухом с ней.

Крещенца сидела молча на своей деревянной табуретке. Для себя она больше не готовила. Еда была ей противна. Людей она избегала. Она сидела и ждала — как побитая провинившаяся собака, с опущенной головой и несмелым взглядом — свистка своего господина. Ее тупая голова не понимала, что произошло; она понимала лишь одно: что он ее избегал и больше не хотел ее знать.

На третий день приезда хозяина раздался звонок. Седой, спокойный мужчина с хорошо выбритым лицом, держа чемодан в руке, стоял у дверей. Крещенца хотела его выпроводить,

но пришедший настаивал, что он новый лакей, что ему велели прийти к десяти часам, и чтобы она доложила о нем барину.

Крещенца побледнела, как полотно. Минуту она стояла точно столб с поднятой, указывающей на дверь рукой, потом вдруг опустила ее.

— Войдите сами, — грубо крикнула она, пошла в кухню и захлопнула дверь.

Лакей остался. С этого дня барону не пришлось больше обращаться к ней, все приказания шли через спокойного старого слугу, который давал указания высокомерным тоном руководителя. Все, что происходило в доме, не доходило до нее; все перекатывалось через нее, точно волна через камень.

Это тягостное состояние длилось две недели и грызло Крещенцу, как болезнь. Ее лицо стало острым и угловатым, волосы у висков побелели. Ее движения окаменели. Она не оглядывалась, не прислушивалась, не покидала больше кухни, чтобы не видеть ненавистного лица лакея, лишившего ее барина. Почти все время она сидела, как колода, на деревянной табуретке, устремив пустой взгляд в пустое окно; но работу она исполняла, точно в припадке иступления.

После двух недель лакей пришел в комнату барона, и по его выжидательной позе барон понял, что он намерен сообщить ему что-то из ряда вон выходящее. Лакей уже как-то пожаловался на угрюмый характер «тирольской карги», как он презрительно называл Крещенцу, и предложил отказаться ей. Но неприятно задетый барон тогда будто не расслышал его предложения. Лакей покорно удалился, но на этот раз он упорно оставался при своем мнении, переминался со странным, смущенным лицом и, в конце концов, попросив барина не смеяться над ним, вымолвил, что он... что он... никак не выразить ему это иначе... что он ее боится. Это скрытное, злое существо совершенно невыносимо, и господин барон, мол, не подозревает, какого опасного человека он держит у себя в доме. При этом предостережении барон невольно вздрогнул; он попросил

старика объяснить, что он хочет этим сказать. Лакей, конечно, смягчил свое утверждение: он ничего определенного сказать не может, но он не может отделаться от чувства, что эта женщина — дикий зверь и в состоянии броситься на него. Вчера, рассказывал он, когда он повернулся, чтобы ей кое-что сказать, он неожиданно поймал ее взгляд, — конечно, что значит взгляд! — но ему показалось, что она готова на него броситься. И с тех пор он ее боится, он боится дотронуться до еды, которую она ему готовит.

— Господин даже не подозревает, — закончил он свой доклад, — какая она опасная особа. Она ни слова не говорит, и я думаю, что она способна убить человека.

Встревоженный барон окинул обвинителя быстрым взглядом. Не слышал ли он чего-нибудь определенного? Не высказал ли кто-нибудь подозрения? Он почувствовал, что у него задрожали пальцы. Быстро отложил он сигару, опасаясь, что дрожание руки выдаст его волнение. Но на лице старика нельзя было прочесть никакого подозрения, он ничего не мог знать. Барон задумался. Он колебался, но, наконец, собравшись с духом, сказал:

— Подожди еще немного и, если она будет с тобой груба, откажи ей от моего имени.

Лакей откланялся, и барон облегченно вздохнул. Мысль об этом таинственном опасном создании омрачила ему день. Лучше всего было бы, подумал он, когда старик ушел, если бы это произошло в его отсутствие, например на рождество. И одна надежда на желанную свободу принесла ему внутреннее успокоение. «Да, так будет лучше всего, на рождество, когда меня не будет». И он решил приказать лакею повременить с исполнением этого поручения.

Но уже на следующий день, когда после обеда он вернулся со службы, постучали в дверь. Ни о чем не думая, он произнес, не отрываясь от газеты:

— Войдите!

И тотчас раздались ненавистные шаркающие шаги, которые преследовали его даже во сне. Он вздрогнул: как череп,

качалось перед ним бледное, заостренное лицо худой мрачной фигуры, и что-то вроде сострадания примешалось к его ужасу, когда он увидел, как шаги этого раздавленного создания робко остановились на краю ковра. Желая скрыть свое смущение, он, точно ничего не подозревая, спросил:

— Ну, в чем дело, Крещенца?

Но, помимо его воли, слова прозвучали бессердечно, отталкивающе, презрительно.

Крещенца не двигалась. Она уставилась глазами в ковер. Наконец она вытолкнула из себя, точно что-то двинула с шумом ногой:

— Лакей мне отказал, он говорит, что барин мне отказывает.

Неприятно пораженный, барон встал. Он не ожидал, что это произойдет так скоро. И, запинаясь, он стал говорить о том, что она его не так поняла, что она должна стараться жить в мире с другими слугами и тому подобное, — первые, пришедшие ему на ум слова, а в то же время в душе он мечтал лишь о том, чтобы она скорее закрыла за собой дверь.

Но Крещенца стояла неподвижно, уставив глаза в ковер, поднимая плечи. С упрямой злобой она, точно бык, опустила голову, не обращая внимания на вежливые слова, тщетно дожидаясь одного. И когда он, наконец утомленный, замолчал, несколько шокированный унижительной ролью, разыгрываемой им перед служанкой, она продолжала молча и упрямо стоять. Потом она неловко выговорила:

— Я хотела только знать, поручил ли господин барон Антону отказать мне?

Она выбросила этот вопрос с большим усилием, твердо, негодуя. И он ощутил его в своем нервном напряжении, как толчок. Что это — угроза? Вызов? И мигом улетучились трусость и сострадание. Неделями копившаяся ненависть и отвращение соединились в одном жгучем желании положить этому конец. И вдруг, совершенно меняя тон, с любезностью, приобретенной на министерской службе, он равнодушно подтвердил, что это верно, что он дал лакею свободу действий в раз-

решении хозяйственных вопросов. Он обещал защитить ее интересы, но, если она будет упорствовать в недружелюбных выходках по отношению к остальной прислуге, он будет вынужден отказаться от ее услуг.

И, твердо решив собрать всю свою энергию и не отступать даже перед лицом какого-нибудь интимного намека или угрозы, он, произнося эти последние слова, бросил на хранившую глубокое молчание женщину откровенно раздраженный взгляд.

Но робко обращенный на него взор Крещенцы выражал лишь испуг подстреленного животного, увидевшего свору собак, бросившуюся на него из-за кустов.

— Спасибо... — с трудом вымолвила она слабым голосом. — Я уже... иду... Не хочу барину быть больше в тягость!..

И медленно, не оглядываясь, она неловким, шаркающим шагом, вздрагивая всем телом, пошла к двери.

Вечером, когда барон вернулся из театра и стал разбирать почту, он заметил какой-то четырехугольный предмет; взяв его в руки, он увидел при свете вспыхнувшей лампы деревянную резную шкатулку. Она была не заперта; там были тщательно уложены все мелочи, полученные от него Крещенцей: несколько открыток с распоряжениями, два билета в театр, серебряное кольцо, пачка банкнот и между ними моментальный снимок, сделанный двадцать лет тому назад, где глаза ее, испуганные, очевидно, вспышкой света, смотрели вперед с тем же побитым выражением, как при прощании.

Удивленный, он отодвинул шкатулку и пошел спросить лакея, что бы мог значить этот неожиданный подарок. Но лакей не видел Крещенцы. Ее не было ни в кухне, ни в комнатах. И, когда на следующий день в газете, в отделе происшествий, он прочел, что сорокалетняя женщина бросилась с моста в Дунай, он знал, где Лепорелла нашла себе убежище.







## НЕЗРИМАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

**М**ы проехали две станции после Дрездена, когда к нам в купе вошел пожилой господин, вежливо поклонился и, заметив меня, еще раз приветливо, как знакомому, кивнул головой. В первую минуту я не узнал его; но, как только, улыбнувшись, он назвал свою фамилию, я сразу припомнил: это был один из самых видных антикваров Берлина, у которого в мирное время я часто рассматривал и покупал старинные книги и автографы. Мы поболтали о том о сем. Но вдруг, без всякой связи с предшествовавшим, он заявил:

— Я должен рассказать вам, откуда еду. Дело в том, что я пережил, пожалуй, самое необыкновенное приключение из всех, встречавшихся мне, старому антиквару, на протяжении моей тридцатисемилетней деятельности. Вы, вероятно, знаете, что творится теперь в нашем деле с тех пор, как ценность денег улетучивается, точно газ: новым богачам понадобились вдруг готические мадонны, инкунабулы, гравюры и картины; никакой кудесник не мог бы напасть на них; приходится энергично протестовать против их попыток вынести все, что есть у вас в доме; они с удовольствием сняли бы с вас запонки и завладели бы лампой с вашего письменного стола. Благодаря этому все больше и больше дает себя знать недостаток товара, — простите, что вещи, к которым в былое время мы относились с благоговением, я называю товаром, но эта неприятная порода людей приучила нас смотреть на старинное венедианское первопечатное издание, как на способ получения

известного количества долларов, а не карандашный рисунок Гверчино — как на повод к перемещению из кармана в карман нескольких тысячефранковых банкнот. Никакое сопротивление не устоит перед назойливостью этих неистово скоропелых покупателей. И вот я внезапно оказался настолько выпотрошенным, что охотнее всего прикрыл бы магазин; мне стыдно было видеть, что в нашем старинном заведении, перешедшем от деда к моему отцу, осталась лишь жалкая рухлядь, которую в прежнее время ни один старьевщик не положил бы на свою тележку.

Это затруднение натолкнуло меня на мысль перелистать старые товарные книги, чтобы разыскать тех клиентов, у которых можно было надеяться выманить несколько дубликатов. Старый список клиентов представляет собою нечто вроде кладбища, — особенно в теперешнее время, — и он действительно немного мне дал: наши бывшие покупатели в большинстве давно уже вынуждены были продать свои коллекции с аукциона или умерли, а от немногих оставшихся ничего нельзя было ожидать. Но вдруг я наткнулся на пачку писем одного из наших, быть может, старейших клиентов, о котором я забыл лишь потому, что с начала войны, с 1914 года, он ни разу не обращался к нам ни с заказом, ни с каким-либо запросом. Обмен письмами происходил, как это ни странно, почти шестьдесят лет тому назад, — он покупал у моего отца и деда, и я решительно не мог вспомнить, чтобы за тридцать лет моей деятельности я когда-либо видел его у нас.

Судя по всему, это был старомодный, забавный оригинал, один из тех забытых немцев излюбленного Менцелем и Шпитцвегом типа, которые и в наше время сохранились в маленьких провинциальных городках, в качестве редких единичных экземпляров. Его письма были образцом каллиграфического искусства — чистенько написанные, с выведенными красными чернилами итогами, повторенными дважды, во избежание ошибки; все это, а также и то, что он отрывал оставшуюся неисписанной страницу и пользовался экономичными конвертами, указывало на мелочность и фанатическую скупость без-

надежного провинциала. Подписаны были эти странные документы полным его титулом: советник хозяйственного управления в отставке, лейтенант в отставке и кавалер Железного креста I степени. Этому ветерану семидесятых годов, если он был еще жив, должно было бы быть верных лет восемьдесят. Но смешной скряга отличался, как коллекционер старинной графики, исключительным умом, знаниями и прекрасным вкусом. Когда я постепенно пересмотрел его заказы за шестьдесят лет, в которых счет велся еще на зильбергроши, я убедился, что этот маленький провинциал должен был в то время, когда за талер можно было приобрести штук шестьдесят самых лучших немецких гравюр, собрать не торопясь коллекцию эстампов, которая не ударила бы лицом в грязь наряду с шумной славой приобретенных новыми богачами картин. Даже то, что он в течение полувека за небольшие суммы приобрел у нас, должно было составить теперь немалую ценность; а можно было предположить, что он и у других антикваров и на аукционах делал не менее выгодные покупки.

С 1914 года от него больше не поступало заказов, но я слишком хорошо был осведомлен обо всем, происходившем на антикварном рынке, чтобы от внимания моего могла ускользнуть публичная или закрытая продажа такой коллекции; по видимому, оригинал этот еще жив — или же коллекция перешла к его наследникам.

Меня это заинтересовало, и на следующий же день, то есть вчера вечером, я отправился напрямик в один из тех невозможнейших провинциальных городков, которые встречаются только в Саксонии; когда я с маленького вокзала медленно плелся по главной улице, мне представилось почти невозможным, чтобы среди этих ординарных домишек, с их мелко-мещанским убранством, в одной из комнат жил человек, владеющий безупречным собранием великолепнейших произведений Рембрандта, Дюрера, Мантеньи. К моему удивлению, я узнал на почтамте, что такой-то советник хозяйственного управления еще жив. Я отправился к нему немедленно, испытывая, скажу откровенно, большое волнение.

Мне не стоило большого труда найти его квартиру; она оказалась во втором этаже одного из тех скромных провинциальных домиков, которые стряпали на скорую руку спекулянты-архитекторы шестидесятых годов. В первом этаже жил скромный портной, во втором с левой стороны площадки красовалась на двери карточка почтмейстера, с правой — белая фарфоровая дощечка советника. Я робко позвонил, и сейчас же старенькая седая женщина в черном аккуратном чепчике открыла мне дверь. Я передал свою визитную карточку и спросил, могу ли я видеть господина советника. Удивленно и с некоторым недоверием она посмотрела сперва на меня, потом на карточку: в этом затерянном городишке, в этом старинном доме визит казался событием. Но все же она любезно попросила меня подождать, взяла карточку и вошла в комнату. Я услышал сперва тихий шепот, потом громкий, отрывистый мужской голос: «Ага, господин Р. из Берлина, из большого антиквариата... пусть войдет... пусть войдет... очень рад!» Старушка засеменила обратно и попросила меня войти в гостиную.

Я снял пальто и вошел. Посреди скромно обставленной комнаты стоял, выпрямившись, крепкий еще старик, с густыми усами, в полувоенной, украшенной шнурами домашней куртке, радушно протягивая мне обе руки. Но этому открытому жесту — несомненно, радостному и сердечному приветствию — противоречила удивительная неподвижность. Он не приблизился ко мне ни на шаг, и я должен был — испытывая удивление — подойти к нему, чтобы пожать протянутую руку. Когда я хотел сделать это, я заметил, что и рука не протянулась мне навстречу, а неподвижно ждала моего рукопожатия. В ту же минуту я понял все: старик был слеп.

Еще в детстве я чувствовал себя неловко, когда мне приходилось встречать слепого: я не мог отделаться от стыда, от какой-то неловкости в присутствии живого человека, которого я вижу, но который не видит меня. И в данном случае я должен был побороть некоторую боязнь, когда взглянул в мертвые, неподвижно устремленные в пространство глаза, обрамлен-

ные беспорядочными густыми бровями. Но смущение мое было непродолжительно: лишь только я коснулся руки слепого, он крепко пожал мою руку и порывисто повторил свое шумное, но все же сердечное приветствие.

— Вот редкий визит, — заявил, он, смеясь, — вот чудо: один из господ берлинцев забрел, наконец, в нашу дыру... Но надо держать ухо востро, когда антиквар садится в поезд... У нас говорят обычно: ворота и карман на запор, когда цыгане приходят... да, могу себе представить, почему вы меня отыскали... дела плохи в нашей бедной, опустившейся Германии, нет покупателей, и важные господа вспомнили о своих старых клиентах, разыскивают овечек... но со мной, боюсь, вам не повезет; мы, бедные старые коллекционеры, счастливы, если есть у нас кусок насущного хлеба. Где уж нам тянуться за сумасшедшими ценами, которые вы теперь устанавливаете... мы навсегда лишены возможности покупать...

Я тут же сказал, что он неверно истолковал мое появление, что я ничего не собирался предложить ему, но, находясь поблизости, не хотел упустить случая побывать у одного из крупнейших германских коллекционеров, у старинного клиента нашего дома. Как только я его назвал «крупнейшим германским коллекционером», лицо старика сразу преобразилось. Он все еще стоял выпрямившись, неподвижно, посреди комнаты, но внезапное довольство и внутренняя гордость сказались в его осанке; он повернулся в ту сторону, где ожидал найти жену, с таким видом, точно хотел сказать: «Слышишь?» И радостно, без малейшего оттенка военной резкости, которая чувствовалась в его голосе еще несколько минут тому назад, мягко, почти нежно обратился ко мне:

— Это замечательно мило... вы недаром пришли. Вы увидите такие вещи, которые не каждый день встретишь, даже в вашем шикарном Берлине... несколько вещиц, лучше которых вы не найдете ни в галерее Альберта, ни в безбожном Париже... Да, если коллекционируешь так лет шестьдесят, то нападаешь на вещи, которые, смело могу сказать, не валяются на улице. Луиза, дай-ка ключ от шкафа!

Но тут произошло нечто неожиданное. Старушка, стоявшая рядом с ним и слушавшая с приветливой и вежливой улыбкой наш разговор, умоляюще протянула ко мне руки и сделала энергичный отрицательный жест головой, которого я сначала не понял. Потом она подошла к мужу и положила руку ему на плечо.

— Гервард, — промолвила она, — ты ведь не спросил гостя, есть ли у него время осматривать сейчас твою коллекцию, скоро обед. А после обеда ты должен часок отдохнуть, как велел врач. Не лучше ли показать гостю коллекцию после обеда, за чашкой кофе? Тогда Анна-Мари будет дома, она знает все лучше меня и поможет тебе.

Проговорив это, она повторила за спиной ничего не подозревающего старика тот же умоляющий жест, который лишь теперь стал мне понятен. Угадав ее желание, я отклонил предложение осмотреть коллекцию немедленно, под предлогом того, что меня ждут к обеду. Разрешение ознакомиться с его коллекцией я считаю и честью и удовольствием, заверил я, и, если он позволит, приду к нему для этой цели в три часа.

Недовольный, как ребенок, лишившийся любимой игрушки, старик отвернулся.

— Конечно, — пробормотал он, — у господ берлинцев никогда нет времени. Но на этот раз вам придется вооружиться терпением; не три и не пять вещей хочу я вам показать, а двадцать семь папок, все почти полные, из которых каждая достойна взора ценителя. Итак, в три часа; но будьте аккуратны, а то нам не удастся пересмотреть все. — Опять протянул он руку в пространство. — Ну-ка, посмотрим, будете ли вы радоваться или огорчаться. Чем больше будете вы огорчаться, тем больше буду радоваться я. Таковы уж мы — коллекционеры. Все для себя, ничего для других! — Он еще раз крепко пожал мою руку.

Старушка проводила меня до дверей. Я заметил, что она все время испытывает какую-то неловкость: ее лицо выражало смущение и тревогу. Почти у самого выхода она проговорила печальным голосом:

— Не разрешите ли вы... не разрешите ли... моей дочери, Анне-Мари, зайти за вами? Так будет лучше... по разным причинам... вы, вероятно, обедаете в гостинице?

— Конечно, буду очень рад, это доставит мне удовольствие, — сказал я.

И действительно, через час, когда я, сидя в маленькой столовой гостиницы, заканчивал обед, вошла, оглядываясь по сторонам, немолодая, скромно одетая девушка. Я пошел ей навстречу, представился и предложил сейчас же отправиться с ней, чтобы осмотреть коллекцию. Но с тем же смущением, которое я заметил у матери, она попросила разрешения сказать мне несколько слов, прежде чем мы пойдем к ним. По-видимому, ей это было нелегко. Собираясь начать повествование, она покраснела до корней волос и рука ее теребила складки платья. Наконец, путаясь и останавливаясь, она начала смущенно:

— Моя мать послала меня к вам... она мне все рассказала... и у нас большая просьба к вам... мы хотели вас поставить в известность... прежде, чем вы придете к отцу... он захочет показать вам свою коллекцию, а коллекция... коллекция... она не совсем полна... там не хватает нескольких картин... даже довольно много...

Она тяжело вздохнула и, посмотрев на меня, проговорила поспешно:

— Я буду откровенна с вами... Вспомните, какое время мы пережили, и вы все поймете... Отец ослеп, как только началась война. Еще до этого он стал плохо видеть, а после перенесенных волнений лишился зрения окончательно; несмотря на свои семьдесят шесть лет, он хотел отправиться с армией во Францию, и когда армия продвигалась не так быстро, как в 1870 году, он очень волновался; это пагубно отразилось на его зрении... Он очень бодр и еще недавно мог часами гулять и даже ходить на охоту, — он так любит ее. Но теперь пришел конец прогулкам, и единственную радость доставляет ему коллекция; он ее рассматривает ежедневно. То есть он не рассматривает ее, — прибавила она, — так как ничего не

видит, но каждый день после обеда достает все папки, чтобы, по крайней мере, перелистать гравюры, которые он, вот уж несколько десятков лет, знает наизусть, одну за другой, все по очереди... Он ничем другим не интересуется, и ежедневно я должна была ему читать о всех аукционах; чем выше подымались цены, тем он был счастливее... в этом именно и заключается ужас, что он не имеет представления о ценах и о времени... он не знает, что мы все потеряли, и что его месячной пенсии хватает лишь на два дня жизни...

К тому же муж сестры был убит, и она осталась с четырьмя детьми без всяких средств. Но отец ничего не знает обо всем этом. Мы старались экономить больше, чем всегда, но это ни к чему не привело. Тогда мы стали продавать — мы, конечно, не трогали его любимой коллекции... продавали драгоценности, но это так мало дало. Ведь отец в течение шестидесяти лет каждый пфенниг, который он мог сберечь, тратил на свою коллекцию. И вот настало время, когда у нас ничего больше не осталось... мы не знали, что делать... и тогда... тогда мы с матерью решили продать одну из гравюр. Отец никогда бы этого не допустил, он не знает, как тяжело нам живется, не знает, как трудно даже этой тайной продажей поддерживать свое существование; не знает и того, что война нами проиграна, что Эльзас и Лотарингию нам пришлось отдать, мы ему не читаем сообщений из газет, чтобы не волновать его.

Это была очень ценная вещь, которую мы продали, — рисунок Рембрандта. Покупатель предложил нам много тысяч марок за нее, и мы были убеждены, что нам хватит на много лет... Но вы знаете, как деньги падали. Мы весь остаток положили в банк, а через два месяца все растаяло, и мы должны были продавать еще и еще; покупатель присылал деньги с таким опозданием, что они теряли свою ценность, пока доходили до нас. Тогда мы стали продавать на аукционах, но и тут нас обманывали, хотя нам платили миллионы... Пока они попадали в наши руки, от них ничего не оставалось. Так постепенно ушли лучшие вещи из его коллекции, кроме двух-



трех; и этого едва хватало, чтобы вести самую жалкую жизнь... Но отец ничего не подозревает.

Вот почему мать испугалась, когда вы сегодня пришли... Если он вам покажет папки, все погибло... мы в старые паспарту, которые он знает на ощупь, положили копии или похожие листы, так что, ощупывая их, он ничего не замечает. Имея возможность коснуться рукой и пересчитать свои гравюры (он прекрасно помнит порядок, в котором они лежат), он получает столько же радости, сколько в то время, когда мог ими любоваться. В нашем маленьком городе нет людей, которых отец считал бы достойными лицезрения своего сокровища... Он любит каждый листок такой фанатической любовью, что одно подозрение о продаже этих вещей сломило бы его окончательно. За все эти годы, с тех пор как прежний директор Дрезденской галереи умер, вам первому решается он показать свои сокровища. Поэтому, прошу вас...

И вдруг стареющая девушка сложила руки, как в молитве, и в ее глазах заблестели слезы...

— Мы умоляем вас, — сказала она, — не делайте его несчастным... не делайте несчастными нас, не разбивайте его последней иллюзии, помогите нам сохранить в нем уверенность, что все картины, которые он будет вам описывать, существуют... он не пережил бы горя, если бы заподозрил, что их нет. Может быть, мы были не правы, но мы не могли иначе поступить: надо было жить как-нибудь... и человеческая жизнь, жизнь четырех сирот, детей моей сестры, имеет ведь большую ценность, чем эти гравюры... До сегодняшнего дня мы ведь не лишили его радости этой продажей; он счастлив, перелистывая ежедневно в течение трех часов свои папки и разговаривая с каждым листком, как с человеком... и сегодня... сегодня ему предстоит, быть может, счастливейший день; ведь он годами ждет возможности показать предмет своей гордости знатоку; прошу вас, умоляю, не лишайте его этой радости.

Мой пересказ, разумеется, не может передать, как трогательно звучала ее речь. Мне неоднократно приходилось, как торговцу, встречаться с людьми, дерзко ограбленными и подло

обманутым инфляцией, которым приходилось драгоценнейшие фамильные вещи терять из-за куска хлеба, но здесь судьба столкнула меня с чем-то исключительным, что меня особенно задело за живое. Само собою разумеется, я обещал ей молчать и сделать все от меня зависящее.

Мы вместе отправились к ним; по дороге я узнал, какими пустяками удовлетворили этих бедных, неопытных женщин, и это только укрепило мое решение помочь им. Мы поднялись и не успели еще открыть дверь, как услышали радостный, отрывистый голос старика: «Войдите, войдите!» Обостренным слухом слепого он, вероятно, услышал наши шаги, когда мы подымались по лестнице.

— Гервард не мог сегодня заснуть, так нетерпеливо ждал он возможности показать вам свой клад, — сказала, улыбаясь, старушка. Взгляд, которым она обменялась с дочерью, успокоил ее относительно нашего уговора. На столе нас ждали кипы папок, и как только слепой почувствовал мою руку, он схватил меня без особых церемоний за рукав и усадил в кресло.

— Так, а теперь давайте начнем, тут есть, что посмотреть, а берлинцам все ведь некогда. Вот первая папка, это маэстро Дюрер, и, как вы сейчас убедитесь, довольно полный комплект — один экземпляр лучше другого. Но судите сами... вот — посмотрите! — Он открыл первый лист папки. — Это «Большая лошадь».

И вот кончиками пальцев, бережно и нежно, как хрупкую вещь, вынул он чистый, пожелтевший от времени лист бумаги, вставленный в паспарту; он восторженно держал ничего не стоящий листок перед собой. Несколько минут смотрел он, не видя ничего, но в экстазе продолжал держать на уровне глаз пустой лист; на лице его волшебным образом отражалось напряжение, свойственное человеку, внимательно рассматривающему что-то. И в неподвижных, с мертвыми зрачками глазах появились — был ли это отблеск бумаги или отблеск внутреннего переживания? — зеркальная ясность, проникновенное отражение.

— Что скажете? — гордо промолвил он. — Видали вы когда-нибудь лучший оттиск? Как выпукло, как ясно выступает каждая деталь! Я сравнивал этот лист с дрезденским экземпляром, но тот вял и бледен по сравнению с этим. И вдобавок здесь его родословная! Вот! — Он повернул пустой лист и с такой точностью указал ногтем определенное место на оборотной стороне, что я невольно посмотрел, нет ли там обычных знаков. — Вот печать коллекции Наглер, а здесь печать Реми и Эсдаля; знаменитые коллекционеры никогда не предполагали, что их экземпляр попадет когда-нибудь в эту маленькую комнатку.

У меня дрожь пробежала по спине, когда ничего не подозревающий старик восторженно стал расхваливать совершенно чистый листок; жутко было смотреть, как он с точностью до миллиметра отмечал ногтем все еще существующие в его воображении марки коллекционеров. У меня дыхание захватило от ужаса, я не знал, что ответить; но когда я смущенно посмотрел на двух женщин и опять увидел умоляюще протянутые ко мне руки взволнованной и дрожащей старушки, я собрался с силами и начал разыгрывать роль.

— Восхитительно! — вымолвил я. — Великолепный оттиск! Лицо старика озарилось гордостью.

— Но это еще пустяки, — торжествовал он, — в сравнении с «Меланхолией» или, вот тут, со «Страстью»; исключительный экземпляр, ему нет равного! Вот, взгляните!

Опять его пальцы нежно провели по воображаемому рисунку.

— Какая свежесть, какой сочный, теплый тон! Вот бы изумились берлинские продавцы и музейные крысы!

Так лилась битых два часа эта шумная торжествующая речь. Не могу описать вам ужас, который я испытывал, рассматривая вместе с ним сотни две пустых листов бумаги или жалких репродукций, которые в памяти не подозревающего о трагедии старика сохранились в качестве подлинных с такой изумительной отчетливостью, что он безошибочно, в тончайших подробностях описывал и расхваливал каждый лист.

Незримая коллекция, давно разлетевшаяся по всем направлениям, восставала во всей полноте перед духовным взором слепого, так трогательно обманутого; отчетливость его видения действовала так захватывающе, что я почти поверил в существование всех этих гравюр. Лишь на минуту ужасающая опасность пробуждения нарушила сомнамбулическую уверенность его точно одаренного зрением энтузиазма. Он стал восхищаться выпуклостью оттиска рембрандтовской «Антиопы» (пробный оттиск, который действительно должен был иметь громадную ценность), и при этом нервный, словно ясновидящий палец любовно водил по рисунку, следя за его линиями. Но он не ощутил обостренным осязанием должного углубления на подложенном листе. Тень пробежала вдруг по лицу, голос зазвучал смущенно.

— Ведь это... «Антиопа»? — пробормотал он неуверенно.

Я взял из его рук окантованный лист и стал восторженно во всех подробностях описывать отчетливо вставшую в моем воображении гравюру. Смущенное лицо слепого снова просветлело. И чем больше восхвалял я ее, тем искреннее и сердечнее расцветали в этом крепком старике веселость и задушевность.

— Наконец-то встретился мне действительный знаток! — радовался он, торжествуя обращаясь к своим. — Наконец-то скажут вам, чего стоят эти листы! А вы меня бранили всегда, что я все деньги трачу на коллекцию: в самом деле, шестьдесят лет без пива, без вина, без табаку, ни путешествий, ни театра, ни книги — все копил и копил на коллекцию. Но вы еще увидите! Когда меня не станет, вы разбогатеете, будете богаче всех в городе, станете на равную ногу с дрезденскими богачами, с благодарностью вспомните о моей глупости. Но, пока я жив, ни один листок не выйдет из этого дома — раньше вынесут меня, а потом уж мою коллекцию.

Он нежно прикоснулся, как к чему-то живому, к своим давно опустошенным папкам; это было ужасно и вместе с тем трогательно; за все годы войны я не видел ни на одном немецком лице столько искреннего, чистого наслаждения. И рядом

с ним стояли жена и дочь, таинственно похожие на женщин с гравюры немецкого художника, явившихся к могиле спасителя и с выражением страстного испуга, с экстатической верой в радостное чудо взирающих на пустую гробницу. Эти стареющие, подавленные несчастьем горожанки, сияющие отражением детской радости слепого, являли собой, полусмеясь, полуплача, зрелище столь же потрясающее, как и те женщины на гравюре, просветленные небесным предчувствием.

Но старик не мог насытиться моей похвалой; вновь и вновь нагромождал он друг на друга папки, жадно впитывая каждое мое слово. Когда, наконец, эти обманные папки были отодвинуты и он, против желания, должен был освободить стол для кофе, для меня настали минуты отдыха. Но можно ли сравнить мой облегченный и виноватый вздох с шумной радостью, с ликованием этого как бы на тридцать лет помолодевшего человека! Он рассказал тысячи анекдотов про свои покупки и случайные добычи; вскакивал, отвергая всякую помощь, чтобы достать то тот, то другой лист: как вином опьяненный, был он безудержно весел. Но когда я стал прощаться, он как будто испугался; нахмурился, точно упрямый ребенок, и, недовольный, топнул ногой, говоря, что нехорошо так поступать, что я еще и половины всей коллекции не осмотрел. Женщинам стоило немалого труда умерить его упрямое негодование и доказать, что меня больше задерживать нельзя, так как я могу опоздать на поезд.

Когда, наконец, после отчаянного сопротивления, он смирился и я стал прощаться, голос его смягчился. Он схватил мои руки, и пальцами, с чуткостью слепого, ласково провел по ним до локтя, точно хотел лучше узнать меня и оказать мне больше внимания, чем мог это сделать на словах.

— Вы своим посещением доставили мне большую, большую радость, — начал он, глубоко потрясенный, — я ее никогда не забуду. Это истинное благодеяние для меня... Наконец-то, наконец, наконец мог я со знатоком посмотреть дорогие мне листы!

— И вы увидите, что не напрасно пришли ко мне — старому

слепому. Я обещаю — жена да будет свидетельницей — я включу в завещание пункт, согласно которому продажа моей коллекции будет поручена вашему старому и заслуженному торговому дому. Вам достанется честь распорядиться этим неведомым миру кладом, — тут он нежно коснулся рукой ограбленных папок, — до тех пор, пока они не рассеются по миру. Пообещайте мне, что вы составите хороший каталог; пусть это будет моим памятником — лучшего мне не нужно.

Я посмотрел на его жену и дочь; они стояли близко друг к другу, и лёгкий трепет передавался от одной к другой, точно они представляли одно целое, содрогавшееся от общего потрясения. Я ощутил всю торжественность момента: ничего не подозревающий человек трогательно передавал в мое распоряжение, как некую драгоценность, свою незримую, давно погибшую коллекцию. Потрясенный, я обещал ему то, чего исполнить не мог. И снова луч света озарил мертвые зрачки; я почувствовал, как стремится он ощутить мое тело; я ясно почувствовал это, когда, в знак благодарности и торжественности своего обета, он, завладев моими пальцами, нежно пожал их.

Женщины проводили меня до дверей. Они не решались заговорить, так как обостренным своим слухом слепой уловил бы каждое слово; но какой благодарностью засияли их полные горячих слез глаза! Ошеломленный, я спустился по лестнице. Мне было стыдно: как сказочный ангел, вступил я в жилище бедняков, сделал слепого зрячим на час и, став участником священного обмана, лгал бесстыдно — жадный торговец, пришедший в действительности, чтобы хитростью добыть несколько драгоценностей. Но то, что я унес с собой, было более ценно: мне дано было в наше тусклое, безотрадное время живо ощутить то чистое восхищение, тот озаренный духом восторг преклонения перед искусством, которые, казалось, окончательно забыты нашими современниками. И меня охватило — не нахожу другого слова — нечто вроде благоговения, вопреки непонятному чувству стыда, продолжавшему жить во мне.

Я был уже на улице, когда раздался звон открываемого окна; кто-то позвал меня: старик не удержался; он обратил свои слепые взоры в ту сторону, куда, как предполагал он, я должен был пойти. Он так перегнулся, что женщины заботливо стали отстранять его; он махал платком и кричал юношески весело и бодро: «Счастливого пути!» Не могу забыть этой картины: озаренное радостью лицо седого старца в окне вверху, над ворчливой, загнанной, суетливой уличной толпой, лицо, в светлом облаке благостного самообмана вознесенное над отвратительной нашей действительностью. И я снова вспомнил старую истину, высказанную, кажется, Гете: «Коллекционеры — счастливые люди».





## ПРИНУЖДЕНИЕ

Пьеру Жуву  
с братской дружбой

**П**огруженная в крепкий сон, жена дышала ровно и отчетливо. Казалось, легкая улыбка или слово вот-вот слетят с ее полуоткрытых уст. Спокойно вздымалась под покрывалом молодая полная грудь. В окна пробивалась заря. Но скуден был свет зимнего утра. Полумрак неустойчиво витал над сонными предметами, скрывая их очертания.

Фердинанд тихо поднялся; зачем — он сам не знал. Это теперь с ним часто случалось: бросая работу, он вдруг хватал шляпу и поспешно уходил из дому, в поля, бежал все быстрее и быстрее, пока где-нибудь в незнакомом месте не останавливался, усталый, с дрожащими коленями и бешено стучащей в висках кровью. Или среди оживленного разговора внезапно умолкал, — не понимая смысла слов, не отвечая на вопросы, — с трудом сбрасывал с себя оцепенение. Или вечером, раздеваясь, забывался и сидел на краю постели, с крепко зажатым в руке ботинком, пока оклик жены или шум упавшего ботинка не заставляли его очнуться.

Его охватила дрожь, когда из овечьей теплом комнаты он вышел на балкон. Невольно он прижал локти к телу. Расстилавшийся внизу широкий пейзаж был еще окутан туманом. Цюрихское озеро, казавшееся обычно — из его стоявшего на возвышенности домика — сверкающим зеркалом, отражавшим каждое скользящее по небу облачко, было покрыто еще густой молочной пеленой. Куда ни падал взор, к чему ни прикасались руки — все было сыро, мрачно, скользко, серо;



вода капала с деревьев, и влага сочилась по сваям. Пробуждавшийся мир походил на человека, только что выбравшегося из воды и стрягивающего ее брызги. Человеческие голоса доносились сквозь густой туман сдавленно и глухо, как предсмертный хрип утопающего; изредка слышались удары молота и далекий благовест, но чистый обычно звук был неясен и ржав. Мрак и сырость повисли между ним и миром.

Его знобило. Но он продолжал стоять, глубже засунув руки в карманы, ожидая, пока прояснится горизонт. Словно занавес из серой бумаги, медленно, снизу, стал сворачиваться туман. Его охватило невыразимое желание снова увидеть любимый ландшафт, неподвижно расстилавшийся внизу и подернутый сейчас утренней дымкой. Чистые очертания пейзажа сиянием своим всегда умиротворяли его душу. Как часто радостная даль горизонта успокаивала его тревогу; домики на том берегу, приветливо лепившиеся один к другому, пароход, грациозно прорезающий голубые волны, чайки, весело перелетающие с берега на берег, дым, серебристыми спиральями поднимающийся из красной трубы навстречу полуденному звону, — все так уверенно повторяло ему: «Мир! Мир», — что, как ни реально было безумие вселенной, он верил прекрасным этим знамениям и минутами забывал о своей настоящей родине, любясь этой — вновь обретенной.

Месяцы протекли с тех пор, как бежал он от современности и людей, из воюющей страны, сюда, в Швейцарию; он чувствовал, как его истерзанная, израненная, подавленная болью и ужасом душа находит здесь успокоение и исцеление; чувствовал, как манит к себе ласковый ландшафт, как его чистые линии и краски зовут его, художника, к работе. Поэтому, когда пейзаж скрывался от взора, когда, как в этот утренний час, его застилал туман, он снова ощущал себя чужим и одиноким. Его охватила бесконечная жалость ко всем заключенным внизу, во мгле, к людям его родины, также потонувшей в туманной дали, — бесконечная жалость, бесконечная тоска по слиянию с ними и с их судьбой.

Откуда-то из тумана донеслись в это мартовское утро че-

тыре удара церковного колокола и потом — словно сами себе возвещали они время — еще восемь, более звонких. И сам он ощутил себя словно вознесенным на колокольню, невыразимо одиноким — мир расстилается перед ним, а за ним, погруженная в сумерки сна, покоится его жена.

Всей душой захотелось ему разорвать эту мягкую завесу тумана, ощутить хоть какие-нибудь признаки пробуждения жизни. Когда он пристально всмотрелся вниз, ему показалось, что в сером тумане, там, где кончается деревня и дорога короткими извилинами подымается в гору, что-то медленно движется — не то человек, не то зверь. Это еле видное, маленькое существо приближалось, вселяя в него радость сознания, что еще кто-то бодрствует, и возбуждая любопытство, жгучее и болезненное. На перекрестке, там, где дороги расходились, одна — в соседнее селение, другая — сюда, наверх, появилась серая фигура. На мгновение она, как бы отдыхая, замедлила шаг. Потом неторопливо стала взбираться по тропинке на холм.

Беспокойство овладело Фердинандом. «Кто этот чужой? — подумал он. — Какая сила выгнала его в это утро, как и меня, из тепла и сумрака комнаты? Не ко мне ли он, и что ему нужно от меня?» Теперь, вблизи, сквозь рассеявшийся туман, он узнал его: это был почтальон. Каждое утро, когда церковные часы били восемь, он взбирался сюда, наверх; Фердинанду знакомо было его неподвижное лицо с рыжей, слегка поседевшей, морского типа бородой, в синих очках. Его фамилия была Нуссбаум, Фердинанд же прозвал его «Щелкунчиком» за деревянность движений и важный вид, с которым он перебрасывал свой большой черный кожаный мешок на правую сторону, передавая с величественным видом письма. Фердинанд не мог удержаться от улыбки, глядя, как почтальон, тяжело ступая, шаг за шагом, с мешком, переброшенным через левое плечо, старается придать своей суетливой походке значительный вид.

Но вдруг он почувствовал дрожь в коленях. Его рука, поднятая к глазам, опустилась, словно чужая. Тревога сегодняшняя, вчерашняя, тревога всех последних недель с новой силой

охватила его вдруг. Ему показалось, что человек этот шаг за шагом приближается к нему, направляется к нему одному. Не отдавая себе отчета, он нажал ручку двери, прокрался мимо спящей жены и, торопливо спустившись с лестницы, побежал по дорожке мимо забора навстречу почтальону.

У садовой калитки он с ним столкнулся.

— Есть у вас... есть у вас... Есть у вас что-нибудь для меня?

Почтальон поднял кверху отсыревшие очки.

— Да-да.

Он одним взмахом перебрал черный мешок на правую сторону и перебрал кипу писем своими влажными, красными от утреннего морозца, похожими на дождевых червей пальцами.

Фердинанд дрожал. Наконец, почтальон вытащил письмо. Это был большой коричневый конверт; наверху крупным шрифтом пометка: «Служебное», а внизу его фамилия.

— Распишитесь, — сказал почтальон, поклонявил чернильный карандаш и подал ему книгу.

Волнуясь, Фердинанд одним росчерком, неразборчиво подписал свою фамилию.

Он схватил письмо, протянутое ему красной толстой рукой. Но пальцы онемели, и конверт упал на мокрую землю, в сырую листву. И когда он нагнулся, чтобы поднять его, то вдохнул горький запах гнили и тления.

\* \* \*

Теперь он ясно увидел, что именно это, гнездясь в глубине его сознания, неделями смущало его покой, — именно это письмо, которое против воли он ждал, которое пришло к нему из бессмысленной бесформенной дали, нащупало его своими сухими отпечатанными буквами, вторглось в его теплом наполненную жизнь и посягало теперь на его свободу. Он предчувствовал его, как всадник в разведке чуёт в гуще зеленых деревьев направленное на него незримое холодное дуло и в нем — маленький кусочек свинца стремящийся проникнуть в живое тело.

Значит, напрасно было его сопротивление, напрасны невинные увертки, которыми он утруждал свой мозг ночи напролет: теперь они его настигли.

Еще не прошло и восьми месяцев с тех пор, как он, голый, дрожа от холода и отвращения, стоял перед военным врачом, щупавшим его мускулы, точно лошадиный барышник; в этом унижении он познал всю низость современности, то рабство, в которое погрузилась Европа. Два месяца потом он еще в силах был выносить жизнь в удушливой атмосфере патриотических фраз, но в дальнейшем это стало невыносимо, и, когда люди, собираясь говорить, открывали рот, ему казалось, что он видит на их языках налет лжи. Ему противно было слушать их речи. Вид дрожащих от холода женщин, усевшихся ранним утром с пустыми мешками на ступеньках рынка, разрывал ему сердце; со сжатыми кулаками бродил он и чувствовал, каким злым и нетерпимым он становится, отвратительным себе самому в бессильном своем гневе. Наконец, ему удалось, благодаря протекции, попасть с женой в Швейцарию; когда он переступил границу, кровь бросилась ему в голову. Он должен был приклониться к столбу — ноги подкашивались. Он снова ощутил человека, жизнь, работу, волю, силу. Его грудь ширилась, вдыхая свободу. Родина теперь значила для него лишь — тюрьма и насилие. Чужбина, Европа, стала для него мировым отечеством.

Но недолго владело им радостное чувство облегчения: страх снова вселился в него. Он чувствовал, что самым своим именем он втянут еще в эту кровавую гущу; что что-то, ему неизвестное и непонятное, знает о нем и не отпускает его. Он чувствовал, что бдительное холодное око направлено на него откуда-то из неизвестного пространства. Он замкнулся в себе, углубился в свой внутренний мир, не читал газет, чтобы не прочесть там приказов о явке; менял квартиры, чтобы стереть свои следы; заставлял письма посылать на имя жены и до востребования; избегал людей, чтобы избежать расспросов. Города он не посещал, посылая жену за холстом и красками. В полной неизвестности потонуло его существование в этой деревушке у Цю-

рихского озера, где он снял у крестьян маленький домик. Но он знал все же: в одном из ящиков лежит среди сотен тысяч листков один листок. И он знал: в один прекрасный день, где-нибудь, когда-нибудь, откроют этот ящик, — он слышал, как его отпирают, слышал стук пишущей машинки, выстукивающей его имя, — и знал, что письмо пойдет путешествовать, путешествовать, пока, наконец, не достигнет его.

И вот оно шелестит, холодное и осязаемое, между его пальцами. Фердинанд пытался сохранить спокойствие.

«Что мне этот листок бумаги? — сказал он себе. — Завтра, послезавтра распустятся здесь на кустах тысячи, десятки, сотни тысяч листков, и каждый из них будет мне столь же безразличен, как этот. Что значит «служебное»? Что, я обязан прочесть его? Я не служу, и у меня нет начальства. Что обозначает тут мое имя — разве это действительно я? Кто может заставить меня сказать, что это я, кто может приказать мне прочесть, что здесь написано? Если я порву это письмо неп прочитанным, клочки его разлетятся по ветру до озера, и я ничего не буду знать о нем и мир ничего не узнает обо мне; ни одна капля не упадет из-за этого на землю быстрее, дыхание на моих устах не изменится ни на йоту! Что могло меня взволновать? Листок, о котором я знаю лишь постольку, поскольку хочу знать. Но я не хочу знать о нем. Я не хочу вообще ничего, кроме свободы!»

Пальцы порывались уничтожить этот твердый конверт, разорвать в клочья. Но странно: мускулы не слушались его. Руки оказывали сопротивление его воле; они не хотели повиноваться. И в то время, как душа повелевала разодрать конверт на куски, дрожащие пальцы медленно вскрывали его. И там было то, что он знал уже:

«№ 34.729 Ф. По приказу командира округа в М. вы приглашаетесь не позже 22 марта в штаб округа для переосвидетельствования и установления вашей пригодности к военной службе. Военские бумаги будут вам вручены консульством в Цюрихе, куда вы должны явиться для получения их».

Когда через час он снова вошел в комнату, его встретила с приветливой улыбкой жена, с букетом весенних цветов в руках. Ее лицо сияло беззаботностью.

— Посмотри, — сказала она, — что я нашла. Там на лугу, за домом, они уже цветут; а в тени между деревьями еще снег.

Не желая ее обидеть, он взял цветы и спрятал в них лицо, чтобы не видеть беззаботного взгляда любимой женщины. Быстро убежал он в свою мансарду, служившую ему студией.

Но работа не продвигалась. Едва поставил он перед собой чистый холст, как прочел на нем запечатленные машиной слова письма. Краски на палитре показались ему грязью и кровью. Он стал думать о гное и ранах. На собственном портрете, стоявшем в тени, он предстал самому себе в военном воротнике, подпиравшем подбородок. «Безумие, безумие», — проговорил он громко и топнул ногой, чтобы прогнать дикие видения. Но руки дрожали, и под ногами колыхался пол. Он должен был лечь. Потом долго сидел на скамеечке, погруженный в свои мысли, пока жена не позвала его обедать.

Он давился каждым куском. Какая-то горечь подступала к горлу; он старался проглотить ее, но она опять подымалась. Он сидел с опущенной головой, безмолвно, но заметил, что жена следит за ним. Вдруг он почувствовал тихое прикосновение ее руки.

— Что с тобой, Фердинанд?

Он не ответил.

— Неприятные известия?

Он кивнул головой.

— Военная служба?

Он опять кивнул головой. Она молчала. Молчал и он. Тяжестью и гнетом нависла одна мысль и отодвинула в сторону все предметы в комнате. Разрослась и прилипла к начатым блюдам. Она ползла мокрой улиткой по их затылкам, вызывая содрогание. Они не решались смотреть друг на друга и сидели

сгорбившись, обремененные невыносимой тяжестью нависшей над ними мысли.

Ее голос звучал надтреснуто, когда она наконец спросила:

— Они направляют тебя в консульство?

— Да.

— И ты пойдешь?

Он вздрогнул.

— Я не знаю. Все-таки нужно пойти.

— Почему нужно? Почему? В Швейцарии у них нет власти над тобой. Ты здесь свободен.

Злобно проговорил он сквозь зубы:

— Свободен! Кто в наше время свободен?

— Тот, кто хочет быть свободным. И ты — больше других.

Что это такое?

Она презрительно отбросила бумагу, которую он положил перед собой.

— Какую власть над тобой, мыслящим, свободным, имеет этот клочок, написанный каким-то несчастным писарем? Что он может с тобой сделать?

— Может не бумага, а тот, кто послал ее.

— Кто послал? Что это за человек? Машина, большая машина для убийств. Но тебя она не схватит.

— Она схватила уже миллионы, почему же ей не схватить меня?

— Потому, что ты этого не хочешь.

— Те, другие, тоже не хотели.

— Но они не были свободны. Они стояли под перекрестным огнем и потому пошли. Но никто не шел добровольно. Никто из Швейцарии не вернулся бы в этот ад.

Она подавила свое волнение, видя, как он страдает. Жалость к нему, как к ребенку, охватила ее.

— Фердинанд, — сказала она, прижимаясь к нему, — попытайся обдумать все совершенно спокойно. Ты напуган, и я понимаю, что можно растеряться, когда набрасывается этот коварный зверь. Подумай-ка, ведь мы ждали письма. Сотни раз мы допускали возможность его получения, и я гордилась

тобой, потому что знала; что ты разорвешь его в клочья и не согласишься пойти убивать людей. Разве ты не помнишь?

— Я помню, Паула, помню, но...

— Не отвечай теперь, — настаивала она, — ты сейчас под их влиянием. Вспомни наши беседы, черновик, который ты готовил, — он лежит в левом ящике, — в нем ты сообщаем, что никогда не возьмешь в руки оружия. Ты принял определенное решение...

Он возмутился:

— Никогда оно не было определенным! Никогда я не был уверен в себе. Все это была ложь, боязливое замалчивание. Я заглушал в себе страх — словами. Все это было, пока я был свободен; но и тогда я знал: если они меня призовут, я уступлю. Ты думаешь, я дрожал перед ними? Они ничто, пока они не вошли в мою плоть и кровь, они — воздух, звук, пустота. Нет, я дрожал перед собой, я знал, что, как только они меня призовут, я пойду.

— Фердинанд, ты хочешь пойти?

— Нет, нет, нет, — топнул он ногой, — я не хочу, не хочу, все во мне восстает против этого! Но я пойду против собственного желания. В этом и заключается весь ужас их могущества, что служишь им против воли, против своего убеждения. Если бы только можно было сохранить волю! Но когда у тебя в руках такая бумага — воля парализована. Подчиняешься. Становишься школьником: учитель вызывает, встаешь и трепещешь.

— Но Фердинанд, кто же зовет? Отечество? Писарь! Канцелярский служащий, которому скучно! Даже государство не имеет права принуждать совершать убийства, не имеет права!

— Я знаю, все знаю. Прочитуй еще Толстого. Я ведь знаю все аргументы. Разве ты не понимаешь, я не верю, чтобы они имели право меня призвать, я не обязан идти. У меня только одна обязанность — быть человеком, работать. У меня нет отечества вне человечности, нет у меня стремления убивать людей, я все знаю; Паула, я вижу все так же ясно, как ты;



но я уже в их власти; они меня призвали, и я знаю: несмотря ни на что, я пойду.

— Почему, почему, спрашиваю я, почему?

Он застонал:

— Не знаю. Может быть, потому, что безумие взяло в мире верх над разумом. Может быть, потому, что я не герой и боюсь бежать... Этого нельзя объяснить. Существует какое-то принуждение. Я не могу порвать цепь, которая душит двадцать миллионов людей. Не могу.

Он закрыл лицо руками. Маятник над ним двигался размеренным шагом, как часовой перед гауптвахтой времени.

Она вздрогнула.

— Тебя призывают. Я понимаю и все же не могу понять. Разве ты не слышишь и здесь призыва? Тебя здесь ничто не держит?

Он встрепнулся.

— Мои картины? Моя работа? Нет, я не в состоянии писать. Я это понял сегодня. Я мысленно уже там, с ними. Работать теперь для себя, когда весь мир гибнет, — это преступление. Нельзя теперь думать о себе, жить для себя.

Она встала и отвернулась.

— Я никогда не предполагала, что ты живешь только для себя. Я думала... что я для тебя тоже представляю некоторую ценность.

Она не могла говорить, слезы слышались в ее голосе. Фердинанд хотел ее успокоить. Но сквозь слезы в глазах ее блеснул гнев. Он отступил.

— Иди, — сказала она, — иди! Что я для тебя? Меньше, чем этот клочок бумаги. Иди, если хочешь!

— Не я хочу, — стукнул он кулаком в бессильной злобе, — не я хочу, они хотят! Они сильны, а я слаб. Они оттачивали свою волю тысячелетиями, они организованы, они до тонкостей подготовились, а на нас все это свалилось, как гром среди ясного неба. На их стороне воля, на моей — нервы. Борьба неравная. Против машины не пойдешь. Будь это люди, можно было бы сопротивляться. Но это машина, машина для убоя,

бездушный инструмент, без сердца, без рассудка. Против них ничего нельзя сделать.

— Можно, если нужно!

Она кричала в иступлении:

— Я могу, если ты не можешь! Если ты слаб, я не слаба, я не отступлюсь перед этим вздором, я не отдам живого существа за бумагу! Ты не пойдешь, пока у меня власть над тобой! Ты болен, я могу поклясться в этом. Ты соткан из нервов. Ты содрогаяешься от стука тарелок. Это увидит каждый врач. Пусть тебя здесь освидетельствуют; я пойду с тобой, я все скажу. Тебя наверняка освободят. Нужно сопротивляться, нужно напярчь волю, стиснуть зубы. Вспомни Жанно, твоего парижского друга; три месяца он был под наблюдением в сумасшедшем доме: они его измучили своим испытанием, но он держался, пока его не освободили. Нужно только показать, что не хочешь пойти. Нельзя уступать! Не о пустяках идет речь: не забудь, тут посягают на твою жизнь, свободу, на все. Тут нужно сопротивляться!

— Сопротивляться. Как можно сопротивляться? Они сильнее. Они сильнее всех, они сильнейшие в мире.

— Неправда! Они сильны, пока мир этого хочет. Человек сильнее отвлеченного понятия, но он должен только оставаться верным себе, своей собственной воле. У него должно быть сознание человеческого достоинства, которое он хочет сохранить, и тогда слова, которыми одурманивают теперь людей — отечество, долг, героизм — только пустые фразы, от которых пахнет кровью, теплой, живой, человеческой кровью. Будь искренен, разве отечество тебе так же дорого, как твоя жизнь? Провинция, меняющая своего сиятельного монарха, так же мила, как твоя правая рука, которой ты рисуешь? Верить ты в иную справедливость, чем та, невидимая, которую мы сами себе создаем кровью и духом? Нет, я знаю — нет. Ты солжешь самому себе, если захочешь пойти...

— Но я ведь не хочу...

— Не в том дело. Ты вообще не умеешь хотеть. Тебя заставляют хотеть, и в этом твоя вина. Ты приносишь себя в жертву

тому, что сам презираешь. Не лучше ли пожертвовать собой ради чего-нибудь более достойного? Жертвовать своей кровью ради собственной идеи — это я понимаю, но ради чужой... Фердинанд, не забывай, что, если у тебя хватит воли остаться свободным, они покажутся тебе лишь злобными дураками. Но если ты этого не захочешь, и они тебя схватят, ты сам окажешься в дураках. Ты мне всегда говорил...

— Да, я говорил, все говорил, болтал и болтал, чтобы подбодрить себя... Так дети в темном лесу поют от страха, желая заглушить его. Все это была ложь. Я это вижу теперь с ужасающей ясностью. Я знал, я все время знал, что, если они меня призовут, я пойду...

— Ты пойдешь? Фердинанд, Фердинанд!

— Нет, не я пойду! Не я! Что-то во мне заставляет, уже заставило пойти. Что-то встает во мне; как школьник перед учителем, я трепещу и повинуюсь. И вместе с тем я слушаю все, что ты говоришь, и знаю, что все это верно и справедливо, гуманно и необходимо, — это единственное, что я должен сделать, — я это знаю; знаю и то, что идти туда — низость. И все же я иду, что-то меня толкает. Можешь презирать меня! Я сам презираю себя! Но я не могу иначе, не могу.

Он стучал обоими кулаками по столу. В его взоре было что-то тупое, животное. Она боялась взглянуть на него, боялась, чтобы любовь к нему не перешла в презрение. На столе оставалось еще мясо, холодное, похожее на падаль, и хлеб, черный, смятый, словно отбросы. Чадный запах еды наполнял комнату. Ее охватило отвращение. Отвращение ко всему. Она открыла окно. Ворвалась струя свежего воздуха. Над ее слегка дрожащими плечами высилось голубое мартовское небо, и белые облака плыли поверх ее волос.

— Посмотри, — начала она спокойнее, — посмотри на эту даль. Только раз, умоляю тебя! Может быть, все, что я говорю, не совсем верно. Слова не всегда попадают в цель. Но то, что я вижу, это правда! Это не ложь! Там внизу идет крестьянин за плугом, он молод, он силен. Почему он не дает себя убивать? Потому что его страна не воюет. Потому что его поле располо-

жено на шесть полос дальше, и закон той страны на него не распространяется. Ты теперь находишься в этой же полосе, и закон тебя тоже не касается. Может ли быть справедливым тот невидимый закон, который распространяется до известной черты, а по другую сторону черты не имеет силы? Неужели ты не чувствуешь его бессмысленности, взирая на этот мир? Фердинанд, взгляни, как ясно небо над озером; эти краски, смотри, как они ждут, чтобы порадовать взор; подойди сюда к окну и повтори мне еще раз, что ты хочешь идти...

— Я не хочу, не хочу; ты это знаешь. Зачем мне любоваться всем этим? Я ведь знаю все, все, все! Ты мучаешь меня. Каждое твое слово причиняет мне страдание. И ничто, ничто, ничто не может мне помочь!

Она чувствовала, что его боль ослабляет ее волю. Сострадание сломило ее силу. Тихо повернулась она к нему.

— А когда... Фердинанд... когда... должен ты явиться в консульство?

— Завтра. Собственно говоря, я еще вчера должен был явиться, но письмо не дошло вовремя. Только сегодня они меня разыскали. Завтра надо пойти.

— А если ты завтра не пойдешь? Пусть они подождут. Здесь они тебе ничего не могут сделать. Нам нечего торопиться. Пусть подождут неделю. Я сообщу, что ты болен, что ты лежишь в постели. Мой брат тоже так поступил и выиграл на этом две недели. В крайнем случае, они не поверят и пришлют врача. С ним, может быть, можно будет договориться. Люди без мундира как будто человечнее. Если он взглянет на твои картины, он, может быть, поймет, что такому человеку не место на фронте. А если это не поможет, все же неделя будет выиграна.

Он молчал, и в этом молчании она чувствовала сопротивление.

— Фердинанд, обещай мне, что ты не пойдешь завтра. Пусть подождут. Нужно подготовиться. Ты теперь расстроен, и они могут сделать с тобой все, что захотят. Завтра они будут сильнее тебя. Через неделю ты, быть может, будешь сильнее

их. Подумай о чудесных днях, которые мы с тобой проведем, Фердинанд. Фердинанд, слышишь меня?

Она потянула его за рукав. Пустые зрачки глядели на нее, смысл ее речи не отразился в этом остановившемся растерянным взоре. Лишь поднявшиеся из неведомых глубин горе и страх отражались в нем. Постепенно он стал приходить в себя.

— Ты права, — сказал он наконец, — ты права. Не к спеху, что они могут мне сделать? Ты права. Завтра я, во всяком случае, не пойду. И послезавтра тоже. Ты права. Я мог не получить письма. Я мог быть на прогулке. Я могу быть больным. Да нет — я ведь расписался! Но это ничего не значит. Ты права. Нужно собраться с мыслями. Ты права.

Он встал и начал ходить взад и вперед по комнате.

— Ты права, ты права, — повторял он машинально, но в этих словах не было уверенности. — Ты права, ты права, — рассеянно и тупо повторял он все те же слова. Она знала, что мысли его далеко отсюда — там, за чертой, в роковом пространстве. Она не могла больше слышать этих слов «ты права», которые он повторял одними губами. Она тихо вышла. И долго еще слышала его равномерные шаги взад и вперед, точно шаги узника в тюремной камере.

Вечером он опять не дотронулся до еды. Что-то застывшее, рассеянное было в нем. Лишь ночью, рядом с ним, она почувствовала всю силу его страха; он прижимался к ее мягкому теплому телу, точно искал в нем поддержки, обнимал ее горячо и трепетно. Но она поняла: это — не любовь, это — мольба о спасении. Судорожные слезы ощутила она в его поцелуях, горькие и соленые. Он лежал безмолвно. Иногда стонал. Тогда она протягивала ему руку, и он хватался за нее, точно она могла удержать его здесь. Они не обмолвились ни словом; только заметив его слезы, она попыталась утешить его: «У тебя еще целая неделя впереди. Не думай об этом». Но ей стыдно стало советовать ему думать о другом; его холодные руки, неровное биение сердца — все твердило о том, что одна мысль внедрилась в него и владеет им. И не было чуда, которое бы избавило его от этого.

Никогда молчание и мрак не были так тягостны в этом доме. Холод и ужас всего мира застыли в его стенах. Только часы невозмутимо шли вперед, как часовой из стали, шаг за шагом, и она чувствовала, что с каждой секундой этот лежащий рядом с нею человек, живой и любимый, уходит от нее в незримую даль. Она не могла больше вынести этого, вскочила и остановила маятник. Время отступилось, остались только ужас и безмолвие. И оба бодрствовали молча до зари, один возле другого, и одна-единственная мысль волновала их душу.

\* \* \*

Было еще по-зимнему сумрачно; изморозь тяжелыми пластами ложилась на озеро, когда он встал, быстро оделся и нерешительно, неуверенно стал переходить из комнаты в комнату. Потом вдруг схватил пальто и шляпу и тихо открыл входную дверь. Впоследствии он часто вспоминал, как дрожала его рука, когда коснулась холодной задвижки, и как он смущенно оглядывался — не заметил ли его кто-нибудь. И действительно, как на вора, бросилась на него собака, но, узнав, радостно приласкалась и, виляя хвостом, стала проситься на прогулку. Но он отогнал ее рукой — говорить он не решался. И не отдавая себе отчета в своей поспешности, быстро спустился по тропинке. На минуту он остановился и оглянулся назад, на дом, постепенно исчезающий в тумане. Но его неудержимо тянуло вперед, он бежал, спотыкаясь о камни, как будто кто-то гнался за ним. Он остановился только на вокзале, задыхаясь от жары, с каплями пота на лбу.

Там стояло несколько крестьян; узнав его, они поклонились и, видимо, не прочь были побеседовать с ним, но он уклонился. Страх охватил его при мысли вступить в разговор с кем-нибудь. А вместе с тем тоска ожидания на мокром перроне причиняла ему боль. Не зная, чем заняться, он стал на весы, опустил монету, увидел в зеркальце над стрелками бледное потное лицо, и, лишь когда сошел с весов, и в автомате звякнула монета, он вспомнил, что забыл посмотреть на стрелку, ука-

зывающую вес. «Я с ума сошел, совсем сошел с ума», — про- бормотал он тихо. Ужас пред самим собой охватил его. Он сел на скамейку, пытаясь заставить себя обдумать все. Но раздался сигнал, и он вскочил с места. Вдали послышался свисток паровоза. Примчался поезд, он бросился в купе. Грязная газета валялась на полу. Он поднял ее, уставился на лист, не понимая текста и наблюдая лишь, как все сильнее и сильнее дрожат его руки.

Поезд остановился. Цюрих. Он вышел, шатаясь, из вагона. Он знал, куда его тянет, и чувствовал, как все ослабевает и ослабевает его сопротивление. Он попробовал испытать свою выдержку: остановился перед афишей, прочел ее сверху донизу, чтобы доказать, что имеет еще власть над собой. «Мне ведь торопиться некуда», — сказал он шепотом, но слова еще не успели слететь с его бормочущих уст, а уж он мчался дальше. Как какой-то двигатель, дрожало в нем жгучее возбуждение, толчками гнавшее его вперед. Беспомощно он оглянулся вокруг в поисках автомобиля. Ноги дрожали. Вот приблизился один. Он подозвал его и, как самоубийца в реку, бросился на мягкие подушки. Он назвал улицу, где помещалось кон- сультство.

Автомобиль загудел. Он откинулся назад, закрыв глаза. Ему казалось, что он несется в пропасть, и вместе с тем он наслаждался скоростью, с которой машина несла его навстре- чу судьбе. Ему приятны были бездействие и покорность. Авто- мобиль остановился. Он выскочил, заплатил, вошел в лифт, вновь ощущая блаженное чувство механического движения и подъема. Словно не он сам все это проделывал, а та, принуж- давшая его, неведомая, незримая, могучая сила.

Дверь консульства была закрыта. Он позвонил. Ответа не было. Его охватило страстное желание вернуться назад, вы- скочить, спуститься с лестницы. Но он позвонил вторично. Послышались чьи-то шаги. Служитель долго возился с дверью и вышел, наконец, без сюртука, с пыльной тряпкой в руке. Очевидно, он прибирал канцелярию.

— Что нужно?.. — спросил он грубо.

— В консульстве... мне... мне назначено, — заикаясь, проговорил он.

Стыд снова охватил его.

Тот отвернулся нагло и рассерженно:

— Разве не могли вы прочесть внизу на доске: «Прием от десяти до двенадцати»? Теперь никого нет. — И, не ожидая ответа, захлопнул дверь.

Фердинанд стоял, уничтоженный. Безграничный стыд наполнял его душу. Он посмотрел на часы. Было десять минут восьмого.

— С ума сошел! С ума сошел! — бормотал он. И, с дрожью в ногах, как старик, спустился с лестницы.

\* \* \*

Два с половиной часа — невыносимым показался ему этот мертвый срок; он чувствовал, как с каждой минутой покидает его самообладание. Сейчас он напряжен и готов, все обдумал, каждое слово поставил на свое место, мысленно подготовил всю сцену, и вдруг опустилась между ним и его готовностью двухчасовая железная завеса. С ужасом заметил он, как угасает в нем решимость, как блекнут в памяти слова, нагромождая друг на друга, сталкиваясь и торопливо исчезая.

Он представлял себе все дело так: он придет в консульство, велит доложить о себе чиновнику по военным делам, который был ему немного знаком. Он однажды встретился с ним где-то и вел ничего не значащую беседу. Однако он раскусил его — это был аристократ, элегантный, светский, гордый своей обходительностью, любящий великодушничать и старающийся не казаться чиновником. Этим честолюбием все ведь они отличаются: хотят прослыть дипломатами, независимыми людьми. На этой струнке он думал сыграть, он предполагал велеть доложить о себе, поговорить прежде всего, в любезных светских тонах, на общие темы, спросить о здоровье супруги. Чиновник, вероятно, попросит его сесть и предложит папиросу, и, наконец, когда он замолчит, чиновник обратится к нему с вопросом: «Чем могу быть вам полезен?» Чиновник обязатель-



но должен обратиться к нему с вопросом, это очень важно. А он ответит холодно и равнодушно: «Я получил какую-то бумагу, меня приглашают приехать в М. для врачебного освидетельствования. Я полагаю, здесь кроется какое-то недоразумение, я в свое время был освидетельствован и признан негодным к военной службе». Совершенно равнодушно он должен это сказать, чтобы сразу было видно, что на всю эту историю смотрит, как на пустяк. Чиновник, спокойную манеру которого он знал, возьмет в руки бумагу и объяснит, что речь идет тут о вторичном освидетельствовании, что он давно должен был прочесть об этом в газетах, что освобожденные в свое время должны теперь снова явиться. На это он опять равнодушно, пожимая плечами, скажет: «Ах, так я газет не читаю, мне некогда. У меня работа». Из этого тот, другой, должен понять, как безразлична ему вся эта война, каким независимым и свободным он себя чувствует. Конечно, чиновник тут же объяснит ему, что он должен подчиниться приказу, что он очень сожалеет, но военное ведомство... и так далее... Тут-то и наступит момент, когда ему придется продемонстрировать всю свою энергию. «Я понимаю, — скажет он, — но я не имею возможности прервать свою работу. Я дал согласие на организацию выставки моих картин и не могу подвести человека. Я дал ему слово». И он предполагал предложить чиновнику или продлить ему срок, или дать возможность подвергнуться переосвидетельствованию здесь.

До сих пор все было совершенно ясно. И только теперь стало появляться сомнение. Чиновник мог попросту согласиться, и тогда было бы, во всяком случае, выиграно время. Но если бы он вежливо — с той холодной, уклончивой и ставшей вдруг чиновничьей вежливостью — стал ему объяснять, что это вне его компетенции и недопустимо, тогда надо со всей решимостью встать, подойти к столу и твердым голосом, с непоколебимой стойкостью, сказать: «Я принимаю это к сведению, но прошу отметить официально, что в силу денежных обязательств я не в состоянии явиться на призыв и откладываю свою явку, на свой страх и риск, на три недели, пока не выполню

своего нравственного долга. Я, конечно, и мысли не допускаю, чтобы уклониться от долга по отношению к родине». Он особенно гордился этими с трудом придуманными фразами: «Отметить официально», «денежные обязательства», — это звучит так деловито и ведомственно. Если бы чиновник обратил его внимание на юридические последствия, можно было бы закончить еще более решительно, заметив: «Мне известен и закон, и все его последствия. Но данное мною слово для меня высший закон, и, чтобы сдержать его, я должен пойти навстречу всяческим трудностям». Быстро откланяться, положив этим конец разговору, и направиться к двери! «Я должен показать, что я не мастеровой и не мальчишка, ждущий, пока ему скажут, что он может идти, и что я сам знаю, когда разговор окончен».

Трижды повторил он про себя, прогуливаясь взад и вперед, эту сцену. Все построение, весь тон ему чрезвычайно нравились, он с нетерпением ждал срока, как актер своей реплики. Только одно место не очень ему нравилось: «Я и мысли не допускаю, чтобы уклониться от долга по отношению к родине». Необходимо было, конечно, вставить в разговор какую-нибудь патриотическую фразу, необходимо, чтобы там видели, что он не уклоняется, но и не особенно стремится; что он признает — конечно, только перед ними, а не перед собой — эту необходимость. «Долг перед родиной» — это выражение слишком книжное, слишком затасканное. Он подумал. Лучше, может быть: «Я знаю, что родина во мне нуждается». Нет, это еще смешнее. Лучше так: «Я не собираюсь пренебречь зовом родины». Это уже лучше. Но все же и это не вполне ему понравилось. Слишком услужливо, поклон на несколько сантиметров ниже, чем следует. Он снова задумался. Лучше совсем просто: «Я знаю свой долг», — да, это правильно, это можно повернуть в любую сторону, понять как угодно. И звучит коротко и ясно. Можно произнести чрезвычайно решительно: «Я знаю свой долг», — почти как угрозу. Теперь все в порядке. Он опять, нервничая, посмотрел на часы. Время не хотело двигаться. Было только восемь часов.

Он топтался на улице, не зная, куда деваться. Зашел в кафе, попробовал почитать газету. Но почувствовал, что слова мешают ему: там тоже все время упоминалась родина и долг; эти фразы путали весь его план. Он выпил рюмку коньяку, потом вторую, чтобы освободиться от горечи в горле. Судорожно размышлял он, как провести время, и снова стал собирать крохи предстоящего воображаемого разговора. Вдруг он коснулся своей щеки: «Не брит, ведь я не брит!»

Он побежал к парикмахеру напротив, вымыл голову, постригся, это отняло еще полчаса. Потом ему пришло в голову, что следует быть элегантным. Это важно. Они только с бедняками обращаются надменно, на них они накидываются; но если явиться элегантно одетым, светски беззаботным, они заговорят другим тоном. Эта мысль почти опьянила его. Он дал почистить себе сюртук, купил перчатки. Выбирая их, он долго размышлял. Желтые выглядели вызывающе, франтовато; светло-серые — это произведет, пожалуй, впечатление. Потом он опять стал бродить по улице. Перед зеркалом портного окинул себя взглядом, поправил галстук. У него ничего не было в руках; ему пришло в голову купить трость, это придаст визиту характер случайности, безразличия. Быстро он побежал и выбрал себе палку. Когда он вышел из магазина, башенные часы пробили три четверти десятого. Еще раз он повторил урок. Великолепно. Новая редакция: «Я знаю свой долг» — казалась ему самым сильным местом. Уверенно, твердо ступая, направился он к консульству и легко, словно мальчик, взбежал по лестнице.

Минуту спустя, как только служитель открыл дверь, его охватил уже внезапный страх: не окажется ли его расчет ошибочным? Все было не так, как он ожидал. Когда он спросил чиновника, ему ответили, что господин секретарь занят, придется подождать. И не слишком вежливо указали на стул в ряду, где уже сидели трое с озабоченными лицами. Нехотя уселся он и с ненавистью ощутил, что здесь он вещь, дело, случай. Соседи делились друг с другом своими маленькими горестями; один из них плачущим и разбитым голосом расска-

звал, что он был интернирован во Франции в течение двух лет и что его не хотят ссудить деньгами на проезд домой, другой жаловался, что ему никто не хочет помочь получить службу и что у него трое детей. Фердинанд содрогался от злости; его, оказывается, посадили на скамью просителей; он заметил, что подавленный и вместе с тем раздражительный тон этих жалких людей нервирует его. Он хотел еще раз продумать план разговора, но глупая болтовня не давала ему возможности собраться с мыслями. Охотнее всего он крикнул бы им: «Молчать, сброд вы этакий!», или вынул бы деньги, чтобы отослать их домой, но воля его была парализована, и он сидел рядом с ними, со шляпой в руках, как и все они. К тому же его смущало постоянное движение взад и вперед людей, то открывавших, то закрывавших дверь, он опасался, что кто-нибудь из знакомых увидит его здесь, среди просителей; он вскакивал, готовый выйти каждый раз, когда открывалась дверь, и снова разочарованно садился. Ему становилось все яснее, что он должен уйти, быстро бежать, пока энергия не оставила его окончательно. Он собрался, наконец, с силами и сказал служителю, стоявшему рядом с ним, точно караульный:

— Я лучше завтра зайду.

Но служитель успокоил его: «Господин секретарь сейчас освободится», — и он снова ощутил дрожь в коленях. Он здесь в плену, и не могло быть речи о сопротивлении.

Наконец послышался шелест платья, прошла, улыбаясь и окинув ожидающих взором превосходства, какая-то кокетливая дама, и служитель крикнул: «Господин секретарь принимает».

Фердинанд встал, слишком поздно он заметил, что забыл трость и перчатки на окне, но вернуться за ними он не мог — дверь уже открылась, и со взором, полуустремленным назад, смущенный чисто внешними мыслями, он вошел. Чиновник сидел, читая, за письменным столом, мельком взглянул на него, кивнул головой, не приглашая сесть, и улыбнулся с холодной вежливостью:

— А, наш *magister artium*! Сейчас, сейчас! — Он поднялся

и крикнул в соседнюю комнату: — Пожалуйста, дело Фердинанда Р., третьего дня исполнено, вы помните: приказ о явке, — и продолжал, садясь: — И вы нас покидаете! Надеюсь, вы, по крайней мере, хорошо провели время здесь, в Швейцарии. Вы прекрасно выглядите, — и бегло, просматривая принесенное писарем дело, проговорил: — Явка в М... да... да... верно... все в порядке... я уже велел приготовить бумаги... возмещения путевых издержек вы, вероятно, не требуете?

Фердинанд, растерянный, услышал, как прошептали его губы:

— Нет... нет.

Чиновник подписал бумагу и подал ему.

— Собственно говоря, вы должны бы завтра уже уехать, но я думаю, это не так страшно. Дайте спокойно подсохнуть краскам на последней картине. Если вам нужен еще день-другой для приведения дел в порядок, я беру ответственность на себя. Отечество не пострадает от этого.

Фердинанд почувствовал, что это шутка, и что ему следует улыбнуться, и с ужасом заметил, что действительно его губы вежливо искривились. «Необходимо что-нибудь сказать, я должен ответить, — подсказывал ему внутренний голос, — только не стоять, как пень», — и, наконец, у него вырвалось:

— Приказа о явке достаточно... мне не нужен... паспорт?

— Нет, нет, — улыбнулся чиновник, — у вас не будет никаких затруднений на границе. Впрочем, о вас уже дано знать. Итак, счастливого пути!

Он протянул ему руку. Фердинанд понял, что должен уйти. У него потемнело в глазах, быстро он направился к двери, отвращение душило его. «Направо, пожалуйста, направо», — сказал голос за его спиной: он ошибся дверью, и чиновник с легкой улыбкой, как показалось его затуманенному сознанию, открыл ему дверь.

— Спасибо, спасибо... пожалуйста, не беспокойтесь, — проговорил он, возмущаясь своей излишней вежливостью.

За дверью, когда служитель подавал ему перчатки и трость, он вспомнил: «Денежные обязательства... отметить офици-

ально». Никогда в жизни ему не было еще так стыдно: а ведь он его еще поблагодарил, вежливо поблагодарил!.. Но в нем уже не было измущения. Бледный спустился он с лестницы, и ему казалось, что это не он спускается. Могучая сила, чужая, безжалостная, руководила им, та сила, которая покорила весь мир.

Поздно вечером вернулся он домой. Ноги подкашивались, несколько часов он бродил бесцельно и трижды уходил от собственных дверей; наконец он попытался пробраться в дом задним ходом через виноградники, по скрытой дорожке. Но верный пес заметил его. С неистовым лаем подскочил он и стал ласкаться. У дверей стояла жена, и с первого взгляда он заметил, что она догадалась обо всем. Безмолвно он последовал за ней, стыд угнетал его.

Но она не была жестока. Она не смотрела на него, старалась не мучить его. Поставила на стол холодное мясо и, когда он послушно сел к столу, подошла к нему.

— Фердинанд, — начала она дрожащим голосом, — ты болен. С тобой теперь нельзя говорить. Я не буду тебя упрекать, ты действуешь теперь не по собственному побуждению, и я чувствую, как ты страдаешь. Но обещаю тебе, что ты ничего не предпримешь в этом деле, не посоветовавшись со мной.

Он молчал. Ее голос зазвучал взволнованно:

— Я никогда не вмешивалась в твои личные дела, я гордилась тем, что предоставляла тебе полную свободу в принятии решений. Но теперь речь идет не только о твоей жизни, но и о моей. Нам годы нужны были для создания нашего счастья, и я ими не пожертвую так легко, как ты, ни государству, ни войне, ни твоему тщеславию, ни твоей слабости. Никому, слышишь, никому! Если ты бессилен перед ними, я сильна. Я знаю, к чему это клонится, и я не уступлю.

Он все еще молчал, и это рабское виноватое молчание озлобляло ее.

— Я не уступлю этому клочку бумаги, я не признаю закона, который требует убийства. Я не дам его слугам согнуть себя в бараний рог. Вы, мужчины, все теперь заражены идеологией,

политикой, этикой; мы, женщины, чувствуем еще по-прежнему. Я знаю, что такое родина, но понимаю, во что она обратилась в наши дни: в средоточие убийства и рабства. Можно чувствовать себя частицей своего народа, но если этот народ охвачен безумием, не следует безумствовать с ним вместе. Если для них ты уже стал числом, номером, орудием, пушечным мясом, то я еще вижу в тебе живого человека, и я тебя им не уступлю. Я не отдам тебя. Никогда я не осмеливалась тобой распоряжаться, но теперь я считаю своим долгом защитить тебя; до сих пор ты был разумным, зрелым человеком с твердой волей, теперь, окончательно потеряв волю, ты обратился в негодную, поломанную машину долга, подобно миллионам других жертв. Они завладели твоими нервами, но забыли обо мне; никогда я не была так сильна, как теперь.

Он молчал, погруженный в свои мысли. В нем не было сил для борьбы ни с ними, ни с ней.

Она выпрямилась, словно готовясь к битве. Ее голос звучал резко, напряженно:

— Что сказали тебе в консульстве? Я хочу знать.

В этих словах звучал вызов. Усталый, он вынул листок и подал ей. Сдвинув брови, стиснув зубы, она прочитала его, потом презрительно бросила на стол.

— Однако, как они торопятся, эти господа! Уже завтра! И ты, вероятно, поблагодарил их, почтительно расшаркался перед ними. «Завтра явиться». Явиться! Вернее сказать, обратиться в раба. Нет, до этого мы еще не дошли! Еще не дошли!

Фердинанд встал. Он был бледен, и его рука судорожно схватилась за кресло.

— Паула, не будем себя обманывать. Мы дошли до этого! Себя не переделаешь. Я пробовал сопротивляться. Ничего не вышло. Этот лист — это я сам. Если я его порву, я все же останусь в его власти. Не мучь меня. Все равно я бы не чувствовал себя свободным здесь. Каждый час я бы помнил, что меня призывают, хватают, тянут, тормозят. Там мне будет легче; даже в темнице можно чувствовать себя свободным. Беглец лишен чувства свободы. И почему же допускать самое

худшее? Они меня признали негодным в первый раз, может быть, признают негодным и теперь? Может быть, они не дадут мне ружья в руки? Я даже уверен, что мне дадут какую-нибудь легкую службу. Зачем же допускать самое страшное? Может быть, это вовсе не так опасно, может быть, на мою долю выпадет легкий жребий?

Она оставалась неумолимой.

— Не об этом теперь речь, Фердинанд. Не о том, дадут ли они тебе легкую или тяжелую службу. Должен ли ты служить тому, что ты презираешь, должен ли принять участие в самом ужасном преступлении мира? Кто не сопротивляется, тот делается соучастником. А ты можешь сопротивляться, ты должен это сделать.

— Могу? Ничего я не могу! Ничего я больше не могу! Все, что мне давало силу, мое отвращение, моя ненависть, мое возмущение против этого безумия, все это меня теперь угнетает. Не мучь меня, прошу, не мучь меня, не говори мне всего этого.

— Не я говорю. Ты сам должен себе сказать, что они не имеют права посягать на жизнь человека.

— Право! Право! Разве на свете существует теперь право? Люди убили его. Каждый в отдельности может иметь право, но у них, у них — власть, и это теперь все.

— Кто им дал эту власть? Вы. Власть у них, пока вы остаетесь трусами. Все то, что наполняет теперь ужасом человечество, держится в каждой стране волей десятка людей, и десятков других людей может положить этому конец. Один человек, один-единственный живой человек, не признающий их, может уничтожить эту власть. Но до тех пор, пока вы гнете свои спины и говорите: «Может быть, мне повезет», — пока вы юлите и хотите проскользнуть, вместо того чтобы нанести удар прямо в сердце, до тех пор вы рабы и лучшей участи не заслуживаете. Нельзя прятаться и сохранять при этом достоинство мужчины, нужно сказать «нет», это теперь единственный ваш долг; но не в том, чтобы дать себя заколоть.

— Но, Паула... ты допускаешь... чтобы я...



— Сказал «нет», если твой внутренний голос диктует тебе это. Ты знаешь, я люблю твою жизнь, люблю твою свободу, люблю твою работу. И если ты мне сегодня скажешь: «Я должен идти с оружием в руках защищать правое дело», я отвечу: «Иди!» Но если ты идешь в угоду лжи, в которую сам не веришь, идешь лишь по слабости и расшатанности нервов, в надежде проскользнуть, я скажу: «Я презираю тебя, да, презираю!» Если ты хочешь пойти, как достойный человек, бороться за человечество, в которое ты веришь, я тебя не удерживаю. Но пойти, чтобы быть зверем между зверями, рабом между рабами, этого я не допущу. Можно пожертвовать собой за идею, но не за безумие других. Пусть умирают за родину те, кто в нее верит...

— Паула! — невольно воскликнул он.

— Неужели моя речь слишком свободна? Неужели ты уже чувствуешь за спиной палку дисциплины? Не бойся. Ты ведь еще в Швейцарии. Ты бы хотел, чтобы я молчала или сказала тебе, что с тобой ничего не случится. Но теперь не время сентиментальничать. Теперь все поставлено на карту: и твоя и моя жизнь.

— Паула, — снова попытался он прервать ее.

— Нет у меня больше жалости к тебе. Я избрала и любила тебя, как свободного человека. Но я презираю слабовольных, лгущих себе самим. Кого мне жалеть? Что я тебе? Фельдфельд чиркнул бумажку, и ты готов меня бросить и побежать на его зов. Но я не позволю тебе бросить меня и потом снова вернуться, решай теперь: они или я. Презрение к ним или ко мне. Я сознаю, много нам придется с тобой перенести, я никогда больше не увижу ни своих родителей, ни сестер, ни братьев, обратный путь нам закрыт, но я готова пойти на это, если ты останешься со мной. Но если ты теперь со мной порвешь, то это — навсегда.

Стон вырвался из его груди. Но она пылала в неудержимом гневе.

— Я или он! Иного выбора быть не может. Фердинанд, опомнись, пока еще есть время. Я часто горевала, что у нас нет

ребенка, теперь я этому рада. Я не хочу иметь ребенка от слабовольного человека, не желаю воспитывать сирот «военного времени». Никогда ты не был мне так близок, как в этот час, когда я причиняю тебе боль. Но я говорю: разлуки на время быть не может. Мы простимся с тобой навсегда. Если ты меня покидаешь, чтобы вступить в ряды этих убийц в мундирах, то возврата не будет. Я не желаю быть сообщницей преступников, я не уступлю живого человека этому вампирогосударству. Он или я — выбирай.

Паула ушла, хлопнув дверью. Он содрогнулся от резкого толчка. Потом опустился на стул и потупился беспомощно. Голова устало упала на сжатые в кулаки руки. И наконец, вырвалось из его груди рыдание; он плакал, как дитя.

\* \* \*

После обеда она не входила в комнату, но он чувствовал, что за дверью стоит ее непреклонная воля, враждебная и сопротивляющаяся. В то же время он ощущал в своей груди ту, другую волю, толкавшую его вперед подобно стальной шестерне. Минутами он пытался дать себе во всем отчет, но мысли ускользали, и, пока он сидел неподвижно, словно в раздумье, остаток его самообладания превратился в жгучее нервное возбуждение. Как будто сверхъестественные силы схватили с двух концов нить его жизни, и было в нем лишь одно желанье: чтобы она разорвалась наконец.

Желая рассеяться, он стал разбирать свои ящики, рвал письма, прочитывал иные, не понимая ни слова, шагал по комнате, опять садился, гонимый то беспокойством, то усталостью. И вдруг поймал себя на том, что складывает самые необходимые вещи в дорогу, вытащив из-под дивана мешок; он пристально глядел на собственные руки, которые все это продельвали вполне рационально, без участия его воли. Он вздрогнул, заметив стоявший на столе упакованный мешок, ему казалось, что он чувствует его тяжесть на своих плечах и вместе с нею весь гнет современности.

Дверь открылась. Вошла жена с керосиновой лампой в руке

и поставила ее на стол; в круг дрожащего света попал приготовленный им мешок. В резком освещении встал из мрака скрытый позор его. Он пробормотал: «Это так, на всякий случай... у меня есть еще время... я...» — но неподвижный, каменный, что-то укрывающий взор оболочек его слова и смял их.

Несколько минут она пристально глядела на него, ожесточенно сжав губы. Неподвижно и слегка шатаясь, как перед обмороком, она впиалась в него глазами. Напряженная складка вокруг губ разгладилась. Но она отвернулась, плечи ее дрогнули, и, не оглядываясь, она ушла.

Через несколько минут пришла служанка и принесла ужин для него одного. Место рядом с ним оставалось пустым, и когда он, полный недоумения, посмотрел в ту сторону, — жестоким символом расположился в ее кресле вещевой мешок. Ему показалось, что его уже нет, что он ушел, умер для этого дома: мрачны были стены за пределами светлого круга от лампы, а во дворе, в мерцании чужих огней, нависла колеблемая ветром южная ночь. Все вокруг было объято тишиной... Бесконечное небо высилось над низкой землей и усиливало одиночество. Он чувствовал, как звено за звеном отпадает все окружающее — дом, окрестности, работа, жена; его широко раскинувшаяся жизнь вдруг сжалась и тяжестью налегла на сердце. Тоска по любви, по доброму, ласковому слову охватила его. Он готов был уступить всем доводам, лишь бы вернуться как-нибудь к прошлому. Глубокая грусть взяла верх над трепетом тревоги, и великое чувство разлуки поблекло перед детской жадой хоть какой-нибудь ласки.

Он подошел к двери, коснулся ручки. Она не подалась. Дверь была заперта. Он робко постучал. Ему не ответили. Он постучал еще раз, сердце стучало в унисон. Полная тишина. Он понял теперь: все проиграно. Холод пронизал его. Он потушил свет, бросился, одетый, на диван, закутался в одеяло: он жаждал мрака, забвения. Потом еще раз прислушался. Ему слышались чьи-то шаги. Напряженно всмотрелся он в дверь. Она оставалась неподвижной. Ничего. Голова опять поникла безнадежно.

Вдруг он почувствовал снизу тихое прикосновение. Испуганно вскочил, но сейчас же успокоился, глубоко тронутый. Собака, проскользнувшая в дом вместе со служанкой и лежавшая под диваном, прижималась к нему и теплым языком лизала ему руку. Бессознательная любовь животного наполнила теплом его душу: ведь эта любовь пришла из отмиравшего уже мира, была последним приветом его прошлой жизни. Он нагнулся и обнял собаку, как человека. «Кто-то на земле еще сохранил ко мне привязанность, не презирает меня, — думал он, — для нее и я еще не машина, не орудие убийства, не податливое, безвольное существо, а человек, сроднившийся с нею чувством привязанности». Он не переставая гладил ее мягкую шерсть. Собака прижималась все ближе, как будто знала, как он одинок; оба дышали тихо, постепенно погружаясь в сон.

\* \* \*

Проснувшись, он почувствовал себя лучше; за окном сияло ясное утро; южный ветер разогнал завесу мрака со всего окружающего, и над озером белой каймой заблестела цепь далеких гор. Фердинанд вскочил, еще во власти сна, и очнулся окончательно, лишь увидев завязанный мешок. Сразу все прежние мысли нахлынули на него, но при свете дня они казались легкими.

«Зачем только я все уложил? — спросил он себя. — Зачем? Ведь я не собираюсь ехать. Весна приближается. Я хочу рисовать. Ведь это не к спеху. Он сам сказал, что дело терпит. Даже животное и то не торопится на бойню. Жена права: это преступление по отношению к ней, ко мне, ко всем. Что они могут со мной сделать? Несколько недель ареста, быть может, если я опоздаю, но разве служба не та же тюрьма? Я не обладаю гражданским рвением, я считаю заслугой быть непослушным в это рабское время. Я и не думаю уезжать. Я остаюсь. Я напишу сначала ландшафт, где я был счастлив. И пока картина не будет висеть в рамке, я не поеду. Я не дам себя загнать, как корову. Мне некуда торопиться».

Он взял мешок, высоко поднял его и бросил в угол. Ему приятно было ощутить при этом свою энергию. Обновленная сила требовала проявления воли. Он вынул из бумажника документ, чтобы порвать его.

Но удивительно: военные слова снова, волшебным образом, обрели власть над ним. Он начал читать: «Вы приглашаетесь...», — и у него захватило дух. Это было приказание, не допускавшее противоречий. Ноги подкашивались. Снова поднялось в нем это неведомое чувство. Руки дрожали. Сила улетучилась. Откуда-то повеяло холодом, как при сквозняке; родилось беспокойство, стальной механизм чужой воли снова пришел в движение, надсаживая все его нервы, отдаваясь во всем теле. Невольно он посмотрел на часы.

— Еще есть время, — пробормотал он, уже не понимая, к чему относятся эти слова, к утреннему ли поезду на границу или к разрешенной себе отсрочке. Она уже владела им, эта таинственная, внутренняя тяга, подобная все уносящему отливу, овладела сильнее прежнего, грозя сломить последнее сопротивление; и вместе с тем он ощутил страх, какой-то беспомощный страх перед падением. Он знал: если его никто теперь не удержит, он погиб.

Он пробрался к двери жены и жадно прислушался. Ни малейшего движения. Робко постучал. Молчание. Осторожно надавил на ручку. Дверь была открыта, но комната пуста, пуста и неубранная постель. Он испугался. Тихо произнес ее имя, никто не отозвался; он повторил, обеспокоенный:

— Паула! — и потом громко, все громче, словно человек, подвергшийся нападению: — Паула! Паула! Паула!

Никто не шевелился. Он добрался до кухни. Она была пуста. Ужас растерянности наполнял его внутренней дрожью. Он поднялся в студию, не зная зачем: проститься или дать себя удержать. Но и тут никого не было, и даже верная собака куда-то пропала. Все покинули его. Снова яростно охватило его одиночество и сломило последние силы.

Он пошел обратно через пустой дом в свою комнату, схватил мешок. Он почувствовал какое-то облегчение, уступая

принуждению. «Ее вина, — подумал он, — только ее. Зачем она ушла? Она должна была удержать меня, это был ее долг. Она могла меня спасти от меня самого, но не захотела. Она презирает меня. Ее любовь прошла. Она хочет, чтоб я пал, и я падаю. Кровь моя падет на ее голову. Ее вина, не моя! Ее!»

Еще раз, выходя из дома, он обернулся, не позовет ли кто-нибудь, не услышит ли он ласкового слова, не разобьет ли в нем кто кулаками эту железную машину покорности. Тишина. Никто не позвал. Никто не показался. Все покинули его, и он уже видел себя падающим в бездонную пропасть. И ему пришла мысль: не лучше ли сделать еще десять шагов к озеру и с моста броситься туда, где вечный мир.

Тяжкий бой часов раздался с церковной башни. С ясного неба, когда-то несказанно любимого, упал этот резкий призыв и поднял его, как ударом кнута. Осталось еще десять минут: поезд примчится, и все будет кончено, безвозвратно, навеки. Еще десять минут свободы. Но он уже не чувствовал себя свободным; как от погони, бросился он вперед; шатаясь, спотыкаясь, задыхаясь, бежал все быстрее и быстрее, пока почти у самого перрона не столкнулся с кем-то, стоявшим у барьера. Он испугался. Мешок выскользнул из дрожащей руки. Перед ним стояла жена, бледная от бессонной ночи, устремив на него полный печали взор.

— Я знала, что ты придешь. Я знаю уже три дня. Но я и не думаю тебя покинуть. С раннего утра я здесь жду — с первого поезда, и буду ждать до последнего. Пока я дышу, они тебя не возьмут. Фердинанд, опомнись! Ты ведь сам сказал, что есть еще время, почему же ты так спешишь?

Он робко посмотрел на нее.

— Потому что... обо мне уже дано знать... они меня ждут.

— Что ждет тебя? Рабство и, может быть, смерть, больше никто. Проснись, Фердинанд, ощути свою свободу! Никто не властен над тобой, никто не смеет тебе приказывать! Ты слышишь, ты свободен, свободен, свободен! Я тебе буду повторять это тысячи раз, каждый час, каждую минуту, пока ты этого не почувствуешь сам. Ты свободен, свободен, свободен!

— Пожалуйста, — сказал он тихо, так как два проходивших крестьянина с любопытством оглянулись, — не говори так громко. Люди уже обращают на нас внимание...

— Люди! Люди! — кричала она гневно. — Какое мне дело до них? Чем они мне помогут, если тебя убьют или ты притащишься инвалидом? Плевать мне на них — на их сострадание, на любовь и благодарность — я хочу тебя видеть свободным, живым человеком. Свободным хочу тебя видеть, свободным, как подобает человеку, а не пушечным мясом...

— Паула! — он пытался успокоить обезумевшую женщину. Она оттолкнула его.

— Оставь меня со своим жалким глупым страхом. Я в свободной стране, я могу высказать все, что думаю, я не раба и не отдам тебя в рабство. Фердинанд, если ты уедешь, я брошусь под поезд...

— Паула! — Он схватил ее за руку. Но ее лицо омрачилось.

— Нет, — продолжала она, — я не хочу лгать. Может быть, и у меня не хватит смелости. Миллионы женщин не осмелились сделать то, что они обязаны были сделать, когда увозили их мужей и их сыновей. Что я стану делать, когда ты уедешь? Хныкать, реветь, бегать в церковь и просить Бога, чтобы тебе досталась легкая служба. И я, может быть, буду даже осуждать тех, кто не пошел. Все возможно в наше время.

— Паула, — он сжал ее руки, — зачем ты причиняешь мне столько боли, когда тут ничего нельзя поделать?

— Ты хочешь, чтобы я тебе облегчила твой уход? Нет, пусть тебе будет тяжело, невыносимо тяжело, так тяжело, чтобы стало невозможно. Вот я здесь стою: силой меня столкни, кулаками, растопчи ногами. Я тебя не отпущу!

Дали сигнал. Он встрепенулся, бледный, взволнованный, потянулся к мешку. Но она схватила мешок раньше него и стала поперек дороги.

— Отдай! — простонал он.

— Никогда! Никогда! — кричала она, вступая с ним в борьбу.

Крестьяне собрались вокруг и хохотали. Посыпались вызы-

вающие, насмешливые возгласы, дети бросили свои игры и прибежали посмотреть. Но они боролись из-за мешка со всей силой озлобления, точно их жизнь была поставлена на карту.

В этот миг раздался свисток паровоза. Он выпустил из рук мешок, побежал по направлению к поезду, безумно торопясь, не оглядываясь, спотыкаясь о рельсы, и бросился в вагон. Громкий смех поднялся вокруг, крестьяне шумно выражали свою радость. Крики: «Беги скорее, прыгай, прыгай, не то она тебя догонит!» — провожали его, трескучий смех хлестал и вгонял в краску. Поезд умчался.

Она стояла, крепко сжимая мешок, осыпаемая насмешками, и пристально глядела вслед поезду, который, ускоряя ход, быстро исчез из вида. Ни прощания, ни привета не дождалась она из окна вагона. Слезы хлынули из ее глаз и заволокли взор.

\* \* \*

Он сидел, забившись в угол, не осмеливаясь даже бросить взгляд в окно быстро мчавшегося поезда. Там, за окном, пролетало, разорванное в клочья, все, что было ему дорого: домик на холме с его картинами, стол, стул и кровать, жена, собака, счастье многих и многих дней. И ландшафт, блестящей ширью которого наслаждался его взор, был отброшен назад, а с ним его свобода и вся его жизнь. Ему казалось, что нити жизни порваны, ничто не принадлежит ему, кроме этого белого листка, этого шуршащего в кармане листка, с которым вместе мчится он, гонимый велением злой судьбы.

Смутно и сбивчиво ощущал он все происходившее. Кондуктор потребовал билет, но у него не оказалось; точно во сне, назвал он нужную станцию, машинально пересел в другой поезд: внутренний механизм все совершал без его участия, и это уже не причиняло ему никакой боли. На швейцарской границе потребовали его бумаги. Он предъявил: у него остался только этот ничтожный листок. Воспоминание о чем-то потерянном тихо шевельнулось в нем, и голос из глубины, точно в сновидении, шепнул: «Вернись! Ты еще свободен! Ты не обя-



зан идти». Но механизм в крови, безмолвно, но властно подчинивший себе и нервы и тело, неумолимо толкал его вперед, повторяя: «Ты должен».

\* \* \*

Он стоял на перроне станции, пограничной с его родиной. На той стороне, в бледном свете дня, явственно виднелся переброшенный через реку мост: граница. Его усталая мысль пыталась сосредоточиться на этом слове: по эту сторону можно еще жить, дышать, свободно высказываться, проявлять волю, служить серьезному делу, а в восьмистах шагах от моста воля у человека вырывается, как у животного внутренности, надо слепо подчиняться чужим людям, вонзая нож в чужую грудь. И только этот вот маленький мост, жалкая сотня свай и два пролета! И два человека, оба в немыслимо пестрых одеяниях, стоят с ружьями и охраняют мост. Что-то смутно тревожило его; он сознавал неясность своих мыслей, но они текли своим путем. Зачем охраняют они эту грудку дерева? Им нужно, чтобы никто не перешел из одной страны в другую, чтобы никто не удрал из той страны, где поработают волю. Но он сам, ведь он стремится туда? Да, но в другом смысле, из свободы в...

Он запнулся. Его гипнотизировала одна мысль — о границе. Когда он увидел ее перед собой, реальную, охраняемую двумя скучающими людьми в солдатской форме, он перестал ясно мыслить. Он попытался восстановить все: идет война. Но война ведь в стране по ту сторону моста — через один километр без двухсот метров начинается война. Ему пришло в голову: может быть, еще на десять метров ближе, итак: за тысячу восемьсот метров без десяти. У него появилось вдруг сумасшедшее желание выяснить: идет ли война на этих десяти метрах земли или нет? Эта смешная мысль развеселила его. Где-то должна была быть разделяющая полоса. А что, если подойти к границе, одной ногой встать на мосту, другой на земле, как тогда: свободен он или уже солдат? Одна нога в штатском, другая в военном. Все ребячливее становились мыс-

ли: а если встать на мосту, а потом побежать обратно, будешь считаться дезертиром? А вода, на военной или на мирной территории? И есть ли на дне где-нибудь полоса национальных цветов? Ну а рыбы, имеют они, собственно говоря, право переплыть в воюющую страну? И как вообще обстоит дело с животными? Он подумал о своей собаке. Если бы она пошла за ним, ее бы, наверное, тоже мобилизовали, ее бы запрягли, чтобы подвозить пушки, или заставили под дождем пуль таскать раненых. Слава Богу, что она осталась дома...

Слава Богу! Он испугался этой мысли и встрепенулся. С тех пор как увидел он перед собой границу — этот мост между жизнью и смертью — он ощутил, как что-то в нем шевельнулось, появились проблески сознания и сопротивления. На рельсах на другой стороне еще стоял поезд, который привез его сюда; только паровоз, повернутый, смотрел громадными своими стеклянными глазами в обратную сторону, готовый везти вагоны опять в Швейцарию. Это был знак, что время еще не ушло. Он почувствовал, как с болью заговорил в нем отмерший было нерв тоски по утраченному дому, как возрождается в нем прежний человек. На той стороне моста видел он солдата, одетого в чужую форму, с тяжелым ружьем на плече, бессмысленно шагающего взад и вперед, и ощутил в нем себя. Теперь только познал он свою судьбу и, познав, увидел свою гибель. И голос жизни заговорил в нем.

Зазвенели сигналы, и их резкий звук заглушил голос еще смутного чувства. Он знал, что стоит ему сесть в поезд и, проехав за три минуты эти два километра, оказаться по ту сторону моста, как все будет потеряно. И он знал, что поедет. А между тем еще бы четверть часа — и он спасен. Ноги подкашивались.

Но не из той дали, куда устремил он свои взоры, приближался поезд. Его медленный стук раздавался по ту сторону моста. И сразу перрон ожил, люди стекались со всех сторон, женщины проталкивались в шумном волнении, швейцарские солдаты становились в строй. И вдруг заиграла музыка: он

изумленно прислушался, не веря своим ушам. Звуки марсельезы раздались, могучие, ясные! Враждебный гимн для встречи германского поезда!

Поезд загромыхал, запыхтел и остановился. Все бросились вперед, двери вагонов раскрылись, показались бледные лица, с восторженным блеском в лихорадочно сияющих глазах, — французы, в форме, раненые французы, враги, враги! Сновидением показалось ему это, пока он не понял, что поезд привез раненых пленных для обмена; здесь свобода для них, спасение от безумия войны. И все они чувствовали это, знали, переживали; как они раскланивались, звали, смеялись — хотя многим из них смех причинял еще страдания! Вот один, шатаясь и спотыкаясь, проковылял на костылях, остановился у столба и закричал: «*La Suisse, la Suisse! Dieu soit beni!*» Женщины, рыдая, бегали от окна к окну, пока не находили долгожданного, любимого; голоса смешались в призывах, рыданиях, криках, в сплошном радостном ликовании. Музыка смолкла. Несколько мгновений слышен был только прибой восторженного чувства, с шумом и плеском перекатывавшийся через головы людей.

Постепенно все улеглось. Группы разошлись, блаженно объединенные тихой радостью и торопливой беседой. Несколько женщин, в поисках, еще блуждали по платформе, сестры милосердия раздавали пищу и подарки. Тяжело раненых выносили на носилках, бледных, завернутых с белыми простынями, бережно окруженных нежными заботами; и обнажилась вся бездна горя человеческого: люди искалеченные, с пустыми рукавами, изнуренные и полусожженные — остатки одичалого и состарившегося юношества. Но глаза их, блестящие успокоенно, обращены были к небу: все они чувствовали, что настал конец паломничеству.

Фердинанд стоял, ошеломленный неожиданным зрелищем, сердце снова бурно забилося в груди, под листком бумаги. В стороне одиноко, никем не встреченные, стояли носилки. Он подошел неверными шагами к забытому среди чужой радости. Бледностью светилось лицо раненого, обросшее запущенной

бородой; беспомощно свисала простреленная рука. Глаза были закрыты, губы бледны. Фердинанд задрожал. Тихо поднял он свисавшую руку и заботливо положил ее на грудь страдальца. И чужой человек открыл глаза, посмотрел на него, и из необъятной дали неведомых страданий благодарная улыбка приветствовала его.

И, точно от удара молнии, содрогнулся он. Неужели он свершит подобное? Так унизит человека, глазами ненависти взглянет на братьев своих, примет по доброй воле участие в великом преступлении? Мощно завладело им сознание истины и сломило механизм в груди; жажда свободы восторжествовала, наполнила его блаженством, уничтожила слепую покорность. И могучий, затаенный дотоле голос прозвучал: «Никогда! Никогда!» Это было выше его сил. Рыдая, упал он у носилок.

Люди бросились к нему. Решили, что с ним нервный припадок. Прибежал врач. Но он медленно встал, отказываясь от помощи; его лицо выражало спокойствие. Он достал бумажник, вынул последние деньги, положил их на ложе раненого, взял свою бумагу, медленно, вдумчиво прочел ее еще раз. Потом порвал и рассеял клочки по перрону. Люди смотрели на него, как на безумного. Но он не ощущал более стыда, облегченно сознавая, что он исцелен. Музыка заиграла снова, но громче музыки пело в нем его ликующее сердце.

\* \* \*

Поздно вечером вернулся он к своему дому. Внутри было темно, мрачно, как в гробу. Он постучал. Послышались шаги, жена открыла дверь. Увидев его, она замерла в испуге. Но он нежно взял ее за руку, повел в комнату. Они не говорили ни слова: оба дрожали от счастья. Он вошел в свою комнату: его картины были здесь, она принесла их из мастерской, чтобы быть ближе к нему, среди его творений. Безграничную любовь почувствовал он в этом и понял, как много он сохранил. Молча он пожал ее руку. Из кухни прибежала собака и, подпрыгнув, бросилась к нему: все ждали его; он сознавал, что никогда

своим истинным существом не покидал этого дома, и все же ему казалось, что он воскрес из мертвых.

Оба молчали. Она нежно взяла его за руку и подвела к окну: прекрасный мир сиял под бесконечным небом и бесчисленными своими звездами; страдания, которые создавало себе обезумевшее человечество, не могли нарушить покоя мироздания. И, глядя в высь, он понял, что нет для человека на земле закона, кроме созданного ею, землею, что лишь закон любви связует человека. На губах своих ощутил он дыхание жены, и легкая дрожь пробежала по их телам от сладостного сознания близости. Они молчали. В бесконечную свободу возносились их сердца, сбросившие гнет законов и слов человеческих.





## СЛУЧАЙ НА ЖЕНЕВСКОМ ОЗЕРЕ

**В** летнюю ночь 1918 года, неподалеку от маленького швейцарского городка Вильнев, рыбак, плывший в лодке по Женевскому озеру, заметил на воде какой-то странный предмет. Приблизившись, он различил кое-как сколоченный из бревен плот; находившийся на нем голый человек пытался плыть вперед при помощи доски, заменявшей ему весло. Удивленный рыбак подъехал к плоту, помог несчастному перебраться в лодку, кое-как прикрыл его наготу сетями и попытался вступить в разговор с забившимся в угол лодки, дрожавшим от холода человеком. Тот, однако, отвечал на непонятном языке, ни одно слово которого не походило на местное наречие. Рыбак, не пытаясь более разговаривать, собрал свои сети и широкими взмахами весел стал грести к берегу.

По мере того как в лучах зари вырисовывались очертания берега, просветлялось и лицо голого человека. Детская улыбка пробилась сквозь спутанную бороду, прикрывавшую его широкий рот; он вытянул вперед руку; полувопросительно, полууверенно лепетал он какое-то слово вроде «Россия». По мере приближения лодки к берегу голос его звучал радостнее и увереннее.

Лодка врезалась в берег, где жена и дочери рыбака ждали уже привезенного им улова; при виде завернутого в сети голого человека они разбежались с визгом, как некогда прислужницы Навзикаи. Лишь постепенно, привлеченные странной вестью, собрались на берегу мужчины из деревни, во главе с преиспол-

ненным величия блюстителем порядка. Богатый опыт военного времени и бесчисленные инструкции побудили последнего не сомневаться в том, что он имеет дело с дезертиром, приплывшим с французского берега. Однако его следовательское рвение по отношению к голому человеку (которого снабдили между тем курткой и тиковыми брюками) значительно умерилось — он не мог добиться ничего, кроме повторявшегося все неувереннее и боязливее вопроса: «Россия, Россия?» Несколько раздраженный неудачей, блюститель порядка жестом, не оставлявшим сомнения, пригласил незнакомца следовать за ним; окруженный высыпавшей на берег молодежью, мокрый и босой, в болтающейся на нем одежде, человек был отправлен в общинное управление и заперт там. Он не сопротивлялся, не сказал ни слова; только светлые глаза его потемнели от разочарования, и широкие плечи согнулись, как бы в ожидании удара.

Между тем весть о пойманном в сети человеке дошла до ближайших отелей, и обрадованные неожиданным развлечением дамы и мужчины пришли посмотреть на дикаря. Одна дама поднесла ему конфеты, которые он с недоверчивостью обезьяны отложил в сторону; кто-то сделал фотографический снимок — все шумно и весело болтали вокруг. Управляющий одной из гостиниц, долго живший за границей и владевший многими языками, обратился к окончательно растерявшемуся незнакомцу на немецком, итальянском, английском и, наконец, на русском языке. Едва только было произнесено первое русское слово, незнакомец вздрогнул, и его добродушное лицо озарилось широчайшей улыбкой; неожиданно он начал рассказывать свою историю уверенно и откровенно. Она была очень длинна и сбивчива; не все в ней было понятно случайному переводчику. Вот какова, в общих чертах, была судьба этого человека.

Он сражался в России; в один прекрасный день погружен был вместе с тысячами других в поезд, в котором везли его куда-то очень далеко; затем пересел на пароход, на котором плыл еще дальше... и было так жарко, что кости, как он выра-

зился, варились в теле. Где-то, наконец, их высадили и отправили дальше, опять в вагонах; затем они атаковали какой-то холм; что было дальше, он не помнит, так как в самом начале пуля угодила ему в ногу. Слушателям, которым управляющий перевел речь беглеца, стало ясно, что он был в составе одной из русских дивизий, посланных через Сибирь и Владивосток на французский фронт и проехавших полмира, чтобы попасть туда. Вместе с сожалением пробудилось у них любопытство. Что заставило несчастного предпринять это необыкновенное бегство? С добродушной и вместе с тем лукавой улыбкой русский охотно поведал о том, как, едва-едва выздоровев, он справился у санитаров, где Россия; они указали ему направление, и он запомнил путь по солнцу и звездам; потом сбежал и, прячась днем от патрулей в сараях, по ночам продолжал свое путешествие.

Десять дней, пока шел он до этого озера, он питался милостыней — хлебом и фруктами. Его объяснения стали сбивчивее. Так как он родился у Байкальского озера, то думал, по-видимому, что на другом берегу, очертания которого он заметил вчера вечером, должна быть Россия. Он утащил из какой-то хижины два бревна и, лежа на животе, с помощью заменявшей весло доски выплыл далеко в озеро, где и нашел его рыбака.

Неуверенный вопрос, будет ли он завтра уже дома, закончил его повествование; едва слова эти были переведены, раздался громкий хохот, быстро сменившийся самым жарким сочувствием. Каждый из окружавших сунул беглецу, боязливо и жалостно озирающемуся, несколько монет или ассигнаций.

Между тем пришло телефонное сообщение из полицейского управления в Монтре, где с немалым трудом составили протокол о происшествии. Дело было не только в недостаточных познаниях случайного переводчика; жители Запада столкнулись с невероятным невежеством этого человека, который знал только имя свое — Борис и мог дать лишь смутные сведения о своей родной деревне. Он назвался крепостным князя



Мещерского (он именно так выразился, хотя крепостное право было отменено уже целое поколение тому назад) и мог сказать лишь, что живет с женой и тремя детьми за пятьдесят верст от большого озера. Пока решалась его судьба, он стоял среди спорящих, тупо уставившись в землю. Одни советовали отправить его в посольство в Берн, другие боялись, что в этом случае его вернут во Францию; полицейский не мог решить, следует ли рассматривать его как дезертира или просто как иностранца без документов; писарь заранее высказался против того, что община должна приютить и содержать его. Француз возмущался, почему так возятся с этим жалким дезертиром; надо заставить его работать или отправить обратно. Две дамы взволнованно возражали ему, уверяя, что он не виноват в своем несчастье, что это преступление — отправлять человека на чужбину. Уже готов был разгореться политический спор, когда неожиданно один старый датчанин, энергично вмешавшийся в разговор, предложил заплатить за недельное содержание этого человека, с тем чтобы полиция пришла тем временем к какому-либо соглашению с посольством. Неожиданное решение вопроса удовлетворило и должностных лиц, и частных спорщиков.

Во время спора, становившегося все горячее и горячее, беглец поднял глаза и не отрываясь смотрел на губы управляющего, единственного человека, от которого мог он узнать о своей дальнейшей судьбе. Он смутно сознавал волнение, вызванное его присутствием, и, когда разговор смолк, он в наступившей тишине с умоляющим видом обратился к управляющему, сложив руки, как женщина перед образом. Выразительность этого движения тронула всех. Управляющий ласково успокоил русского, сказав, что ему нечего бояться, что он здесь в безопасности и что на ближайшее время ему обеспечен приют на постоялом дворе. Русский хотел было поцеловать ему руку, но тот быстро отдернул ее. Потом он указал ему на соседний дом — небольшой постоялый двор, где он может получить приют и пищу, и, еще раз успокоив его, приветливо простился с ним и направился к своему отелю.

Не отрываясь глядел беглец вслед управляющему, и чем дальше тот уходил, тем сумрачнее становилось его просветлевшее было лицо. Пристальным взором следил он за ним, пока тот не скрылся в расположенном на холме отеле; он не замечал окружающих, удивленных его видом и посмеивавшихся над ним. Когда кто-то, жалостливо дотронувшись до него, показал ему на постоянный двор, он, сгорбившись и опустив голову, вошел туда. Ему открыли дверь в столовую. Он сел за стол, на который девушка поставила стакан водки, и неподвижно просидел там все утро с мрачным видом. Деревенские детишки беспрестанно подбегали к окошку, смеялись и что-то кричали, но он не поднимал головы. Входявшие с любопытством поглядывали на него, но он оставался сидеть, уставив глаза в стол, сгорбившись, смущенный и испуганный. Когда к обеду рой людей со смехом наполнил комнату и сотни слов, не понятных ему, запорхали в воздухе, он с таким ужасом ощутил свою отчужденность, — глухой и немой среди всего этого скопления, — что с трудом мог дрожащей рукой поднести ложку с супом ко рту. Неожиданно тяжелая слеза скатилась по его щеке и упала на стол. Он испуганно оглянулся. Другие заметили ее, и разговор оборвался. Ему стало стыдно: все ниже к черному дереву опускалась его тяжелая, растрепанная голова.

Так сидел он до вечера. Люди приходили и уходили. Он не замечал их, и они на него не обращали внимания. Как тень, сидел он в тени печки, тяжело опустив руки на стол. Все забыли о нем, и никто не заметил, как в сумерках он поднялся вдруг и тупо, как зверь, зашагал к отелю. Час и другой стоял он перед дверьми, почтительно держа в руках шапку, не поднимая глаз ни на кого. Наконец один из лакеев, заметив эту необыкновенную фигуру, стоявшую, точно черный неподвижный пень, вросший в землю перед освещенным подъездом отеля, позвал управляющего. Снова радость промелькнула на омраченном лице бегльца, когда к нему обратились на родном языке.

— Что тебе нужно, Борис? — ласково спросил управляющий.

— Прошу прощения, — пробормотал беглец. — Я только хотел спросить... можно мне домой?

Управляющий рассмеялся:

— Ну, конечно, Борис, можешь отправиться домой.

— Завтра?

Управляющий стал серьезен. Столько мольбы было в тоне бегльца, что улыбка быстро сошла с лица собеседника.

— Нет, Борис... Не сейчас. Когда кончится война.

— А когда? Когда она кончится?

— Одному Богу известно. Мы, люди, не знаем этого.

— А раньше? Раньше нельзя уйти?

— Нет, Борис.

— Очень это далеко?

— Да.

— Много дней пути?

— Много дней.

— Я все-таки пойду, господин. Я сильный. Не устану.

— Борис, нельзя пойти. Ведь существует граница!

— Граница? — тупо повтсрил он. Слово это было ему незнакомо.

Потом он ответил с изумительным упрямством:

— Я переплыву!

Управляющий снова улыбнулся; но ему все же жаль было беднягу. Он ответил ласково:

— Нет, Борис, ничего не выйдет. Граница — это значит чужая страна. Люди не пропустят тебя.

— Да я ведь не буду их убивать! Я бросил свою винтовку. Почему же они не пропустят меня к жене, если я их попрошу, Христа ради?

Управляющий становился все серьезнее. Горечь наполняла его сердце.

— Нет, — сказал он. — Они не пропустят тебя, Борис.

— Так что ж мне делать, господин? Я ведь не могу остаться здесь. Люди меня здесь не понимают, и я не понимаю их.

— Ты выучишься, Борис.

— Нет, господин. — Он низко опустил голову. — Я не могу учиться. Я могу только работать в поле, больше я ничего не умею. Что мне здесь делать? Я хочу домой. Покажите мне дорогу.

— Теперь не существует туда дороги, Борис.

— Да ведь они не могут запретить мне вернуться к жене, к детям! Я ведь не солдат больше.

— Они это могут, Борис.

— А царь? — спросил он неожиданно.

— Царя больше нет, Борис. Люди его свергли.

— Больше нет царя? — Он застыл на месте. — Значит, мне не попасть домой? — устало сказал он.

— Теперь — нет. Придется подождать, Борис.

— Долго?

— Не знаю.

Все угрюмее становилось его лицо во мраке.

— Я так долго ждал. Я больше не могу ждать. Покажите дорогу. Я все-таки попробую.

— Дороги нет, Борис. Тебя схватят на границе. Мы найдем тебе работу.

— Люди здесь не понимают меня, и я не понимаю их, — повторил он упрямо. — Я не могу здесь жить. Помогите мне, господин.

— Я не в состоянии, Борис.

— Помогите, ради Христа, господин! Помогите мне, я не могу больше!

— Нет, Борис. Ни один человек теперь не может помочь другому.

Они безмолвно стояли друг против друга. Борис мял шапку в руках.

— Зачем же забрали меня из дому? Они сказали, что я должен защищать царя и отечество. Но Россия далеко, а царя... что они с ним сделали?

— Свергли.

— Свергли, — бессмысленно повторил он. — Что ж мне

теперь делать, господин? Мне домой нужно. Дети плачут, зовут меня. Я не могу здесь жить! Помоги мне, господин, помоги!

— Не могу, Борис.

— И никто не может помочь?

— Теперь никто.

Русский опускал голову все ниже; вдруг, глухо промолвив: «Спасибо, господин», — повернулся и ушел.

Медленно шел он по дороге. Управляющий долго смотрел ему вслед, удивляясь, что тот пошел не к постоялому двору, а спускается к озеру. Он глубоко вздохнул и вернулся в отель.

\* \* \*

Случай захотел, чтобы тот же рыбак на следующее утро нашел голое тело утопленника. Русский заботливо сложил на берегу подаренные ему брюки, шапку и куртку и вернулся в озеро так же, как перед тем появился из него.

О происшествии составлен был протокол, и так как фамилии чужестранца не знали, то на могиле его поставили простой деревянный крест — один из тех скромных памятников безвестной судьбы, которыми покрыта теперь Европа от края до края.





## СТРАХ

**С**пускаясь по лестнице от своего возлюбленного, фрау Ирена почувствовала вдруг опять тот же бессмысленный страх. Перед глазами зажужжал черный круг, похолодевшие колени мучительно свело, и она должна была ухватиться за перила, чтобы не упасть. Она уже не в первый раз отваживалась на опасное посещение; это чувство внезапного ужаса было ей знакомо; каждый раз, когда она возвращалась домой, ею овладевал, как она ни сопротивлялась, такой же вот безотчетный приступ бессмысленного и нелепого страха. Идти на свидание было, несомненно, легче. Она останавливала извозчика на углу, быстро, не поднимая головы, добегала до ворот, торопливо взбиралась по лестнице, и этот первый страх, в котором пылало также и нетерпение, растворялся в горячих приветственных объятиях. Но потом, когда нужно было уходить, в ней ознобом поднималась непонятная жуть, смутно смешанная с ужасным сознанием вины и безумной боязнью, что каждый прохожий на улице прочтет на ее лице, откуда она идет, и ответит на ее смущение наглой усмешкой. Последние минуты их близости были уже отравлены растущей тревогой этого предчувствия; ей хотелось уйти, руки дрожали от нервной спешки, она рассеянно прислушивалась к его словам и торопливо уклонялась от запоздалых проявлений его страсти; прочь, ей хотелось только прочь, из его квартиры, из его дома, из этой обстановки, назад, в спокойный буржуазный мир. Затем — последние, тщетно успокаивающие слова, которых

она от волнения почти не слышала, и секунда ожидания за прикрытием двери, не идет ли кто вверх или вниз по лестнице. Но за дверью уже подстерегал страх, торопясь в нее вцепиться, и так властно останавливал ей сердце, что она всякий раз, еле дыша, преодолевала эти несколько ступеней.

Так она простояла минуту с закрытыми глазами и жадно вдыхала сумеречную прохладу лестницы. Вдруг где-то наверху хлопнула дверь; она испуганно встрепелась и бросилась вниз, причем ее руки безотчетно натягивали еще плотнее густую вуаль. Теперь ей угрожал только последний, самый страшный миг: ужас выйти из чужих ворот на улицу. Она нагнула голову, словно собиралась прыгнуть с разбега, и с внезапной решимостью кинулась к полуоткрытым воротам. Там она столкнулась лицом к лицу с какой-то женщиной, которая, по-видимому, намеревалась как раз войти.

— Pardon, — сказала она смущенно, стараясь пройти поскорее мимо.

Но женщина продолжала стоять в воротах и смотрела на нее злобно и в то же время с нескрываемой насмешкой.

— Наконец-то я вас поймала! — бесцеремонно крикнула она грубым голосом. — Ну, разумеется, приличная дама, так называемая! Ей мало одного мужа, и денег, и всего, ей надо еще отбивать у бедной девушки любимого человека...

— Ради Бога... что с вами?.. Вы ошиблись... — пролепетала фрау Ирена и сделала неловкую попытку пройти мимо, но женщина занимала всю дверь своей полной фигурой и кричала ей в лицо пронзительным голосом:

— Нет, я не ошиблась... я вас знаю... Вы идете от Эдуарда, моего друга... Наконец-то я вас поймала, теперь я понимаю, почему ему последнее время не до меня... Из-за вас, значит... Подлая!..

— Ради Бога, — прервала фрау Ирена угасшим голосом, — не кричите так, — и невольно отступила.

Женщина насмешливо посмотрела на нее. Этот трепетный испуг, эта явная беспомощность были ей, видимо, приятны, потому что теперь она разглядывала свою жертву с надменной

и иронически удовлетворенной улыбкой. Пошлое самодовольство делало ее голос звучным и почти веселым.

— Вот какой у них вид, у этих замужних дам, у благородных аристократок, когда они воруют мужчин. Под вуалью, разумеется, под вуалью, чтобы можно было потом разыгрывать повсюду приличную женщину...

— Что... что вам нужно от меня? Я ведь вас совсем не знаю... Я должна идти...

— Идти... да, конечно... к господину супругу... в теплую квартиру, притворяться благородной дамой, и чтобы раздевали горничные... А каково нам, когда мы помираем с голоду, этим благородные дамы не интересуются... У таких, как мы, эти приличные женщины крадут последнее...

Ирена собралась с силами и, следуя смутному наитию, открыла портмоне и схватила сколько попало в руку ассигнаций.

— Вот... вот, возьмите... но теперь пустите меня... Я никогда больше не приду... клянусь вам.

Женщина взяла деньги, бросив на нее злобный взгляд. При этом она пробормотала:

— Стерва...

Фрау Ирена вздрогнула от этого слова, но, видя, что та посторонилась, ринулась на улицу, без памяти, не дыша, как самоубийца, бросающийся с башни. Лица прохожих скользили ей навстречу, как кривые рожи, пока она бежала вперед, мучительно спеша, с уже померкшим взором, к стоявшему на углу автомобилю. Она опустилась на сиденье, как безжизненная масса, все в ней оцепенело и замерло, и когда шофер с удивлением спросил странного седока: «Куда же ехать?» — она взглянула на него, ничего не понимая, пока наконец помутившийся разум не воспринял его слов.

— На Южный вокзал, — произнесла она торопливо, вдруг подумав, что эта особа может за ней погнаться. — Скорее, скорее, поезжайте быстро!

Только сидя в автомобиле, Ирена почувствовала, до какой степени ее взволновала эта встреча. Она ощупала свои свисавшие вдоль тела холодные и неподвижные, точно омертвевшие



руки и вдруг начала так дрожать, что ее всю трясло. К горлу подступало что-то горькое, она ощущала тошноту и вместе с тем глухую бессмысленную ярость, судорожно переворачивавшую у нее все в груди. Ей хотелось кричать или стучать кулаками, чтобы отделаться от ужаса воспоминания, засевшего в мозгу, как рыболовный крючок; это тупое лицо с язвительной усмешкой, это дыхание пошлости, дурно пахнущий беззубый рот, который злобно извергал ей в лицо гнусные слова, и поднятый красный кулак, которым та ей грозила. Ее мучило все сильнее, все выше подступало к горлу; к тому же быстро бегущий автомобиль бросал ее из стороны в сторону, и она уже хотела сказать шоферу, чтобы он ехал медленнее, как вдруг вспомнила, что у нее, быть может, не хватит денег, чтобы с ним расплатиться, потому что она ведь отдала все ассигнации этой вымогательнице. Она тотчас же велела остановиться и, к новому изумлению шофера, вышла из автомобиля. Оставшихся денег, к счастью, хватило. Но она очутилась в незнакомом квартале, в толпе суетящихся людей, которые каждым словом, каждым своим взглядом причиняли ей физическую боль. Притом от страха у нее ослабели ноги, и она едва двигалась; но ей нужно было домой, и, собрав всю свою энергию, она с нечеловеческим усилием потащилась из улицы в улицу, точно шла по болотам или по колену в снегу. Наконец она добралась до дому и с нервной торопливостью бросилась вверх по лестнице, но тотчас же умерила шаг, чтобы не выдавать своей тревоги.

Только когда горничная сняла с нее пальто, когда она услышала в соседней комнате голос сына, игравшего с младшей сестрой, когда окинула взглядом привычную обстановку, собственные вещи и домашний уют, к ней вернулся внешний покой, хотя подземная волна возбуждения все еще мучительно бушевала в напряженной груди. Она сняла вуаль, провела руками по лицу, силясь казаться спокойной, и вошла в столовую, где ее муж у накрытого к обеду стола читал газету.

— Поздно, поздно, милая Ирена, — приветствовал он ее нежным укором, встал и поцеловал ее в щеку. Это прикосно-

вение невольно пробудило в ней тяжелое чувство стыда. Они сели за стол; и он спросил равнодушным голосом почти не отрываясь от газеты: — Где ты была так долго?

— Я была... у... у Амели... ей нужно было кое-что купить... и я пошла с нею, — прибавила она и тут же рассердилась на себя за то, что солгала так неудачно. Обыкновенно она заранее подготавливала тщательно придуманную ложь, такую, которая могла выдержать любую проверку, а сегодня от страха она забыла, и ей пришлось прибегнуть к такой неловкой импровизации. «А что, если муж, — мелькнуло у нее в голове, — как в той пьесе, что они видели на днях в театре, позвонит по телефону и справится...»

— Что с тобой?.. Ты в таком нервном возбуждении... и почему ты не снимаешь шляпы? — спросил ее муж.

Она вздрогнула, почувствовала, что ее снова выдало ее замешательство, быстро встала, прошла к себе в комнату снять шляпу и до тех пор смотрела в зеркало на свои беспокойные глаза, пока ей не показалось, что взгляд ее снова стал уверенным и твердым. Тогда она вернулась в столовую.

Горничная подала обед, и наступил вечер, похожий на все другие вечера, быть может, немного молчаливее и не такой оживленный, как всегда, со скудной, усталой, часто обрывающейся беседой. Мысли постоянно возвращались назад. И всякий раз она в ужасе содрогалась, вспоминая о встрече с этой страшной вымогательницей; тогда, чтобы почувствовать себя в безопасности, она поднимала голову и окидывала нежным взором все родное кругом, все эти вещи, наполнявшие квартиру воспоминаниями и значительностью, и к ней опять возвращалось легкое успокоение. А настенные часы, мирно ступая в тишине своими стальными шагами, незаметно вливали ей в душу какую-то уверенную, беззаботную размеренность.

\* \* \*

На следующий день, когда муж ушел в канцелярию, а дети отправились гулять, и она осталась, наконец, наедине с собой, эта ужасная встреча, воскресенная при ясном утреннем све-

те, стала казаться ей далеко не такой страшной. Прежде всего фрау Ирена вспомнила, что на ней была очень густая вуаль, так что эта особа не могла ясно разглядеть ее лица и не узнает ее при встрече. Она принялась спокойно обдумывать меры предосторожности. Она ни за что больше не пойдет к своему возлюбленному на квартиру, этим устраняется возможность подобного нападения. Остается лишь опасность случайной встречи с этой женщиной, но и это невероятно, потому что выследить ее, когда она ехала на автомобиле, та не могла. Имени и адреса она не знает, узнать ее как-нибудь иначе она тоже не может, потому что слишком смутно видела ее лицо. Но фрау Ирена и на этот крайний случай вооружена. Уже свободная от тисков страха, она — таково ее решение — попросту будет держать себя совершенно спокойно, будет все отрицать, заявит холодно, что это какая-то ошибка, и, так как вряд ли можно будет доказать, иначе, чем на месте, что она действительно там была, она, в случае необходимости, обвинит эту особу в вымогательстве. Недаром фрау Ирена — жена одного из известнейших адвокатов столицы; из разговоров мужа с коллегами она знает, что всякое вымогательство нужно пресекать в самом начале и с полнейшим хладнокровием, ибо малейшая нерешительность, малейший намек на беспокойство со стороны преследуемого только усиливают противника.

Первой мерой защиты было краткое письмо возлюбленному, где она сообщала, что завтра в условленный час не может прийти и в ближайшие дни тоже не придет. Ее гордость была уязвлена тягостным открытием, что в жизни своего возлюбленного она сменила такую низкую и недостойную предшественницу, и, неприязненно взвешивая слова, она злобно радовалась тому, с какой холодностью она свое увлечение как бы возвышает до степени прехоти.

С этим молодым человеком, пианистом, она случайно познакомилась на одном вечере и вскоре вслед за тем, собственно даже не желая того и почти не сознавая этого, стала его любовницей. Это не было влечение крови, ничто чувственное и едва ли что-нибудь духовное связывало ее с ним: она ему

отдалась, не нуждаясь в нем и не стремясь к нему, по какой-то неспособности оказать сопротивление его воле и из чувства какого-то беспокойного любопытства. Ни ее вполне удовлетворенная супружеским счастьем кровь, ни столь частое у женщин ощущение, что гаснут ее духовные интересы, ничто не толкало ее завести любовника, она была вполне счастлива рядом с состоятельным, духовно превосходящим ее мужем и двумя детьми, лениво и довольно ведя спокойное, буржуазное, безоблачное существование. Но бывает такая вялость атмосферы, которая пробуждает чувственность совершенно так же, как зной или гроза, бывает такой счастливый покой, который волнует больше, чем несчастье. Сытость возбуждает так же, как и голод: безопасность, благополучие ее жизни пробудили в ней жажду приключений.

И вот, когда в эти минуты удовлетворенности, которую сама она не в силах была обострить, этот молодой человек вошел в ее буржуазный мир, где мужчины обыкновенно почтительно превозносили в ней «красивую даму», с невинными шутками и безобидным кокетством, никогда не вождедея в ней женщины, она впервые с девичьих лет снова почувствовала глубокое волнение. В его облике ее привлекла, быть может, лишь тень печали, лежавшая на его чуть-чуть слишком интересно придуманном лице. Ей, окруженной сытыми, буржуазно настроенными людьми, в этой печали почудился какой-то высший мир, и она невольно перегнулась за ограду своих повседневных чувств, чтобы заглянуть в него. Compliment минутного восхищения, сказанный, быть может, с большим огнем, чем это принято, заставил его поднять голову от рояля, и уже этот первый взгляд стремился к ней. Она испугалась и в то же время ощутила всю отраду страха. Разговор, весь словно озаренный и согретый подземным пламенем, разжег пробудившееся в ней любопытство так сильно, что она не могла отказаться от новой встречи на публичном концерте. Затем они начали видаться часто и уже не случайно. Под влиянием самолюбивой мысли, что он, настоящий художник, ценит ее понимание и ее советы, как он неоднократно ее уверял, она

спустя несколько недель легкомысленно поверила ему, будто он хочет сыграть ей, ей одной, свое последнее произведение у себя дома, — обещание, быть может, вначале наполовину искреннее, но кончившееся поцелуями и тем, что, неожиданно для себя, она отдалась ему. И первым ощущением был испуг перед этим внезапным переходом к чувственности; таинственный трепет, окружавший их отношения, был вдруг развеян, и сознание неумышленной вины перед мужем было только отчасти заглушено тщеславным чувством, что она впервые и, как ей казалось, по собственному желанию отвергла тот буржуазный мир, в котором жила. Сознание падения, мучившее ее в первые дни, превратилось под влиянием тщеславия в гордость. Но и эти полные таинственности волнения сохраняли свою напряженность лишь первое время. В глубине души она инстинктивно отворачивалась от этого человека и, главным образом, от того нового, от того необычного, что, в сущности, и увлекло ее любопытство. Страсть, опьянявшая ее, когда он играл, в минуты телесной близости тревожила ее; ей были не по душе эти неожиданные и властные объятия, равноправную необузданность которых она невольно сравнивала с робкой и после долгих лет все еще благоговейной страстью своего мужа. Но, раз изменив, она продолжала приходить к возлюбленному, не испытывая ни счастья, ни разочарования, из какого-то чувства обязанности и по косности привычки. Спустя несколько недель она отвела этому молодому человеку, своему возлюбленному, определенное место в жизни, удела ему точно так же, как родителям мужа, один день в неделю, но ради этих новых отношений она не отказалась от старого уклада, а только прибавила нечто к своей жизни. Возлюбленный ничего не изменил в удобном механизме ее существования, он превратился в какой-то придаток размеренного счастья, подобно третьему ребенку или автомобилю, и вскоре любовная связь приобрела в ее глазах банальность дозволенного наслаждения.

И вот, когда ей пришлось в первый раз оплатить эту связь истинной ценой, ценой опасности, она стала мелочно взвешивать

вать, чего она, собственно, стоит. Фрау Ирена была избалована судьбой, изнежена родителями, а благоприятные материальные условия лишили ее почти всяких желаний, и первая же помеха показалась ей не по силам. Она не склонна была отказываться от душевной беззаботности и готова была, не размышляя, пожертвовать возлюбленным ради комфорта.

Ответ возлюбленного, испуганное, нервное, бессвязное письмо, принесенное посыльным в середине дня, письмо, в котором он растерянно молил, жаловался и обвинял, поколебало ее решение покончить с этой связью, потому что его страсть льстила ее самолюбию, а иступленное отчаяние приводило ее в восторг. Он в самых настойчивых выражениях просил ее хотя бы о кратком свидании, чтобы он мог, по крайней мере, выяснить, в чем его вина, если он чем-нибудь невольно оскорбил ее, и она увлеклась новой игрой: продолжать на него сердиться и, беспричинно избегая его, стать ему еще дороже. Она пригласила его прийти в одну кондитерскую, вдруг вспомнив, что однажды, будучи молодой девушкой, она назначила там свидание одному актеру, свидание, казавшееся ей теперь ребяческим своей почтительностью и беспечностью. «Странно, — улыбалась она внутренне, — романтика, исчезнувшая из ее жизни за годы замужества, снова расцветает». И она была почти рада вчерашней встрече с этой грубой особой, когда она опять, после стольких лет, пережила такое сильное, подстегивающее чувство, что ее всегда легко успокаивающиеся нервы все еще продолжали трепетать.

\* \* \*

На этот раз она надела темное, не бросающееся в глаза платье и другую шляпу, чтобы при возможной встрече с той женщиной ввести ее в заблуждение. Она собиралась уже повязать вуаль, чтобы труднее было ее узнать, но вдруг заупрямилась и отложила вуаль в сторону. Неужели она, всеми уважаемая, почтенная дама, не решается выйти на улицу из страха перед какой-то особой, которой она совершенно не знает?

Мимолетный страх она ощутила только в первую секунду, выходя на улицу, нервный трепет, струящийся и холодный, как бывает, когда опускаешь ногу в воду, прежде чем броситься в волны. Но эта дрожь охватила ее лишь на секунду, вслед за этим в ней закипела вдруг удивительная радость, ей было приятно, что она ступает так легко, сильно и упруго, напряженной, стремительной походкой, какой она сама за собой не знала. Она почти жалела, что кондитерская так близко, какая-то сила неумолимо влекла ее дальше, притягивающую как магнит неизвестность. Но у нее было мало времени для свидания, а приятная уверенность в крови подсказывала ей, что возлюбленный уже ждет. Когда она вошла, он сидел в углу. Он вскочил взволнованно, и это было ей и приятно, и вместе с тем тягостно. Ей пришлось просить его говорить тише, таким горячим водоворотом вопросов и упреков встретил он ее в своем смятении. Не объясняя ему, почему она не хочет больше приходить, она играла намеками, которые еще больше разжигали его своей неопределенностью. Она оставалась недостижимой для его желаний и не решалась даже обещать, чувствуя, как она его возбуждает таинственной и неожиданной уклончивостью и недоступностью... И когда, после получаса горячей беседы, она покинула его, не выказав и даже не посулив ни малейшей нежности, у нее внутри горело странное чувство, которое она испытывала только девушкой. Точно в ней где-то глубоко теплился маленький щекочущий огонек и только ждал ветра, чтобы вспыхнуть пламенем, которое охватило бы ее с головы до ног; на ходу она жадно ловила каждый взгляд, брошенный ей улицей, и неожиданный успех, который она читала в мужских глазах, пробудил в ней такое желание увидеть свое лицо, что она вдруг остановилась перед зеркалом цветочной витрины, чтобы в раме красных роз и блестящих от росы фиалок взглянуть на свою красоту. С девичьих лет она не ощущала такой легкости, такой одушевленности всех чувств; даже первые дни замужества, даже объятия возлюбленного не зажигали таких искр в ее теле; и ей показалась нестерпимой мысль, что сейчас ей придется разменять на раз-

меренные часы всю эту удивительную легкость, эту сладостную одержимость в крови. Она устало пошла дальше. Перед домом она снова остановилась, чтобы еще раз вдохнуть полной грудью этот огненный воздух, головокружение этого часа, чтобы до самой глубины сердца ощутить эту последнюю, уходящую волну свободы.

Вдруг кто-то тронул ее за плечо. Она обернулась.

— Что... что вам нужно опять от меня? — пролепетала она в смертельном испуге, увидев ненавистное лицо, и испугалась еще больше, услышав свои собственные роковые слова. Она ведь решила не узнавать эту женщину при встрече, отрицать все, встретить вымогательницу лицом к лицу... Теперь уже было поздно...

— Я уже полчаса поджидаю вас здесь, фрау Вагнер.

Ирена содрогнулась, услышав свое имя. Эта женщина знает, где она живет. Теперь все погибло, она в ее власти, и спасения нет.

— Я жду уже полчаса, фрау Вагнер. — Она повторила свои слова угрожающим тоном, как упрек.

— Чего вы хотите?.. Что вам нужно от меня?..

— Вы же знаете, фрау Вагнер. — Ирена снова вздрогнула, услышав свое имя. — Вы знаете отлично, почему я пришла.

— Я его больше ни разу не видела... оставьте меня теперь в покое... Я его никогда больше не увижу... никогда...

Женщина спокойно ждала, пока Ирена не умолкла от волнения. Затем сказала грубо, точно разговаривала со своей подчиненной:

— Нелгите! Я ведь шла за вами до кондитерской, — и, видя, как Ирена отшатнулась, прибавила с усмешкой: — У меня ведь нет занятий. Из заведения меня уволили, потому что работы мало, как они говорят, и времена плохие. Что же, этим пользуешься и идешь прогуляться... совсем как приличная дама.

Она говорила это с холодной злобой, кольнувшей Ирену в самое сердце. Перед неприкрытой грубостью этой пошлой женщины она чувствовала себя незащищенной, и все с большей силой овладевала ею страшная мысль, что она может снова



раскричаться, или мимо может пройти муж, и тогда все поггло. Она порылась в муфте, вытащила серебряную сумочку и вынула из нее все, что могла захватить.

Но на этот раз, почуяв деньги, наглая рука не опустилась смиренно, как тогда, а замерла в воздухе, разжатая, как когти.

— Дайте-ка мне сумочку тоже, чтобы я не потеряла деньги, — произнес раскрытый насмешливо рот с тихим урчащим смехом.

Ирена посмотрела ей в глаза, но лишь секунду. Эта нахальная, пошлая насмешка была невыносима. Точно жгучая боль, по всему ее телу пробежало отвращение. Только бы уйти, уйти, только бы не видеть этого лица! Она отвернулась, быстро протянула драгоценную сумочку и побежала, гонимая ужасом, вверх по лестнице.

Мужа еще не было дома. Она бросилась на диван и лежала неподвижно, словно оглушенная молотом. И только слышав голос мужа, она напрягла все силы и потащилась в другую комнату, двигаясь автоматически, с омертвелыми чувствами.

\* \* \*

Ужас засел теперь в ее доме и не выходил из комнат. В долгие одинокие часы, когда в ее памяти, волна за волной, вставали картины этой отвратительной встречи, она ясно поняла всю безнадежность своего положения. Эта особа знает — Ирена не понимала, как это могло произойти — ее имя, ее дом, и так как первые попытки удалась блестяще, то теперь она, без сомнения, не остановится ни перед чем, чтобы использовать свои сведения для повторных вымогательств. Год за годом она будет тяготеть над ее жизнью, как кошмар, который Ирена будет не в силах стряхнуть, даже при самом отчаянном напряжении, потому что, хотя она и располагает средствами и замужем за состоятельным человеком, все же, не посвятив в это дело мужа, ей неоткуда добыть столь значительную сумму, чтобы раз и навсегда освободиться от этой особы. И, кроме того, — она это знала из случайных рассказов мужа и по его процессам, — соглашения с такого рода бесчестными и падши-

ми личностями и их обещания не имеют ровно никакой цены. Месяц-другой, так она считала, ей еще удастся задержать роковую развязку, но затем искусственное здание домашнего счастья должно рухнуть; и сознание, что в своем падении она повлечет также за собою и вымогательницу, мало ее утешало.

Развязка — это она чувствовала с ужасающей уверенностью — неизбежна, спасения нет. Но что же... что же будет? Ее мучил этот вопрос с утра до вечера. Настанет день — ее муж получит письмо; она представляла себе, как он войдет, бледный, с мрачным лицом, возьмет ее за руку, спросит... И тогда... Что же будет тогда? Как он поступит? Здесь картина вдруг исчезала во мраке дикого и жестокого страха. Она не знала, что будет дальше, и все ее предположения летели в какую-то пропасть. Но из этих мрачных раздумий она вынесла жуткое сознание: как она, в сущности, мало знает своего мужа, как трудно ей предугадать его решение! Она вышла за него замуж по желанию родителей, но не противясь и чувствуя к нему большую симпатию, в которой не разочаровалась и впоследствии, прожила рядом с ним восемь тихих лет убаюкивающего счастья, имела от него детей, у них был общий дом, они провели вместе бесчисленное множество часов, и только теперь, задав себе вопрос, как он поступит, она поняла, насколько он для нее чужой и незнакомый человек. И она стала разбирать его жизнь по отдельным черточкам, которые помогли бы ей уяснить его характер. Ее боязнь стучалась робким молотком в каждое маленькое воспоминание, отыскивая вход в скрытые тайники его сердца.

Когда он сидел в кресле и читал книгу, ярко освещенный электрическим светом, она вопрошала его лицо, потому что в словах он себя не проявлял. Она всматривалась в его облик, словно в чужой, стараясь угадать в знакомых и вместе с тем чужих чертах лица его характер, которого ее равнодушие так и не раскрыло за восемь лет совместной жизни. Лоб у него был ясный и благородный, и казалось, что эту форму ему придало внутреннее духовное напряжение; но рот — строгий и непрек-

лонный. Все было крепко в этом мужественном лице, энергично и сильно; с удивлением видя, что оно красиво, и с известного рода восхищением смотрела она на эту сдержанную серьезность, на эту ясную его суровость. Но глаза, в которых, собственно, была скрыта вся тайна, устремленные на книгу, были недоступны ее наблюдениям. И она вопросительно взирала на его профиль, как будто эта изогнутая линия означала единственное слово — милость или осуждение, на этот профиль, который пугал ее своей жестокостью, но в решительных линиях которого она впервые видела странную красоту. И вдруг она заметила, что смотрит на него охотно, с удовольствием и гордостью. Он поднял голову. Она быстро отступила в темноту, чтобы жгучим вопросом своих глаз не зажечь в нем подозрения.

\* \* \*

Она не выходила из дому трое суток. И увидела с досадой, что домашние удивлены ее неожиданным домоседством, потому что обыкновенно не бывало, чтобы она проводила в комнатах несколько часов кряду, а тем более — целые дни.

Первыми заметили эту перемену дети, особенно старший мальчик, который с неприятной выразительностью высказывал наивное изумление по поводу того, что мама так много сидит дома; а прислуга шепталась и обменивалась предположениями с гувернанткой. Напрасно старалась фрау Ирена объяснить свое необычное присутствие самыми разнообразными, иногда очень удачно придуманными причинами, но всякий раз, когда она хотела помочь в доме, она вносила только беспорядок и, вмешиваясь, пробуждала подозрение. Вдобавок, ей не удавалось вести себя так, чтобы ее постоянное присутствие не бросалось в глаза, она не умела держаться в стороне, не сидела на месте, за книгой или за работой; внутренний страх, который у нее, как всякое сильное чувство, превращался в нервное возбуждение, непрерывно гнал ее из комнаты в комнату; при каждом телефонном звонке, при каждом звонке в дверь она вздрагивала, чувствовала, что ее жизненный покой

растворяется и исчезает, и эта слабость выростала в ощущение разрушенной жизни. Эти три дня, проведенные в темнице комнат, казались ей длиннее, чем все восемь лет замужества.

Но на третий вечер она с мужем давно уже была приглашена в один дом, и отклонить теперь это приглашение, не приведя каких-нибудь серьезных причин, она не могла. И наконец, надо же было когда-нибудь сломать эту незримую решетку ужаса, окружившую ее жизнь, иначе ее ждала гибель. Ей нужно было видеть людей, отдохнуть хоть несколько часов от самой себя, от этого убийственного одиночества страха. И потом, — где бы она была в большей безопасности, как не в дружеском доме, где бы она была лучше ограждена от невидимого преследования, крадущегося за ней по пятам? Ей было страшно только одну секунду, одну короткую секунду, когда она выходила из дома, когда впервые после той встречи ступала на улицу, где ее могла поджидать эта женщина. Она невольно взяла мужа за руку, закрыла глаза и быстро прошла несколько шагов по тротуару к поджидавшему ее автомобилю. Но когда, сидя рядом с мужем, она понеслась по пустынным ночным улицам, тяжелое чувство спало с ее души, и, подымаясь по ступеням чужого дома, она уже знала, что ей ничто не угрожает. Несколько часов она могла быть такой же, какой была столько лет: беззаботной, веселой и к тому же еще охваченной той сознательной радостью, какую испытывает человек, вышедший из тюремных стен на солнце. Здесь возвышался вал, защищавший ее от всякого преследования, сюда не могла проникнуть ненависть, здесь были только люди, которые ее любят, уважают и ценят, нарядные беспечные люди, озаренные красноватым пламенем легкомыслия, хоровод наслаждения, который, наконец, опять захватил и ее, потому что, когда она вошла, она почувствовала по тому, как на нее смотрели, что она красива, и это давно забытое сознание делало ее еще красивее.

Рядом манили звуки музыки, проникая глубоко под пылающую кожу. Начался танец, и, сама не зная как, она сразу

очутилась среди толпы. Она танцевала так, как не танцевала никогда в жизни. Этот крутящийся вихрь разметал все, что в ней было тяжелого, ритм сросся с телом, наполняя его пламенным движением. Когда умолкали звуки, тишина причиняла ей боль, дрожащее тело пылало огнем беспокойства, и она бросалась снова в вихрь танца, как в прохладные, успокаивающие, уносящие волны. Раньше она была всегда средней танцоркой, слишком размеренной, слишком осмотрительной, с жесткими, осторожными движениями, но этот угар освобожденной радости сбросил с нее все телесные оковы. Стальной обруч стыдливости и благоразумия, всегда сковывавший самые дикие ее порывы, распался, и она чувствовала себя безудержно, беспредельно, блаженно растворенной. Она ощущала чьи-то руки, пальцы, касания и исчезновения, дыхание слов, щеко-чущий смех, музыку, дрожавшую у нее в крови, и все ее тело было напряжено, так напряжено, что платье ее жгло, и она была бы рада сорвать с себя все покровы, чтобы обнаженной еще глубже впитать в себя это упоение.

— Ирена, что с тобой?

Она обернулась, шатаясь, со смехом в глазах, еще вся пылая от объятий кавалера. Изумленный, неподвижный взгляд мужа холодно и жестко кольнул ее в сердце. Она испугалась. Или она держала себя слишком дико? Уж не выдала ли она себя в своем безумии?

— Что... что ты хочешь сказать, Фриц? — прошептала она, изумленная резким ударом его взгляда, который, казалось, проникал в нее все глубже, который она ощущала уже совсем внутри, у самого сердца. Она чуть не вскрикнула от испытующей решимости этих глаз.

— Как это странно, — пробормотал он наконец.

В его голосе звучало мрачное удивление. Она не решилась спросить, что он хотел этим сказать. Но дрожь пробежала у нее по телу, когда он молча повернулся, и она увидела его плечи, широкие, жесткие, могучие, крепко спаянные с железным затылком. «Как у убийцы», — пронеслась у нее в голове безумная и сразу же отогнанная мысль. Только теперь, точно она

видела своего мужа в первый раз, она с ужасом поняла, что это сильный и опасный человек.

Снова заиграла музыка. К ней подошел какой-то господин, она машинально взяла его руку. Но все стало опять тяжелым, и светлая мелодия уже не уносила оцепеневшего тела. От сердца к ногам разливалась глухая тяжесть, каждый шаг причинял ей боль. И она попросила кавалера отпустить ее. Возвращаясь к своему месту, она невольно посмотрела, нет ли поблизости мужа. И вздрогнула. Он стоял совсем близко за ней, словно поджидал ее, и глаза ее снова встретили его стальной взгляд. Что ему нужно? Что он успел узнать? Она невольно оправила платье, как бы желая защитить от него обнаженную грудь. В его молчании была та же настойчивость, что и во взгляде.

— Поедем? — спросила она робко.

— Да. — Голос его звучал жестко и неприязненно. Он шел впереди. Она опять увидела мощный угрожающий затылок. Ей подали шубу, но она дрожала от холода. Они ехали молча. Она не решалась произнести ни слова. Она смутно чувствовала новую опасность. Теперь ей грозили с обеих сторон.

\* \* \*

В эту ночь ей приснился тяжелый сон. Звучала какая-то незнакомая музыка; высокий светлый зал; она вошла, двигаясь среди множества людей и красок; какой-то молодой человек, как будто знакомый ей, но которого она не совсем узнавала, подошел к ней, взял ее за руку, и она начала с ним танцевать. Ей было легко и хорошо, волна музыки подхватила ее, она не чувствовала пола под ногами, и так они танцевали по бесчисленным залам, где высоко в золотых люстрах, блистая, как звезды, горели маленькие огни, а множество зеркал возвращало ей ее улыбку и опять уносило ее дальше в бесконечных отражениях. Все более жарким становился танец, все более страстной — музыка. Она чувствовала, как юноша прижимается к ней все сильнее, как его пальцы впиваются в ее обнаженную руку, так что она застонала от мучительного

наслаждения, и когда его взор погрузился в ее взор, ей показалось, что она его узнает. Ей показалось, что это тот актер, которого она восторженно любила, когда была маленькой девочкой. Она уже хотела радостно произнести его имя, но он задушил ее тихий возглас жгучим поцелуем. И так, со слившимися устами, они летели по залам, точно уносимые блаженным ветром, — единое пылающее тело. Стены струились мимо, она больше не ощущала вознесенного вверх потолка. Время казалось ей несказанно легким, а тело раскованным. Вдруг кто-то коснулся ее плеча. Она остановилась, музыка умолкла, огни погасли, черные стены надвинулись на нее, и кавалер исчез. «Отдай мне его, воровка!» — кричала страшная женщина, ибо это была она, таким голосом, что гудели стены, и ледяными пальцами схватила ее за руку. Фрау Ирена сопротивлялась и слышала, что и она тоже кричит пронзительным, безумным криком отчаяния; между ними началась борьба, но женщина была сильнее, она сорвала с нее жемчужное ожерелье и при этом порвала платье, так что грудь и руки выступили обнаженными из-под свисающих лохмотьев. Вдруг снова появились люди, они сбегались изо всех залов со все возрастающим шумом и взирали, смеясь, на полуобнаженную Ирену и на кричавшую пронзительным голосом женщину: «Она украла его у меня, развратница, девка!» Ирена не знала, куда спрятаться, куда смотреть, потому что люди все приближались; любопытные, фыркающие рожи ощупывали ее наготу; и вот, растерянным взглядом ища спасения, она вдруг увидела в черной раме двери своего мужа, который стоял неподвижно, заложив правую руку за спину. Она вскрикнула и бросилась бежать, бежала через множество залов, следом за ней неслась жадная толпа, она чувствовала, как ее платье падает все ниже, она с трудом придерживала его. Вдруг перед нею распахнулась дверь. Она жадно бросилась вниз по лестнице, надеясь спастись, но внизу уже поджидала эта пошлая женщина в шерстяном платье, с хищными пальцами. Ирена отскочила в сторону и побежала прочь, как сумасшедшая, но та бросилась за нею, и так они мчались во тьме по длинным молчаливым

улицам, а фонари, хихикая, нагибались к ним. Она слышала у себя за спиной стук деревянных башмаков, но каждый раз, когда она добежала до угла улицы, снова появлялась эта женщина, на следующем углу опять, за каждым домом, слева, справа, — она подстерегала ее всюду. Она была везде, неистребимая, всегда опережающая, она обгоняла Ирену, хватала ее, и та уже чувствовала, что у нее подкашиваются ноги. Но вот, наконец, и дом, она бросилась вперед, но когда она рванула дверь, то там стоял муж с ножом в руке и смотрел на нее пронизывающим взглядом. «Где ты была?» — спросил он глухо. «Нигде», — услышала она свой ответ, а рядом громкий смех. «Я видела, я видела!» — кричала, оскалив зубы, женщина, очутившаяся вдруг опять рядом и хохотавшая, как сумасшедшая. Тогда муж поднял нож. «Спасите! — закричала фрау Ирена. — Спасите!»

Она вскочила, и ее испуганный взгляд столкнулся со взглядом мужа. Что... что это такое? Она в своей комнате, лампочка горит бледным светом, она дома, у себя в кровати, это был только сон. Но почему же муж сидит на краю постели и смотрит на нее, как на больную? Кто зажег огонь, почему он сидит такой серьезный, такой неподвижный? Ее охватил ужас. Она невольно взглянула на его руку: нет, у него не было ножа. Медленно исчезало сновидение с зарницами своих образов. Ей, должно быть, снился сон, она закричала во сне и разбудила мужа. Но почему же он так серьезно, так пристально, так неумолимо серьезно смотрит на нее?

Она попыталась улыбнуться.

— Что... что такое? Почему ты так смотришь на меня? Мне, кажется, приснился дурной сон.

— Да, ты громко кричала. Я услышал из другой комнаты.

«Что я кричала, что я выдала, — содрогалась она, — что он мог узнать?» Она не решалась взглянуть ему в глаза. А он смотрел на нее все так же серьезно, все так же удивительно спокойно.

— Что с тобой, Ирена? С тобой что-то происходит, ты так



изменилась за последние дни, ты точно в лихорадке, нервничаешь, такая рассеянная и зовешь во сне на помощь.

Она опять попыталась улыбнуться.

— Нет, — настаивал он, — ты не должна ничего от меня скрывать. Или у тебя какое-нибудь горе, что-нибудь тебя мучит? В доме все заметили, как ты изменилась. Ты должна мне довериться, Ирена.

Он незаметно подошел к ней, она чувствовала, как его пальцы гладят и ласкают ее голую руку, а в глазах у него был странный блеск. Ей хотелось броситься к нему на сильную грудь, прижаться к нему, признаться во всем и не отпускать его, пока он не простит, броситься сейчас, в эту самую минуту, когда он видел, как она страдает.

Но лампочка горела бледным светом, освещая ее лицо, и ей стало стыдно. Она боялась слов.

— Не тревожься, Фриц, — силилась она улыбнуться, а тело ее дрожало, от макушки до пальцев голых ног. — Я просто немного разнервничалась. Все это пройдет.

Он быстро отдернул руку, которой было обнял ее. Она вздрогнула, увидев его бледное при стеклянном свете лицо с тяжелой тенью мрачных мыслей на лбу. Он медленно встал.

— Не знаю, все эти дни мне казалось, что ты хочешь мне что-то сказать. Что-то такое, что касается только тебя и меня. Мы сейчас одни, Ирена.

Она лежала неподвижно, точно загипнотизированная этим серьезным, туманным взглядом. Она чувствовала, что сейчас все может стать так хорошо, стоит ей сказать одно слово, одно маленькое слово «прости», и он не станет спрашивать, за что. Но почему горит этот свет, яркий, наглый, прислушивающийся свет? В темноте она бы сказала, она это чувствовала. А свет лишал ее сил.

— Значит, тебе в самом деле нечего мне сказать, точно нечего?

Какое ужасное искушение, какой у него мягкий голос! Так он не говорил с нею никогда. Но этот свет, эта лампочка, этот желтый жадный свет!

Она сделала над собой усилие.

— Что это тебе пришло в голову? — рассмеялась она, и сама испугалась своего неестественного голоса. — Или, если я плохо сплю, так, значит, у меня должны быть секреты? Может быть, даже какой-нибудь роман?

Она сама испугалась, как лживо, как лицемерно прозвучали ее слова, она до мозга костей ужаснулась сама себе и невольно отвела взгляд.

— Ну, спи спокойно.

Он произнес это коротко, отрывисто. Совсем другим голосом. Как угрозу или как злую, опасную насмешку.

Затем он погасил свет. Она видела, как его белая тень исчезла в дверях, бесшумно, как бледное, ночное привидение, и, когда дверь закрылась за ним, ей показалось, будто опустилась крышка гроба. Ей казалось, что весь мир мертв и пуст, только в оцепеневшем теле ее собственное сердце громко и неистово стучало в груди, и больно, больно было от каждого удара.

\* \* \*

На следующий день, когда они сидели вместе за завтраком, — дети только что поссорились, и их с трудом удалось успокоить, — горничная принесла письмо. «Барыне, и ждут ответа». Ирена посмотрела с удивлением на незнакомый почерк, поспешно вскрыла конверт, но, прочитав первую строчку, вдруг побледнела. Она вскочила и испугалась еще больше, поняв по изумлению окружающих, что своей необдуманной стремительностью она выдает себя.

Письмо было короткое. Три строчки: «Пожалуйста, вручите подателю сего немедленно сто крон». Ни подписи, ни числа, явно измененный почерк, и только этот жутко повелительный приказ. Фрау Ирена побежала к себе в комнату за деньгами, но ключ от ящика оказался не на месте, и она начала лихорадочно рыться повсюду, пока, наконец, не нашла его. Дрожащими руками она вложила ассигнации в конверт и передала его сама ожидавшему у двери посыльному. Она действовала бессознательно, как бы под гипнозом, не допуская мысли об

ослушании. Затем — она отсутствовала не больше двух минут — она вернулась в столовую.

Все молчали. Она с робкой неловкостью села и только собралась привести какую-нибудь наспех придуманную отговорку, как вдруг — и рука ее так задрожала, что ей пришлось поставить назад поднятый стакан — она увидела с невыразимым ужасом, что, ослепленная волнением, она оставила письмо лежать открытым рядом со своей тарелкой. Она украдкой скомкала записку, но в тот миг, когда она ее прятала, она встретила, подняв глаза, твердый взгляд мужа, сверлящий, строгий, горестный взгляд, какого раньше она никогда у него не видела. Только теперь, в эти последние дни, он наносил ей взглядом вот такие внезапные удары недоверия, от которых она вся содрогалась и которых она не умела отражать. Таким же точно взглядом он ударил по ней, когда она танцевала; это тот же взгляд сегодня ночью сверкнул, как нож, над ее сном. И пока она подыскивала слова, ей припомнился давно забытый случай. Муж рассказывал ей однажды, что он выступал защитником в камере одного судебного следователя, который имел обыкновение прибегать к такому приему: во время допроса он перелистывал бумаги с таким видом, будто он близорук, а при решающем вопросе молниеносно вскидывал взгляд и поражал им, как кинжалом. Внезапный испуг обвиняемого: тот терялся от этой яркой вспышки сосредоточенного внимания и бессильно ронял бережно несомую ложь. Или он теперь и сам упражняется в этом опасном искусстве, а она — его жертва? Ей стало жутко, тем более что она знала, насколько ее мужу психологическая сторона его профессии дороже чисто юридической. Распознавать, вскрывать, исследовать преступление — привлекало его так же, как других азартная игра или эротика, и в такие дни психологической разведки он точно горел внутренним огнем. Воспаленная нервозность, заставлявшая его нередко говорить во сне, вспоминая забытое днем, превращалась в стальную непроницаемость, он ел и пил мало, только беспрерывно курил и словно берег слова для часа суда. В суде она слышала его только раз и больше не хотела, на-

столько ее испугали мрачная страстность, почти злобный огонь его речи и хмурое выражение лица, которое она теперь опять улавливала в его неподвижном взгляде под грозно сдвинутыми бровями.

Все эти затерянные воспоминания столпились разом и мешали словам, которые все силились слететь с ее губ. Она молчала, и чем яснее она чувствовала, как опасно такое молчание, тем сильнее становилось ее смущение. К счастью, завтрак скоро кончился, дети вскочили и бросились в соседнюю комнату с веселым, звонким криком, который гувернантка тщетно старалась унять. Муж тоже встал и тяжелым шагом, не оглядываясь, вышел из комнаты.

В этот миг она услышала за дверью шаги возвращавшегося мужа. Она торопливо вскочила, и лицо ее было красно от дыхания огня и оттого, что ее поймали врасплох. Дверцы печки были еще предательски открыты, она сделала неловкую попытку прикрыть их своим телом. Он подошел к столу, зажег спичку, чтобы закурить сигару, и, когда огонь близко озарил его лицо, ей показалось, что ноздри у него дрожат, а это означало, что он сердится. Он спокойно взглянул на нее:

— Я хочу только обратить твое внимание на то, что ты не обязана показывать мне свои письма. Если ты хочешь от меня что-нибудь скрыть, ты имеешь на это полное право.

Она молчала и не решалась на него взглянуть. Он подождал немного, затем шумно выпустил дым сигары, как бы из самой глубины груди и, тяжело ступая, вышел из комнаты.

\* \* \*

Ей не хотелось ни о чем думать, она старалась жить, оглушать себя, наполнять сердце пустыми, бессмысленными занятиями. Дома она была не в силах сидеть, она чувствовала, что ей надо на улицу, в толпу, иначе она сойдет с ума от ужаса. Она надеялась, что этой сотней крон она откупила у вымогательницы, по крайней мере, несколько дней свободы, и она решила пройтись, тем более что ей нужно было кое-что купить, а главное — надо было скрывать от домашних необыч-

ность своего поведения. У нее уже выработалась определенная манера ходить по улице. Из ворот она бросалась, как с мостков, с закрытыми глазами, в водоворот улицы. Почувствовав под ногами мостовую, а вокруг теплую людскую волну, она с нервной поспешностью, насколько может быстро ходить дама, не рискуя обратить на себя внимание, слепо шла вперед, потупив глаза, боясь снова встретить тот опасный взгляд. Если за ней следят, то она, по крайней мере, не хочет ничего об этом знать. И все же она чувствовала, что думает только об одном, и вздрагивала, когда кто-нибудь случайно задевал ее. Каждый звук, каждый шаг за ее спиной, каждая промелькнувшая тень мучительно действовали ей на нервы. Она дышала свободно только в экипаже или в чужом доме.

Какой-то господин поклонился ей. Она подняла глаза и узнала старого друга ее родителей, приветливого, болтливого старичка, которого она обычно избегала, потому что у него была привычка часами надоедать людям рассказами о своих — быть может, только воображаемых — болезнях. Но теперь ей было жаль, что она только ответила на его поклон и не попыталась пойти с ним вместе, потому что спутник был бы для нее защитой на случай неожиданной встречи с вымогательницей. Она не знала, как быть, и хотела уже вернуться назад, но вдруг ей показалось, что кто-то ее догоняет, и инстинктивно, не задумываясь, она бросилась вперед. Но с мучительной отчетливостью, обостренной страхом, она чувствовала, что ее настигают, и бежала все быстрее, хоть и понимала, что все равно ей от погони не уйти. Ее плечи дрожали, предчувствуя прикосновение руки, которая — шаги все приближались — сейчас коснется ее, и чем больше она старалась ускорить шаг, тем тяжелее становились ее колени. Вот ее уже почти настигли, и вдруг какой-то голос сзади произнес горячо и вместе с тем тихо: «Ирена». Она не сразу его узнала, но это был не тот голос, которого она боялась, не страшного вестника беды. Она облегченно вздохнула и обернулась: это был ее возлюбленный. Она остановилась так неожиданно, что он чуть не налетел на нее. Его бледное, расстроенное лицо выражало

крайнее волнение, которое под ее растерянным взглядом перешло в смущение. Он нерешительно поднял руку для приветствия и опустил ее снова, увидев, что она ему руки не подает. Несколько секунд она молча смотрела на него, настолько она не ожидала его встретить. В эти дни страха именно о нем она совсем забыла. И теперь, при виде его бледного, вопрошающего лица, с тем выражением беспомощной пустоты, которое всегда сопутствует неуверенности, в ней вдруг поднялась горячая волна злости. Ее губы, дрожа, подыскивали слово, и ее волнение было так явно, что он в испуге прошептал:

— Ирена, что с тобой? — и, заметив ее нетерпеливый взгляд, прибавил робко: — Что я тебе сделал?

Она смотрела на него с плохо скрываемой ненавистью.

— Что вы мне сделали? — рассмеялась она иронически. — Ничего! Ровным счетом ничего! Только одно хорошее! Только приятное!

Взгляд его погас, а раскрытый от изумления рот делал его совсем глуповатым и смешным.

— Но, Ирена... Ирена!

— Не шумите, — прикрикнула она на него. — И не разыгрывайте передо мной комедии. Она, наверное, опять подкарауливает меня где-нибудь поблизости, ваша благородная подруга, и опять набросится на меня...

— Кто... кто набросится?

Ирена охотно ударила бы его кулаком по лицу, по этому глупо неподвижному, перекошенному лицу. Она уже чувствовала, как ее рука сжимает зонтик. Никогда еще она так не презирала, не ненавидела человека.

— Но, Ирена... Ирена... — шептал он все с большим смущением. Чем я тебя обидел?... Вдруг ты исчезаешь... Я жду тебя днем и ночью... Сегодня я весь день простоял перед твоим домом, ждал тебя, хотел поговорить хоть одну минуту.

— Ты ждал... так... и ты тоже...

Она чувствовала, что не владеет собой от ярости. Как бы ей хотелось ударить его по лицу! Но она сдержала себя, взглянула на него еще раз со жгучей ненавистью, точно соображала,

не выплюнуть ли ему в лицо одним ругательством всю накопившуюся в ней злобу, потом вдруг повернулась и кинулась без оглядки в водоворот толпы. Он стоял, все еще простирая умоляюще руку, беспомощный и расстроенный, пока уличное движение не подхватило его и не унесло, как стремнина упавший листок, который борется, мечась и кружась, и, наконец, безвольно отдается течению.

\* \* \*

Но чья-то рука заботилась о том, чтобы она не предавалась радостным надеждам. Уже на следующий день пришла опять записка, опять удар кнутом, подстегнувший ее усталый страх. На этот раз требовалось двести крон, которые она и отдала беспрекословно. Это наглекшее вымогательство приводило ее в ужас: оно и материально было ей не по силам, потому что, хоть она и происходила из состоятельной семьи, она все же не имела возможности добывать такие крупные суммы, не рискуя обратить на себя внимание окружающих. И потом — ведь это не выход. Она знала, что завтра потребуют четыреста крон, а потом тысячу и тем больше, чем больше она будет давать, и, наконец, когда ее средства будут исчерпаны, анонимное письмо, катастрофа. Она покупала только время, только маленькую отсрочку, два-три дня передышки, быть может, неделю, но то были ужасные дни, преисполненные муки и напряжения. Она не могла читать, ничего не могла делать, гонимая демоном внутреннего страха. Она чувствовала себя больной. Иногда у нее бывало такое сердцебиение, что она не могла стоять; тревожная тяжесть наполняла все тело терпким соком почти болезненной усталости, которая все же не переходила в сон. А она, с трепещущими нервами, должна была улыбаться, казаться веселой, и никто не подозревал, какого бесконечного напряжения стоит ей это деланное веселье, какие героические силы она расточает на эту ежедневную, в конце концов бесполезную, борьбу с собою.

Ей казалось, что только один человек из всех окружающих догадывается о том ужасном, что с ней происходит, и это

потому, что он следит за нею. Она чувствовала, — и это заставляло ее быть сугубо осторожной, — что он думает о ней беспрестанно, точно так же, как и она о нем. Они наблюдали друг за другом днем и ночью, словно каждый старался разгадать тайну другого и скрыть свою собственную. Муж ее тоже изменился за последнее время. Грозная инквизиторская строгость первых дней сменилась какой-то особенной добротой и озабоченностью, которая невольно напоминала ей то время, когда она была невестой. Он обращался с нею, как с больной, приводил ее в смущение своей заботливостью. Ее охватывал жуткий трепет, когда он иной раз словно подсказывал ей способ избавления, когда он старался облегчить ей признание; она понимала его намерение и была рада, была благодарна ему за доброту. Но она чувствовала, сознавала также, что вместе с этим доверием в ней растет и чувство стыда перед ним и строже замыкает ей уста, чем недавнее недоверие.

Однажды он заговорил с нею совершенно открыто, глядя ей прямо в глаза. Возвратившись как-то домой, она услышала еще из прихожей громкие голоса, голос мужа, резкий и энергичный, раздраженную трескотню гувернантки, всхлипывание и плач. В первую минуту она испугалась. Она всегда вздрагивала, когда слышала громкие голоса или шум в доме. На все необычное она откликалась страхом, что пришло письмо, что тайна раскрыта. Всякий раз, отворяя дверь, она окидывала лица вопрошающим взглядом, стараясь угадать, не случилось ли чего-нибудь в ее отсутствие, не разразилась ли катастрофа, пока ее не было. На этот раз произошла просто детская ссора, как она узнала, успокаиваясь, — маленький импровизированный суд. Несколько дней назад тетя принесла мальчику игрушку, пеструю лошадку, и младшая сестра, получившая не такой интересный подарок, завидовала ему. Она пыталась завладеть лошадкой и делала это с такой жадностью, что мальчик вообще запретил ей трогать игрушку. Девочка сперва раскричалась от злости, а потом замкнулась в глухое, упорное молчание. Но на следующее утро лошадка вдруг исчезла бесследно, и все старания мальчика отыскать ее не привели ни к



чему. В конце концов пропавшая игрушка нашлась случайно в печке, вся искалеченная: деревянные части были сломаны, пестрая шерсть сорвана, внутренности выпотрошены. Подозрение пало, разумеется, на девочку; мальчик с плачем бросился к отцу, обвиняя злодейку; и вот началось разбирательство.

Маленький процесс длился недолго. Девочка сперва отпиралась — правда, робко опустив глаза и с предательской дрожью в голосе. Гувернантка показывала против нее, она слышала, как девочка грозилась выбросить лошадку за окно, и та тщетно пыталась это отрицать. Последовало смятение, плач и отчаяние. Ирена смотрела только на мужа; ей казалось, что он судит не ребенка, а решает ее собственную участь, потому что, может быть, завтра ей тоже суждено стоять перед ним вот так, дрожа, с прерывающимся голосом. Муж сохранял строгость, пока девочка продолжала лгать, затем слово за слово сломил ее сопротивление, ни разу не выйдя из себя. Но когда отрицание вины сменилось мрачным упорством, он начал ласково ее уговаривать, доказывая чуть ли не внутреннюю неизбежность содеянного, и как бы извинял совершенный ею в порыве злобы отвратительный поступок тем, что она при этом не подумала, насколько это огорчит брата. И он так тепло и мягко объяснил начавшей колебаться девочке, что ее поступок вполне понятен, хоть и заслуживает осуждения, что та, наконец, разразилась слезами и принялась неистово рыдать. И, утопая в слезах, она в конце концов пролепетала признание.

Ирена бросилась обнимать плачущего ребенка, но девочка сердито оттолкнула ее. Муж тоже не позволил ей выражать преждевременно сочувствие, ибо он не хотел, чтобы проступок остался безнаказанным, и присудил небольшое, но для ребенка чувствительное наказание, заключавшееся в том, что на следующий день девочка не пойдет на праздник, которому она уже несколько недель заранее радовалась. Девочка выслушала приговор, рыдая; мальчик начал громко ликовать, но за такое неуместное и неприязненное издевательство был тоже наказан, и за его злорадство ему было также запрещено идти

на детский праздник. Опечаленные и утешаясь только тем, что наказаны они оба, дети, наконец, ушли, и Ирена осталась одна с мужем.

Она вдруг почувствовала, что ей представился случай заговорить о собственной вине уже не просто намеками, а под видом беседы о вине ребенка и об его признании. Если он отнесется благосклонно к ее ходатайству, то это будет для нее знаком, и тогда она, быть может, решится заговорить о себе самой.

— Скажи, Франц, — начала она, — ты в самом деле не хочешь пускать завтра детей? Это их очень огорчит, особенно малютку. То, что она сделала, совсем не так уж гадко. Почему ты так строго ее наказываешь? Неужели тебе совсем не жаль ребенка?

Он посмотрел на нее.

— Ты спрашиваешь, жаль ли мне ее. На это я отвечаю: сегодня мне ее больше не жаль. Теперь, когда она наказана, ей легко, хотя она и огорчена. Несчастной чувствовала она себя вчера, когда бедная лошадка валялась сломанная в печке, все в доме ее искали, и она все время боялась, что ее вот-вот найдут, не могут не найти. Страх — хуже наказания, потому что наказание — всегда нечто определенное, и, будь оно тяжелое или легкое, оно все же лучше, чем нестерпимая неопределенность, чем жуткая бесконечность ожидания. Как только она узнала, в чем заключается наказание, ей стало легко. Слезы не должны вводить тебя в заблуждение: теперь они просто вышли наружу, а раньше были внутри. А пока они внутри, они мучительнее.

Она подняла голову. Ей казалось, что каждым своим словом он метит в нее. Но он как будто даже не обращал на нее внимания.

— Это действительно так, можешь мне поверить, я это знаю из судебной практики. Обвиняемые страдают главным образом оттого, что они вынуждены скрываться от страха, что преступление будет раскрыто, от жуткой необходимости защищать неправду от тысячи мелких, скрытых нападений. От-

вратительно видеть, как обвиняемый корчится и извивается, когда слово «да» приходится точно щипцами вырывать из сопротивляющегося тела. Иногда это слово уже подступает к гортани, неудержимая сила его выталкивает, человек им давится, вот-вот он его произнесет; но вдруг им овладевает какая-то злая воля, непонятное чувство упорства и страха, и он его снова проглатывает. И борьба начинается сызнова. Судья страдает при этом иногда больше, чем сама жертва. К тому же обвиняемый всегда считает его своим врагом, а в действительности он ему помогает. И я, как адвокат, как защитник, должен был бы предупреждать клиентов, чтобы они не сознавались, должен был бы укреплять их во лжи, но я часто решаюсь на это, потому что для них мучительнее отрицать, чем сознаться и понести наказание. Я, между прочим, до сих пор не могу понять, как можно совершить проступок, сознавая его опасные последствия, и потом не иметь мужества признаться в нем. Я нахожу, что такой мелкий страх перед словом хуже всякого преступления.

— Ты думаешь... что людям мешает всегда... всегда только чувство страха? А разве... разве не может быть чувства стыда... Стыдно высказаться, раздеться на глазах у всех.

Он посмотрел на нее с удивлением, он не привык к тому, чтобы она возражала. Но эти слова произвели на него впечатление.

— Ты говоришь, стыдно... это... это... ведь тоже только страх... но этот страх лучше... страх не перед наказанием, а... да, я понимаю...

Он встал, странно взволнованный, и зашагал назад и вперед. Эта мысль, казалось, затронула в нем какое-то чувство, которое встрепенулось и забушевало внутри. Вдруг он остановился.

— Я допускаю... Стыдно перед людьми. перед людьми... перед толпой, пожирающей в газете чужую сульбу, как бутерброд... Но ведь можно признаться тем, кто близок...

— А может быть, — она должна была отвернуться, так пристально он на нее смотрел, и она чувствовала, что голос у

нее дрожит, — может быть, чувство стыда сильнее всего... в отношении тех, кто... для нас всех ближе.

Он вдруг остановился, скованный какой-то внутренней силой.

— Ты, значит, думаешь, ты думаешь... — его голос изменился вдруг, зазвучал мягко и глухо, — ты думаешь... что Елене... было бы легче признаться в своей вине кому-нибудь другому... например, гувернантке... что она...

— Я в этом убеждена... она оказала именно тебе такое сопротивление... потому... потому что твое мнение для нее важнее всего... потому что она... любит тебя больше всех...

Он снова остановился.

— Ты... ты, может быть, права... и даже наверно... как странно... как раз об этом я никогда не думал. Но ты права, я не хочу, чтобы ты думала, будто я не умею прощать... мне бы не хотелось, чтобы именно ты, Ирена, могла бы так думать...

Он посмотрел на нее, и она почувствовала, что краснеет под его взглядом. Нарочно он так говорит или это случайность, коварная, опасная случайность? Она все еще не могла решиться.

— Приговор кассирован, — он вдруг повеселел, — Елена свободна, и я пойду и сообщу ей сам об этом. Ты теперь довольна мною? Или ты еще чего-нибудь хочешь?.. Ты... ты видишь... ты видишь... сегодня я настроен великодушно... быть может, потому, что вовремя осознал свою вину. Это всегда приносит облегчение, Ирена, всегда...

Ей казалось, что она понимает смысл этого заверения. Она невольно подошла к нему ближе, она готова была уже заговорить, он тоже подошел к ней, точно хотел поскорее взять у нее из рук то, что ее угнетало. Но в этот миг она встретила его взгляд, в нем горело нетерпение, жгучее нетерпение услышать признание, ухватить частицу ее существа, и вдруг в ее душе все обрушилось. Ее рука утомленно поникла, она отвернулась. Она почувствовала, что все напрасно, что она никогда не сможет произнести то единственное освобождающее слово, что горит у нее в душе и пожирает ее покой. Предостережение

гремело, как близкий гром, но она знала, что ей некуда бежать. И втайне она уже желала того, чего до сих пор страшилась: освободительной молнии, развязки.

\* \* \*

Казалось, ее желание осуществится скорее, чем она думала. Борьба продолжалась уже две недели, и Ирена чувствовала себя обессиленной. Уже четыре дня эта особа не показывалась, и страх так глубоко проник в ее тело, так слился воедино с ее кровью, что она каждый раз, когда раздавался звонок, вскакивала, чтобы вовремя взять самой письмо от вымогательницы. В этом ожидании было нетерпение, почти томление, потому что за эти деньги она покупала каждый раз хотя бы один только спокойный вечер, несколько тихих часов с детьми, прогулку.

Снова раздался звонок, она выбежала из комнаты и бросилась к двери. Она отворила и первое мгновение удивленно смотрела на незнакомую даму, но затем в ужасе отшатнулась, узнав ненавистное лицо вымогательницы в новом наряде и в элегантной шляпе.

— Ах, это вы сами, фрау Вагнер, очень приятно! Мне нужно переговорить с вами по важному делу.

И, не дожидаясь ответа перепуганной женщины, опирающейся дрожащей рукой на ручку двери, она вошла и поставила зонтик, ярко-красный зонтик, очевидно — плод ее разбойничьих набегов. Она двигалась с необыкновенной уверенностью, как будто находилась в своей собственной квартире, и, оглядывая с удовольствием, как бы с чувством успокоения, красивую обстановку, направилась, не дожидаясь приглашения, к полуоткрытой двери в гостиную.

— Сюда, не правда ли? — спросила она со сдержанной усмешкой, и когда испуганная женщина, все еще не в состоянии произнести ни слова, попыталась удержать ее, она прибавила успокаивающе: — Если это вам неприятно, мы можем обсудить вопрос быстро.

Фрау Ирена последовала за ней, не возражая. Она была

оглушена мыслью, что эта вымогательница находится в ее собственной квартире, этой дерзостью, которая превосходила все самые ужасные ее предположения. Ей казалось, что все это сон.

— У вас здесь красиво, очень красиво, — любовалась пришедшая, опускаясь в кресло. — Ах, как удобно сидеть! И как много картин! Только здесь начинаешь понимать, как бедно мы живем. У вас красиво, очень красиво, фрау Вагнер.

Глядя на эту преступницу, расположившуюся в ее собственных комнатах, измученная Ирена пришла, наконец, в бешенство.

— Что же вам нужно от меня, шарлатанка вы этакая! Вы преследуете меня даже в моем доме! Но я не позволю замучить себя до смерти! Я...

— Не говорите же так громко, — прервала ее женщина с оскорбительной фамильярностью. — Дверь открыта, прислуга может услышать. Мне-то все равно. Мне ведь нечего скрывать, и, в конце концов, в тюрьме мне будет немногим хуже, чем на свободе. А вот вам, фрау Вагнер, следовало бы быть поосторожнее. Я прежде всего закрою дверь на тот случай, если вам угодно будет еще погорячиться. Но я вас предупреждаю, что ругательства не производят на меня никакого впечатления.

Силы, вспыхнувшие в порыве ярости, снова покинули фрау Ирену перед несокрушимостью этой особы. Она стояла почти смиренно и взволнованно, как ребенок, ожидающий, какой урок ему зададут.

— Итак, фрау Ирена, без длинных предисловий. Мне живется плохо, вы это знаете. Я вам уже говорила. Сейчас мне нужны деньги, чтобы уплатить проценты. У меня есть еще и другие нужды. Мне бы хотелось наконец привести свои дела немножко в порядок. Я пришла к вам за тем, чтобы вы меня выручили и дали, ну, скажем, четыреста крон.

— Я не могу, — пролепетала фрау Ирена, испуганная размером суммы, которой она и в самом деле не располагала. — У меня сейчас действительно нет таких денег. За этот месяц я вам дала уже триста крон. Откуда мне их взять?

— Ну, как-нибудь устройте, подумайте. Такая богатая женщина, как вы, может добыть денег, сколько хочет. Нужно только захотеть. Так что обсудите это дело, фрау Ирена, и все устроится.

— Но у меня действительно их нет. Я бы охотно вам дала, но у меня, право же, нет столько. Сколько-нибудь я могла бы вам дать, может быть, сто крон...

— Я сказала, что мне нужно четыреста крон, — бросила она грубо в ответ, как бы обиженная таким предложением.

— Но у меня их нет! — воскликнула Ирена в отчаянии. «А что, если сейчас вернется муж?» — мелькнуло у нее в голове; он мог прийти с минуты на минуту. — Клянусь вам, что у меня нет...

— Тогда постарайтесь раздобыть...

— Я не могу...

Женщина окинула ее взглядом с ног до головы, точно хотела оценить ее.

— Вот, например, это кольцо... Если его заложить, то деньги будут. Я, правда, плохо разбираюсь в драгоценностях. У меня их никогда ведь не было... Но я думаю, что четыреста крон можно будет за него получить...

— Это кольцо! — воскликнула Ирена.

Это было обручальное кольцо, единственное, с которым она никогда не расставалась и которому крупный и красивый камень придавал большую ценность.

— А почему бы нет? Я вам пришлю ломбардную квитанцию, и вы сможете его выкупить, когда захотите. Вы ведь получите его обратно. Я его не оставлю себе. Что мне, бедной женщине, делать с таким благородным кольцом?

— За что вы меня преследуете? За что вы мучаете меня? Я не могу... Я не могу. Вы же должны это понять... Вы видите, я сделала все, что было в моих силах. Вы же должны это понять. Пожалейте меня!

— Меня тоже никто не жалел. Меня довели чуть ли не до голодной смерти. Почему же должна именно я пожалеть такую богатую женщину?

Ирена хотела ответить резкостью. Но вдруг услышала, — у нее застыла в жилах кровь, — что внизу хлопнула дверь. Должно быть, — это муж возвращается из конторы. Не раздумывая, она сорвала кольцо с пальца и протянула его протельнице; та поспешно его спрятала.

— Не бойтесь. Я ухожу, — кивнула женщина, заметив невыразимый ужас на лице Ирены, которая напряженно прислушивалась к мужским шагам, отчетливо раздававшимся в передней. Женщина открыла дверь, поклонилась входившему мужу Ирены, который взглянул на нее без особого внимания, и исчезла.

— Какая-то дама приходила за справкой, — сказала Ирена из последних сил, как только за той закрылась дверь. Самый страшный миг миновал. Ее муж ничего не ответил и спокойно прошел в столовую, где стол был уже накрыт к завтраку.

Ирене казалось, что воздух обжигает ей то место на пальце, которое было обычно защищено прохладным обручем кольца, и что все смотрят на это обнаженное место, как на клеймо. За завтраком она все время прятала руку, но напряженные нервы издевались над ней, и ей чудилось, что муж неотступно смотрит ей на руку и преследует взглядом каждое ее движение. Она всеми силами старалась отвлечь его внимание и непрерывными вопросами поддерживала беседу. Она то и дело обращалась к нему, к детям, к гувернантке, то и дело разжигала разговор огоньками вопросов, но у нее не хватало дыхания, и беседа снова гасла. Она силилась казаться веселой и заразить своим весельем других, она дразнила детей и напускала их друг на друга, но они не смеялись и не спорили. В ее веселости была, должно быть, какая-то фальшь, — она сама это чувствовала, — и эта фальшь действовала на других. Чем больше она старалась, тем неудачнее выходило. В конце концов она утомилась и умолкла.

Остальные тоже молчали: она слышала только тихий звон тарелок, да голос страха внутри. Вдруг муж спросил ее:

— А где же твое кольцо?

Она вздрогнула. Внутри громко раздалось: кончено! Но



инстинктивно она все еще сопротивлялась. Она понимала, что теперь нужно напрячь все силы. Еще одну только фразу, одно только слово. Найти еще одну только ложь, последнюю ложь.

— Я... я его отдала почистить. И как бы окрепнув от этой неправды, она прибавила решительно,

— Послезавтра я за ним схожу. — Послезавтра. Теперь она связана: если обман не удастся, он должен рухнуть, а вместе с ним погибнет и она. Она сама себе определила срок, и в ее смятенный страх вдруг проникло новое чувство, нечто вроде счастья, что решительная минута так близка. Послезавтра: отныне она знала срок и чувствовала, как это сознание затопляет ее страх каким-то странным покоем. Внутри нарастало что-то новое, новая сила, сила жить и сила умереть.

\* \* \*

Твердая уверенность близкой развязки внесла в ее душу неожиданную ясность. Нервозность каким-то чудом уступила место зрелой рассудительности, а страх сменился ей самой непонятным чувством прозрачного покоя, благодаря которому все события в ее жизни предстали ей вдруг ясными и в своем истинном значении. Она измерила свою жизнь и увидела, что она все еще много значит, если только ей удастся сохранить ее в том новом и возвышенном смысле, который она постигла в эти дни страха; если она может начать новую жизнь, чистую и ясную, без лжи, — она к этому готова. Но для того, чтобы жить разведенной женой, обманувшей мужа, опозоренной, для этого она слишком устала; и слишком устала также продолжать эту опасную игру в покупаемый на срок покой. Она чувствовала, что сопротивление уже невыносимо, что конец близок, что ее в любую минуту могут предать муж, дети, все кругом, она сама. Убежать от вездесущего врага было невозможно. А признание, единственное прибежище, было для нее недоступно, теперь она это знала. Оставался один только путь, но оттуда не было возврата.

Утром она сожгла письма, привела в порядок свои безделушки, но избегала детей и вообще всего, что ей было мило. Она сторонилась радостей и соблазнов, боялась, что напрасное колебание только затруднит ей принятое решение. Потом она вышла на улицу. Ей хотелось в последний раз испытать судьбу, не встретится ли ей шарлатанка. Она опять бесцельно бродила по улицам, но уже без прежнего чувства напряжения. Что-то в ней устало, у нее не было сил продолжать борьбу. Она бродила, точно по обязанности, целых два часа. Этой особы нигде не было. Она уже не огорчалась. Ей даже не хотелось больше встретиться с нею, настолько она чувствовала себя обессиленной. Она вглядывалась в лица прохожих, и все они казались ей чужими, мертвыми, безжизненными... Все это было словно уже далеко, утрачено и больше ей не принадлежало. Вдруг она вздрогнула. Ей показалось, что, оглянувшись, она уловила по ту сторону улицы, в толпе, взгляд мужа, тот странный, жесткий, толкающий взгляд, которым он смотрел на нее последнее время. Она стала боязливо вглядываться, но та фигура быстро исчезла позади проезжавшего экипажа, и она успокоилась, вспомнив, что в этот час он всегда бывает в суде. В своем волнении она потеряла представление о времени и явилась к завтраку с опозданием. Но и мужа, против обыкновения, дома еще не было. Он пришел только две минуты спустя, и ей показалось, что он слегка взволнован.

Она сосчитала, сколько часов остается до вечера, и испугалась, что их так много: как все это странно, как мало нужно времени, чтобы проститься, каким все кажется незначительным, когда знаешь, что ничего не можешь взять с собою. На нее напала какая-то сонливость. Она механически вышла на улицу и пошла наугад, ни о чем не думая и ничего не замечая. На каком-то перекрестке кучер едва успел осадить лошадей, она уже видела налетавшее на нее дышло. Кучер выругался, она даже не оглянулась: это было бы спасением или отсрочкой.

Случай мог избавить ее от решения. Она устало пошла дальше; как приятно было ни о чем не думать и только смутно ощущать темное чувство конца, тихо опускающийся и все окутывающий туман.

Но вот она подняла случайно глаза, чтобы посмотреть, какая это улица, и вздрогнула: в своих скитаниях она добрела почти до самого дома своего возлюбленного. Что это, знак? Быть может, он еще в состоянии ей помочь, он, наверно, знает адрес этой особы. Она чуть не задрожала от радости. Как это она раньше не подумала об этом, ведь это так просто! Она сразу ожила, надежда окрылила вялые мысли, и они закружились в беспорядке. Он должен пойти с нею к этой особе и раз навсегда покончить с этим. Он должен пригрозить ей и потребовать, чтобы она прекратила вымогательство; возможно даже, что удастся с помощью некоторой суммы заставить ее покинуть город. Ей вдруг стало жаль, что она так дурно обошлась с несчастным, но он поможет ей, она в этом уверена. Как странно, что это спасение пришло только теперь, в последний час.

Она быстро взбежала по лестнице и позвонила. Никто не открывал. Она стала прислушиваться: ей показалось, что за дверью слышны осторожные шаги. Она позвонила вторично. Снова молчание. И опять тихий шорох за дверью. Она потеряла терпение; стала звонить и звонить без конца, ведь речь шла о ее жизни.

Наконец, за дверью что-то зашевелилось, щелкнул замок, и приоткрылась узкая щель.

— Это я, — произнесла она поспешно.

Тогда он словно в испуге открыл дверь.

— Это ты... это вы, сударыня, — бормотал он смущенно. — Я... простите... я не ожидал... что вы придете... простите... что я в таком костюме. — Он указал на рукава своей рубашки. Он был без воротничка и с расстегнутой грудью.

— Мне необходимо с вами переговорить. Вы должны мне помочь, — сказала она с нервным волнением, потому что он все еще держал ее на пороге, как нищую, — не можете ли вы

впустить меня и выслушать одну минуту? — прибавила она раздраженно.

— Прошу вас, — пробормотал он смущенно, бросив взгляд в сторону, — только сейчас... я не могу...

— Вы должны меня выслушать. Ведь это ваша вина. Вы обязаны мне помочь... Вы должны добыть мое кольцо, вы должны. Или скажите, по крайней мере, где она живет... Она меня все время преследует, а теперь исчезла... Вы обязаны, слышите, вы обязаны...

Он пристально смотрел на нее. Только теперь она заметила, что произносит какие-то бессвязные слова.

— Ах, да... ведь вы не знаете... Так вот: ваша возлюбленная, ваша прежняя, эта особа видела, как я уходила от вас последний раз, и с той поры она меня преследует, вымогает у меня деньги... Она замучает меня до смерти. Теперь она отняла у меня кольцо, и мне необходимо получить его назад. Сегодня вечером оно должно быть у меня, я так сказала — сегодня вечером... Так вот, помогите мне.

— Но... но я...

— Вы согласны мне помочь или нет?

— Но я не знаю никакой особы! Я не понимаю, о ком вы говорите. Я никогда не имел никакого отношения к вымогательницам! — Он был почти груб.

— Так... вы ее не знаете. Она, значит, все это сочинила. А между тем она знает ваше имя, знает, где я живу. Быть может, неправда и то, что она меня шантажирует. Быть может, все это мне снится.

Она громко рассмеялась. Ему стало не по себе. У него мелькнула мысль: не сошла ли она с ума — так сверкали ее глаза. Она была сама не своя, говорила бессмысленные слова. Он испуганно оглянулся.

— Прошу вас, сударыня, успокойтесь... Уверяю вас, вы ошибаетесь. Это совершенно невозможно. Должно быть... нет, я сам ничего не понимаю. С такого рода женщинами я незнаком. Те две связи, которые у меня были за время моего, как вам известно, краткого пребывания здесь, не такого порядка...

я не хочу называть имен... но это так смешно... уверяю вас, это какое-то недоразумение...

— Так, значит, вы не хотите мне помочь?

— Разумеется... если я могу.

— Тогда... идемте. Мы вместе пойдем к ней.

— К кому... К кому идти?

Она схватила его за руку, и он опять с ужасом подумал, что она сошла с ума.

— К ней... Пойдете вы или нет?

— Но разумеется... разумеется. — Его подозрение окрепло, когда он увидел, с какой жадностью она его торопит. — Разумеется... разумеется.

— Так идемте же... Речь идет о жизни или смерти.

Он сдерживался, чтобы не улыбнуться. Вдруг он принял официальный тон.

— Извините, сударыня... Но в настоящую минуту я лишен возможности... У меня сейчас урок музыки... Я не могу прервать...

— Так, так... — громко рассмеялась она ему в лицо, — так вы даете уроки музыки... В сорочке... Лжец! — и вдруг, охваченная какой-то мыслью, она бросилась вперед. Он старался удержать ее. — Так эта шантажистка у вас, здесь? Вы, чего доброго, с нею заодно... Вы, может быть, делитесь тем, что вымогали у меня? Но я ее поймаю! Мне теперь ничего не страшно.

Она громко кричала. Он держал ее крепко, но она боролась, вырвалась и бросилась к дверям спальни.

Какая-то фигура, очевидно подслушивавшая разговор, отскочила от двери. Ирена изумленно смотрела на незнакомую даму в несколько небрежном туалете, поспешно отвернувшую лицо. Ее возлюбленный бросился за нею следом, чтобы задержать и предотвратить несчастье, потому что считал ее безумной, но она сама тотчас же вышла из комнаты.

— Простите, — пробормотала она. В голове у нее все смешалось. Она больше ничего не понимала, она чувствовала только отвращение, бесконечное отвращение.

— Простите, — повторила она, видя, что он провожает ее встревоженным взглядом. — Завтра... Завтра вы все поймете... то есть... я сама ничего больше не понимаю.

Она говорила с ним, как с чужим. Ничто не напоминало ей о том, что она когда-то принадлежала этому человеку, она почти не ощущала своего собственного тела. Теперь все еще больше перепуталось; она знала только, что где-то здесь кроется ложь. Но она была слишком утомлена, чтобы думать, слишком утомлена, чтобы смотреть. С закрытыми глазами шла она по лестнице, как приговоренный на эшафот.

\* \* \*

Когда она вышла, на улице было темно. Быть может — мелькнула у нее мысль, — та поджидает ее напротив; быть может, в последнюю минуту придет спасение... Ей хотелось сложить руки и молиться какому-то забытому богу. О, если бы можно было купить еще хоть несколько месяцев, до лета, и пожить мирно, вдаль от вымогательницы, посреди полей и лугов, одно только лето. Она жадно всматривалась в темноту улицы. Ей показалось, что в воротах кто-то сторожит, но, когда она подошла ближе, фигура отошла в тень. Одно мгновение ей почудилось, что этот человек похож на ее мужа. Она уже второй раз пугалась сегодня, думая, что узнает его и его взгляд на улице. Она остановилась, чтобы убедиться, он это или нет, но фигура скрылась в темноте. Она тревожно двинулась дальше, со странно напряженным ощущением, в забытии, словно от обжигавшего сзади взгляда. Она оглянулась еще раз. Но никого больше не было видно.

Аптека была поблизости. Она вошла с легкой дрожью. Аптекарь взял рецепт и принялся за приготовление. В эту короткую минуту она увидела все: блестящие весы, хорошенькие гирьки, маленькие этикетки, а наверху в шкапах строй эссенций с непонятными латинскими названиями, которые она бессознательно принялась читать подряд. Она слышала, как тикают часы, вдыхала своеобразный запах, жирно-сладкий запах лекарств, и припомнила вдруг, как в детстве она всегда

просила у матери позволения пойти в аптеку за лекарством, потому что ей нравился этот запах и странный вид множества блестящих тиглей. И вдруг она с ужасом подумала, что забыла проститься с матерью, и ей стало мучительно жаль бедную женщину. «Как бы она испугалась», — думала Ирена с содроганием, но аптекарь уже отсчитывал из пузатого сосуда светлые капли в синюю склянку. Она наблюдала неподвижно, как смерть переходит из большого сосуда в маленький, откуда скоро перельется в ее жилы, и по телу ее пробегал озноб. Бесмысленно, как под гипнозом, смотрела она на его пальцы, втыкавшие теперь пробку в наполненную склянку, а теперь оклеивавшие опасное отверстие бумагой. Все ее чувства были скованы и разбиты этой жуткой мыслью.

— Две кроны, пожалуйста, — сказал аптекарь.

Она очнулась от оцепенения и оглянулась кругом, не соображая, где она. Затем машинально опустила руку в сумочку, чтобы достать деньги. Она была все еще словно во сне, посмотрела на монеты, не сразу их распознавая, и невольно замешкалась с подсчетом.

Вдруг она почувствовала, что кто-то взволнованным движением отстраняет ее руку, и услышала звон монет о стеклянную тарелку. Чья-то протянутая рука взяла склянку.

Она невольно обернулась. И взгляд ее окаменел. Рядом стоял ее муж, с крепко сжатыми губами. Он был бледен, а на лбу блестели капли пота.

Она почувствовала, что теряет сознание, и должна была опереться на стол. Теперь ей стало ясно, что это его она видела на улице и что это он сейчас сторожил в воротах; что-то в ней еще там каким-то чутьем узнало его и в ту же секунду смятенно отреклось.

— Пойдем! — сказал он глухим, сдавленным голосом. Она взглянула на него неподвижным взглядом и внутренне, в какой-то глухой, глубокой области сознания удивилась тому, что повинуется. И пошла за ним, сама не сознавая, что идет.

Они шли по улице рядом, не глядя друг на друга. Он все еще держал склянку в руке. Один раз он остановился и вытер влажный лоб. Невольно остановилась и она, сама того не желая и не сознавая. Но взглянуть на него она не решилась. Оба молчали, а между ними стоял уличный шум.

На лестнице он пропустил ее вперед. И как только она почувствовала, что его нет рядом, у нее задрожали ноги. Она остановилась и прислонилась к перилам. Тогда он взял ее под руку. От этого прикосновения она вздрогнула и пробежала последние ступеньки бегом.

Она вошла в комнату. Он последовал за нею. Тускло мерцали стены, с трудом можно было различить отдельные предметы. Они все еще не произнесли ни слова. Он сорвал со склянки бумажный колпачок, откупорил ее и вылил содержимое. Затем отбросил склянку в угол. Она вздрогнула от звона разбитого стекла.

Они все молчали и молчали. Она чувствовала, как он себя сдерживает, чувствовала, не глядя на него. Наконец, он подошел к ней. Близко, совсем близко. Она чувствовала его тяжелое дыхание и видела неподвижным, затуманенным взором, как сверкали его глаза в темноте комнаты. Она ожидала, что он даст волю своей ярости, и вздрогнула, когда он крепко взял ее за руку. Сердце перестало биться, и только нервы дрожали, как напряженные струны. Она всем существом ждала кары и почти жаждала его гнева. Но он все молчал, и она с бесконечным изумлением поняла, что он подошел к ней с нежностью.

— Ирена, — сказал он, и голос его прозвучал необыкновенно мягко. — Долго ли еще мы будем друг друга мучить?

И вдруг, судорожно, с невероятной силой, как сплошной, безрассудный, звериный крик, хлынуло ее накопившееся, подавляемое все эти недели рыдание. словно чья-то разгневанная рука схватила ее изнутри и трясла, она шаталась, как пьяная, и упала бы, если бы он ее не поддержал.

— Ирена, — успокаивал он ее. — Ирена, Ирена, — все тише, все ласковее произнося это имя, точно хотел все возра-



стающей нежностью слова усмирить отчаянное смятение судорожных нервов. Но в ответ раздавались лишь рыдания, дикие порывы, волны страдания, раздиравшие все тело. Он повел, он понес это содрогающееся тело к дивану и уложил его. Но рыдания не утихали. Судорога слез сотрясала тело подобно электрическим разрядам, волны холодного трепета пробегали по измученной плоти. После долгих дней невыносимого напряжения нервы не выдержали, и без удержу бушевала мука в бесчувственном теле.

В страшном волнении он держал трепещущее тело, трогал холодные руки, целовал сначала ласково, а потом в диком порыве испуга и страсти ее платье, ее затылок, но дрожь все по-прежнему терзала лежащую, а изнутри набегали порывистые, наконец раскованные волны рыданий. Он коснулся холодного, залитого слезами лица и почувствовал бьющиеся жилы на висках. Ему стало невыразимо страшно. Он опустил на колени, чтобы быть ближе к ее лицу.

— Ирена, — и снова прикасался к ней, — почему ты плачешь?.. Теперь... теперь ведь все прошло... зачем же мучиться... ты не должна бояться... она никогда больше не придет... никогда...

Она вздрогнула опять, он держал ее обеими руками. Чувствуя это отчаяние, которое раздирало ее измученное тело, он испытывал такой страх, словно он убил ее. Он целовал ее беспрестанно и шептал смятенные, извиняющиеся слова.

— Нет... никогда больше... я клянусь тебе... я ведь не мог ожидать, что ты так испугаешься... я хотел только позвать тебя... чтобы ты вспомнила свой долг, только чтобы ты ушла от него... навсегда... навсегда... к нам назад... ведь у меня не было выбора, когда я об этом случайно узнал... я же не мог сказать тебе сам... я думал все время, что ты придешь... потому-то я и подослал эту бедную женщину, чтобы она вынудила тебя... Это несчастное существо, артистка, лишилась места... она неохотно шла на это, но я настаивал... Я вижу, что был неправ... но я хотел, чтобы ты вернулась... Я ведь давал тебе

понять, что я готов... что я ничего другого не хочу, как только простить, но ты меня не понимала... но так... так далеко я не хотел заходить... я так страдал, видя все это... я следил за каждым твоим шагом... ради детей, понимаешь, ради детей я обязан был заставить тебя... но теперь ведь все прошло... теперь все будет опять хорошо...

Из бесконечной дали она смутно слышала раздававшиеся близко и все же непонятные слова. В ней бушевал шум, заглушавший все смятение чувств, в котором тонули все ощущения. Она ощущала прикосновения к своей коже, поцелуи и ласки и свои собственные, уже остывающие слезы, но кровь внутри звенела глухим, угрожающим звоном, который мощно нарастал и вот уже гремел, как яростные колокола. Потом она потеряла сознание. Очнувшись от обморока, она чувствовала, что ее раздевают, видела, точно сквозь густые облака, лицо мужа, ласковое и озабоченное. Затем она канула глубоко во мрак, в долгожданный, черный, безгрезный сон без сновидений.

\* \* \*

Когда она на следующее утро открыла глаза, в комнате было уже светло. И в себе самой она ощутила свет, проясненную и словно очищенную грозой собственную кровь. Она старалась припомнить, что с ней было, но ей все еще казалось, что она видит сон. Ее смутные ощущения представлялись ей нереальными, легкими и освобожденными, словно когда витаешь во сне по комнатам, и, чтобы убедиться, что это явь, она стала ощупывать себя

Вдруг она вздрогнула: на пальце у нее блестело кольцо. Она сразу пришла в себя. Бессвязные слова, которые она не то слышала в полуобмороке, не то не слышала, смутное, но вещее чувство в прошлом, не посмевшее стать мыслью и подозрением, все это теперь вдруг сплелось в ясную картину. Она сразу все поняла: вопросы мужа, изумление возлюбленного; все узлы распутались, и она увидела страшную сеть, которой была оплетена. Ей стало обидно и стыдно, снова задрожали нервы,

и она почти пожалела о том, что очнулась от этого безгрезного, безмятежного сна.

Рядом раздался смех. Дети встали и шумели, как проснувшиеся птички, радуясь молодому дню. Она явственно различала голос мальчика и впервые удивилась тому, как он похож на голос отца. Легкая улыбка слетела ей на уста и затихла на них. Она лежала с закрытыми глазами, чтобы глубже насладиться всем этим, что было ее жизнью, а теперь и счастьем. Внутри что-то все еще слегка болело, но то была отрадная боль, и жгла она так, как жгут раны, прежде чем зарубцеваться навсегда.





## ТАЙНА БАЙРОНА

**Ж**изнь его угасла, с тех пор прошло почти столетие. Его творения, некогда прославленные всем миром, теперь забыты; осталось несколько неувядаемых стихотворений, несколько бессмертных строк из «Чайльд Гарольда» и «Дон Жуана», но и они окаменели под покровом славы и почитания. Давно уже герой Мессолунги перестал быть властителем дум; давно прошло время, когда Европа, увлеченная его героической меланхолией, копировала романтическую позу, и надменность его мировой скорби была прообразом «байронизма» во всех странах. Отцвел и омертвел облик этого удивительного человека, единственного поэта своей эпохи, которому не мог отказать в страстном поклонении стареющий Гете; жива теперь лишь тайна его жизни, занимавшая три поколения. Но загадка привлекает внимание только до тех пор, пока она останется неразгаданной; побежденный сфинкс кидается в бездну и погибает. Лишь недавно сорвано покрывало с тайны, хранившейся целое столетие. История этой — теперь обнаруженной — тайны является глубоко драматическим и наглядным вкладом в науку познания души; она должна быть передана во всех своих деталях, чтобы создать запоздалую славу забытому и трогательному образу в награду за испытанный позор. Ибо это история большого самопожертвования и тем самым — пример для всех времен.

## ТАЙНА

15 января 1816 года, всего через год после бракосочетания с лордом Джорджем Ноэлем Байроном, через месяц после рождения первой дочери, леди Арабэлла Байрон покидает дом супруга, чтобы погостить у своих родителей в Лейчестршире. Это всего лишь маленькое увеселительное путешествие; с дороги она пишет мужу нежное письмо, в котором называет его ласкательным именем «Dear dock»\* и подписывается своим интимным прозвищем «Pippin»\*\*.

Было условлено, что муж вскоре последует за ней, но вдруг она прекращает переписку, вступает в таинственные переговоры с адвокатами, ее воспитательница привозит документы, украденные из взломанного письменного стола Байрона, составляется протокол, который в продолжение ста лет должен храниться запечатанным. И наконец, ее мать в резкой форме требует от Байрона согласия на развод. Напрасны старания Августы — сестры Байрона и подруги Арабэллы — уладить недоразумение; туманные угрозы передаются из уст в уста, надвигается сенсационное судебное разбирательство, но Байрон уступает, развод совершается, и поэт покидает Англию, чтобы никогда больше не увидеть ни жены, ни дочери.

Что же произошло? В обществе шушукаются, газеты с ироническими намеками замалчивают неприятное происшествие. Байрон пишет сентиментальное стихотворение, посвященное жене, и пламенный памфлет по адресу «mischiefmaker»\*\*\*, похитительницы его писем, в полных сарказма строфах «Дон Жуана» бичует собственный брак.

Но что же, собственно, произошло? Он молчит. Она молчит. Все посвященные молчат. Из упомянутых строф известно, что ревность была возбуждена этими документами, что была сделана попытка при содействии врачей объявить его безумным

\* Милый голубок (англ.).

\*\* Наливное яблочко (англ.).

\*\*\* Злодейка, виновница ссор (англ.)

и преступником; известно, что мадам де Сталь пишет из Женевы письмо Арабэлле с целью посодействовать примирению, но встречает решительный отпор. Но никому не известно, что так озлобило Арабэllu, вышедшую замуж за любовника своей тетки Каролины Лэм, за льва Сен-Джемс-стрит, безнравственность и вольнодумство которого были секретом полишинеля. Одно достоверно: что-то чудовищное должен был совершить этот изверг; и все общество, а позже бесчисленная рать биографов и филологов с неутомимым рвением изошпрется в самых невероятных догадках. Но он молчит. Молчит и она, молчит до самой смерти — долгих пятьдесят лет. Отзвучало и его творчество. И только тайна пережила их всех.

### ТРИ ОБВИНИТЕЛЯ

То, что вина падает на него, ни в ком не возбуждает сомнений. Ибо он покидает страну; свет наводнен легендарными слухами о его приключениях и распутстве; она же покинута — эмблема оскорбленной невинности — безответная, страдающая. И вот против него выступают три заочных обвинителя.

Первый обвинитель — его жена. Она молчит. Но этим молчанием она возводит тайное преступление в нечто чудовищное. Она не отвечает ни на одно письмо. Ее нет на его похоронах. Своей дочери она никогда не показывает портрета отца, и та в тридцать семь лет впервые слышит стихи того, кто дал ей жизнь. Дикое исступление ее ненависти прикрито в глазах света покровом христианского смирения: она заботится о бедных детях, прилежно посещает церковь, с негодованием отвергает предложение напечатать ее портрет в биографии великого поэта — ведь там он был бы в соседстве с портретом презревшей брачные узы графини Гвиччиоли; не отвечает на вызовы и издевательства, но в самом тесном кругу осторожно нашептывает чудовищные намеки, которые быстро распространяются. Она долго живет, всегда с крепко сомкнутыми уста-

ми, — олицетворенная угроза, подавленный вопль гнева и ненависти.

Второй обвинитель — это Англия, общество, «сant»\*.

Байрон устраивает скандал за скандалом, издевается над религией и, что ужаснее всего, над английской нравственностью. Свою родину он выставил перед Европой в смешном виде, и путешественники привозят сведения о его безнравственном образе жизни. У Женевского озера он встречается с Шелли, автором безбожной брошюры о «Необходимости атеизма», вступает с ним в дружбу, и оба, разведенные со своими женами, открыто вступают в преступную связь с двумя сестрами, убежавшими от отца. Земляки выслеживают их, наблюдают за их чудовищным поведением, — чужие пороки всегда привлекают богобоязненных людей и дают богатую пищу их негодованию, — они наводят телескопы на его виллу, чтобы уличить этого неукротимого развратника. В Венеции они подкупают гондольеров, чтобы те подплывали как можно ближе к его гондоле, когда он катается со своим гаремом; они теснятся вокруг его дома в Равенне и Пизе, и, когда они возвращаются на родину, Англия, содрогаясь, прислушивается к повести о похождениях нового Гелиогабала и Сарданапала. Чем дольше длится его отсутствие, тем демоничнее становится его образ для родины, и ничто не может ярче иллюстрировать обывательский ужас его соотечественников, чем эпизод, происшедший у мадам де Сталь: гостившая у нее английская писательница, узнав, что в доме находится лорд Байрон, упала в обморок.

Третий обвинитель — и самый опасный, потому что он был самым достоверным — это сам Байрон в своих разговорах и стихах. Трагические маски, в которых раскрывает он свою душу, — это великие грешники и преступники: Каин — прародец убийства, Сарданапал — сладострастник, развратник Дон Жуан, чародей Манфред, корсары и разбойники; в тщеславном влечении он доходит до дьявольских игр. Беспрестан-

---

\*Лицемерие (англ.).

но он обвиняет себя в невероятных таинственных преступлениях, и особенно в одном, которое гонит его по свету, точно Ореста, преследуемого фуриями мести. Свой дом он называет Микенами, свою жену — Клитемнестрой, сам же он — потомок Тантала — носится по свету, бичуемый демоном совести. И в самом деле — незабываемо жутко звучит в монологе Манфреда весь порождаемый преступлением ужас бессонных ночей. В действительности этот демонизм, эти скитания по свету, конечно, не носили столь трагического характера: он жил довольно уютно в Женеве с друзьями и с новой подружкой; в Пизе в его свите было десять лошадей, павлины, попугаи и обезьяны; он блистал своей славой в салонах и на приемах, но в стихах, полных нарочитого демонизма, его чело омрачено печатью всех семи смертных грехов. Вполне понятно, что не было преступления, которое не мелькало бы в догадках современников, и всякое предположение казалось правдоподобным. Понятно и то, что тайна внезапного бегства и разрыва с женой возбудила жгучее любопытство его современников и двух последних поколений, тем более что сквозь молчание все же прокрадывался тайный шепот предположений и подозрений, никогда не превращаясь в явственную речь.

## ПОТОНУВШИЙ КЛЮЧ

Одно обстоятельство окружает тайну еще большим мраком. Лорд Байрон ведет дневник, в котором записано все, касающееся его внешней и внутренней жизни. Он смутно чувствует себя заподозренным, но не знает, против кого направить стрелу. Никто не высказывается ясно. Каждый ускользает, едва он протягивает руку. Его жена угрожает разоблачениями, он предоставляет ей свободу слова, и она умолкает. Клевета неуловима. И вот он точит оружие на случай, если противник попытается осквернить его труп: он пишет мемуары, которые «после его смерти должны противостоять уже высказанной лжи и заглушить ту, которая может еще возникнуть».



В доказательство своего беспристрастия он предлагает жене прочесть их. Она надменно отвергает предложение. И вот тайна, о которой молчат уста, живет, запечатленная на бумаге.

Хранителем этогоклада он назначает своего лучшего друга — Томаса Мура. Ему он доверяет это наследство, и — в доказательство того, что он не сомневается в опубликовании мемуаров — он заставляет издателя причитающийся ему гонорар в две тысячи фунтов выплатить Муру — щедрая благодарность за дружескую услугу. В Венеции он вручает ему первые листки, потом присылает следующие. Затем он предпринимает свое роковое путешествие в Грецию.

В пасхальное воскресенье 1824 года подымается черный флаг над фортом Месолунги. Князь Маврокордато пушечным салютом оповещает о смерти поэта, фрегат увозит его тело в Англию. И вот, его гроб еще не опущен в могилу, а на родине уже начинается торговля его тайной. Все вдруг собрались вместе — леди Байрон, Мур, сестра, издатель; звенят сребреники; Мур за уничтожение тайны получает вдвое больше, чем получил от друга за ее хранение. И они принимают гнусное решение сжечь мемуары. В ком-то из них еще зашевелилась совесть: не лучше ли оставить их запечатанными, пока не сойдут со сцены все лица, затронутые в них? Но алчность, тщеславие и страх сильнее доводов, внутренних совестью; в печке разводят огонь, и в присутствии семи свидетелей безжалостно уничтожается одно из самых важных и самых ценных произведений, быть может, лучшего лирического поэта Англии. Теперь они спокойны — и Мур со своим чеком, и леди Байрон со своей неутомимой ненавистью.

Ключ потерян, тайна погребена, сожжена рукопись, которая была готова заговорить, — «and sealed is now each lip that could have told» .

---

\*«И замкнулись уста, которые могли бы сказать» (англ.).

## СЛОН В ФАРФОРОВОЙ ЛАВКЕ

Смерть постепенно уносит живых свидетелей. Почти полвека прошло с того дня, как леди Байрон покинула дом своего супруга; она сама, сестра Байрона, посвященные друзья умерли, тайна еще звенит едва слышно в стеклянной оболочке неувядаемых стихов. Она обратилась в музыку, в нежный намек, в звучащее воспоминание. Ненависть испарилась, выскользнув из человеческих рук.

И вот в стеклянное царство вступает тяжелыми, неуклюжими шагами слон. Он приходит из Америки, вооруженный пуританским гневом, банальностью и ограниченностью, — он приходит, преисполненный сознанием христианского долга, чтобы покарать грешника и спасти невинность. Госпожа Бичер-Стоу, прославившаяся своим филантропическим романом «Хижина дяди Тома», приглашена на чашку чаю к леди Байрон; ее мягкая, жалостливая, несколько простоватая душа приходит в волнение при виде покинутой женщины, имевшей несчастье быть замужем за этим безбожным «монстром». Вместе с чаем она проглатывает несколько намеков и доверчивых слов, ибо леди Байрон не прочь, разыгрывая перед светом великую молчаливицу, за чайным столом обмолвиться намеком, конечно, после семикратных обетов хранения тайны. И она отлично знает, что каждый из приглашенных после семидесятикратных обетов молчания разгласит тайну не менее семидесяти раз.

Через некоторое время леди Байрон умирает. Свет не очень чтит память усопшей. Пока Байрон был жив и его скандальное поведение возбуждало религиозный пыл, общественное мнение было на ее стороне; но его тень, окруженная ореолом героической смерти, побеждает: теперь уже клеймят черствость леди Байрон, а сентиментально настроенные умы сочиняют, что именно ее жестокость и послужила причиной его смерти. Тут Бичер-Стоу приходит в возмущение. Она потрясена. В пуританском рвении она возносит филантропические добродетели усопшей, ее христианский образ жизни, ее тай-

ное мученичество. Она тяжело вздыхает, ломает руки, она борется с собой, ужасное слово не может сорваться с ее чистых уст, но вдруг она взвыла и бросила великую тайну в свет. Разглашенная одним из самых распространенных журналов, эта великая тайна пронеслась по обоим полушариям. И, содрогаясь, внемлет ей Англия: лорд Байрон... лорд Байрон — трижды взывает она прежде, чем открыть тайну, — лорд Байрон имел кровосмесительную связь со своей сестрой Авророй.

## АВРОРА ЛЭЙ

И вот это имя, этот необычайно трогательный образ пригвожден общественным мнением к позорному столбу. Ее знают по его стихам, по его письмам, которые дышат бесконечной благодарностью и братской любовью. «The tower of strength in the hour of need» — «башня опоры в час нужды» — так называет он ее, единственную женщину, «любовь которой никогда не изменяла», и последнее его стихотворение перед уходом в дальние края — это известные «Стансы к Авроре», гимн благодарности ее безграничной доброте. Ее имя он произносит с неизменным чувством благоговения. И этот человек, «the only friend» — «единственный друг», несет за него позорное клеймо.

Что мы знаем о ней? Немного. Ее облик всегда стоял в тени. Отец ее и Байрона, «mad Byron» — «неистовый Байрон», авантюрист, игрок и ловелас, уехал во Францию с одной из самых красивых и самых богатых женщин Англии и там быстро промотал ее состояние; несчастная умирает в нужде, оставив дочь Аврору, которую отправляют к ее родным. «Mad Byron», обремененный долгами, снова едет в Англию, чтобы поймать в свои сети другую богатую наследницу; там он находит толстую истеричку мисс Гордон, которая его безумно любит, награждает ее ребенком — будущим лордом Байроном, забирает ее деньги и возвращается во Францию, где достойным образом заканчивает свой жизненный путь. Когда брат и сестра знако-

мятся, Авроре двадцать один год, Джорджу шестнадцать лет; она обращается с ним, как с ребенком, всю свою жизнь называет его не иначе, как «Baby Вугоп». Она выходит замуж за двоюродного брата, полковника Лэя, имеет четверых детей, остается некрасивой, экстравагантной, незначительной женщиной, без особого интереса к литературе; только дружба связывает ее с братом и его супругой. Во время свадебного путешествия молодая чета гостит у нее, впоследствии она живет у них в Лондоне и поддерживает Арабэllu в тяжелые часы ее жизни; во время развода она является посредником между супругами и остается в дружбе с обоими. Казалось бы, ни упреки, ни подозрения не могут ее коснуться; казалось бы, ей обеспечена неувядаемая память ее брата. И вдруг Бичер-Стоу выливает на ее имя ненависть и грязь. И в течение полвека оно остается запятанным.

## ВИДИМОСТЬ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Какие доводы приводит Бичер-Стоу? Прежде всего, аргумент учеников Пифагора: «*αὐτός ἔφη*», — «он сам это сказал». Леди Байрон ей шепнула это между чаем и кексом, а она должна была это знать. По ее словам, она однажды застала Аврору и своего мужа в интимном времяпрепровождении; письма и признания подтвердили ее чудовищные подозрения. К тому же, против этого второго довода нельзя возразить: в бесчисленных стихах отношения с той единственной женщиной, которую он любил, Байрон называет преступными. Стихи:

I speak not — I trace not — I breath no they name \*  
There is love in the sound — there is guilt in the fame \* —

составляют подходящее созвучие для подозрений; в «Манфреде» чародей «губит своей любовью» сестру — Астарту; Шелли

\* Заветное имя сказать, начертать  
Хочу — и не смею молве нашептать. (Перевод Вяч. Иванова.)

пишет рядом с ним трагедию «Ченчи», самую смелую апологию кровосмешения. Байрон в своем «Каине» объединяет сестру и жену в едином образе. Предположения приобретают большую степень вероятия, игра с мыслью о кровосмешении, несомненно, налицо.

Но в такой же мере, а может быть, и в большей, это предположение психологически неправдоподобно. Прежде всего — всеобщее боязливое молчание при жизни Авроры. Почему, будучи так уверены в ее виновности, они с таким страхом отвергли вызов Байрона? Совершенно определенно пишет он в 1817 году из Венеции в напечатанной статье: «Мне сообщили, что адвокат и леди Байрон заявили, что ее уста хранят молчание по поводу причины развода. Если это так, то не я их замкнул, и эти господа оказали бы мне величайшее одолжение, побудив леди Байрон заговорить». Так не пишет тот, кто мог бы бояться обвинения в кровосмешении. И что еще удивительнее этого молчания (это станет понятно впоследствии) — молчание, которое можно принять за стыдливость перед альковными разоблачениями: в феврале 1816 года леди Байрон узнает, что Аврора Лэй будто бы имеет преступную связь с ее мужем. И что же она делает? Она еще больше приближает к себе преступницу. «Нет никого на земле, — пишет она ей, — чье общество было бы мне дороже и более содействовало моему счастью, чем твое»; она осыпает ее знаками нежности и живет еще восемь лет, до смерти Байрона, в самой тесной дружбе с нею. Даже доверчивый психолог — Бичер-Стоу — чувствует, что в ее аргументации имеется пробел. И она старается его затушевать указанием на христианскую снисходительность леди Байрон, простившей раскаявшуюся грешницу. Но нельзя отделаться от совершенно определенного чувства: тут что-то не так. Тайна должна бы быть таинственнее. А главное: почему семья так упорно отказывается достать из запертого шкафа эти «Family letters», которые должны все разъяснить? Почему отказывается доктор Лешингтон, единственный из оставших-

---

\* Семейные письма (англ.).

ся в живых, засвидетельствовать это утверждение? Загадка стала еще более загадочной. Она не хочет покоиться под землей. Но никто не может пролить на нее свет.

## АСТАРТА

И снова пятьдесят лет молчания, шушуканья и таинственности. Наконец, распространяется смутный слух: внук леди Байрон, лорд Ловлэс, решил сорвать печать и предать гласности документы. Но книга его появляется тайно, с той же таинственностью, с какой леди Байрон сообщала о своих подозрениях, — всего в количестве двухсот экземпляров «for private circulation»\*.

И книга эта называется «Астарта».

Уже одно ее название повторяет старое обвинение. Астарта — сестра Манфреда, о которой он говорит: «I loved her and destroyed her»\*\*, она является тайной виновницей. И в доказательство он приводит знаменитое заявление доктора Лешингтона, в котором тот отказывался содействовать примирению с Байроном. Но странно: как раз этот документ опирается на утверждение леди Байрон, которое тут же подвергается всевозможным юридическим ограничениям. Так как подозрение не было доказано, леди Байрон не видела повода к тому, чтобы немедленно покинуть дом лорда Байрона. Этот документ содержит одно удивительное упоминание: леди Байрон заявляла, что эти «слухи» исходили не от нее. Это значит, что она боялась, как бы Байрон не узнал об их распространении и не потребовал бы объяснений, что он и сделал. Эта безответная страдальца была коварным противником, скрывавшимся за проволочным заграждением юридических хитросплетений и оговорок. Но леди Байрон выставляет одного свидетеля — Аврору Лэй: она будто бы сама созна-

---

\* Не для продажи (англ.).

\*\* Я полюбил и погубил ее (англ.).

лась ей в этом — и устно, и в двух письмах. Читатель, конечно, тотчас же перелистывает книгу в надежде найти письмо. Однако лорд Ловлэс пишет: «Излишне их печатать, так как их содержание подтверждается фактами». И так, факты доказываются письмами, содержание которых подтверждается фактами, — получается удивительный заколдованный круг, поскольку факты утверждаются, а письма скрываются.

Один только документ на первый взгляд выглядит убедительно: любовное письмо Байрона, которое леди Байрон отвоевала у своей невестки. Но странно: и здесь нет ни слова, обращенного лично к ней, адресат не назван, и о том, что письмо было обращено к Авроре, свидетельствует опять-таки лишь утверждение леди Байрон. Из всего этого вытекает одно: что леди Байрон всю свою жизнь верила в то, что ее муж состоял в преступной связи со своей единственной сестрой; что она верила в это честно, со всей страстью своей ненависти.

Но действительность еще таинственнее. И как раз книга лорда Ловлэса ее раскрыла. С той минуты, как он нарушил молчание в защиту леди Байрон, и другие посвященные не чувствовали себя обязанными долее молчать. И одна из трогательнейших душевных драм, более захватывающая, чем все созданное Байроном, наконец, раскрыта.

## МЕДОРА

Медора — имя возлюбленной в «Ларе» Байрона. И однажды, за год до женитьбы, поэт, который высказывался откровенно не только в своих творениях, но и в беседах, сообщил Каролине Лэм, тетке его будущей супруги, что он ждет ребенка от женщины, которую он любит с детских лет, и, если это будет девочка, он назовет ее Медорой. Через три месяца в доме его сестры родилась дочь. Она была наречена именем Медора — самым причудливым, какое можно было придумать. Понятным становится подозрение леди Байрон, тем более что

он ей сознается, что если бы она не отвергла его первое предложение, — за два года до второго, — многие ужасные события не произошли бы. Вот где корень этого ужасного подозрения. Байрон говорит, что дочь женщины, которую он любит с самого детства, он назовет Медорой, — все это явно указывает на его сестру. И нет сомнения, что в тех письмах, которые по указанию леди Байрон были похищены из письменного стола ее супруга, речь идет об этом ребенке. Возможно даже, что Аврора Лэй подтвердила леди Байрон, что это дитя — ребенок Байрона, и это служило бы объяснением пресловутого признания. Цепь доказательств как будто замыкается. Все совпадает безукоризненно, и возникает мысль о том, что леди Байрон права в своем ужасном подозрении.

Но в этом верно все, кроме самого главного. Тайна удивительнее всего в своих перипетиях, как цветок, под лепестком скрывающий другой лепесток и оставляющий зерно незримым в глубине. Все верно. Лорд Байрон ждет от подруги детства ребенка, которого он желает назвать Медорой, и в это самое время в доме его сестры Авроры Лэй появляется ребенок, которого нарекают именем Медора. Но это дитя Байрона, а не его сестры, которая жертвует своим именем для спасения чести другой женщины. Всплывает на поверхность новое лицо. И к нему относится тайна, самая глубокая тайна, какую скрывал Байрон, — единственная, которую он скрыл от света и которая раскрыта только теперь, через столетие.

## РОМАНС О МЭРИ ЧАУОРС

В июле 1816 года Байрон пишет едва ли не самое лучшее свое стихотворение. Оно называется «Сон», и в глазах всех его биографов представляет собой фантастическое отображение действительности. Теперь только стало известно, что это самая искренняя его исповедь, в изумительном поэтическом откровении освещающая всю его жизнь. Мы узнали это только теперь, когда разоблачена его тайна.



Это началось еще в детстве: на Аннслейском холме играют двое детей. Они принадлежат к двум враждующим семьям. Дед Байрона убил на дуэли одного из предков Марии Чауорс — внуков соединяет дружба. Она — наследница графской короны, он — потомок Байронов, которые пришли в Англию с Вильгельмом и его норманнами. Ромео и Джульетта, которые любовью могли бы искупить ненависть двух враждующих родов.

Но шестнадцатилетний Ромео — неуклюжий, робкий мальчик, хромой, неловкий, и Джульетта издевается над ним, когда он заговаривает о браке. Она избрала другого, Джона Местерса, «handsom man»\*, дворянина, настоящего рыцаря, любящего охоту и бешеные скачки. Когда мать сообщает об этом Байрону, он бледнеет и отворачивается. Никогда больше он с ней не разговаривает.

Через несколько лет он опять встречается с ней — с «morning star»\*\* Аннслея. Она замужем, у нее дети. Она любезно приглашает его к себе в дом. И он видит ее в обществе супруга, нежной матерью, — описание этих впечатлений принадлежит к числу его лучших стихов, — и он с новой силой чувствует свою потерю. В Джоне Местерсе пробуждается подозрение, он препятствует их встречам. И Байрон покидает страну — он предпринимает странствия Чайльд Гарольда.

В Англию возвращается другой человек. Это уже не тот неуклюжий, неловкий мальчик: он великий поэт, знаменитый, боготворимый обществом, избалованный женщинами, в блеске своей красоты, соблазнительный и неотразимый. И та, с которой он вновь встречается, тоже иная — разочарованная в своем муже, живущая вдали от него. Неизбежное свершается. Некогда оттолкнувшая его теперь открывает объятия, его страсть побеждает ее сопротивление. Никто, даже самые близкие друзья не подозревают об этой связи. Обычно легкомыс-

---

\* Красивый мужчина (англ.).

\*\* Утренняя звезда (англ.).

ленный, он проявляет величайшую осторожность. Стихотворения, обращенные к ней, он называет «Стихи к Тирзе» — и создается впечатление, будто они относятся к усопшей. Своим друзьям он рассказывает ad referendum, что Мэри пожелала с ним увидеться, но он отклонил ее приглашения. Нарочно он завязывает другие связи. Здесь, где он искренне любит, он — обычно тщеславный — заботливо скрывает истину, чтобы уберечь любимую от гнева супруга и общественного мнения.

Но их связь не остается без последствий. Положение ужасающее. Никогда в его дневнике и в письмах к Муру не было столько растерянности, как в эти месяцы ожидания. Постоянно он опасается, что муж раскроет тайну: предвидя дуэль, он составляет завещание. Его возлюбленная, еще не разведенная, неизбежно будет скомпрометирована.

И тут сестра — Аврора Лэй — совершает героический акт самопожертвования, бросающий тень на ее доброе имя в течение целого столетия, обращающий всю ее жизнь в цепь унижений и мук: ради брата она жертвует собой, спасая честь его возлюбленной. Подробности не вполне выяснены, может быть, никогда и не будут выяснены, так как эти последние события не зафиксированы на бумаге. Она берет к себе в дом трепещущую женщину, выдает ее положение за свое. И дитя Мэри Чауорс рождается Медорой Лэй.

Обман удается. Через несколько недель Байрон может свободно вздохнуть:

Our secret lies hidden  
But never forgot .

Мэри Чауорс возвращается домой. Джон Местерс далеко и ничего не подозревает. Напрасно Байрон пытается окончательно завладеть возлюбленной. Это странно, но она отвергает его. Какой-то таинственный страх перед этим человеком вновь охватывает ее. И она сама — как он рисует в своем стихотво-

---

\* Наша тайна скрыта,  
Но живет в нашей памяти. (Перевод Вяч. Иванова.)

рени — толкает его на брак с нелюбимой женщиной. Вскоре после этого затуманивается ее ум, и она умирает в болезненной меланхолии.

Странно читать стихи Байрона, когда знаешь все это! Возлюбленная, «усопшая без могилы» — «one without the tomb», погибшая по его вине; сестра, принесящая себя в жертву — «I loved her and destroyed her»\* — жутко реальные образы. Как Гете, перевоплотившийся в Фауста и в Клавиво, он преувеличивает свою вину, снова окунаясь в жизнь, страдая и наслаждаясь, в то время как любившие его остались разбитые, «Sufferers of my sins»\*\*.

Сознавая ужасную действительность он восклицает:

My injuries came down on those, who loved me,  
On those whom I best loved\*\*\*.

Но их судьба его не удерживает. Всем он жертвует ради своего творчества: люди становятся тенью, которые мрачно гнетут его память, но это лишь тени. И в то время как он в Венеции рисует эти переживания в библейских трагедиях, дома у его сестры разыгрывается другая драма, более значительная и более героическая, чем все созданные им.

## КОШКА И МЫШКА

Байрон бежал, его сестра осталась покрывать его вину. Леди Байрон чувствует, что в руках Авроры находится тайна, которую она старается у нее вырвать. Ее неизмеримая ненависть жаждет доказательств, очевидных, непреложных доказательств, «to crush lord Byron»\*\*\*\*.

Она окружает себя адвокатами и советчиками, вооружается

---

\* Я полюбил и погубил ее (англ.).

\*\* Страдающие за мои грехи (англ.).

\*\*\* Мои грехи пали на тех, кто меня любил,  
На тех, кого я больше всех любил. (Перевод Вяч. Иванова.).

\*\*\*\* Чтобы раздавить лорда Байрона (англ.).

параграфами и статьями; и, чтобы поразить мужа, она направляет стрелу против его сестры.

Но открытое нападение было бы опасно. Чтобы вырвать у нее тайну рождения Медоры, ей необходимо сблизиться с ней. Начинается игра самого безудержного лицемерия: леди Байрон прикидывается дружески преданной Авроре Лей. Она пишет ей — под диктовку своих адвокатов — нежные письма и приглашает женщину, которую она подозревает в кровосмесительной связи со своим мужем, к себе в дом; она гладит ее бархатной лапкой, чтобы в удобную минуту выпарапать у нее когтями какие-нибудь доказательства. Она просит ее, под лицемерным предлогом интереса к жизни мужа, показывать ей письма, которые Аврора получает от брата, и копирует их листок за листком. Их беседы подслушиваются за дверью. Следуя указаниям своих советчиков «to show all kindness to Augusta», она скрывает свою ненависть под маской умиротворенной доброты, все глубже она втягивает Аврору в сети доверия. Мышеловка готова, пружина натянута.

И Аврора попадает в мышеловку. Но не по наивности, а вполне сознательно: на лицемерие она отвечает лицемерием. Следуя предостережениям друзей и советам брата, она притворной доверчивостью отвечает на притворную доброту. Коварному, лицемерному упорству этой женщины она противопоставляет страстную выдержку своего спокойствия; с изумительным мужеством она окунается в ад вечных выпытываний и перекрестных допросов, — лишь бы отвлечь подозрение от Мэри Чаурс и сохранить последнюю тайну, доверенную ей братом. Истинная мученица, подобно Себастьяну, она предоставляет стрелам ненависти проникать в ее душу, но зубами она цепко держит тайну. Невыразимо ее страдание. «Никто никогда не узнает, сколько я выстрадала из-за этого злосчастного события; с тех пор я не имела в своей жизни ни одной спокойной минуты», — пишет она одной из подруг; и

---

\*Быть очень любезной с Авророй (англ.).

даже Байрон из своей дали не чувствовал всего ужаса этих мучений.

Почти десять лет длится эта тайная борьба. Подобно Кримгильде и Брунгильде, стоят они друг против друга, обе знающие о тайне, обе полные ненависти друг к другу, но демонстрируя притворную дружбу. Это игра не на жизнь, а на смерть. Только леди Байрон, заблуждаясь, думает, что она играет Авророй, в действительности же Аврора играет ею. Ибо только она одна знает тайну и неумолимо хранит ее.

## СПЛЕТЕНИЯ

Все опаснее становится борьба. Целыми днями они беседуют, подстерегая каждое слово. Аврора терпит неискреннюю любовь леди Байрон и знает, что за ней скрывается ненависть. Она терпит ее расспросы и знает, что это грабеж. Она любезно разговаривает с ней, зная, что подозрения подстерегают каждое движение ее губ. Кто в силах описать весь ужас этих бесконечных часов?

Все яростнее они впиваются друг в друга. Тщетно мать леди Байрон советует ей быть настороже. «Берегись ее, — пишет она, — если я хоть сколько-нибудь понимаю человеческую душу, эта женщина должна безжалостно ненавидеть тебя». Но леди Байрон жаждет доказательств. Она не уступает в своей опасной игре.

И вот настает ужасная месть Авроры. Преследуемая начинает мучить преследовательницу. Все дальше она гонит ее по неверному следу кровосмешения, все глубже она втягивает ее в гущу предположений. Одним словом правды она могла бы вырвать из души ее ядовитое жало бушующей ревности. Но нет! Она питает, она укрепляет это неверное подозрение. Время от времени она бросает слово лживого признания, жажда леди Байрон подхватывает это доказательство, и уже Аврора отнимает назад брошенную приманку. Она сознается, но не письменно. Она показывает ей любовное письмо Байрона, ко-

торое в действительности было обращено к Мэри Чауорс, и спрашивает ее, что ему ответить. Леди Байрон, не удовлетворенная этим документом, советует ей ответить Байрону страстным письмом, чем надеется вызвать его на полную откровенность. Аврора не следует ее совету. Тщетно леди Байрон пытается побудить ее к решительным действиям — следовать за братом, чтобы кровосмесительная чета «soror et conjux» открыто предстала перед светом.

Снова Аврора отступает — и снова дает пищу подозрениям. Она беспрерывно играет с преступлением, и, не останавливаясь перед тем, что ложное подозрение — как это и случилось в действительности — опозорит ее имя, она все глубже втягивает леди Байрон в заблуждение. И если леди Байрон сообщала свои подозрения Бичер-Стоу и другим, то эта ложь была сознательной ложью. Ибо Аврора победила. Вплоть до смертного часа леди Байрон была уверена в кровосмесительной связи своего мужа; настоящей тайны она не знала — не узнала имени Мэри Чауорс.

В 1824 году умирает Байрон. Еще раз встречаются обе женщины, чтобы сжечь его мемуары. И личины падают. Обнаженная ненависть стоит лицом к лицу с ненавистью. Тот, из-за кого они разыгрывали эту ложную дружбу, ушел навеки. В их взорах горит настоящее чувство: непримиримая, смертельная ненависть.

## ЭПИЛОГ

Они больше не встречаются. Они больше не пишут друг другу. Они старятся и чувствуют приближение смерти. Поколение сменилось, память Байрона покрыта славой, Мэри Чауорс умерла, за ней последовала ее дочь Медора.

Еще раз леди Байрон пытается вырвать тайну, — или, вернее, купить ее, — предлагая Авроре завещание в пользу ее

---

\*Сестра и супруга (лат.).

детей. Она не хочет умереть, не приобретя уверенности. Женщины встречаются еще раз, но каждая в сопровождении свидетелей, вооруженная до зубов. Подобно Елизавете и Марии Стюарт, они пытаются в память былой дружбы прийти к мирному соглашению, но горячо вспыхивает ненависть. Аврора холодно отвергает все подозрения, отрицает все свои признания. Больше ей некого охранять. Разочарованная, уходит леди Байрон. И она умирает, не узнав истины.

Но тайна, их общее детище, переживает их всех, вырастет, начинает говорить, обегает весь мир, подымает смятение и возбуждение. Но теперь и ее путь закончен. Загадка разгадана, игра закончена; раскрытая тайна теряет притягательную силу. Еще не распечатаны документы, но они могут лишь пополнить то, что известно уже сейчас. Интерес к тайне Байрона, переживший три поколения, исчерпан. И новые вопросы стоят теперь перед новым миром.



**Новеллы, не вошедшие в цикл  
«НЕЗРИМАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»**







## МЕНДЕЛЬ-БУКИНИСТ

**Я** снова жил в Вене, и однажды вечером, возвращаясь домой с окраины города, неожиданно попал под проливной дождь, своим мокрым бичом проворно загнавший людей в подъезды и под навесы; я и сам бросился отыскивать спасительный кров. К счастью, в Вене на каждом углу вас поджидает кафе, и я в промокшей шляпе и насквозь мокрым платье вбежал в одно из ближайших. Это оказалось самое обыкновенное, шаблонное кафе старовенского, патриархального типа, без оркестра и прочих заимствованных в Германии модных приманок, которыми щеголяли кафе на главных улицах; посетителей было много — мелкий люд, поглощавший больше газет, чем пирожных. Несмотря на табачный дым, который сизыми спиралями пронизывал и без того удушливый воздух, в кафе было уютно и чисто благодаря новой плюшевой обивке на сиденьях и блестящей алюминиевой кассе; второпях я даже не потрудился взглянуть на вывеску — да и к чему? Я сел за столик и, быстро согревшись в теплой комнате, стал нетерпеливо поглядывать на окна, затянутые голубой сеткой дождя, — скоро ли заблагорассудится несносному ливню продвинуться на несколько километров дальше.

Итак, я сидел в полной праздности, и мало-помалу мной овладела та расслабляющая лень, которую, подобно наркозу, незримо источает каждое истинно венское кафе. Рассеянно разглядывал я лица посетителей, казавшиеся землистыми в искусственном свете наполненного табачным дымом помеще-

ния, наблюдал за кассиршей, словно автомат отпускавшей кельнерам сахар и ложечку к каждой чашке кофе, бессознательно, в полудремоте, читал скучнейшие плакаты на стенах и почти наслаждался этим отупением. Но вдруг, по какой-то непонятной причине, я очнулся: какое-то внутреннее беспокойство заставило меня насторожиться, словно глухая зубная боль, когда еще не можешь определить, какой зуб ноет — вверху или внизу, слева или справа; я только ощущал смутное волнение, род душевной тревоги. Ибо — сам не зная почему — я внезапно проникся уверенностью, что не в первый раз очутился в этом кафе: я был здесь много лет тому назад и связан какими-то воспоминаниями с этими стенами, стульями, столами, с этим чуждым мне, прокуренным помещением.

Однако чем больше старался я овладеть этими воспоминаниями, тем коварнее они от меня ускользали; словно морская звезда, мелькал их неверный свет в самых глубинах сознания — не выудить и не схватить. Тщетно впивался я взглядом в каждый предмет обстановки; многое, разумеется, было мне незнакомо, например, касса с дребезжащим автоматическим счетчиком, коричневая, под красное дерево, панель вдоль стен — все это появилось, вероятно, позже. И все-таки, все-таки я был здесь лет двадцать тому назад, а то и больше; здесь незримо присутствовала, притаившись, как гвоздь, вколоченный в дерево, частица моего собственного, давно изжитого «я». Напряженно вглядывался я в то, что было вокруг меня, и в то, что было во мне, но, черт возьми, я не мог уловить этих забытых, потонувших во мне самом воспоминаний.

Я злился, как злишься каждый раз, когда какая-нибудь неудача обнаруживает несостоятельность и несовершенство наших духовных сил. Однако я не терял надежды все же в конце концов вспомнить. Я знал, что достаточно ничтожной зацепки, ибо память моя обладает странным свойством, одновременно и хорошим и дурным: она упряма и своенравна и вместе с тем необычайно надежна. Она увлекает на дно важнейшие события и лица, прочитанное и пережитое и ничего не возвращает из этой темной пучины без принуждения, по од-

ному лишь требованию воли. Но стоит мне натолкнуться на самый ничтожный намек, открытку с видом, знакомый почерк на конверте или пожелтевшую газету, и тотчас же забытое вынырнет из сумрачных глубин живо и отчетливо, словно рыба, пойманная на удочку. Я припоминаю малейшие подробности, вижу рот знакомого мне человека, отсутствие зуба с левой стороны, что особенно заметно, когда он смеется, слышу его отрывистый смех — при этом вздрагивают кончики усов и сквозь смех проступает другое, новое лицо; в ушах моих внятно звучит каждое слово, произнесенное им много лет назад. Но для того, чтобы с полной ясностью увидеть и ощутить прошлое, мне необходим внешний толчок, необходима некоторая, хотя бы ничтожная, помощь из реального мира. Я закрыл глаза, стараясь сосредоточиться и сделать осязаемой эту неуловимую зацепку, чтобы ухватиться за нее. Но тщетно! Ничего, решительно ничего не подсказывала мне память. Я так рассердился на скверный своевольный аппарат, заключенный в моей черепной коробке, что готов был колотить себя кулаками по лбу, как встряхивают испорченный автомат, когда он упрямо не выбрасывает требуемого. Нет, я не мог больше спокойно сидеть на месте; меня так возмущала эта осечка памяти, что я встал и вышел из-за столика. Но странно — не успел я сделать и двух шагов, как внезапно какой-то свет, еще слабый и мерцающий, забрезжил в моем сознании. Справа от кассы, вспомнилось мне, должен быть вход в помещение без окон, освещаемое лишь электричеством. И в самом деле, так и оказалось. Вот она, эта комната; правда, обои другие, но в остальном все та же — почти квадратная, с чуть перекошенными углами. Радостно возбужденный (я уже чувствовал: сейчас вспомню все), я оглядел помещение: два бильярда томилась без дела, словно зеленые, заросшие тиной пруды; по углам торчали ломберные столы, за одним из них два не то надворных советника, не то профессора играли в шахматы. А вон там, около железной печки, у самого прохода к телефонной будке, стоял небольшой четырехугольный стол. И тут меня осенило — точно молния, в один-единственный, блажен-

но-радостный миг вспыхнуло воспоминание: Боже мой, да ведь это столик Менделя, Якоба Менделя, Менделя-букиниста, и я через двадцать лет снова очутился в его главной квартире, в кафе Глюк, на Альзерштрассе. Как я мог забыть его, Якоба Менделя, как мог так долго, так непростительно долго не вспоминать об этом удивительном человеке, этой живой легенде, чуде из чудес, прославленном в университете и в узком кругу почитателей, как мог я предать забвению этого мага и маклера книжного дела, который изо дня в день несокрушимо сидел здесь с утра до вечера, — символ человеческого знания, краса и гордость кафе Глюк!

Мне нужно было только на одно мгновение закрыть глаза, чтобы передо мной возник его подлинный, живой, неповторимый образ. Я вновь увидел его за этим четырехугольным столом с серовато-грязной мраморной доской, заваленной книгами и бумагами. Увидел, как он сидит, упорно и невозмутимо устремив сквозь очки пристальный, словно замороженный взор в книгу, сидит и читает, что-то бормоча и мурлыча себе под нос, раскачиваясь взад и вперед туловищем и головой, украшенной тусклой, пятнистой лысиной, — привычка, приобретенная в хедере, в еврейской начальной школе на Востоке. Здесь, за этим столом, и только за ним, читал он каталоги и книги так, как учили его читать талмуд, — нараспев и раскачиваясь, словно черная колыбель. Ибо подобно тому как дитя погружается в сон и уже не ощущает мира, убаюканное плавным, усыпляющим ритмом, так, по мнению благочестивых людей, и дух благодаря мерному движению праздного тела легче погружается в блаженную отрешенность от мира. И в самом деле, Яков Мендель не видел и не слышал, что бы ни происходило вокруг. Рядом с ним шумели и ссорились игроки на бильярде, сновали взад и вперед маркеры, трещал телефон, мыли полы, топили печку — он ничего не замечал. Однажды из топки выпал раскаленный уголек; в двух шагах от него уже тлел и дымился паркет. Тогда кто-то из посетителей, почуяв адскую вонь, вбежал в комнату и предотвратил беду, он же, Яков Мендель, сидя на расстоянии двух дюймов от начавше-

гося пожара и уже окуренный едким дымом, ничего не заметил. Ибо он читал так, как другие молятся, как играют азартные игроки, как пьяные безотчетно глядят в пространство; он читал так трогательно и самозабвенно, что с тех пор всякое иное отношение к чтению казалось мне профанацией. В лице Якоба Менделя, этого маленького галицийского букиниста, я впервые столкнулся с великой тайной безраздельной сосредоточенности, создающей художника и ученого, истинного мудреца и подлинного безумца, — с трагедией и счастьем одержимых.

Привел меня к нему старший товарищ по университету. Я в ту пору интересовался еще и ныне малоизвестным последователем Парацельса, врачом и магнетизером Месмером, но без особого успеха; основные труды, посвященные его деятельности, оказались недостаточными, а библиотекарь, к которому я по неопытности обратился, сердито пробормотал, что указывать литературу надлежит мне, а не ему. Тогда-то мой товарищ в первый раз упомянул имя букиниста.

— Я сведу тебя к Менделю, — пообещал он. — Этот человек все знает и все достанет, он раздобудет тебе редчайшую книгу из любой антикварной лавчонки в Германии. Это самый толковый человек в Вене и к тому же большой оригинал, допотопный книжный червь вымирающей породы.

Мы вместе отправились в кафе Глюк, и вот — там он сидел, Мендель-букинист, в очках, с всклокоченной бородой, весь в черном, раскачиваясь, точно темный куст на ветру. Мы подошли к нему — он нас не заметил. Он сидел и читал, раскачиваясь над столом верхней частью туловища, точно поклонник Будды; за его спиной болталось на крючке поношенное черное пальтишко, из всех карманов которого торчали журналы и записки. Чтобы привлечь его внимание, мой приятель громко кашлянул. Но Мендель продолжал читать, уткнувшись носом в книгу: он нас упорно не замечал. Наконец, мой товарищ постучал по мраморной доске стола, громко и сильно, как стучат обычно в дверь; тогда лишь Мендель поднял голову, машинально сдвинул на лоб громоздкие очки в стальной опра-

ве, и из-под взъерошенных пепельно-серых бровей уставилась на нас пара удивительных глаз — маленькие, черные, живые глазки, острые и верткие, как змеиное жало. Мой приятель представил меня, и я изложил свою просьбу, причем — к этой хитрости я прибег по настоятельному совету приятеля — прежде всего излил свой гнев на библиотекаря, не пожелавшего мне помочь. Мендель откинулся на спинку стула и не спеша сплюнул. Потом отрывисто засмеялся и заговорил с сильным восточным акцентом:

— Не пожелал? Нет, не сумел! Это же паршивец, это же несчастный старый осел. Я знаю его вот уже двадцать лет. Вы думаете, он чему-нибудь научился? Жалованье класть в карман — только это они и умеют! Им бы кирпичи таскать, господам ученым, а не над книгами сидеть.

После того как Мендель таким образом отвел душу, лед был сломан, и он приветливым жестом пригласил меня к своему испещренному заметками мраморному столу, к этому еще не ведомому мне алтарю библиофильских откровений. Я коротко изложил свои пожелания: труды современников Месмера о магнетизме, а также более поздние книги и работы за и против месмеризма; когда я кончил, Мендель прищурил на мгновение левый глаз, в точности так, как стрелок перед выстрелом. Но только на одно-единственное мгновение; и тотчас же, словно читая незримый каталог, Мендель перечислил два-три десятка книг, называя издателя, год издания и приблизительную цену. Я оторопел. Хоть я и был предупрежден, ничего подобного я не ожидал. Мое изумление, видимо, обрадовало его, ибо он продолжал разыгрывать на клавиатуре своей памяти самые удивительные библиографические вариации на ту же тему. Не угодно ли мне кое-что узнать и о сомнамбулистах и первых опытах гипноза, о Гаснере, о заклинании беса, о Христианской науке и о Блаватской? Снова посыпались имена, названия, сведения; теперь только я понял, на какое небывалое чудо памяти я наткнулся в лице Якоба Менделя; это был подлинный ходячий универсальный каталог. Потрясенный, смотрел я на этот библиографический феномен, втиснутый в

невзрачную, даже неопрятную оболочку галицийского букиниста. С легкостью выпалив около восьмидесяти названий, он с наигранным равнодушием, но явно довольный тем, что так хорошо удалось козырнуть, стал протирать очки носовым платком, который, вероятно, когда-то был белый. Чтобы хоть немного оправиться от изумления, я робко спросил, какие из этих книг он берется мне достать.

— Посмотрим, посмотрим, — пробормотал он. — Приходите завтра, Мендель к тому времени уже кое-что достанет вам; чего нет в одном месте, найдется в другом; у кого голова на плечах, тому и счастье.

Я вежливо поблагодарил и от избытка вежливости совершил грубейшую ошибку, предложив записать названия нужных мне книг на клочке бумаги. В ту же минуту мой приятель предостерегающе толкнул меня локтем. Но, увы, слишком поздно! Мендель окинул меня взглядом — и каким взглядом! То был взгляд одновременно торжествующий и оскорбленный, насмешливый и высокомерный, по-шекспировски царственный, взгляд, которым Макбет окинул Макдуфа, когда тот предложил непобедимому герою сдаться без боя. Он снова отрывисто рассмеялся, и большой выступающий кадык задвигался — очевидно, он с трудом проглотил крепкое словцо. Да я и заслужил любую, самую грубую брань из уст доброго, честного Менделя-букиниста; ведь только чужой человек, невежда («амхорец», как он выражался) мог сделать оскорбительное предложение — записать названия книг, и кому? Якобу Менделю! Словно он мальчик из книжного магазина или служитель в букинистической библиотеке; как будто этот несравненный ум когда-либо нуждался в столь грубом вспомогательном средстве. Лишь много позже я понял, как сильно должна была моя предупредительность уязвить его; ибо этот маленький, невзрачный, утонувший в своей бороде и вдобавок горбатый галицийский еврей Якоб Мендель был титаном памяти. За этим грязновато-бледным лбом, обросшим серым мохом, запечатлены были незримиыми письменами, словно отлитые из стали, титульные листы всех когда-либо вышедших



книг. Он мгновенно, не колеблясь, называл место выхода любого сочинения, появилось ли оно вчера или двести лет тому назад, его автора, первоначальную цену и букинистическую; помнил отчетливо и ясно и переплет, и иллюстрации, и факсимиле; каждую книгу, побывавшую у него в руках или только высмотренную в витрине или в библиотеке, он мысленно видел с той же фотографической точностью, с какой художник внутренним оком видит еще скрытые от мира создаваемые им образы. Если в каталоге какого-нибудь регенсбургского букиниста книга была оценена в шесть марок, он тотчас припомнил, что два года тому назад другой экземпляр этой книги на распродаже в Вене пошел за четыре кроны и кем она была куплена. Нет, Якоб Мендель не забывал ни одного названия, ни одной цифры, он знал каждое растение, каждую инфузорию, каждую звезду в изменчивом зыбком космосе книжного мира. По каждой специальности он знал больше, чем специалисты, знал библиотеки лучше, чем библиотекари, наличие книг большинства фирм он знал лучше, чем их владельцы, вопреки всем спискам и картотекам, опираясь единственно на свой магический дар, на свою несравненную память, всю силу которой можно показать, только приведя сотни примеров. Правда, эта память могла получить такое поистине сверхъестественное развитие только благодаря вечной тайне всякого совершенства: тайне сосредоточенности. Этот удивительный человек не знал в мире ничего, кроме книг, ибо все явления бытия обретали для него реальность лишь претворенные в буквы, собранные в книгу и как бы выхолощенные. Но и книги он читал не ради их содержания, не ради заключенных в них мыслей или фактов; только название, цена, формат, титульный лист увлекали его. Всего лишь необъятным перечнем имен и названий, запечатленным не на страницах каталога, а на мягкой коре мозга млекопитающего, — перечнем, в конечном счете бесполезном, не оживленном творческой мыслью, — вот чем была специфически-букинистическая память Якоба Менделя; но в своем неповторимом совершенстве она оказалась не менее феноменальной, чем память Напо-

леона на лица, Меццофанти — на языки, Ласкера — на шахматные дебюты, Бузони — на музыкальные опусы. Используемый в учебном или другом общественном учреждении, этот мозг мог бы удивить и воспитать тысячи, сотни тысяч студентов и ученых; он был бы плодотворен для науки, явился бы бесценным приобретением для тех общедоступных сокровищниц, которые мы называем библиотеками. Но этот мир был навеки закрыт для необразованного галицийского маклера, который знал немногим больше того, чему научился в хедере; и эти поразительные способности могли проявляться лишь в тайных откровениях за мраморным столом кафе Глюк. Но если когда-нибудь появится великий психолог (наш духовный мир все еще ждет его трудов) и, подобно Бюффону, упорно и терпеливо классифицировавшему породы животных, опишет все разновидности, особенности, первобытные формы и отклонения от них той волшебной силы, которую мы именуем памятью, ему следовало бы вспомнить о Якобе Менделе, об этом гении библиографии, об этом безвестном корифее букинистической науки.

По профессии и для непосвященных Якоб Мендель был лишь мелким перекупщиком книг. Каждое воскресенье в газетах «Нейе фрейе прессе» и в «Нейер винер тагеблат» появлялись одни и те же стереотипные объявления: «Покупаю старые книги, даю хорошую цену, прихожу на дом по первому вызову, Мендель. Альзерштрассе», и затем номер телефона — телефона, разумеется, кафе Глюк. Он рылся в книжных складах, еженедельно с помощью старика посыльного, носившего бороду, как у австрийского императора, перетаскивал добычу в свою главную квартиру и опять уносил оттуда, ибо надлежащего разрешения на книжную торговлю у него не было. Приходилось довольствоваться мелким, грошовым промыслом. Студенты сбывали ему свои учебники, через его руки они совершали путь от старшего курса к младшему; кроме того, он отыскивал книги по заказам и продавал их с незначительной надбавкой: советы свои он ценил дешево. Деньги не играли роли в его мире; всегда его видели в одном и том же потертом

сюртуке; утром, днем и вечером он выпивал стакан молока с двумя булочками, скудный обед ему приносили из ближайшего ресторана.

Он не курил, не играл, можно сказать, даже не жил — жили лишь глаза за толстыми стеклами очков, без усталости питавшие этот своеобразный мозг словами, заглавиями, именами. И мягкое, плодородное вещество этого мозга жадно впитывало поток сведений, как впитывает луг тысячи и тысячи капель дождя. Люди его не интересовали, из всех человеческих страстей он, быть может, знал только одну — правда, самую человеческую — тщеславие. Если к нему приходил за справкой человек, уставший от бесплодных поисков в сотне разных мест, и Мендель мог сразу же ответить на вопрос, то это давало ему удовлетворение и радость, да еще, быть может, сознание, что в Вене и за ее пределами живут несколько десятков человек, которые уважают его знания и нуждаются в них. В каждом из многолюдных хаотических конгломератов, которые мы именуем столицами, кое-где вкраплены мельчайшие грани, которые отражают один и тот же мир на крошечной плоскости; они скрыты для большинства и дороги только знатоку, только собрату по страсти. И все без исключения любители книг знали Якоба Менделя. Так же как за советом относительно какого-нибудь музыкального произведения отправлялись к Еузебиусу Мандишевскому, в Общество друзей музыки, где он сидел в серой ермолке, с приветливой улыбкой на устах, среди папок и нот и с первого же взгляда легко разрешал труднейшие загадки, так же как и по сей день каждый, кто хочет получить сведения о театральной жизни старой Вены, о ее культуре, неизбежно обратится к всеведущему старику Глосси, так и немногие правоверные венские библиофилы, когда им попался особенно твердый орешек, не задумываясь, совершали паломничество в кафе Глюк, к Якобу Менделю. Наблюдать за Менделем во время такой консультации доставляло мне, молодому, любопытному человеку, величайшее наслаждение. Обычно, когда ему приносили заурядную книгу, он презрительно захлопывал ее и цедил сквозь зубы: «Две кроны»; но,

увидев редкий экземпляр или уникам, он почтительно отодвигался, подкладывая лист бумаги, и видно было, что он стыдится своих грязных, измазанных чернилами пальцев с черными ногтями.

Потом с нежностью, благоговейно перелистывал страницы одну за другой. Никто не мог помешать ему в эти минуты, как нельзя помешать молитве истинно верующего, и в самом деле, это разглядывание, перелистывание, обнюхивание — в отдельности и в совокупности напоминали строгий ритуал религиозного обряда. Горбатая спина двигалась из стороны в сторону, он ворчал, кряхтел, почесывал голову, произносил непонятные звуки, протяжные «а» или «о», выражавшие трепет восторга, за которыми следовали испуганные «ой» или «ойвей», если он наталкивался на вырванную или источенную жучком страницу. В заключение он почтительно взвешивал в руке древнюю, переплетенную в кожу книгу и, полузакрыв глаза, вдыхал запах увесистого квадратного тома, словно чувствительная барышня — аромат туберозы. На время этой довольно длительной процедуры владелец книги должен был, конечно, вооружиться терпением. Но, закончив осмотр, Мендель охотно, можно сказать, вдохновенно давал всевозможные справки, к которым неминуемо присоединялись пространные рассказы о забавных, а то и драматических случаях купли-продажи аналогичных экземпляров. В такие мгновения он становился как будто бодрее, моложе, живее, и только одно могло его страшно разгневать — предложение денег за оценку, на что иногда решался какой-нибудь новичок. Тогда он обиженно отстранялся, подобно директору картинной галереи, которому путешественник-американец хочет сунуть в руку чаевые за объяснения; ибо подержать в руках драгоценную книгу значило для Менделя то же, что для другого — свидание с женщиной. Эти мгновения были для него платоническими ночами любви. Только книга имела власть над ним, а не деньги. Поэтому крупные коллекционеры, среди них и основатель Принстаунского университета, тщетно пытались привлечь его в свои библиотеки в качестве советчика и скупщика — Якоб

Мендель отказывался; его нельзя было представить себе иначе, как только в кафе Глюк. Тридцать три года тому назад, с еще мягкой черной бородкой и кудрявыми пейсами, он, невзрачный еврейский паренек, прибыл с Востока в Вену, чтобы подготовиться к должности раввина, но вскоре покинул единого сурового бога Иегову и отдался сверкающему и тысячекислому многобожию книг. В те времена он впервые набрел на кафе Глюк, и постепенно оно стало его мастерской, его главной квартирой, его почтовым отделением, его миром. Как астроном, который еженощно в своей обсерватории одиноко наблюдает сквозь крохотное круглое отверстие телескопа мириады звезд, их таинственное движение, их перекрещивающиеся пути, их угасание и возгорание, так Якоб Мендель сквозь свои очки, сидя за четырехугольным столом в кафе Глюк, глядел в другой мир — в мир книг, тоже вечно движущийся и перевоплощающийся, в этот мир над нашим миром.

Его, конечно, очень высоко ценили в кафе Глюк, слава которого для нас больше связывалась с этой безвестной кафедрой, чем с именем патрона кафе, великого музыканта, творца «Альцесты» и «Ифигении», — Кристофа Виллибальда Глюка. Мендель был там такой же частью инвентаря, как старая касса из вишневого дерева, два латаных и перелатанных бильярда и медный кофейник; его стол охранялся как святыня, ибо персонал кафе всегда радушно приглашал его многочисленных клиентов заказать что-нибудь, и таким образом львиная доля прибыли от его знаний попадала в широкую кожаную сумку, болтавшуюся на бедре обер-кельнера Дейблера. За это Мендель-букинист пользовался различными привилегиями: он свободно распоряжался телефоном, здесь сохраняли его корреспонденцию, выполняли его поручения; старая сердобольная уборщица чистила ему пальто, пришивала пуговицы и относила еженедельно маленький сверток белья в прачечную. Ему одному разрешалось брать обеды в соседнем ресторане, и каждое утро господин Штандгартнер, владелец кафе, подходил к столу Менделя и самолично приветствовал его (правда, большей частью Якоб Мендель, углубленный в свои книги, не

замечал этого). Ровно в половине восьмого утра он входил в кафе, и только когда тушили свет, покидал помещение. Он никогда не разговаривал с посетителями, не читал газет, не замечал никаких перемен, и когда господин Штандгартнер однажды вежливо спросил, не лучше ли читать при электрическом свете, чем раньше, при мигающих газовых горелках, он удивленно посмотрел на грушевидные лампочки: он решительно ничего не заметил, хотя шум, стук и беспорядок, вызванные проводкой электричества, длились немало дней. Только сквозь круглые отверстия очков, сквозь эти два блестящих, всасывающих стекла, проникали в его мозг миллиарды черных инфузорий-букв; все остальное проносилось мимо потоком бессмысленных звуков. Больше тридцати лет — другими словами, всю свою сознательную жизнь — он провел за этим четырехугольным столом, читая, сравнивая, вычисляя, и только ночь прерывала на несколько часов этот нескончаемый сон наяву. Поэтому меня неприятно поразило, когда я увидел этот оракулоподобный мраморный стол опустелым, как могильная плита. Только теперь, в более зрелые годы, я понял, как много исчезает с уходом каждого такого человека, — прежде всего потому, что все неповторимое день ото дня становится все драгоценнее в нашем обреченном на однообразие мире. К тому же я очень полюбил Якоба Менделя — хотя, по молодости лет и из-за недостатка опыта, и безотчетно. В его лице я впервые приблизился к великой тайне — что все исключительное и мощное в нашем бытии создается лишь внутренней сосредоточенностью, лишь благородной мономанией, священной одержимостью безумцев. Он показал мне, что непорочная духовная жизнь, самозабвенное служение одной идее, столь же страстное, как у индийских йогов или средневековых монахов, возможно и в наши дни и притом в освещенном электричеством кафе, рядом с телефонной будкой; в лице безвестного, ничтожного букиниста я нашел пример такого служения, гораздо более яркий, чем у наших современных поэтов. И все же я умудрился забыть его; правда, то были годы войны, а я, подобно ему, с головой ушел в свою работу. Но

сейчас, увидев опустевший стол, я почувствовал стыд и вместе с тем любопытство.

Куда он исчез, что с ним случилось? Я позвал кельнера и спросил у него. Нет, к сожалению, он такого не знает. Среди завсегдатаев кафе никакого господина Менделя нет. Но, может быть, обер-кельнер знает. Обер-кельнер лениво подошел, выставив вперед солидное брюшко, с минуту подумал — нет, он тоже не припоминает господина Менделя. Но, может быть, я имею в виду господина Манделя, владельца галантерейного магазина на улице Флорианц? Я ощутил горький привкус на губах, привкус тлена: для чего мы живем, если ветер, чуть ступила наша нога, тут же замечает ее след? Тридцать, быть может, даже сорок лет здесь, на пространстве в несколько квадратных метров, говорил, дышал, работал, думал человек; прошло всего три-четыре года, воцарился новый фараон, и уже никто не помнит о Иосифе, — никто в кафе Глюк не помнит о Якобе Менделе, Менделе-букинисте. Почти с гневом спросил я обер-кельнера, не могу ли я видеть господина Штандгартнера и не остался ли кто-нибудь из старого персонала. Штандгартнер? Бог ты мой, он давным-давно продал кафе и уже умер, а старый обер-кельнер живет в своем именье под Кремсом. Нет, никого не осталось... впрочем... постойте! Ну, конечно, фрау Споршиль, уборщица, еще здесь. Но вряд ли она помнит отдельных посетителей. Однако я решил, что человека, подобного Якобу Менделю, не так-то легко забыть и попросил вызвать эту женщину.

Она пришла, фрау Споршиль, из своих укромных покоев, седая, растрепанная, тяжело ступая отеками ногами; на ходу она поспешно вытирала платком красные руки: должно быть, она только что подметала пол или протирала окна. Я сразу заметил, что этот неожиданный вызов был ей неприятен. В нарядном зале, под ярким электрическим светом она чувствовала себя неловко; к тому же простые люди в Вене всегда опасаются подосланных полицией сыщиков, когда к ним обращаются с расспросами. Сперва она бросила на меня взгляд исподлобья, недоверчиво и настороженно. Зачем ее позвали?

К добру ли это? Но как только я спросил о Якобе Менделе, она встрепенулась и посмотрела на меня открыто, с радостным изумлением.

— Боже мой, бедный господин Мендель, неужели еще кто-нибудь помнит о нем? Ах, бедный господин Мендель! — Она была растрогана до слез, как все старые люди, когда им напоминают об их юности, о давних забытых друзьях. Я спросил ее, жив ли он.

— Ах, боже мой, вот уже пять или шесть лет, нет, пожалуй, все семь прошло с тех пор, как умер бедный господин Мендель. Такой славный, хороший человек, и как подумаю, сколько лет я его знала, — больше двадцати пяти, ведь он уже был тут, когда я поступила. А что ему дали так умереть — это просто стыд и срам. — Она совсем разволновалась и спросила меня, не прихожусь ли я ему родственником. Ведь никто никогда не заботился о нем, никто о нем не справлялся — и неужели я не знаю, что с ним приключилось?

Нет, мне ничего не известно, заверил я, и прошу рассказать мне, рассказать все подробно. Но старушка робко и смущенно поглядывала на меня и все вытирала свои мокрые руки. Я понял: ей, уборщице, неловко было стоять посреди кафе с растрепанными седыми волосами, в грязном переднике; к тому же она боязливо озиралась по сторонам, не подслушивает ли кто из кельнеров. Поэтому я предложил ей пройти в бильярдную, на старое место Менделя, и там рассказать мне все, что она знает о нем. Она дружелюбно кивнула, словно благодаря меня за то, что я понял ее, и пошла вперед неуверенным, старушечьим шагом, я — за ней. Оба кельнера изумленно посмотрели нам вслед, они угадывали какое-то соглашение между нами; да и кое-кто из посетителей не без удивления проводил глазами столь неподходящую пару. И там, за его столом (некоторые подробности я узнал впоследствии из другого источника), она рассказала мне о Якобе Менделе, о гибели Менделя-букиниста.

Так вот. Мендель, когда началась война, по-прежнему приходил каждый день в половине восьмого и сидел здесь, как



всегда. И все так же с утра до вечера занимался; все в кафе считали и даже часто между собой говорили, что ему и невдомек, что идет война. Конечно, он ведь никогда не заглядывал в газеты, ни с кем не говорил, а когда газетчики подымали крик и все хватали экстренные выпуски, он никогда не вставал с места и не обращал на них внимания. Он и не заметил, что нет кельнера Франца (его убили под Горлицей) и что сын господина Штандгартнера попал в плен в Перемышле; он никогда не жаловался на то, что хлеб становится все хуже и что вместо молока он получает бурду из фигового кофе. Только раз как-то он сказал, что удивительно мало приходит студентов, — и все. Бог ты мой, бедняга ни о чем никогда не думал, одна радость у него была — книги.

Но вот пришел день, когда случилось несчастье. В одиннадцать часов утра явился жандарм, а с ним агент тайной полиции; он показал значок под отворотом пиджака и спросил, бывает ли здесь Якоб Мендель. И они сразу подошли к столу Менделя, а тот, в простоте своей, сначала подумал, что они хотят продать ему книги или о чем-то справиться. Но они сразу сказали, чтобы он шел за ними, и увели его. Для кафе это был просто скандал, — все посетители окружили бедного господина Менделя, а он стоял между теми двумя, сдвинув очки на лоб, и смотрел то на одного, то на другого и не понимал, чего они, собственно, от него хотят. Она же сразу сказала жандарму, что это ошибка, такой человек, как господин Мендель, и мухи не обидит, но агент полиции накричал на нее, чтобы она не смела вмешиваться в его служебные обязанности. Потом его увели, и он долго не приходил, целых два года. Еще и по сегодняшний день она точно не знает, чего они от него хотели.

— Но я присягнуть готова, — взволнованно сказала старушка, — господин Мендель не мог сделать ничего дурного. Они ошиблись, головой ручаюсь. Так поступить с бедным, ни в чем не повинным человеком — это просто преступление!

И она была права, добрая, отзывчивая фрау Споршиль. Наш друг Якоб Мендель ничего дурного не совершил (я позже узнал все подробности), он только совершил умопомрачитель-

ную, трогательную, даже в то безумное время баснословную глупость, понятную только тому, кто знал этого удивительного человека. Случилось следующее: военная цензура, обязанная проверять переписку, направляемую за границу, обнаружила открытку, написанную и подписанную неким Якобом Менделем; все правила были соблюдены, и марка — надлежащей стоимости; но — случай совершенно невероятный — она была адресована во вражескую страну; она была адресована Жану Лабурдену, владельцу книжного магазина на набережной Гренель в Париже; некий Якоб Мендель жаловался, что не получил последних восьми номеров ежемесячника «Bulletin bibliographique de la France»\*, несмотря на то, что за него уплачено за год вперед. Чиновник военного ведомства, бывший преподаватель гимназии, по внутренней склонности беллетрист, на которого напялили синий мундир ополченца, пришел в изумление, когда в его руки попал этот документ. Глупая шутка, подумал он. Среди двух тысяч писем, которые он еженедельно перлюстрировал, прочитывал, выискивая в них подозрительные обороты и шпионские сведения, он еще ни разу не наталкивался на такую нелепость: чтобы человек преспокойно написал письмо из Австрии во Францию и просто-напросто опустил в почтовый ящик открытку, адресованную во вражескую страну, точно с 1914 года границы не обнесены колючей проволокой и Франция, Германия, Австрия и Россия каждый божий день не сокращают численность своего мужского населения на несколько тысяч человек. Поэтому он сперва положил открытку как курьез в ящик стола, не считая нужным докладывать о такой чепухе. Но несколько недель спустя пришла еще одна открытка, адресованная в книжный магазин Джона Олдриджа, Лондон, Холборн-сквер, с запросом, нельзя ли получить последние номера «Antiquarian»\*\*\*, и опять на ней стояла подпись того же чудака, Якоба Менделя, который с трогательным простодушием сообщал свой полный

---

\* «Библиографический бюллетень Франции» (франц.).

\*\* «Антиквар» (англ.).

адрес. Тут уж преподаватель гимназии вспомнил, что на нем военный мундир. Быть может, за этой дурацкой шуткой кроется какой-нибудь зашифрованный смысл? Чиновник встал, вытянулся в струнку и положил обе открытки на стол майору. Тот пожал плечами: странный случай! Прежде всего он дал знать в полицию и велел удостовериться, существует ли в действительности такой Якоб Мендель, и через час Якоб Мендель был арестован и, еще не опомнившийся от неожиданности, приведен к майору. Майор предъявил ему таинственные открытки и спросил, признает ли он, что является их отправителем. Рассерженный строгим тоном допроса и особенно тем, что его оторвали от чтения нужного каталога, Мендель почти грубо заявил, что, конечно, эти открытки он написал. Надо полагать, что человек имеет право требовать номера журнала, за которые уплачены деньги. Майор повернулся к лейтенанту, сидевшему за соседним столом. Они переглянулись — оба подумали одно и то же: набитый дурак! Потом майор стал раздумывать — прогнать ли простофилю, предварительно выругав, или отнестись к делу серьезнее. При наличии таких колебаний любое ведомство прежде всего прибегает к протоколу. Протокол — это всегда хорошо. Если он и не принесет пользы, то и повредить не может, и к миллионам бессмысленно исписанных листов бумаги прибавится еще один.

В этом случае он повредил бедному, ничего не подозревающему человеку, ибо уже при третьем вопросе обнаружилось роковое обстоятельство. Прежде всего спросили его имя: Якоб, правильнее Янкель, Мендель. Профессия: торговец вразнос (так было сказано в его документе, разрешения на торговлю книгами он не имел). Третий вопрос повлек за собой катастрофу: место рождения. Якоб Мендель назвал местечко около Петрикова. Майор поднял брови. Петриков? Разве это не в русской Польше, близ границы? Подозрительно! Очень подозрительно! И уже более строгим тоном майор спросил, когда Мендель принял австрийское подданство. Очки Менделя с недоумением уставились на майора: он не понимал, чего от него хотят. Где, черт возьми, его бумаги, документы? У него нет

никаких документов, кроме удостоверения, что он торговец вразнос. Брови майора поднялись еще выше. Пусть он, наконец, объяснит толком, какого он подданства! Отец его — австриец или русский? Мендель, не моргнув, ответил: конечно, русский. А он? О, он уже тридцать три года тому назад перебрался через границу, чтобы не отбывать воинскую повинность, и с тех пор живет в Вене. Майор еще больше насторожился. А когда он стал австрийским подданным? «Зачем?» — спросил Мендель. Он никогда не интересовался такими вещами. Значит, он и сейчас еще русский подданный? И Мендель, которому эти пустые расспросы уже давно надоели, равнодушно ответил: «Собственно говоря, да».

Майор с испугу так резко откинулся на спинку кресла, что оно затрещало. И это возможно? В Вене, в столице Австрии, в разгар войны, в конце 1915 года, после Тарнова и большого наступления, как ни в чем не бывало разгуливает русский, пишет письма во Францию и Англию, а полиции и дела нет. И после этого газеты выражают удивление, что Конрад фон Гетцендорф не добрался сразу до Варшавы, а в генеральном штабе изумляются, что каждое передвижение войск становится известно России. Лейтенант тоже встал и подошел к столу; разговор быстро превратился в допрос. Почему он сразу не заявил о себе как об иностранце? Мендель, все еще ничего не подозревая, ответил нараспев с еврейским акцентом: «И зачем мне было вдруг заявлять о себе?» В этом ответе вопросом на вопрос майор усмотрел вызов и угрожающе спросил, читал ли он предписание об этом. Нет! Может быть, он и газет не читает? Нет!

Оба чиновника устали на слегка встревоженного Якоба Менделя, словно луна свалилась с неба прямо в их канцелярию. И вот затрещал телефон, застучали пишущие машинки, забегали ординарцы, и Якоб Мендель был передан в гарнизонную тюрьму, с тем чтобы со следующей партией отправиться в концентрационный лагерь. Когда ему приказали следовать за двумя солдатами, он растерянно оглянулся. Он не понимал, чего от него требуют, но особенно не беспокоился.

Что дурного мог замыслить против него этот человек в шитом золотом воротнике, с грубым голосом? В его высшем мире, мире книг, не было войны, не было недоразумений, лишь вечное познание и стремление ко все большему и большему познанию чисел и слов, имен и заглавий. И он безропотно поплелся между двумя солдатами вниз по лестнице. Только когда в полицейском участке вытащили все книги из карманов его пальто и потребовали бумажник, набитый сотней нужных записок и адресами клиентов, он начал яростно обороняться. Пришлось его усмирить. Но, увы! При этом упали на пол его очки, и магический телескоп, открывавший ему духовный мир, разбился вдребезги. Два дня спустя его отправили в легком летнем пальтишке в концентрационный лагерь для русских гражданских лиц близ Коморна.

Какие нравственные мытарства претерпел за эти два года, проведенные в концентрационном лагере, Якоб Мендель, лишенный своих возлюбленных книг, среди равнодушной, грубой, большей частью неграмотной толпы, в этом огромном человеческом загоне, какие страдания он вынес, вырванный из высшего и единственного для него мира книг, как орел с подрезанными крыльями из своей стихии, — об этом нет никаких свидетельств. Но мир, отрезвившись от безумия, постепенно начинает понимать, что из всех жестокостей и преступлений этой войны самым бессмысленным, ненужным и потому морально ничем не оправданным было содержание за колючей проволокой ни в чем не повинных людей, давно вышедших из призывного возраста, живших много лет в чужой стране и слепо веривших в священный закон гостеприимства, соблюдаемый даже тунгусами и арауканами, и потому своевременно не бежавших; это преступление против цивилизации с равной бессмысленностью совершалось во Франции, Германии и Англии — на каждом клочке земли потерявшей рассудок Европы. И, может быть, Якоб Мендель в числе многих сотен невинных жертв сошел бы с ума, погиб от дизентерии, упадка сил или душевных потрясений, если бы в последнюю минуту чистая случайность, весьма характерная для Австрии, не вернула

Менделя в его мир. Дело в том, что после его исчезновения приходили адресованные ему письма от знатных клиентов: граф Шенберг, бывший наместник Штейермарка, страстный коллекционер геральдической литературы, бывший декан богословского факультета Зигенфельд, трудившийся над комментариями к Августину, восьмидесятилетний адмирал в отставке Эдлер фон Пизек, все еще дорабатывающий свои мемуары, — все они, его верные клиенты, писали к нему в кафе Глюк; некоторые из этих писем были пересланы исчезнувшему букинисту в концентрационный лагерь. Там они попали в руки полковника, случайно пребывавшего в хорошем настроении; он удивился знакомству столь знатных людей с этим маленьким полуслепым, грязным евреем, который, с тех пор как лишился очков (у него не было денег на покупку новых), словно крот, молча сидел в своем углу. Тот, у кого такие связи, вероятно, не совсем обыкновенный человек! Полковник разрешил Менделю ответить на письма и обратиться к своим покровителям за помощью. Они не замедлили оказать ее. С обычной для коллекционеров горячей солидарностью их превосходительства и декан использовали свои связи и совместной поручкой добились того, что Мендель-букинист в 1917 году, после двухлетнего с лишним заключения, вернулся в Вену, правда, с условием ежедневной явки в полицию. Но все же он был на свободе, в своей прежней тесной, ветхой мансарде, мог любоваться выставленными в витринах книгами и, главное, мог вернуться в кафе Глюк.

О возвращении Менделя из преисподней в кафе фрау Споршилль рассказала мне по собственным воспоминаниям.

— В один прекрасный день — Иисус Мария, я глазам своим не поверила — отворяется дверь, только на щелочку — лишь бы просунуться, он ведь всегда так делал, — и входит наш бедный господин Мендель. На нем была солдатская шинель, вся в заплатках, а на голове и не поймешь что, может, когда-то это была шляпа, да валялась на помойке. Без воротничка, сам точно мертвец, лицо серое, весь седой и такой худющий — глядеть жалко. Но он входит, будто ничего не случилось, ни о

чем не спрашивает, ничего не говорит, идет прямо к столу, снимает пальто, но уж не так легко и проворно, как раньше, а трудно этак дышит. И ни одной книги он не принес с собой, как бывало прежде, а просто садится и сидит, ни слова не говоря, только смотрит перед собой совсем пустыми, потухшими глазами. Уже потом, когда мы ему принесли целый ворох бумаг, пришедших для него из Германии, он стал опять читать. Но он был уже не тот, не прежний.

Нет, он был не прежний, не был тем *Miraculum mundi*, волшебным всесветным механизмом, регистрирующим книги: все видевшие его в то время с грустью это подтвердили. Казалось, что-то навеки изменилось в его обычно тихом, словно дремлющем взоре, устремленном в книгу; что-то было разрушено: видимо, страшная кровавая комета в своем бешеном беге не пощадила и скромного мирного светила его книжной вселенной. Глаза, десятки лет взиравшие на нежные, безмолвные, похожие на лапки насекомых печатные буквы, увидели, должно быть, много ужасного в обнесенном колючей проволокой человеческом загоне, ибо веки тяжело нависли над ними; некогда насмешливые, а теперь тусклые, воспаленные, они прятались за плохо связанными тонким шпагатом очками. И что хуже всего: в совершенном здании его памяти рухнул, очевидно, один из контрфорсов, и все строение пошатнулось; ибо наш мозг, этот созданный из нежнейшего вещества механизм этот тончайший точный прибор нашего познания, так хрупок, так сложен, что достаточно задетого сосудика, одного потревоженного нерва, переутомленной клетки, малейшего изменения какой-нибудь молекулы, чтобы нарушить высшую всеобъемлющую гармонию человеческого ума. И в памяти Менделя, в этой единственной в своем роде клавиатуре знаний, теперь, после его возвращения, западали клавиши. Если время от времени кто-нибудь приходил за справкой, он усталым взором всматривался в посетителя и не сразу понимал, он плохо слушал, забывал, о чем его спрашивают. Мендель уже не был прежним Менделем, как мир — прежним миром. Исчезла былая сосредоточенность; он больше не раскачивался,

читая, а сидел неподвижно, машинально уткнувшись в книгу очками. Голова его, рассказывала фрау Споршилль, тяжело опускалась на книгу, и он засыпал среди бела дня; иногда часами глядел на непривычный свет вонючей ацетиленовой лампы, которую ставили ему на стол, — из-за нехватки угля электростанция не работала. Нет, Мендель не был уже прежним Менделем, чудом из чудес, а всего лишь никому не нужным комом бороды и платья, застрявшим на столе, некогда бывшем треножником пифии. Он уже был не красой и гордостью кафе Глюк, а его позором, грязным пятном, обузой, дурно пахнущим, всем мешающим нахлебником.

Таким считал его и новый владелец кафе, Флориан Гуртнер из Ретца, разбогатевший в голодный 1919 год на спекуляциях мукой и маслом и уговоривший добродушного Штандгартнера продать ему кафе Глюк за восемьдесят тысяч быстро обесценивающихся бумажных крон. Он взялся за дело крепкими руками крестьянина, поспешно переделал старинное почтенное кафе на более модный лад, в удачно выбранный момент приобрел за обесцененные бумажки новые кресла, отделал мрамором вход и начал переговоры о найме соседнего помещения, чтобы соорудить эстраду для оркестра. При этом спешном переустройстве ему, конечно, сильно мешал выходец из Галиции, один зачивавший с раннего утра до позднего вечера целый стол и за все время выпивавший только две чашки кофе с пятью булочками. Штандгартнер, правда, обратил особое внимание нового владельца на этого завсегдатая кафе и пытался объяснить, какой замечательный человек Якоб Мендель, — он его передал, так сказать, вместе с инвентарем, как некое обязательство, лежащее на заведении. Однако Флориан Гуртнер заодно с новой мебелью и блестящей алюминиевой кассой обзавелся и крепкой совестью времен легкой наживы; он ждал только предлога, чтобы вымести этот последний остаток провинциального убожества из своего столичного кафе. Подходящий случай вскоре подвернулся, ибо Якобу Менделю жилось плохо. Его последние сбережения перемолола бумажная мельница инфляции, своих клиентов он растерял. Таскаться по



лестницам, скупать и перепродавать книги было уже не по силам старому Менделю. Туго ему приходилось, об этом говорила сотня признаков. Лишь изредка посылал он за обедом в ресторан и даже небольшую сумму за кофе и хлеб оставался должен, — однажды он задержал плату на три недели. Уже тогда обер-кельнер собирался его выставить, но сердобольная фрау Споршилль пожалела Менделя и поручилась за него.

А в следующем месяце разразилась катастрофа. Уже несколько раз новый обер-кельнер замечал, что при подсчете булок цифры не сходятся. Каждый раз булок оказывалось меньше, чем было заказано и оплачено. Разумеется, подозрение пало на Менделя, ибо уже не раз приходил старик посыльный и жаловался, что Мендель должен ему деньги за полгода и не платит ни одного геллера. Обер-кельнер стал зорко следить за ним, и спустя два дня ему удалось, спрятавшись за каминный экран, подглядеть, как Якоб Мендель встал со своего места, крадучись, перешел в первую комнату, быстро выхватил из корзины две булочки и начал жадно поглощать их. Расплачиваясь за кофе, он уверял, что булок не ел. Все было ясно. Кельнер сейчас же доложил о происшествии господину Гуртнеру, и тот, обрадовавшись случаю, накричал на Менделя в присутствии всех посетителей, обвинил его в краже и еще хвалился тем, что не посылает за полицией. Но он велел Менделю сейчас же убираться к черту и больше не появляться здесь. Якоб Мендель выслушал это молча, дрожа всем телом, поднялся со своего места и ушел.

— Просто страх! — говорила фрау Споршилль, описывая его изгнание. — Никогда не забуду, как он встал, сдвинул очки на лоб, а сам бледный, как полотно. И пальто даже не надел, а на дворе январь, — вы помните небось, какие холода стояли. И книгу свою он забыл на столе с перепугу. Я как увидела, хотела бежать за ним, но он уже вышел. Пойти за ним на улицу я не посмела, потому что в дверях стоял господин Гуртнер и так ругался, что люди останавливались. Стыд и срам! Я прямо сторепа со стыда! Никогда бы такого не было при старом хозяйине; господин Штандгартнер ни за что бы не выгнал человека

из-за каких-то булок, у него Мендель мог бы даром кормиться до самой смерти. Но у нынешних людей нет сердца. Прогнать беднягу с места, где он просидел тридцать с лишком лет изо дня в день, — это уж такой срам, такой грех! Не хотела бы я за это отвечать перед Господом Богом, нет, не хотела бы.

Добрая старушка разгорячилась и со свойственным старости многословием все твердила о том, какой это грех и что никогда бы господин Штандгартнер так не сделал. В конце концов я прервал ее вопросом, что же случилось с нашим Менделем и довелось ли ей еще увидеть его. Тут она встрепенулась и продолжала свой рассказ:

— Верите ли, как иду мимо его стола, так меня словно по сердцу полоснет. Все думаю, где ж он теперь, бедный господин Мендель, и если бы я только знала, где он живет, я бы снесла ему поесть чего-нибудь горячего: откуда было ему взять денег на топку и на еду? Родных у него, должно быть, никого не было. Ну, время-то идет, а о нем ни слуху ни духу, и я стала думать, что, видно, его нет уже и в живых и не увижу я его больше. И даже подумываю, не надо ли отслужить панихиду по нему; ведь такой он был хороший человек, и знала я его больше двадцати пяти лет.

Но вот как-то в феврале месяце, в половине восьмого утра, я только взялась чистить медные затворы на окнах — вдруг (я думала, меня хватит удар) открывается дверь, и входит Мендель. Вы ведь знаете, он всегда боком протискивался в дверь, робко этак, но уж тут — и не поймешь как. Я замечаю, что-то с ним неладно, глаза у него горят, а сам-то, Господи Боже мой, — одни кости да борода! Гляжу я на него, вижу, что он вроде не в себе, и вдруг поняла: да он ничего не чувствует, бродит среди бела дня как во сне, он все забыл — и про булки, и про господина Гуртнера, и как выгоняли — он себя не помнит. Господина Гуртнера, слава Богу, еще не было, а обер-кельнер пил кофе. Я подбежала к Менделю, хочу ему сказать, чтобы он не оставался здесь, не то этот грубиян опять выгонит его (тут она, опасливо оглянувшись, поправилась), я хотела сказать — господин Гуртнер. «Господин Мендель!» — окликнула

я его. Он взглянул на меня и тут, — Боже мой, если б вы видели, — тут он, должно быть, сразу все припомнил; он вздрогнул и затрясся; не только руки дрожали, он трясся весь, всем телом; повернулся и пошел прочь, а у дверей и свалился. Мы вызвали по телефону «Скорую помощь», и его увезли. Он был в лихорадке, а вечером скончался: доктор сказал, от воспаления легких, и еще он сказал, что, может, он уже был в беспомощности, когда приходил к нам. Он пришел и сам не зная как, словно во сне. Не шутка тридцать шесть лет изо дня в день сидеть за одним и тем же столом: этот стол и был ему домом.

Мы долго еще говорили о нем, мы, последние из знавших этого странного человека; несмотря на свое микроскопически мелкое существование, он дал мне, неопытному юнцу, первое понятие о жизни, всецело замкнувшейся в духе, а для нее, бедной, задавленной тяжелым трудом уборщицы, не прочитавшей на своем веку ни одной книги, он был только товарищем по несчастью, таким же, как она, бедняком, которому она двадцать пять лет чистила пальто и пришивала пуговицы. И все же мы отлично понимали друг друга здесь, за его старым покинутым столом, сообщая вызывая в нашей памяти его облик; ибо воспоминания всегда объединяют, и вдвойне — воспоминания, проникнутые любовью. Но вдруг старушка спохватилась:

— Господи, что же это я! Книга-то, что он тогда оставил на столе, ведь она и сейчас у меня. Я же не знала, куда ему отнести ее. А после, как за ней никто не приходил, я и подумала: оставлю я ее себе на память. Дурного в этом нет, правда? — Она торопливо вышла и принесла мне книгу. Я с трудом подавил улыбку; как охотно вечно игривая, нередко насмешливая судьба не без злости примешивает к жизненным драмам комический элемент. То был второй том «*Bibliotheca Germanorum erotica et curiosa*»\* Гайна, хорошо известный

---

\* «Библиотека немецкой эротической и занимательной литературы» (лат.).

каждому библиофилу справочник по галантной литературе. Как раз этот скабресный перечень — *habent sua fata libelli*\* — оказался последним заветом, переданным покойным магом и волшебником в натруженные, красные, неискушенные руки, никогда, вероятно, не державшие ни одной книги, кроме молитвенника. Я плотно сжимал губы, силясь подавить невольную улыбку, и мое минутное молчание смутило честную женщину. Может быть, это что-нибудь очень дорогое, или все-таки можно оставить себе?

Я крепко пожал ей руку: «Оставьте ее себе, наш старый друг Мендель порадовался бы, если бы узнал, что среди тысяч людей, обязанных ему нужной книгой, есть хоть один, сохранивший о нем память».

Я ушел из кафе, и мне было стыдно перед этой доброй старой женщиной, которая в простоте души, но с истинной человечностью сохранила верность покойному. Ибо она, неграмотная, хоть сберегла книгу, чтобы чаще вспоминать о нем, я же годами не помнил о Менделе-букинисте, я, который должен бы знать, что книги пишутся только ради того, чтобы и за пределами своей жизни остаться близкими людям и тем оградить себя от неумолимого врага всего живущего — тлена и забвения.



---

\* Книги имеют свою судьбу (*лат.*).



## НЕОЖИДАННОЕ ЗНАКОМСТВО С НОВОЙ ПРОФЕССИЕЙ

**Д**аже самый воздух, сырой, но уже снова пронизанный солнцем, был великолепен в то чудесное апрельское утро 1931 года. Он таял во рту, как карамелька, сладкий, прохладный, влажный и сияющий, квинтэссенция весны, чистейший озон. Поразительно: в центре города, на Страсбургском бульваре, дышалось ароматом вспаханных полей и моря. Это очаровательное чудо сделал ливень, озорной апрельский дождь, которым капризница весна нередко возвещает о своем приходе. Еще дорогой наш поезд догонял темную тучу, черной полосой обрезающую на горизонте поля; но только около Мо, когда уже видны были разбросанные на окраине города игрушечные дома-кубики, когда уже поднимались над потускневшей зеленью крикливые рекламы, когда уже складывала свои дорожные принадлежности — бесчисленные флакончики, футляры, коробочки — сидевшая напротив меня пожилая англичанка, только около Мо прорвалась наконец набухшая, набрякшая водой, злобная свинцовая туча, от самого Эперно бежавшая наперегонки с паровозом. Сигнал был подан бледной вспышкой молнии, и тотчас же туча с воинственным грохотом обрушила на землю водные потоки и стала поливать поезд мокрым пулеметным огнем. Окна плакали под метким обстрелом больно бьющего града, паровоз сдался на милость победителя и опустил свое дымное знамя. Ничего не было видно, ничего не было слышно — только капли, перебивая друг друга, торопливо барабанили по стеклу

и металлу, и поезд, спасаясь от ливня, бежал по блестящим рельсам, словно преследуемый зверь. И что же, не успели мы благополучно прибыть на Восточный вокзал и в ожидании носильщиков остановиться на крытой платформе, а за серой, ровно обрезанной кромкой дождя уже ярко блестел бульвар; острый луч солнца пронзил своим трезубцем убегающие тучи, и фасады домов загорелись, как начищенная медь, и небо засверкало океанской синевой. Словно Афродита Анадиомена, в сиянии наготы встающая из волн морских, божественно прекрасен вставал город из сброшенной пелены дождя. И сразу, точно отпустили тетиву, слева и справа, из сотен укромных уголков, из сотен прибежищ высыпали на улицу люди; они отряхивались, смеялись и бежали своей дорогой; возобновилось приостановленное движение, покатались, загрохотали, затарахтели в уличной толчее сотни колес, все дышало и радовалось возвращенному сиянию дня. Даже чахоточные деревца на бульваре, крепко зажатые в твердую рамку асфальта, еще все омытые и обрызганные дождем, потянулись своими острыми пальчиками-бутонами к обновленному, насыщенному синевой небу и сделали робкую попытку заблагоухать. И как это ни удивительно, попытка их увенчалась успехом. Свершилось чудо: несколько мгновений в сердце Парижа, на Страсбургском бульваре, явственно ощущалось нежное, робкое дыхание цветущих каштанов.

Великолепно в этот благословенный апрельский день было еще и то, что, приехав рано утром в Париж, я до самого вечера был свободен. Ни одна душа из четырех с половиной миллионов парижских жителей еще не знала, что я здесь, никто не ждал меня; итак, я ощущал божественную свободу, я мог делать что хочу. Я мог, если мне заблагорассудится, без цели шататься по городу или читать газету, мог позавтракать, или просто посидеть в кафе, или пойти в музей, мог глазеть на витрины магазинов или рассматривать книги в ларьках букинистов на набережной; я мог позвонить друзьям или просто глядеть в ласковое, светлое небо. Но, к счастью, мне помог всезнающий инстинкт, и я сделал самое благоразумное, что

можно было сделать: а именно — не сделал ничего. Я не составил никакого плана, я дал себе полную свободу, отрешился от всяких намерений и целей и предоставил случаю выбрать мой путь, то есть я отдался во власть уличному потоку, медленно проносившему меня мимо сверкающих магазинами берегов и быстрее через речные пороги — переходы с одного тротуара на другой. В конце концов волны выкинули меня на бульвары. Чувствуя приятную усталость, высадился я на террасе кафе на углу бульвара Осман и улицы Друо.

Ну, вот я опять здесь, думал я, закуривая сигару и удобно располагаясь в податливом плетеном кресле, и вот ты, Париж! Целых два года мы не виделись с тобой, старый приятель, так давай же посмотрим друг другу в глаза. Ну, Париж, начинай, выкладывай, покажи, чему ты за это время научился, начинай, покажи мне твой непревзойденный звуковой фильм «Парижские бульвары» — шедевр света, красок и движения, фильм, в котором участвуют тысячи неоплаченных и неподсчитанных статистов под звуки неподражаемой музыки твоих улиц, звенящей, грохочущей, шумной. Не скупись, скорее покажи себя, покажи, на что ты способен, заведи свою исполнскую шарманку, дай послушать шумы и звуки твоих улиц, пусть катятся машины, вопят газетчики, кричат рекламы, режут гудки, сверкают магазины, спешат люди — вот я сижу и жду, готовый воспринять тебя, у меня есть и время и охота смотреть и слушать до тех пор, пока не зарябит в глазах и не замрет сердце. Ну, начинай, не скупись, не утаивай ничего, больше, больше давай, громче, громче, давай все новые и новые крики и возгласы, гудки и дребезжащие звуки, меня это не утомит, я весь превратился в зрение и слух, ну, скорей отдайся мне целиком, ведь я тоже отдаюсь тебе, отдайся мне, вечно новый, вечно пленительный город!

И — третье очарование этого необычайного утра — я уже чувствовал по знакомому трепету в крови, что сегодня у меня опять один из тех моих приступов любопытства, которые чаще всего приходят ко мне после путешествия или бессонной ночи. В такие дни я чувствую себя раздвоенным и даже размножен-

ным. Мне уже мало тогда моей собственной, ограниченной определенными рамками жизни; что-то напирает, теснит меня изнутри, словно выталкивая из моей оболочки, как бабочку из ее куколки. Все поры раскрыты, все нервы напряжены, это уже не нервы, а тончайшие, горячие крючочки; у меня появляется какое-то сверхслышание, сверхвидение, мысль работает с почти пугающей ясностью, слух и зрение необычайно обостряются. Все, чего коснется мой взгляд, завораживает меня своей тайной. Я могу часами наблюдать за дорожником, как он вздыбливает асфальт электробуром, и, глядя на него, я так остро ощущаю его работу, что каждое движение его вздрагивающих плеч невольно передается и мне. Я могу без конца стоять перед чужим окном и выдумывать жизнь незнакомого человека, который здесь живет или мог бы здесь жить, я могу следить за прохожим или часами идти за ним по пятам, притянутый, как магнитом, бессмысленным любопытством, ясно сознавая при этом, что поведение мое покажется непонятым и глупым всякому, кто случайно обратит на меня внимание, и все же эта игра увлекает меня сильнее, чем любое театральное зрелище или приключение, о котором рассказано в книге. Быть может, такая сверхвозбудимость, такое обостренное ясновидение самым естественным образом связано с внезапной переменой места и является простым следствием изменения атмосферного давления и вызванного им изменения состава крови, — я никогда не пытался объяснить себе это странное нервное возбуждение. Но каждый раз, когда оно у меня появляется, моя обычная жизнь кажется мне бледной и будничной, а все ее события — ничтожными и пустыми. Только в такие минуты я во всей полноте ощущаю себя самого и фантастическое многообразие жизни.

Вот и в тот благословенный апрельский день я сидел в кресле на берегу человеческого потока в таком состоянии саморасширенности и напряженно, всем своим существом ждал, сам не зная чего. Но ждал с тем трепетным ощущением холода, с которым рыболов ждет, чтоб дернулся поплавок. Я инстинктивно знал, что сегодня мне непременно встретится что-



то или кто-то, ибо сегодня меня томило желание перевоплотиться, дать пищу игре воображения, утолить любопытство. Но улица ничего мне не подбрасывала, и через полчаса я устал глядеть на людской поток, я уже переставал различать лица в выплеснутой на бульвар пестрой толпе. В глазах рябило от желтых, коричневых, черных, серых шляп, капюшонов и кепи, ненакрашенных и грубо накрашенных лиц — все слилось в скучные помылки, в грязноватые помои, и чем больше уставали мои глаза, тем бесцветнее, мутнее казалась мне катившаяся передо мной человеческая волна. Я был утомлен, как от мигающей и нечеткой копии фильма, и уже хотел встать и уйти. И тут... и тут я, наконец, увидел его.

Сначала я обратил на него внимание просто потому, что он все снова и снова попадал в поле моего зрения. Все остальные сотни и тысячи людей, поток которых прокатился за эти полчаса мимо меня, исчезали, словно кто-то дергал их за невидимые веревочки; быстро мелькали то профиль, то тень, то силуэт, и течение уносило их навсегда. И только этот один человек всплывал все снова и все на том же месте; поэтому я и заметил его. Так прибой иногда с непонятным упорством выплескивает на берег все ту же грязную водоросль, слизывает ее мокрым своим языком, и тут же снова ее выбрасывает, и снова тащит обратно; вот и этот человек: только он один все снова всплывал в людском водовороте, и почти каждый раз через определенные, почти равные промежутки времени, и всегда на том же месте, и всегда у него был тот же затаенный, странно погашенный взгляд. Больше в нем не было ничего достопримечательного; на щуплом, исхудалом теле висело летнее пальтишко канареечного цвета, явно с чужого плеча, — из рукавов торчали только самые кончики пальцев; старомодное канареечное пальтишко, непомерно широкое, не по росту длинное, и острая мышьяная мордочка с бледными, будто полинялыми губами, над которыми как-то боязливо топорщились белобрысые редкие усики, — сочетание получалось довольно комическое. Было в этом жалком субъекте что-то нескладное, разболтанное — одно плечо ниже другого, ноги

тонкие, как у паяца, лицо озабоченное; он всплывал то справа, то слева в людской волне, останавливался, по-видимому, в нерешительности, пугливо озирался, как зайчонок в овсе, что-то высматривал, нырял в толпу и исчезал. Сверх всего прочего — и это тоже привлекло мое внимание — этот обтрепанный субъект, чем-то напоминавший мне гоголевского чиновника, был, по-видимому, очень близорук или поразительно неловок: я видел, и не один, а несколько раз, как этого ротозея толкали и чуть не сталкивали с тротуара торопливо и уверенно шагающие прохожие. Но его это, по-видимому, не трогало; он покорно сторонился, нырял в толпу, а затем опять появлялся, и снова он был тут, снова и снова я видел его, вероятно, уже в десятый или в двенадцатый раз за полчаса.

Это заинтересовало меня, вернее, сначала рассердило: я злился на себя за то, что при всем моем сегодняшнем любопытстве не мог сразу угадать, что этому человеку здесь нужно. И чем напраснее были мои старания, тем сильнее разгоралось мое любопытство. Черт возьми, что же тебе здесь, собственно, нужно? Чего или кого ты дожидаясь? Нет, ты не нищий: нищий не дурак, чтоб стоять в самой толкотне, где ни у кого нет времени сунуть руку в карман. И не рабочий: рабочий не станет в одиннадцать часов утра зря болтаться по улице. А что ты поджидаешь девицу — этому я никак не поверю, даже старуха и та не позарится на такого заморыша. Ну, так говори, что тебе здесь надобно, и дело с концом. Может быть, ты из тех подозрительных гидов, что, тронув за локоть приезжего, показывают ему из-под полы порнографические фотографии и за известную мзду обещают все наслаждения Содомы и Гоморры? Нет, не то, ведь ты же ни с кем не заговариваешь, наоборот, ты робко уступаешь дорогу, опускаешь странно прячущиеся глаза. Черт тебя возьми, тихоня, да кто же ты, наконец? Что ты делаешь в моих владениях? Теперь я уже не спускал с него глаз; прошло пять минут, и у меня появился спортивный азарт, я должен был знать, зачем этот канареечно-желтый субъект толчется на бульваре. И вдруг я догадался: он сыщик.

Сыщик, переодетый полицейский! Я понял это совершенно инстинктивно, по пустячной черточке — по тому быстрому взгляду исподтишка, которым он окидывал каждого прохожего, по тому наметанному, примечающему взгляду, который нельзя не узнать, ведь полицейский должен наметать глаз в первый же год обучения своему ремеслу. Это не так-то просто: во-первых, надо быстро, как бритвой по шву, скользнуть взглядом по всему телу до самого лица и как при мгновенной вспышке магния запомнить все черты и мысленно сравнить их с приметами известных преступников, разыскиваемых полицией. Во-вторых — и, пожалуй, это еще труднее, — такой испытующий взгляд надо бросить совсем незаметно: нельзя, чтобы тот, кого ты ищешь, признал в тебе сыщика. Человек, за которым я следил, прекрасно усвоил свое ремесло. С рассеянным видом, погруженный в свои думы, пробирался он сквозь толпу; его толкали, пихали; казалось, он ничего не замечает, и вдруг, с молниеносной быстротой — словно щелкнул затвор фотоаппарата — он вскидывал вялые веки и вонзался острым, как гарпун, взглядом в прохожего. Видимо, никто, кроме меня, не обратил внимания на сыщика, вышедшего на работу, и я бы тоже ничего не заметил, если бы мне не повезло: если бы в этот благословенный апрельский день на меня не напал приступ любопытства и если бы я не подкарауливал так давно и так упорно долгожданный случай.

Переодетый полицейский был, вероятно, во всех отношениях большим знатоком своего дела, — он до тонкости изучил искусство мистификации и, выйдя на охоту за дичью, преобразился в настоящего уличного зеваку, перенял манеры, походку, костюм, или, вернее, лохмотья оборванца. Обычно переодетых полицейских можно безошибочно узнать издалека, ибо эти господа никак не могут отказаться от военной выправки. Сколько бы они ни передевались, им никого не провести, ибо никогда не постигнут они в совершенстве робкие, приниженные манеры, вполне естественные для людей, которых с детства гнетет нужда. Он же разительно правдоподобно — я просто преклонялся перед ним — перевоплотился в опустив-

шегоса человека, до последней мелочи проработал грим бродяги. Как психологически тонко были задуманы хотя бы это канареечно-желтое пальто и чуть сдвинутая набекрень коричневая шляпа — последняя попытка сохранить какую-то элегантность, — а бахрома на брюках и сильно потертый воротник свидетельствовали о самой неприкрытой нужде: опытный охотник за людьми, он, несомненно, заметил, что бедность, подобно прожорливой крысе, обгрызает одежду прежде всего по краям. Совершенно под стать его жалкому гардеробу была изголодавшаяся физиономия — жиденькие усики (по всей вероятности, накладные), небритые щеки, умело растрепанные космы волос, — всякий неискушенный наблюдатель поклялся бы, что это бездомный нищий, прошедший ночь где-нибудь на скамейке бульвара или на нарах в полицейском участке. Вдобавок он еще болезненно покашливал, прикрывая рот рукой, зябко ежился в своем летнем пальтишке и шел медленно, волоча словно налитые свинцом ноги. Ей-Богу, создавалась полная иллюзия больного в последней стадии чахотки.

Признаюсь, нисколько не стыдясь, что я был в полном восторге. Ведь на мою долю выпала редкая удача: в качестве агента-любителя следить за полицейским агентом-профессионалом. Но где-то, в каком-то уголке души, я чувствовал всю гнусность того, что в такой благословенный, сияющий лазурью день, под ласковыми лучами апрельского солнца переодетый государственный чиновник, рассчитывающий на пенсию в старости, ловит какого-нибудь беднягу, что он схватит его и потащит в каталажку, прочь от пронизанного солнцем весеннего дня. Как бы там ни было, слежка захватила меня, все с большим волнением наблюдал я за каждым его шагом и радовался каждой новой открытой мной черточке. Но вдруг радость открытия растаяла, как мороженое на солнце: в чем-то мой диагноз был неправилен, что-то в нем было не то. Меня опять охватило беспокойство. Да сыщик ли это, не ошибаюсь ли я? Чем внимательнее я следил за этим странным фланером, тем сильней становились мои сомнения: ведь эта его нарочитая

бледность, пожалуй, не так уж нарочита, пожалуй, есть в ней что-то слишком подлинное, слишком правдивое для простой полицейской ловушки. Первое, что вызвало мое подозрение, — это воротничок сорочки. Нет, такой заношенной тряпки не вытащишь из мусорного ящика и не наденешь по доброй воле себе на шею; такую тряпку носят только вконец опустившиеся люди. Затем — второе несоответствие — башмаки, если вообще можно назвать такие жалкие, совсем развалившиеся обувки башмаками. Правый башмак вместо черного шнурка был завязан простой веревочкой, а на левом отстала подошва, и при каждом шаге он разевал рот, как лягушка. Нет, таких башмаков нарочно не придумаешь и не наденешь ради маскарада. Совершенно ясно, и сомнения быть не может: это растрепанное, шныряющее взад и вперед воронье пугало не полицейский агент, мой диагноз был ошибочен. Но если это не полицейский, то кто же тогда? Чего ради он толчется здесь, чего ради бросает исподтишка быстрые, высматривающие, выскивающие взгляды? Я злился, что не могу разгадать этого человека, мне хотелось схватить его за плечо: что тебе надо? Чего ты здесь трешься?

И вдруг меня как огнем обожгло, я вздрогнул: уверенность, словно пуля, вонзилась мне в сердце, теперь я знал все, окончательно и бесповоротно. Нет, это не сыщик — и как только мог он так меня провести? — это, если можно так выразиться, антипод полицейского, это карманный воришка, настоящий и неподдельный, обученный своему ремеслу квалифицированный профессионал, подлинный карманник, нахально охотящийся здесь, на бульваре, за бумажниками, часами, за дамскими сумочками и прочей добычей. Первое, почему я догадался о его профессии, — это то, что он всегда лез в самую гущу. Теперь я понял, что он умышленно изображал ротозея, умышленно на всех натякался, путался под ногами. Картина становилась все яснее, все понятнее. То, что он выбрал именно это место — перед кафе и недалеко от угла, — тоже имело свой резон. Некий изобретательный владелец магазина придумал особый аттракцион для своей витрины. Товар у него в лавке

был не очень ходкий и не привлекал покупателей: кокосовые орехи, восточные сладости и леденцы в пестрых бумажках. Но лавочнику пришла блестящая мысль — мало того, что он украсил витрину искусственными пальмами и тропическими видами, он еще пустил в этот роскошный южный пейзаж — надо прямо сказать: выдумка была гениальная! — трех живых обезьянок; они проделывали за стеклом преуморительные антраша, скалили зубы, искали друг у друга блох, корчили гримасы, кривлялись и, как и полагается обезьянам, вели себя бесцеремонно и непристойно. Умный торговец рассчитал верно: витрина была облеплена любопытными, особенно веселились женщины, если судить по их восторженным крикам и возгласам. И вот каждый раз, как у магазина собиралась густая толпа зевак, мой приятель оказывался тут как тут. Осторожно, с подчеркнутой деликатностью проталкивался он в самую толчею. Даже при моих скудных сведениях о до сих пор еще мало изученном и, насколько мне известно, недостаточно хорошо описанном искусстве карманников я знал, что уличному жулику для удачной операции теснота так же необходима, как сельдям для нереста, ибо в толчее, в давке трудно почувствовать прикосновение воровской руки, нащупывающей бумажник или часы в твоём кармане. Но, кроме того, — это я понял тогда впервые — чтобы действовать наверняка, надо чем-то отвлечь внимание, на какое-то мгновение усыпить бессознательную бдительность, с которой каждый охраняет свое имущество. В данном случае таким превосходным отвлекающим средством служили три обезьянки с их на самом деле уморительно-забавными ужимками. Собственно говоря, эти гримасничающие, прыгающие мартышки были деятельными сообщниками и пособниками моего нового приятеля — карманного вора.

Мое открытие (да простится мне это) просто окрылило меня. Ведь еще никогда не видел я карманника. Нет, не хочу грешить против истины — один раз видел, еще студентом, когда учился в Лондоне; чтобы усовершенствоваться в английском языке, я часто ходил тогда в суд слушать английскую

речь и однажды пришел в тот момент, когда два полисмена ввели рыжего прыщавого парня. На столе перед судьей лежал кошелек — *coopus delicti*, несколько свидетелей под присягой дали показания, затем судья пробурчал какую-то английскую невнятицу, и рыжий парень исчез, если я верно понял, на шесть месяцев. Это был первый виденный мной уличный жулик, но — и в этом вся разница — мне абсолютно не было ясно, что он действительно уличный жулик. Ведь его виновность устанавливалась свидетельскими показаниями, я присутствовал только при юридической реконструкции преступления, не при самом преступлении. Я видел только обвиняемого, осужденного, но не вора. Ведь вор действительно вор только в тот момент, когда ворует, а не два месяца спустя, когда его судят за его преступление, точно так же, как поэт по существу поэт только в тот момент, когда творит, а не два года спустя, когда выступает перед микрофоном со своими стихами; человек — автор своего действия только в момент его совершения. И вот теперь мне представился такой редчайший случай: я мог наблюдать карманного вора в самых характерный для него момент, в самой подлинной внутренней правде его существа, в тот краткий миг, который так же трудно подсмотреть, как зачатие или рождение. Даже самая мысль о такой возможности волновала меня.

Конечно, я твердо решил не прозевать такой замечательный случай, не упустить ни одной мелочи, проследить и подготовку, и самый акт воровства. Я сейчас же расстался со своим креслом в кафе — здесь мое поле зрения было слишком ограничено. Теперь мне нужна была позиция с широким кругозором, так сказать передвижения, откуда я мог бы беспрепятственно за ним подсматривать, и, перепробовав несколько мест, я в конце концов остановил свой выбор на столбе, со всех сторон обклеенном пестрыми афишами парижских театров. Там я мог стоять, не обращая на себя внимания, словно поглощенный чтением афиш, и наблюдать оттуда за каждым дви-

---

\*Вещественное доказательство (*лат.*).

жением карманника. И вот я следил с самому мне теперь непонятым упорством за тем, как этот субъект занимался своим трудным и опасным ремеслом, и не припомню, чтобы когда-либо в театре или в кино я следил с таким же интересом за игрой актеров. Ибо драматическое мгновение в жизни захватывает гораздо сильнее, чем драматическое мгновение в любом искусстве. *Vive la realite!* .

И этот час на парижском бульваре — с одиннадцати до двенадцати дня — действительно промелькнул для меня как одно мгновение, хотя он был насыщен (или, вернее, именно потому, что был насыщен) неослабевающим напряжением, бесчисленными волнующими колебаниями и мелкими случайностями; я мог бы без конца рассказывать об этом часе — так был он наэлектризован энергией, так возбуждал своей опасной игрой. До этого дня я даже не подозревал, что воровство на улице среди бела дня — необыкновенно трудное ремесло, которому почти невозможно обучить — нет, не ремесло, а страшное и требующее огромного напряжения искусство. До тех пор слово «карманник» вызывало у меня довольно неопределенное представление о ловкости рук и большой дерзости, я действительно считал, что для карманника, так же как для жонглера или фокусника, достаточно набить себе руку. Диккенс изобразил в «Оливере Твисте» профессионального вора, обучающего подростков искусству незаметно вытащить платок из кармана сюртука. К сюртуку привешен колокольчик, и если колокольчик зазвенит, значит, новичок не сумел вытащить платок, значит, он работает не чисто. Но Диккенс, теперь я это понял, обратил внимание только на техническую сторону дела, только на сноровку пальцев; вероятно, он никогда не наблюдал на живом объекте кражу платка — вероятно, у него не было случая заметить (вот так, как сейчас посчастливилось мне), что карманнику, работающему среди бела дня, мало проворства рук, он должен быть всегда начеку, всегда владеть собой, натренировать свою психику: сохранять спо-

---

\* Да здравствует действительность! (*франц.*).



койствие и в то же время обладать молниеносной реакцией, а главное, он должен быть невероятно, просто до безумия смелым. Ведь карманный вор (это стало мне ясно уже после шестидесятиминутного наблюдения) должен действовать так же быстро и решительно, как хирург, который оперирует на сердце, — промедление на секунду может быть смертельно; но ведь операцию делают под хлороформом, пациент лежит на столе, он не может двигаться, он беззащитен, здесь же быстрая и легкая рука касается тела, ощущения которого не притуплены искусственно, а у людей обычно особенно чувствительно как раз то место, где у них кошелек. В то время как карманник уже начинает орудовать, в то время как его рука с молниеносной быстротой делает свое дело, в ту напряженную, волнуемую минуту, когда он уже залез в чужой карман, он должен, сверх всего прочего, еще вполне владеть всеми мускулами и нервами своего лица, он должен прикидываться равнодушным, даже скучающим. Ему нельзя выдать свое волнение, он не грабитель и не убийца, которым не надо, вонзая нож в жертву, гасить злой огонь своих глаз; карманник, толкнув свою жертву, должен учтиво пробормотать самым обычным голосом: «Pardon, monsieur» — и посмотреть ясным и приветливым взглядом. Но это не все: мало быть хитрым, настороженным и ловким в самый момент кражи, — еще до того надо проявить много проницательности и знания людей, с точки зрения психолога и физиолога решить, пригодна ли для твоих целей намеченная жертва. Из всей толпы надо отобрать рассеянных, доверчивых людей, а среди них опять же только тех, у кого не застегнуто на все пуговицы пальто, кто идет не слишком быстро, а значит, к кому можно подобраться, не обратив на себя внимания; на сто, на пятьсот прохожих один или два, вряд ли больше, попадают в поле его обстрела, — за тот час я это проверил. Разумный жулик очень осторожно выбирает объекты для своей работы, да и то еще он нередко терпит неудачу из-за разных случайностей и большей частью

---

\*Извините, сударь (франц.).

в последнюю минуту. Для ремесла карманника (это я могу засвидетельствовать) нужен огромный житейский опыт, бесконечная осторожность и выдержка; ведь жулик во время работы не только напрягает все свои внешние чувства, чтобы наметить и застать врасплох свою жертву, — одновременно он каким-то сверхнапряжением своих и без того уже перенапряженных чувств должен ощутить, не следят ли за ним, не подсматривает ли из-за угла полицейский, или ищейка, или один из тех назойливых любопытных, которых всегда так много на улице. Ничего нельзя пропустить. Зазеваешься — и уже пропал: не заметил, что твоя рука отражается в зеркальной витрине, что из магазина или окна кто-то за тобой наблюдает. Едва ли разумна такая огромная затрата энергии, если принять во внимание, как легко провалиться; малейшая неудача или промах — и прощайте на три-четыре года парижские бульвары; дрожь в пальцах или слишком поспешное нервное движение руки — и прощай свобода. Воровство среди бела дня на людном бульваре свидетельствует о высокой отваге и мужестве, теперь мне это ясно, и с того памятного дня я всегда воспринимаю как известную несправедливость, когда газеты отводят этой категории жуликов, считая ее, вероятно, самой неважной, всего несколько строчек. Ведь из всех профессий, дозволенных и недозволенных, в нашем мире это одна из самых трудных и опасных; я бы сказал, что некоторые ее высшие достижения позволяют ей считать себя искусством. Я вправе так говорить, я могу это засвидетельствовать, ибо в тот памятный апрельский день я все это видел и пережил.

Да, пережил! Я не преувеличиваю, потому что только вначале, только в первые минуты я мог чисто по-деловому, спокойно наблюдать за работой этого профессионала; но когда следишь за чем-нибудь с интересом, неизбежно отдаешься чувству, а чувство, в свою очередь, объединяет; итак, сам того не сознавая и не желая, я уже отождествлял себя с этим ворюшкой, в какой-то мере я уже влез в его кожу, вселился в его руки, из стороннего зрителя стал в душе его сообщником. Процесс переключения начался с того, что после пятнадцати-

минутной слежки я, к собственному удивлению, уже рассматривал всех прохожих с одной точки зрения: какой интерес они представляют для жулика. Застегнуто или расстегнуто у них пальто, рассеянный или внимательный взгляд, можно ли предположить, что бумажник туго набит, короче говоря, стоит ли моему новому приятелю тратить на них силы. Вскоре я почувствовал, что уже давно не нейтрален в предстоящем бою, что я всем сердцем желаю вору удачи, больше того, я с трудом удерживался от соблазна помочь ему в его работе. У картежного болельщика так и чешутся руки подтолкнуть игрока, который пошел не с той карты; вот и меня так и тянуло мигнуть моему приятелю, когда он пропускал удобный случай: вон того не упусти! Вон того, толстого, с большим букетом под мышкой! В другой раз, когда мой приятель опять мелькнул в толпе, а из-за угла появился полицейский, мне просто показалось, что я обязан его предостеречь; у меня так задрожали колени, словно схватят сейчас меня, я уже ощущал тяжелую ладонь полицейского на его, на моем плече. Но — я вздохнул с облегчением — мой замухрышка уже выбрался из толпы и с неподражаемо скромным и невинным видом прошмыгнул мимо блюстителя порядка. Я следил за ним с замиранием сердца. Игра шла захватывающая. Но мне было этого мало, ибо чем больше я вживался в этого человека, чем лучше, после того как стал свидетелем уже не меньше двадцати неудачных попыток, начинал постигать его работу, тем с большим нетерпением я ждал, когда же, наконец, он бросит примеряться и приглядываться и начнет действовать. Меня попросту злили его вечные колебания и нелепая медлительность. Черт возьми, долго ты еще будешь выжидать, трус? Ну, смелей! Вон того, вон того облюбуй! Да ну, начинай!

К счастью, мой приятель не знал и не подозревал о моем непрошеном сочувствии, и мое нетерпение нисколько на него не влияло. Между подлинным, испытанным мастером и новичком, дилетантом, любителем есть разница: мастер из долгого опыта знает, что каждой настоящей удаче неизбежно предшествуют многие поражения, он привык не спешить и

терпеливо ждать последней, решающей возможности. Совершенно так же как писатель равнодушно проходит мимо тысячи как будто заманчивых и богатых сюжетов (только дилетант необдуманно хватается все, что ни попадет под руку) и копит силы для последней ставки, так и этот жалкий субъект прошел мимо сотни возможностей, а мне, дилетанту, не профессионалу, казалось, что тут успех обеспечен. Он проверял, и высматривал, и нащупывал, он подбирался к прохожим, и, конечно, уже сто раз его рука скользила по чужим сумочкам и пальто. Но он все еще не решался рискнуть, так же нарочито незаметно, по-прежнему терпеливо шагал он к витрине и обратно и при этом то и дело украдкой поглядывал кругом наметанным глазом, учитывая все шансы и взвешивая все опасности, которых я, новичок, даже не замечал. В этой спокойной, невероятной выдержке было что-то, что при всем моем нетерпении восхищало меня и внушало уверенность: в конце концов он добьется удачи, ибо при его упорной энергии без добычи он, конечно, не отступит. И я тоже твердо решил не уходить, пока не увижу его победы, хотя бы мне пришлось ждать до полуночи.

Наступил полдень, час прилива, когда вдруг из всех улочек и переулочков, со всех лестниц и дворов в широкое русло бульваров вливаются шумливые и быстрые людские ручьи. Из мастерских, с фабрик, из контор, школ, канцелярий вырываются на волю рабочие, портнихи, приказчики, запертые в бесчисленных мастерских на вторых, третьих, четвертых этажах. Словно темные клубы пара, растекается по улицам толпа — рабочие в белых блузах, в халатах, щебечущие мидинетки с приколотыми к платью букетиками фиалок, по две, по три вместе, мелкие чиновники в залоснившихся сюртуках с обязательным портфелем под мышкой, носильщики, солдаты в серо-голубых мундирах, бесчисленные люди, профессию которых не всегда определишь, незаметный, невидимый трудовой люд столицы. Они засиделись в душных комнатах, сейчас им хочется размять ноги, двигаться, шуметь, вдыхать свежий воздух, выдыхать в этот воздух сигарный дым, толкаться; в течение часа веселая толпа оживляет улицы. В течение од-

ного только часа — а там опять навверх, за закрытые окна, работать на токарном станке, шить, стучать на пишущих машинках, складывать колонки цифр, печатать, портняжничать, тачать сапоги. Тело всеми своими мускулами, всеми нервами знает это — вот почему так весело, так сильно напрягается каждый мускул, каждый нерв, и душа тоже знает — вот почему так радостно, так полно наслаждается она отпущенным часом; с жадностью ищет и ловит весь этот трудовой люд свет и веселье, радуется любому предлогу, чтоб посмеяться и пошутить мимоходом. Чего же удивляться, что витрина с обезьянками особенно привлекала любителей даровых развлечений. Народ толпился перед многообещающим окном, мидинетки впереди всех, — в воздухе стояло громкое чирканье, словно перессорились птицы в клетке, — а сзади, отпуская крепкие шутки, давая волю рукам, напирали рабочие и уличные зеваки, и чем гуще и плотнее становилась толпа любопытных, сбившаяся в крепкий ком, тем чаще мелькала, проворно и быстро всплывая и опять ныряя в толпу, моя золотая рыбка в канареечно-желтом пальтишке. Я уже больше не мог просто следить за ним со своего наблюдательного поста, я должен был отчетливо видеть его пальцы, чтобы уловить, так сказать, самую сущность профессионального приема. Однако это оказалось совсем не легко: у этой натренированной борзой выработалась особая сноровка — он вдруг делался гладким, как угорь, и проскальзывал всюду, где хоть на волосок распалась толпа. Вот и сейчас: только что он спокойно стоял тут, рядом, и вдруг, как по волшебству, исчез и мгновенно очутился впереди, у самой витрины. Он, видимо, сразу протиснулся сквозь три-четыре ряда.

Я, разумеется, стал продираться за ним, так как боялся, что, раньше чем я доберусь до витрины, он со свойственным ему умением куда-то нырнет и опять исчезнет. Но я ошибся, он притаился и ждал, совсем спокойно, странно спокойно. Внимание! Это неспроста, тут же подумал я и стал присматриваться к его соседям. Рядом с ним стояла очень толстая женщина, по всей видимости, бедная. Правой рукой она заботливо

держала за ручку бледненькую девочку лет одиннадцати, а в левой — открытую дерматиновую хозяйственную сумку, из которой беззаботно выглядывали два длинных батона; в сумке, наверно, лежал обед для мужа. Выходки обезьянок приводили в неопикуемый восторг эту женщину, явно из простонародья, — она была без шляпки, в ярком платке, в дешевом клетчатом ситцевом платье, видимо сшитом своими руками, все ее грузное, рыхлое тело тряслось от смеха так сильно, что подпрыгивали батоны в сумке, она хохотала во все горло, всхлипывала, захлебывалась и потешала публику не меньше, чем обезьянки. Она наслаждалась редким зрелищем с наивной радостью примитивных натур, с трогательной благодарностью тех, кого не балует жизнь. Ах, только бедные могут быть так искренне благодарны, только они, ведь для них дороже всего даровое развлечение, как бы подаренное им Господом Богом. Добродушная толстуха то и дело наклонялась к девочке, спрашивала, хорошо ли ей видно, обращала ее внимание на выходки обезьянок. «Regarde donc, Marguerite», — все время повторяла она с южным акцентом бледненькой девочке, стеснявшейся громко смеяться при чужих людях. Эта женщина, эта мать была великолепна — истая дочь Геи, прародительницы всего сущего на земле, здоровая, цветущая дочь французского народа; хотелось ее расцеловать, расцеловать эту чудесную женщину за то, что она умеет так громко, весело, так беззаветно радоваться. Но вдруг мне стало как-то не по себе. Я заметил, что канареечно-желтый рукав все ближе подбирается к беспечно открытой хозяйственной сумке — только бедные бывают беспечны.

Ради Бога! Неужели ты хочешь вытащить из хозяйственной сумки тощий кошелек этой бесконечно добродушной и веселой женщины? Вдруг что-то во мне возмутилось. До того я наблюдал за жуликом со спортивным интересом, мысленно вселившись в него, в его тело, в его душу, я жил его чувствами, я надеялся и желал, чтобы такая огромная затрата сил, смело-

---

\* Смотри-ка, смотри, Маргарита (франц.).

сти и риска не пропала даром. Но теперь, когда я увидел не только покушение на воровство, но и того живого человека, которому предстояло пострадать от воровства, когда я увидел эту трогательно-простодушную, эту блаженно-беспечную женщину, которая, верно, за несколько су часами скребет полы и лестницы, — я почувствовал злобу. «Эй ты, катись отсюда! — хотелось мне крикнуть вору. — Поищи себе кого другого, оставь в покое эту бедную женщину!» И я протиснулся между ним и толстухой, чтобы уберечь хозяйственную сумку от угрожающей ей опасности. Но как раз в то короткое мгновение, когда я протискивался вперед, он обернулся и, задев меня, прошмыгнул мимо. «Pardon, monsieur», — пискнул слабый и очень кроткий голосок (я услышал его впервые), и желтое пальтишко уже выскользнуло из толпы. И сейчас же, сам не знаю почему, я почувствовал: кончено! Я опоздал! Только бы не упустить его теперь! Я бесцеремонно проложил себе дорогу сквозь толпу; какой-то господин выругался мне вслед — я больно наступил ему на ногу. Слава Богу, я успел как раз вовремя; канареечно-желтое пальто свернуло с бульвара и уже мелькало в переулке. Скорей вдогонку, вдогонку за ним! Не отставать ни на шаг! Но это оказалось не так легко, потому что — я глазам своим не поверил — этот жалкий субъект, за которым я наблюдал в течение часа, вдруг преобразился. Куда девались неуверенная, как у пьяного, походка, нерешительное топтанье на месте? Теперь он решительно и быстро шел по тротуару характерной походкой служащего, пропустившего омнибус и боящегося опоздать в контору. Последние сомнения исчезли: такой походкой спешат как можно скорей и незаметней уйти подальше от места преступления; это воровская походка номер два, походка после совершения кражи. Нет, сомнений быть не могло: подлец вытащил кошелек из сумки у бедной толстухи.

В первый момент я так разъярился, что чуть не закричал: «Au voleur!»\*.

---

\* Держи вора! (франц.)

Но потом у меня не хватило духа. Ведь самого факта кражи я не видел, как же обвинять так поспешно? А потом — надо обладать известным мужеством, чтобы схватить человека и взять на себя роль карающего Господа Бога. Обвинить человека и отдать его в руки правосудия — нет, на это у меня никогда не хватит мужества, ибо я отлично знаю, как неустойчивы все критерии в нашем сумбурном мире и какое это высокомерие — по одному недоказанному случаю заключать о виновности и решать, что добро и что зло. Но пока я, гонясь за ним по пятам, обдумывал, что мне делать, мне готовился новый сюрприз — не успели мы пройти и двух кварталов, как этот поразительный человек уже усвоил третью походку. Он внезапно замедлил шаг, он уже не спешил, не бежал рысью, он вдруг пошел совсем медленно, не торопясь, он спокойно прогуливался. Очевидно, он знал, что опасная зона пройдена, никто его не преследует, значит, сейчас никто уже не может его уличить. Я понял: после невероятного напряжения ему хотелось свободно вздохнуть, теперь он был в известном смысле карманником не у дел, рантье, стригущим купоны со своей профессии, одним из тех многочисленных парижан, которые, попыхивая сигаретой, медленно и неторопливо фланируют по улицам; с невинным видом брел этот тощий заморыш по Шоссе д'Антен праздным, флегматичным, ленивым шагом. Мне показалось, что сейчас он даже присматривается к встречным женщинам и девушкам с точки зрения их красоты или доступности.

Ну, куда же теперь, человек с вечными сюрпризами? Вот как? В скверик перед церковью Святой Троицы, обсаженный молодыми зелеными кустиками? Зачем? А, догадался! Тебе хочется минут пять отдохнуть, посидеть на скамейке? Оно и понятно. Все время на ногах, все время в движении — как тут не замучиться! Нет, оказывается, я ошибся, человек с непрерывными сюрпризами не сел на скамейку, он решительно направился — прошу меня извинить! — к предназначенному для интимных надобностей общественному домику и, войдя туда, тщательно запер за собой широкую дверь.



В первую минуту я просто расхохотался: в каком прозаическом месте нашло свое завершение столь высокое мастерство! Или со страху с ним приключилась медвежья болезнь? Однако я снова убедился, что проказница жизнь вечно находит самые забавные повороты, потому что она смелее всякого выдумщика-писателя. Она безбоязненно ставит рядом выдающееся и ничтожное и не без ехидства соединяет обыденное с исключительным. Пока я, сидя на скамейке, дожидался — что еще оставалось мне делать? — его возвращения из серого домика, мне стало ясно, что и в данном случае, замыкаясь в четырех стенах, чтобы сосчитать свою выручку, этот опытный и искушенный мастер своего дела действует совершенно логично; ведь профессиональный вор (раньше это не приходило мне в голову) должен заблаговременно подумать еще об одной трудности, которую мы, невежды, не учитываем: как без соглядатаев уничтожить улики. А в таком дреманном городе, смотрящим миллионами глаз, всего труднее найти четыре спасительные стены, за которыми можно чувствовать себя в полной безопасности; даже того, кто редко читает судебную хронику, всегда удивляет, как много свидетелей, вооруженных поразительной памятью, оказывается на месте любого, самого ничтожного происшествия. Попробуйте разорвать на улице письмо и бросить его в канаву. Можете быть уверены, что десятки глаз исподтишка следили за вами, и очень возможно, что пять минут спустя какой-нибудь досужий паренек от нечего делать постарается сложить кусочки. Проверьте где-нибудь в подъезде содержимое вашего бумажника, и завтра же, если будет заявлено о пропаже какого-то бумажника, найдется женщина, которая побежит в полицию и опишет вас до мельчайшей черточки не хуже Бальзака, а вы этой женщины даже и не заметили. Зайдите в гостиницу, и лакей, на которого вы не обратили никакого внимания, уже приметил ваши ботинки, костюм, шляпу, цвет ваших волос и форму ногтей. Из каждого окна, из каждой витрины, из-за каждой шторы, из-за каждого цветочного горшка следит за вами пара глаз, и если вы в блаженном неведении, гуляя один по улице, полагаете,

что никто за вами не подсматривает, вы ошибаетесь — всюду и везде найдутся непрощенные свидетели, вся наша жизнь оплетена густой, ежедневно обновляемой сетью любопытства. Да, ты знаток своего дела, тебе пришла превосходная мысль — за пять су ты купил на несколько минут четыре стены, сквозь которые ничего не видно. Никто не подсмотрит, как ты вытаскишь содержимое из прикарманенного кошелька, а вещественное доказательство выбросишь, и даже я, твой двойник и спутник, которого ты и насмешил и разочаровал, даже я не могу подсчитать, сколько ты выручил.

Так, по крайней мере, думал я, но опять вышло иначе. Не успел он еще своими паучьими пальцами повернуть ручку двери, а я уже знал, что его постигла неудача, словно я вместе с ним сосчитал деньги в портмоне: ничтожно жалкая пожива! По тому, как шел этот разочарованный, вконец вымотанный человек, как вяло передвигал ноги, как безучастно глядели из-под устало опущенных век его глаза, я сейчас же это понял. Ах ты, неудачник, напрасно ты потел все утро! В кошельке, что ты стащил, заведомо не было ничего стоящего (я мог бы тебе это наперед сказать), в лучшем случае две или три скомканные десятифранковые бумажки — немного, очень немного, если принять во внимание затраченный труд и огромный риск, — много только, к сожалению, для бедной поденщицы, которая, верно, уже в сотый раз с плачем рассказывает в Бельвиле сбежавшимся соседкам о своей беде, клянет паразитов-карманников и в отчаянии дрожащими руками предъявляет всем и каждому злополучную сумку. Но и вор, тоже нищий, был не менее огорчен (я заметил это с первого же взгляда): он вытянул пустой билет, и уже через несколько минут мое предположение подтвердилось. Это жалкое убожество, этот пришибленный человек, уставший и душою и телом, остановился перед обувной лавкой и с вожделением долго разглядывал самую дешевую обувь на выставке. Ему действительно были нужны башмаки, новые башмаки вместо тех дырявых обносков, что были у него на ногах, нужнее, чем сотням тысяч других парижан, которые гуляли сегодня по улицам в башма-

ках на крепких кожаных подошвах или на мягких резиновых, — как раз для его невеселого ремесла и нужна была ему целая обувь. Но его голодный и в то же время безнадежный взгляд явно говорил: на пару башмаков, как вон те на витрине, начищенные до блеска, с проставленной ценой — 54 франка, — не хватит украденных денег. Устало сторбившись, отошел он от окна и побрел дальше.

Куда же теперь? Опять на свою опасную охоту? Опять рисковать свободой ради такой жалкой, скудной поживы? Не стоит, отдохни хоть немного, бедняга. И действительно, точно мое желание передалось ему, он свернул в переулок и остановился наконец у дешевой закусочной. Я, разумеется, последовал за ним, ибо мне хотелось все узнать о человеке, жизнью которого я уже два часа жил, жил в неослабном напряжении, всеми фибрами моего существа. Я поторопился купить газету, из предосторожности, чтобы спрятаться за ней, а затем, надвинув на лоб шляпу, вошел в закусочную и сел за столик позади него. Но все мои меры предосторожности оказались излишними — он, бедный, так измучился, что ничем уже не интересовался. Пустым, усталым взглядом тупо уставился он на накрытый столик, и только когда официант принес хлеб, его худые, костлявые руки ожили и с жадностью схватили кусок. Я был потрясен торопливостью, с которой он начал жевать, и понял все: бедняга был голоден, просто-напросто по-настоящему голоден — он не ел с самого утра, а то и со вчерашнего дня. Мне стало жаль его. Когда же официант принес заказанное питье — бутылку молока, — мне стало жаль его до слез. Вор — и вдруг пьет молоко! Ведь всегда какие-то отдельные черточки, словно вспыхнувшая спичка, вдруг освещают все тайники души, и в то же мгновение, когда я увидел, что он, карманник, пьет самый невинный, младенческий напиток, обыкновенное белое молоко, он сразу перестал быть для меня вором. Он превратился в одного из тех бедных, гонимых, больных, несчастных, которыми так богат наш нескладно скроенный мир, и я вдруг почувствовал, что меня связывает с ним не только любопытство, а нечто более глубокое.

При всех проявлениях общечеловеческой, житейской потребности в одежде, тепле, сне, отдыхе, при всех нуждах немощной плоти рушится то, что разъединяет людей, стираются искусственные грани, разделяющие человечество на праведных и неправедных, достойных и недостойных, остается только извечно страждущий зверь, земная тварь, томимая голодом, жаждой, усталостью, так же, как ты, как и все на свете.

Я следил за ним как замороженный, а он осторожными, маленькими и все же жадными глотками пил густое молоко, а потом подобрал еще и все крошки; и в то же время мне было стыдно, что я так смотрю, стыдно, что вот уже два часа из праздного любопытства, как за скаковой лошадью, слежу за ним, за этим несчастным, загнанным человеком, идущим своим нехорошим путем, и даже не пытаюсь удержать его или помочь. Меня охватило непреодолимое желание подойти, заговорить с ним, что-то ему предложить. Но как? Что я ему скажу? Я подбирал, я мучительно искал нужные слова, какой-нибудь предлог и не находил. Ничего не поделаешь, такие уж мы! Деликатны до малодушия там, где надо действовать решительно, смелы в своих намерениях и все же боимся прорвать тонкий слой воздуха, отделяющий от нас человека, даже если знаем, что он в беде. Нет ничего труднее, всякий это знает, чем помочь человеку, если он не просит о помощи, ибо, пока он не просит, он еще сохраняет последнее, что у него есть: гордость, которую страшно оскорбить своей навязчивостью. Только нищие облегчают нам задачу, и мы должны быть им благодарны за то, что они не закрывают доступ к себе. Этот же человек принадлежал к тем упрямам, которые предпочитают рисковать своей свободой, но не просить, красть, но не протягивать руку. А вдруг его смертельно испугает, если я под тем или другим предлогом, возможно, недостаточно ловко заговорю с ним? А потом, он сидел такой бесконечно усталый, что перевозить его было бы просто жестоко.

Он придвинул стул вплотную к стене и, всем телом прислонясь к спинке, а головой опершись на стену, на мгновение

сомкнул свинцовые веки. Я понимал, я чувствовал: ему бы сейчас поспать хоть десять, хоть пять минут. Я просто физически ощущал его усталость, его изнеможение. Разве бледность его лица — не ответ выбеленных стен тюремной камеры? А дыра на рукаве, светящаяся при каждом движении, разве не говорит о том, что ему незнакома нежная женская забота? Я попытался представить себе его жизнь: где-то на пятом этаже, в нетопленной мансарде, грязная железная койка, таз с отбитым краем, все имущество — небольшой сундучок; но и тут, в этой тесной камерке, тоже нет покоя, он вечно настороже — не заскрипят ли ступени под тяжелыми шагами полицейского. Все увидел я в те две-три минуты, что он сидел, устало прислонив тщедушное, костлявое тело и чуть седеющую голову к стене. Но официант уже громко стучал грязными ножами и вилками, убирая со столиков: он не любил таких поздних, засиживающихся посетителей. Я заплатил первый и быстро вышел, чтобы не привлекать его внимания; когда несколько минут спустя он тоже очутился на улице, я последовал за ним; я решил ни в коем случае не бросать этого жалкого человека на произвол судьбы.

Теперь меня удерживало около него уже не праздное и щекочущее нервы любопытство, как утром, не желание постигнуть незнакомую профессию, — теперь я чувствовал, как у меня сжимается горло от смутного, гнетущего страха. Но когда я заметил, что он опять направляется к бульвару, я просто задохнулся от страха. Господи Боже мой, да неужели же ты опять туда, к витрине с обезьянками? Не делай глупостей! Подумай хорошенько, та женщина, конечно, уже давно заявила в полицию, тебя, верно, уже поджидают и сразу схватят за рукав твоего канареечного пальтишка. Да и вообще на сегодня хватит! Не делай новых попыток, ты не в форме. Ты обессилел, скис, ты устал, а усталость в искусстве никогда не приводит к добру. Пойди лучше отдохни, выспись! Сегодня не надо, пожалуйста, не надо! Я не мог объяснить, почему вселился в меня этот страх, почему я до галлюцинации ясно видел, как его хватают при первой же попытке что-нибудь

сташить. Мой страх возрастал по мере приближения к бульвару; уже был слышен несмолкаемый рев его волн. Нет, ради Бога, не надо к той витрине, не будь дураком! Не смей! Я уже догнал его, уже протянул руку, чтоб схватить и оттащить прочь. Но он, словно опять поняв мой мысленный приказ, неожиданно свернул в сторону. За один квартал до бульвара он пересек улицу Друо и вдруг уверенно, будто к себе домой, направился к зданию, которое я сейчас же узнал: это был Отель Друо, известный парижский аукционный зал.

И опять я был озадачен, уже который раз, этим поразительным человеком. Ведь пока я старался разгадать его жизнь, какая-то внутренняя сила словно толкала его навстречу моим тайным желаниям. Среди сотен тысяч парижских домов я наметил сегодня утром как раз этот, потому что всегда проводил там чрезвычайно волнующие, поучительные и в то же время занимательные часы. Там больше жизни, чем в музеях, а сокровищ бывает в некоторые дни не меньше, там все постоянно меняется, и я люблю этот с виду неприглядный Отель Друо, вечно иной, вечно тот же, люблю как прекраснейший экспонат, потому что в нем представлен в миниатюре весь вещный мир Парижа. То, что обычно в замкнутой стеной квартире сливается в органическое целое, здесь раздроблено и разложено на множество отдельных вещей, словно разрубленная на куски огромная туша в мясной лавке. Предметы друг другу совершенно чуждые, неподходящие, предметы священные и обиходные объединены здесь самым обыденным: все, что тут выставлено, подлежит превращению в деньги. Кровать и распятие, шляпа и ковер, часы и умывальник, мраморные статуи Гудона и томпаковые столовые приборы, персидские миниатюры и посеребренные портсигары, подержанные велосипеды бок о бок с первыми изданиями Поля Валери, граммофоны бок о бок с готическими мадоннами, картины Ван Дейка на одной стене с плохими олеографиями, бетховенские сонаты рядом с поломанными печками, насущно необходимое и явно излишнее, откровенная халтура и ценнейшие произведения

искусства, большое и малое, подлинное и поддельное, старое и новое, — все, что может быть создано руками и гением человека, высокое и пошлое, все вливается в реторту аукциона, которая с равнодушной жестокостью втягивает, а затем изрыгает все ценности этого огромного города. Здесь, на этой перевалочной станции, где все ценности безжалостно переплавляются в монету, превращаются в цифры, здесь, на этом рынке человеческой суетности и человеческой нужды, в этом фантастическом хаосе ярче, чем где-либо, ощущается все сумбурное многообразие нашего материального мира.

Все могут продать здесь неимущие, все могут купить имущие. Но здесь не только приобретаются вещи, здесь постигаешь и познаешь. Прислушиваясь и приглядываясь, любознательный человек может получить сведения из всех областей, научиться лучше понимать историю искусств, археологию, книговедение, филателию и нумизматику, а также, и прежде всего, психологию человека. Ибо столь же многообразны, как вещи, которые из этих залов переходят в новые руки и лишь недолго отдыхают здесь от подневольного существования, столь же многообразны здесь люди, обступившие стол аукциониста, любопытствующие, одержимые лихорадкой стяжательства, с беспокойными глазами, горящими жаждой наживы или таинственной страстью к коллекционированию. Рядом с солидными антикварами в добротных пальто и лоснящихся котелках сидят замызганные продавцы случайных вещей, старьевщики с Левого берега, пришедшие сюда за дешевым товаром для своих лавчонок, и тут же галдят и стрекочут мелкие спекулянты и посредники, комиссионеры, наддатчики, «маклаки» — неизбежные гиены, без которых не обходится ни одно поле битвы; они не упустят проходящую дешево вещь, вовремя перемигнутся и вздуют цену на продающийся предмет, если заметят, что его облюбовал какой-нибудь коллекционер. Тут и очкастые библиотекари, сами высохшие, как пергамент, медленно блуждают в толпе, словно сонные тапиры, а вот впорхнули райские птицы в ярком оперении — элегантные

дамы в жемчугах и брильянтах, заранее пославшие своих лакеев занять им места впереди, у самого стола аукциониста. В стороне от других спокойно и сдержанно стоят, неподвижные, как журавли, подлинные знатоки, так сказать, масонский орден коллекционеров. А позади всех этих людей, которых привели сюда либо надежды на выгодное дельце, либо любопытство, либо настоящая страсть к искусству, всегда колышется случайная толпа зевак, привлеченных желанием погреться у дарового огня, воспламенить свое воображение огромными цифрами, взлетающими ярким фонтаном вверх. Но у всякого, кто бы сюда ни пришел, есть своя цель — коллекционирование, азарт, заработок, стяжательство или просто желание погреться, воспламениться чужим пылом, и весь этот людской хаос можно систематизировать, разложить на бесконечное количество типов. Одну только категорию людей я никогда еще здесь не встречал и не предполагал, что могу встретить, — сословие карманников. Но когда я увидел, с каким безошибочным инстинктом шагнул сюда мой приятель, я сейчас же понял, что аукционный зал — идеальное, пожалуй, даже самое идеальное место в Париже, где он может применить свое высокое мастерство. Ведь здесь, как по заказу, собраны все нужные компоненты: ужасающая, невыносимая давка, необходимое для удачи ослабление внимания, отвлеченного любопытством, нетерпением, ажиотажем. И, в-третьих, в наши дни, пожалуй, только в аукционном зале и на скачках за все платят чистоганом, поэтому можно предполагать, что у каждого из присутствующих карман распух от туго набитого бумажника. Где же, как не здесь, можно рассчитывать на успех при известной ловкости рук, и утром, теперь я это понял, мой приятель, вероятно, просто репетировал, так сказать, разминал пальцы. Только здесь его талант проявится во всем блеске.

И все же, когда он медленно поднимался по лестнице в бельэтаж, мне хотелось схватить его за рукав и потянуть назад. Господи Боже мой, да неужели же ты не видишь вон того



объявления на трех языках: «Beware of pickpockets», «Attention aux pickpockets», «Achtung vor Taschendieben!»\*.

Не видишь? Ну и дурак! О таких, как ты, здесь отлично осведомлены, уж, конечно, в толпе шныряют десятки агентов. Еще раз повторяю: ты сегодня не в форме, поверь мне! Но этот выдавший виды человек равнодушно скользнул взглядом по объявлению, вероятно, хорошо ему знакомому, и спокойно продолжал подниматься по лестнице — действие, безусловно, разумное, которое само по себе можно было только одобрить, ибо в нижних залах продаются предметы домашнего обихода, простая мебель, ящики, шкафы, там толкается и суетится толпа старьевщиков, от которых мало проку и мало радости; они еще чего доброго носят свой кошель, по старой крестьянской привычке, на животе, крепко обвязав его вокруг талии, и навряд ли целесообразно и выгодно подбираться к ним. Зато в залах бельэтажа, где идут с молотка предметы роскоши — картины, книги, автографы, драгоценности, — там, конечно, и карманы набиты ту же и покупатели не так предусмотрительны.

Я с трудом поспевал за своим приятелем, потому что он прямо от главного входа начал соваться то в один, то в другой зал, взвешивая, где больше шансов на успех; и всюду он изучал объявления на стенах, терпеливо и не спеша, как гурман, смакующий изысканное меню. Наконец он остановился на зале № 7, где распродавалась знаменитая коллекция китайского и японского фарфора графини Ив де Ж... По всему было видно, что проходящий здесь дорогой товар вызвал особый ажиотаж. Люди стояли плечом к плечу, за шляпами и пальто не было видно стола аукциониста. Сплошная стена в двадцать — тридцать рядов закрывала длинный стол, и с нашего места у входа можно было поймать только забавные движения аукциониста, который, не выпуская из рук белого молотка, как заправский капельмейстер, дирижировал со своего возвы-

---

\* Остерегайтесь воров! (англ., франц., нем.)

шения торгами и после томительно длинных пауз неизменно переходил на *prestissimo* .

Как и прочие мелкие служащие, он, наверно, проживал на окраине, в Менильмонтане или еще в другом каком-нибудь пригороде, — двухкомнатная квартирка, газовая плита, граммофон как предел мечтаний и горшок пеларгонии на окне — а здесь, тщательно причесанный и напомаженный, облаченный в модную визитку, он явно наслаждался тем, что ежедневно в течение трех часов в присутствии изысканной публики ударами своего молотка превращает в деньги самые большие парижские ценности. С заучено любезной улыбкой, ловко, словно жонглер разноцветные мячики, подхватывал он на лету предлагаемые отовсюду цены — слева, справа, спереди у стола, в конце зала, у дверей — «шестьсот, шестьсот пять, шестьсот десять» — и возвращал обратно в зал те же цифры каждый раз с предложенной надбавкой. А когда более или менее долго никто не набавлял цену и каскад цифр останавливался, он изображал из себя заигрывающую девицу и с манящей улыбкой взывал: «Никто больше справа? Никто больше слева?», или же грозил, драматически сдвинув брови и подняв в правой руке молоток слоновой кости: «Окончательно!», или ласково уговаривал: «Это же совсем недорого, господа!» В то же время он раскланивался с завсегдатаями, хитро подмигивал в знак поощрения некоторым покупателям, и его тенор при объявлении о продаже нового предмета — «тридцать третий номер», — звучащий сухо, по-деловому, становился все театральнее, по мере того как возрастала цена. Он явно наслаждался тем, что в течение трех часов человек триста, а то и четыреста, затаив дыхание, впиваются глазами в его губы или в обладающий магической силой молоток у него в руке. Хотя он был только рупором, передающим случайные предложения покупателей, он обольщался сознанием собственной значительности, его пьянила иллюзия, что ему принадлежит решающее слово; как павлин распускает хвост, так и он распускал

---

\* Самая большая скорость (*итал.*).

свой словесный веер, но это нисколько не помешало мне подумать, что его наигранные манеры, в сущности, оказывают моему приятелю ту же услугу, что и утренние обезьянки.

Пока что мой добрый приятель еще не мог воспользоваться помощью своего невольного сообщника, потому что мы стояли в последнем ряду и всякая попытка вклиниться в эту плотную, теплую и вязкую людскую массу и пробиться к столу аукциониста представлялась мне совершенно безнадежной. Но я опять убедился, что я жалкий дилетант в этой увлекательной профессии. Моему товарищу, опытному мастеру и практику своего дела, давно было известно, что в ту минуту, когда молоток стукнет в третий раз — «Семь тысяч двести шестьдесят франков!» — только что ликующе возгласил тенор, — что в это короткое мгновение разрядки стена расступится. Задранные головы опустились, торговцы вносили цены в каталоги, кое-кто отошел в сторону, на какое-то мгновение в густой толпе появились просветы. И этим мгновением он воспользовался с гениальной быстротой и, нагнув голову, как торпеда, проскочил вперед, сразу пробившись через пять-шесть рядов. И я вдруг очутился один, а ведь я поклялся ни на минуту не оставлять этого неосторожного человека. Теперь я, правда, тоже поднажал, но аукцион уже продолжался, стена уже снова сомкнулась, и я застрял в самой гуще, как телега в болоте. Меня сжимали противные, жаркие, липкие тиски сзади, спереди, слева, справа, куда ни помотришь — чужие тела, чужое платье, кашляющие в шею соседи. К тому же было просто нечем дышать, пахло пылью, затхлым, кислым, а главное, потом, как всюду, где дело касается денег. Совсем запарившись, я попробовал расстегнуть пиджак и достать носовой платок. Напрасные старания! Я был плотно зажат. Но все же я не сдавался, медленно и упорно, ряд за рядом продвигаясь вперед. Увы, я опоздал! Канареечное пальтишко исчезло. Оно скрылось, застряло где-то в толпе, и никто, кроме меня, не подозревал о его опасном соседстве, а у меня дрожал каждый нерв от какого-то мистического страха, что сегодня с ним неминуемо случится что-то ужасное. Каждую минуту я ждал, что кто-нибудь

крикнет: «Держи вора!», что начнется сутолока, шум и беднягу выволокут из толпы за рукава его желтого пальтишка — я не могу объяснить, почему я проникся страшной уверенностью, что сегодня, именно сегодня его постигнет неудача.

Но ничего не случилось. Ни криков, ни переполоха; наоборот, шелест, шарканье, шум внезапно как оборвались. Сразу стало удивительно тихо, словно все стоящие здесь двести — триста человек, будто по уговору, затаили дыхание, все с удвоенным напряжением впились глазами в аукциониста, отступившего на шаг под лампу, при свете которой его лоб блестел особенно торжественно. Дело в том, что на сцену выступил главный аттракцион — огромная ваза, личный подарок китайского императора французскому королю, присланная триста лет назад и, как и многие другие вещи, во время революции таинственным образом отлучившаяся из Версаля. Четыре служителя в ливреях с особой и подчеркнутой осторожностью подняли на стол драгоценный предмет — сияющую белизной округлость в синих прожилках, — и, внушительно откашлявшись, аукционист объявил предложенную цену — эта освященная четырьмя нулями цифра была встречена благоговейным молчанием. Никто не решался предложить свою цену, никто не решался проронить слово или переступить с ноги на ногу; толпа распаренных, плотно прижатых друг к другу людей замерла в почтительном восторге. Наконец какой-то седенький старичок у левого края стола поднял голову и быстро, негромко и как-то робко прошептал: «Сто тридцать пять тысяч», после чего аукционист решительно возгласил: «Сто сорок тысяч!»

И тут началась азартнейшая игра: представитель крупного американского аукционного зала ограничивался тем, что подымал палец, и каждый раз цифра, как на электрических часах, подскакивала еще на пять тысяч. На другом конце стола личный секретарь известного коллекционера (в публике шепотом называли его фамилию) каждый раз удваивал ставки; постепенно аукцион превратился в диалог между этими двумя

покупателями, сидевшими наискосок друг от друга и упорно не желавшими встречаться глазами: оба обращались только к аукционисту, которому этот торг явно доставлял удовольствие. Наконец, когда дело дошло до двухсот шестидесяти тысяч, американец в первый раз не поднял пальца; названная цифра, словно застыв, повисла в воздухе. Возбуждение еще возросло, четыре раза аукционист повторил: «Двести шестьдесят тысяч... двести шестьдесят тысяч...» Как сокола на добычу, бросал он в зал эту цифру. Потом сделал паузу, выжидающе посмотрел направо, налево (ах, он так охотно продолжил бы игру!): «Кто больше?» Молчание... молчание. «Кто больше?» — В голосе его звучало почти отчаяние. Молчание дрогнуло, но струна не издала звука. Медленно поднялся молоток. Триста сердец перестали биться... «Двести шестьдесят тысяч франков раз... двести шестьдесят тысяч два... двести шестьдесят тысяч...»

Огромной глыбой стояло в онемевшем зале молчание, никто не дышал. Торжественно, точно совершая религиозный обряд, поднял аукционист молоток слоновой кости над онемевшей толпой. Еще раз предостерег: «Окончательно!» Ни звука! Ни отклика! «Двести шестьдесят тысяч... три!» Молоток опустился, резко и сухо прозвучал его удар. Все! Двести шестьдесят тысяч франков! Людская стена качнулась и распалась от этого резкого сухого удара на отдельные живые лица, задвигалась, вздохнула, заохала, заговорила, откашлялась. Как единое тело, шевелилась, потягивалась плотная людская толпа, взмытая бурной волной, прокатившейся от передних рядов к задним.

Я тоже почувствовал се — кто-то ткнул меня локтем в грудь. И сейчас же чей-то голос рядом со мной пробормотал: «Pardon, monsieur!» Я вздрогнул. Его голос! Вот так чудо, ведь это он, он, о котором я так тосковал, которого страстно разыскивал; набежавшая волна — какое счастливое совпадение! — выбросила его прямо на меня. Теперь он, слава Богу, опять тут, совсем рядом, теперь наконец я могу охранить, уберечь его. Из предосторожности я, разумеется, не посмотрел

ему прямо в лицо; только краешком глаза взглянул на него сбоку, и не на лицо, а на руки, на его рабочий инструмент, но — поразительно — они исчезли: вскоре я заметил, что он крепко прижал руки к телу, а кисти, словно у него озябли пальцы, втянул в рукава, чтобы их не было видно. Так назначенная им жертва почувствует только будто случайное, ничем не грозящее прикосновение мягкой ткани, опасная воровская рука спряталась в обшлаг, как когти в бархатную кошачью лапку. Я был восхищен — отлично придумано! На кого же нацеливался он теперь? Я осторожно покосился на его соседей: справа от него стоял худой, застегнутый на все пуговицы господин, перед ним второй, с широкой непрístupной спиной. Мне было неясно, как сможет он удачно подобраться к одному из них. Но тут я почувствовал легкое прикосновение к собственному колену, и сразу же мелькнула догадка — меня даже в холодный пот бросило: неужели все эти приготовления делаются ради меня? Дурак ты, дурак, кого ты собираешься обворовать? Единственного человека в этом зале, который знает, кто ты! И значит, мне предстоит последний и совершенно потрясающий урок — на собственной шкуре познакомиться с твоим ремеслом. В самом деле, он как будто облюбовал меня, именно меня; этот злополучный неудачник наметил именно меня, друга, читающего его мысли, единственного человека, который проник в тайны его ремесла!

Да, несомненно, приготовления относились ко мне, я не ошибся, я уже чувствовал, как осторожно прижался к моему боку локоть соседа, как тихонько, чуть заметно подбирался ко мне рукав со спрятанной в нем рукой, наверно, уже нацелившейся быстро скользнуть во внутренний карман моего пиджака, едва только начнется движение и давка. Правда, я мог бы принять некоторые контрмеры и тогда был бы в полной безопасности; достаточно чуть повернуться или застегнуть пиджак, но, странно, у меня не хватало на это сил, — все тело было словно загипнотизировано возбужденным ожиданием. Все мышцы, все нервы словно оцепенели, и пока я ждал в тупом напряжении, я мысленно сосчитал деньги в своем бумажнике.

Все то время, что мысли мои были заняты бумажником, я ощущал у себя на груди его теплое и спокойное прикосновение (ведь мы начинаем ощущать каждую частицу нашего тела, каждый зуб, каждый палец, каждый нерв, как только о них подумаем). Значит, пока бумажник был еще на месте и я мог спокойно ждать предстоящего посягательства. Но, удивительное дело, я сам не знал, желаю я этого посягательства или нет. Я запутался в своих чувствах и как бы раздвоился. С одной стороны, мне хотелось, чтобы этот дурак, ради своего же блага, оставил меня в покое; с другой стороны, я с тем же томительным напряжением, как у зубного врача, когда бормашина приближается к больному зубу, ожидал, чтобы он проявил свое мастерство, ожидал последнего решающего действия. А он, словно желая наказать меня за мое любопытство, ни капли не торопился. Он все еще выжидал, но от меня не отходил. Он все время пододвигался ближе, еще ближе, и хотя все мои чувства были парализованы этим настойчивым прикосновением, одновременно каким-то другим, шестым чувством я совершенно ясно слышал, как аукционист выкрикивал предлагаемые цены: «Три тысячи семьсот пятьдесят... Кто больше?» Затем молоток опустился. И опять после его удара по толпе пробежала легкая волна, и в тот же миг я почувствовал, что она докатилась и до меня. Прикосновения я не ощутил, но мне почудилось, будто по мне скользнула змея, пробежало чье-то чужое дыхание, такое быстрое и неуловимое, что я бы его ни за что не заметил, если бы любопытство не держало меня все время начеку. Только пола моего пальто чуть колыхнулась, как от легкого ветерка, я почувствовал нежное дуновение, словно мимо пролетела птица и...

И вдруг случилось то, чего я никак не ожидал: моя собственная рука дернулась кверху и схватила чужую руку у меня под пальто. Я и не думал прибегать к такой грубой самозащите. Это было для меня самого неожиданное, рефлекторное движение мускулов. Рука автоматически дернулась из чисто физического инстинкта самозащиты. И вот — какое безумие! — к моему собственному удивлению и ужасу, мои пальцы крепко

сжали запястье чужой, холодной, дрожащей руки. Нет, этого я не хотел!

Эту секунду я не могу описать. Я оцепенел от страха, вдруг почувствовал, что насильно сжимаю живое человеческое тело, холодную чужую руку. И совершенно так же оцепенел от страха и он. Как у меня не хватало сил, не хватало духа отпустить его руку, так и у него не хватало решимости, не хватало духа вырвать ее. «Четыреста пятьдесят... Четыреста шестьдесят... четыреста семьдесят...» — патетически гремел с возвышения голос аукциониста, а я все еще держал чужую, холодную и дрожащую, руку. «Четыреста восемьдесят... четыреста девяносто». Никто не замечал, что происходит между нами, никто не подозревал, что здесь между двумя людьми встала судьба; только между нами двумя, только между нами до предела натянутыми нервами разыгрывалась небывалая битва. «Пятьсот... пятьсот десять... пятьсот двадцать...» — все быстрее мелькали цифры. Наконец — наверно, прошло секунд десять, не больше — я пришел в себя. Я отпустил чужую руку. Она сейчас же скользнула прочь и исчезла в рукаве желтого пальтишка.

«Пятьсот шестьдесят... пятьсот семьдесят... пятьсот восемьдесят... шестьсот... шестьсот десять...» — продолжало греметь с возвышения, а мы, два сообщника, связанные общей тайной, стояли рядом, парализованные только что пережитым. Я все еще ощущал тепло его тела, крепко прижатого к моему, и теперь, когда нервы сдали и у меня начали дрожать колени, мне почудилось, будто эта легкая дрожь передалась и ему. «Шестьсот двадцать... тридцать... сорок... пятьдесят... шестьдесят... семьдесят...» Все выше подскакивали цифры, а мы по-прежнему стояли рядом, скованные друг с другом железным кольцом страха. Наконец я обрел силу хоть немного повернуть голову и взглянуть на него. И в тот же миг он взглянул на меня. Глаза наши встретились. «Пожалей, пожалей, не выдавай меня!» — казалось, молили его выцветшие маленькие глаза; страх его затравленной души, извечный страх всякой земной твари глядел из расширенных зрачков, и усики жалоб-



но вздрагивали. Я увидел ясно только его широко открытые глаза, лицо заслонил такой безмерный страх, какого я ни до того, ни после не видел ни на одном лице. Мне стало невыразимо стыдно, что человек смотрит мне в глаза таким рабым, таким собачьим взглядом, словно я властен над жизнью и смертью, и его страх я воспринял как унижение; я смущенно отвел глаза.

Он понял. Он знал теперь, что я ни за что не выдам его, и это сознание вернуло ему силы. Легким движением он чуть-чуть отклонился от меня, я почувствовал, что он хочет совсем уйти. Сначала слегка отодвинулось плотно прижатое колено, потом стало ослабевать ощущение чужого тепла у локтя, и вдруг — у меня было такое чувство, словно уходит часть меня самого, — место рядом со мной оказалось пустым. Мой собрат по несчастью юркнул в толпу и исчез. Сначала я вздохнул с облегчением, почувствовав, что уже не так тесно. Но в следующее мгновение я испугался: что он, бедняга, будет теперь делать? Ему нужны деньги, а я, я его должник, я обязан ему за столь занимательно проведенный день, я, его невольный соучастник, должен ему помочь! Я бросился за ним вдогонку. Но какая насмешка судьбы! Этот неудачник не понял моего доброго намерения и, издали увидев меня, испугался. Прежде чем я успел ободряюще кивнуть ему, канареечное пальтишко, мигом слетев с лестницы и выскочив на улицу, скрылось в недостижимом людском потоке, и мое обучение новой профессии окончилось так же неожиданно, как и началось.





## ШАХМАТНАЯ НОВЕЛЛА

**Н**а большом океанском пароходе, отплывавшем в полночь из Нью-Йорка в Буэнос-Айрес, царил, как всегда в последние минуты отправления, деловитая суета. Через толпу во всех направлениях проталкивались провожающие; рассыльные телеграфа в лихо сдвинутых набок каскетках выкрикивали фамилии пассажиров; проносили багаж и цветы; по лестницам бегали любопытные дети, а на верхней палубе, не умолкая, играл судовой оркестр...

Я стоял со своим приятелем на палубе вдали от этой суеты. Вдруг совсем близко от нас два или три раза ярко вспыхнул магний: должно быть, среди пассажиров была какая-то знаменитость и для взятого в последний миг интервью понадобился портрет. Мой друг, взглянув в ту сторону, умекнулся:

— С вами на пароходе едет чудо природы — Чентович.

Увидев по моему лицу, что это имя ничего мне не говорит, он пояснил:

— Мирко Чентович — чемпион мира по шахматам. Он только что разгромил всех шахматистов Америки и сейчас едет пожинать лавры в Аргентину.

Тут я вспомнил не только имя молодого чемпиона мира, но и кое-какие подробности его молниеносной карьеры. Мой друг, следивший за мировой прессой более внимательно, чем я, пополнил мои сведения, рассказав по этому поводу несколько анекдотов.

Около года тому назад Чентовичу удалось сразу стать в

ряды таких шахматных светил, как Алехин, Капабланка, Тартаковер, Ласкер, Боголюбов. С момента появления в Нью-Йорке на турнире 1922 года семилетнего вундеркинда Решевского великолепная плеяда шахматистов не знала ни одного новичка, который вторгся бы в их среду с таким шумом и вызвал бы к себе столь острый интерес. Умственные способности Чентовича отнюдь не предвещали ему столь блистательную карьеру. Вскоре обнаружилась тайна: чемпион мира ни на одном языке не мог написать без ошибки даже несколько слов, и, как саркастически заметил один из его желчных соперников, «невежество его было всеобъемлющим».

Крошечное суденышко, принадлежавшее его отцу — нищему югославскому лодочнику, — было потоплено однажды ночью дунайским грузовым пароходом. Сердобольный пастор из их глухой деревушки взял на попечение осиротевшего мальчишку, которому в то время было двенадцать лет. Добрый человек выбивался из сил, стараясь вдолбить в мозги туповатого, косноязычного, с низким лбом мальчишки не дававшуюся ему школьную премудрость.

Но все старания пастора оказались тщетными. В сотый раз бессмысленно всматривался Мирко в буквы, но не мог их запомнить. Его неповоротливый мозг не схватывал простейших вещей. В четырнадцать лет он все еще считал по пальцам, и ему стоило великого труда прочитать небольшой отрывок из книги или газеты. Однако нельзя сказать, чтобы Мирко был нерадив или непослушен. Он исполнял все, что ему приказывали: таскал воду, колол дрова, работал в поле, убирал кухню. На него можно было положиться: любое поручение он в конце концов выполнял, хотя медлительность его выводила из терпения. Но больше всего огорчало доброго пастора в упрямом подростке его безразличие ко всему на свете. Он никогда ничего не делал, не получив приказания, никогда не играл с другими подростками и никогда не искал себе какого-нибудь дела, пока ему не говорили, что надо сделать. Закончив домашнюю работу, Мирко усаживался в комнате, да так и сидел, устремив вдаль бессмысленный, как у пасущейся овцы,

взгляд, не проявляя ни малейшего интереса к тому, что творилось вокруг. По вечерам, когда пастор, посасывая длинную деревенскую трубку, играл три неизменные шахматных партии с жандармским вахмистром, светловолосый недоросль молча пристраивался возле игроков и, опустив тяжелые веки, с сонным и безразличным видом смотрел на расчерченную доску.

Однажды зимним вечером, когда два приятеля уже углубились в свою обычную игру, за окном послышался звон бубенцов. К дому быстро приближались сани. В комнату вбежал крестьянин в заснеженной шапке и стал умолять пастора как можно скорее поехать к его умирающей матери, чтобы успеть дать ей последнее напутствие. Священник тут же отправился с ним. Вахмистр, не допивший своей кружки пива, раскурил на прощание трубку и уже собрался было натянуть высокие меховые сапоги, как вдруг заметил, что Мирко не отрываясь смотрит на шахматную доску с неоконченной партией.

— Может быть, хочешь закончить партию? — шутливо спросил его вахмистр, совершенно убежденный, что придурковатый парень не знает даже, как передвигаются по доске фигуры. Мальчик неуверенно взглянул на него, но утвердительно кивнул головой и сел на место пастора. На четырнадцатом ходу вахмистр был побежден и должен был признаться, что его поражение вовсе не было результатом какого-либо случайного зевка. Вторая партия закончилась так же.

— Валаамова ослица! — вскричал, вернувшись, пораженный пастор и объяснил вахмистру, не слишком хорошо знакомому с Библией, что две тысячи лет тому назад произошло подобное чудо, когда бессловесное до тех пор животное заговорило, и к тому же очень мудро. Несмотря на поздний час, добрый пастор не мог удержаться от искушения сразиться со своим полуграмотным воспитанником. Мирко с такой же легкостью обыграл и его. Играл он медленно, упрямо, ни разу не подняв от доски широколобой головы, но в игре его была непоколебимая уверенность. В последующие дни ни пастор, ни вахмистр не смогли одержать над ним ни одной победы.

Священник, лучше других знавший о безнадежной умственной отсталости своего воспитанника, задался вопросом: сможет ли этот односторонний, необычайный талант выдержать более серьезное испытание. С помощью сельского парикмахера Мирко привели в более приличный вид, и пастор отвез его в санях в соседний городок, где в кафе на главной площади собирались местные любители шахмат, игроки, как он убедился на горьком опыте, гораздо более искусные, чем он.

Появление пастора в сопровождении русого, краснощекого подростка вызвало всеобщий интерес. Пока его не позвали к шахматному столику, Мирко стоял поодаль, уставившись в пол, так и не сняв нагольного тулупа и высоких пастушьих сапог. Он проиграл первую партию, потому что добряк пастор никогда не применял сицилийскую защиту. Следующая игра с лучшим шахматистом города закончилась вничью. Однако третью, четвертую и все последующие Мирко выиграл одну за другой.

Провинциальные городки Югославии не часто бывают ареной волнующих событий. Поэтому первое выступление деревенского чемпиона произвело в кругу достойных граждан форменную сенсацию. Было единодушно решено, что вундеркинд должен остаться в городе до утра, когда будет созвано специальное собрание шахматного клуба; в особенности же для того, чтобы с ним смог сыграть одержимый страстью к шахматам владелец близлежащего замка старый граф Зимчиц. В душе священника боролись два чувства — гордость за своего питомца и чувство долга, призывавшее его обратно в село, к воскресной службе. Чувство долга восторжествовало, однако пастор согласился оставить Мирко в городе для дальнейших испытаний. Шахматисты поместили молодого Чентовича в гостиницу, где он впервые в жизни увидел современную уборную.

В воскресенье после обеда шахматная комната заполнилась до отказа. В течение четырех часов Мирко неподвижно сидел перед шахматной доской, не произнося ни слова, не подымая глаз, и разбивал одного противника за другим. Наконец, ему

предложили сеанс одновременной игры. Понадобилось некоторое время, чтобы растолковать Мирко, что он должен будет играть сразу против нескольких противников. Но как только он уяснил себе, чего от него хотят, он невозмутимо принялся за дело и стал ходить от стола к столу, медленно ступая тяжелыми, несмазанными сапогами. В конце концов он выиграл семь партий из восьми.

После этого начались серьезные совещания. Строго говоря, новый чемпион не являлся уроженцем городка, тем не менее местный патриотизм был задет за живое. Наконец-то у крошечного, вряд ли даже отмеченного на карте городишки появился шанс назваться родиной знаменитости.

Импрессарио по имени Коллер, поставивший шансонеток и балерин местному офицерскому казино, заявил, что берется устроить юноше уроки у своего знакомого в Вене — знатока шахматной игры — и будет содержать молодого Мирко в течение года с тем, чтобы расходы были ему впоследствии возмещены. Обязательство подписал граф Зимчиц, — за все шестьдесят лет, что он ежедневно играл в шахматы, ему ни разу не довелось сразиться с таким замечательным противником. С этого дня началась поразительная карьера сына дунайского лодочника.

Мирко понадобилось всего шесть месяцев, чтобы постичь все секреты шахматной техники; правда, одним он не овладел — это впоследствии было замечено любителями шахматной игры и вызывало с их стороны насмешки. Ни одной сыгранной партии Чентович не мог запомнить, — выражаясь языком профессионалов, не мог играть вслепую. Он был абсолютно не способен воссоздать в своем воображении шахматную доску. Ему было совершенно необходимо иметь перед глазами настоящую, в шестьдесят четыре черных и белых квадрата доску и тридцать две фигуры. Даже став всемирной знаменитостью, он неизменно носил с собой карманные шахматы, чтобы иметь возможность в любой момент наглядно воспроизвести нужную ему классическую партию и решить заинтересовавшую его задачу.

Хотя сам по себе этот дефект и не представлял особой важности, он тем не менее указывал на недостаток воображения и вызывал оживленные толки в кругу любителей шахмат — такие толки возникают, например, в музыкальных кругах, когда выясняется, что выдающийся виртуоз или дирижер не может играть или дирижировать на память, без нот. Впрочем, этот недостаток не помешал замечательным успехам Мирко. В семнадцать лет он уже имел с десяток различных призов, в восемнадцать — стал чемпионом Венгрии и, наконец, в двадцать — чемпионом мира. Лучшие игроки, несомненно, превосходившие его умом, силой воображения и смелостью, не смогли противостоять его железной, холодной логике, как не мог Наполеон противостоять осторожному Кутузову и Ганнибал — Фабию Кунктатору, у которого, по свидетельству Ливия, черты апатии и слабоумия проявлялись уже в раннем детстве. Таким образом, оказалось, что в блистательном обществе выдающихся шахматистов, среди которых были видные представители самых разнообразных отраслей интеллектуального труда — философы, математики, люди, обладающие художественным чутьем, изобретательскими способностями и нередко творческим талантом, — затесался совершенный чужак — хмурый, молчаливый, неразвитый деревенский парень. Самые ловкие журналисты не могли вытянуть из него ни единого слова, из которого можно было бы сострипать сенсацию. Газеты были лишены такой возможности, но это восполнялось обилием циркулировавших о нем анекдотов: едва поднявшись из-за шахматного стола, где он не знал себе равных, Чентович неизбежно становился забавной, почти комической фигурой. Несмотря на безукоризненный костюм, модный галстук и булавку с чрезмерно большой жемчужиной и тщательно наманикюренные ногти, он оставался тем, кем был прежде, — ограниченным, неотесанным парнем, еще недавно подметавшим кухню пастора. Используя свой талант и славу, он старался заработать как можно больше денег, проявляя при этом мелочную и нередко грубую жадность. Делал он это с беззастенчивой откровенностью, возбуждавшей раздражение

и непрерывные насмешки его коллег. Путешествуя из города в город, он останавливался в самых дешевых отелях, соглашался играть за любой шахматный клуб, готовый уплатить ему гонорар, продал фабриканту мыла право помещать свой портрет на рекламных объявлениях и, не обращая внимания на презрительные насмешки своих соперников, которым было известно, что он с трудом может написать связно два слова, выпустил под своим именем книгу «Философия шахматной игры», написанную бедным галицийским студентом по заказу какого-то предприимчивого издателя.

Как обычно случается с людьми такого склада, Чентович был начисто лишен чувства юмора и, сделавшись чемпионом, стал считать себя самым важным человеком в мире. Сознание того, что он сумел одержать победу над всеми этими умными и культурными людьми, блестящими ораторами и писателями, и к тому же зарабатывает больше их, обратило его прежнюю неуверенность в холодную надменность.

— Разумеется, как и следовало ожидать, легко добытая слава вскружила такую пустую голову, — заключил мой друг и привел несколько классических примеров того, как Чентович с чисто детским тщеславием стремился занять положение в обществе. — Почему бы парню в двадцать один год не стать невероятно тщеславным, если, двигая на доске фигурки, он может за одну неделю заработать больше, чем вся его деревня за целый год на рубке леса в ужасных условиях. И потом, весьма легко считать себя великим человеком, если ваш мозг не отягощен ни малейшим подозрением, что на свете жили когда-то Рембрандт, Бетховен, Данте и Наполеон. В его ограниченном уме гнездится только одна мысль: уже в течение многих месяцев он не проиграл ни одной партии. И так как он не имеет ни малейшего представления о том, что в мире существуют другие ценности, кроме шахмат и денег, у него есть все основания быть в восторге от собственной персоны.

Рассказ приятеля, разумеется, возбудил мое любопытство. Меня всю жизнь интересовали различные виды мономанов — людей, которыми владеет одна-единственная идея, потому



что, чем теснее рамки, которыми ограничивает себя человек, тем больше он в известном смысле приближается к бесконечному. Как раз такие, с виду равнодушные ко всему на свете, люди упорно, как муравьи, строят из какого-то особого материала свой собственный, ни на что не похожий мирок, представляющий для них уменьшенное подобие вселенной. Поэтому я не скрыл от приятеля своего намерения — постараться за время двенадцатидневного путешествия до Рио поближе познакомиться с этой личностью, наделенной крайне односторонними способностями.

— Вряд ли это вам удастся, — предупредил меня мой собеседник. — Насколько я знаю, еще никому не удалось выудить из Чентовича хоть какую-либо малость, годную для психологических суждений. При всей своей невероятной ограниченности этот хитрый крестьянин достаточно умен, чтобы скрывать свои слабые места. Способ у него простой: за исключением земляков, и притом людей своего круга, с которыми он встречается в дешевеньких гостиницах, Чентович избегает вступать с кем-либо в разговоры. Почувствовав, что перед ним человек культурный, он сразу же, как улитка, прячется в свою раковину; поэтому никто не может похвастаться, что слышал от него какую-нибудь глупость и сумел оценить всю бездну его невежества.

Должно быть, мой приятель был прав. Завязать знакомство с Чентовичем в течение первых дней нашего путешествия оказалось невозможным — разве что проявить известное нахальство, — но я не сторонник таких приемов. Иногда он появлялся на верхней палубе и гулял там, заложив руки за спину, погруженный в сосредоточенное раздумье, совсем как Наполеон на известном портрете. Но, гуляя по палубе, он всегда так торопился, что мне, чтобы добиться своей цели, пришлось бы бегать за ним рысью. Он никогда не появлялся в гостиных, в баре или в курительном салоне. Стюард, у которого я доверительно навел справки, сказал мне, что большую часть дня он проводит у себя в каюте за большой шахматной доской, разбирая сыгранные партии или решая задачи.

Через три дня меня стало злить, что оборонительная тактика Чентовича оказалась сильнее моего желания как-нибудь до него добраться. До сих пор мне не приходилось встречаться с выдающимися шахматистами. Чем больше я старался понять этот тип людей, тем непостижимее казалась мне эта работа человеческого мозга, полностью сосредоточенная на небольшом пространстве, разделенном на шестьдесят четыре черных и белых квадрата. По личному опыту мне было знакомо таинственное очарование «королевской игры», единственной из игр, изобретенных человеком, которая не зависит от прихоти случая и венчает лаврами только разум, или, вернее, особенную форму умственной одаренности. Но разве узкое определение «игра» не оскорбительно для шахмат? Однако это и не наука и не искусство, вернее, нечто среднее, витающее между двумя этими понятиями, подобно тому, как витает между небом и землей гроб Магомета. В этой игре сочетаются самые противоречивые понятия: она и древняя, и вечно новая; механическая в своей основе, но приносящая победу только тому, кто обладает фантазией; ограниченная тесным геометрическим пространством — и в то же время безграничная в своих комбинациях; непрерывно развивающаяся — и совершенно бесплодная; мысль без вывода, математика без результатов, искусство без произведений, архитектура без камня. И, однако, эта игра выдержала испытание временем лучше, чем все книги и творения людей, это единственная игра, которая принадлежит всем народам и всем эпохам, и никому не известно имя божества, принесшего ее на землю, чтобы рассеивать скуку, изощрять ум, ободрять душу. Где начало ее и где конец? Ее простые правила может выучить любой ребенок, в ней пробует свои силы каждый любитель, и в то же время в ее неизменно тесных квадратах рождаются совсем особенные, ни с кем не сравнимые мастера — люди, одаренные исключительно способностями шахматистов. Это особые гении, которым полет фантазии, настойчивость и мастерство точности свойственны не меньше, чем математикам, поэтам и композиторам, только в ином сочетании и с иной направленностью. В дни

увлечения физиономическими исследованиями какой-нибудь Галль должен был бы в первую очередь исследовать головной мозг одного из гениальных шахматистов, чтобы установить, нет ли в сером веществе его мозга особой извилины, нет ли там какого-то особого шахматного нерва или шахматной шишки. И какой интерес пробудил бы у физиономиста такой индивидуум, как Чентович, у которого эта особая гениальность угнездилась в мозгу, совершенно нетронутым и вялом, подобно тому как в глыбе горной породы прячется единственная золотая жилка. В принципе я понимал, что такая единственная в своем роде, гениальная игра должна порождать и достойных служителей, и все-таки мне было всегда трудно, почти невозможно представить себе жизнь человека, обладающего деятельным умом и в то же время ограничившего свой мир небольшим бело-черным пространством и способного находить радость бытия в передвижении туда и сюда тридцати двух фигур. Я не мог понять психологии человека, который верит в то, что ход конем, а не пешкой может принести ему славу и обеспечить местечко среди бессмертных, выражающееся в коротеньком примечании к руководству по шахматной игре, разумного, мыслящего человека, который, не будучи сумасшедшим, в течение десяти, двадцати, тридцати, сорока лет снова и снова посвящает всю силу своего ума нелепому занятию — во что бы то ни стало загнать в угол деревянной доски деревянного короля.

И вот наконец, впервые в жизни, совсем близко от меня, на одном корабле, всего через шесть кают, оказался один из таких феноменов — исключительный гений или, быть может, загадочный глупец, а я, несчастный человек, у которого страсть разгадывать психологические загадки переросла в манию, не мог найти способа познакомиться с ним. Я изобретал всевозможные хитрые маневры: то собирался сыграть на его тщеславии, попросив интервью для влиятельной газеты, то рас-

---

\* Галль Франц-Иосиф (1758 — 1828), немецкий врач, создатель френологии — лженауки, якобы позволявшей определять способности и склонности человека по форме и выпуклости его черепа. (Примеч. переводчика.)

считывал пробудить в нем жадность, предложив выгодное турне по Шотландии. Наконец, мне пришел на ум прием охотников, которые подманивают глухарей, имитируя их любовный зов. Может быть, удастся привлечь к себе внимание шахматного маэстро, выдав себя за шахматного игрока?

Я никогда не играл в шахматы серьезно, для меня это — развлечение, не больше. Если я и провожу иногда часок за шахматной доской, то вовсе не для того, чтобы утомлять свой мозг, а, напротив, для того, чтобы рассеяться после напряженной умственной работы. Я в полном смысле этого слова «играю» в шахматы, в то время как настоящие шахматисты священнодействуют, если позволительно употребить такое выражение. Шахматы так же, как любовь, требуют партнера, а я еще не сумел выяснить, есть ли на пароходе любители этой игры. Чтобы выманить их из нор, я расставил в курительном салоне примитивную ловушку. В качестве приманки за шахматный столик уселась вместе со мной и моя жена, которая играет еще хуже меня. И конечно, едва мы сделали несколько ходов, как возле нас уже остановился один из пассажиров, затем еще один попросил разрешения посмотреть на игру, а скоро отыскался и желанный партнер, предложивший мне сыграть с ним партию.

Это был некто Мак-Коннор, шотландец, горный инженер. Я узнал, что он бурил нефтяные скважины в Калифорнии и сколотил там крупное состояние. Мак-Коннор был цветущим здоровяком, обладавшим квадратными челюстями и крепкими зубами. Яркий цвет лица, без сомнения, указывал на умеренное потребление виски, а широченные плечи этого атлета довольно неприятно действовали на вас во время игры. Ибо Мак-Коннор принадлежал к той категории самоуверенных, преуспевающих людей, которые любое поражение, даже в самом безобидном состязании, воспринимают не иначе, как удар по своему самолюбию. Этого громадного человека, всем обязанного только самому себе, привыкшего напролом пробиваться к цели, настолько переполняло чувство собственного превосходства, что любое препятствие он считал непозволит-

тельным вызовом себе, если не оскорблением. Проиграв первые две партии, он помрачнел и начал обстоятельно, диктаторским тоном объяснять, что этого бы не произошло, если б не случайная его невнимательность. Третий проигрыш он отнес за счет шума в соседней гостиной. Ни одной проигранной партии он не желал оставлять без реванша. Сначала его обидчивость забавляла меня, но потом я смирился, сообразив, что это наверняка поможет мне добиться цели — подманить к столу чемпиона мира.

На третий день мой замысел осуществился, хотя и не полностью. Может быть, Чентович увидел нас за шахматами через иллюминатор, выходящий на верхнюю палубу, может быть, он просто решил почтить своим присутствием курительный салон, во всяком случае, как только чемпион заметил, что в сферу его искусства осмелились вторгнуться непосвященные, он невольно подошел поближе и, держась на приличном расстоянии, бросил испытующий взгляд на доску. Был ход Мак-Коннора. Одного его хода оказалось достаточно, чтобы Чентович сразу понял, как мало интереса представляют для него наши любительские потуги. С небрежным жестом, каким обычно отмахиваются от предложенного в книжном магазине плохого детективного романа, даже не перелистав его, чемпион отвернулся и вышел из салона.

«Сразу увидел, что игра не стоит свеч», — подумал я. Меня уязвил его высокомерный, холодный взгляд. Захотелось выместить на ком-нибудь свое раздражение, и я обратился к Мак-Коннору:

— Кажется, ваш ход не произвел большого впечатления на чемпиона?

— Какого чемпиона?

Я объяснил ему, что человек, который заходил в салон и столь презрительно отнесся к нашей игре, был Чентович, чемпион мира по шахматам. Я добавил, что не следует расстраиваться из-за его надменности: для бедняков гордость — непозволительная роскошь. К моему удивлению, эти случайно сказанные слова оказали на Мак-Коннора совершенно неожи-

данное действие. Он сразу невероятно разволновался и, полный честолюбивых замыслов, забыл о нашей игре. Он и не подозревал, что Чентович находится в числе пассажиров, — чемпион обязательно должен сыграть с ним. Ему только один раз удалось сыграть с чемпионом, и то когда шел сеанс одновременной игры на сорока досках, но даже это было очень увлекательно, он чуть-чуть не выиграл. Знаком ли я с чемпионом? Нет, незнаком. Не могу ли я попросить его сыграть с нами? Я отказался, сославшись на то, что Чентович, насколько мне известно, избегает новых знакомств. Кроме того, какой интерес может представлять для чемпиона игра с нами, третьеразрядными игроками?

Замечание о третьеразрядных игроках в адрес такого самолюбивого человека, как Мак-Коннор, было, пожалуй, излишним. Он сердито откинулся в кресле и запальчиво заявил, что просто не представляет себе, чтобы Чентович мог отклонить вызов джентльмена. Об этом позаботится он сам. По его просьбе я в нескольких словах обрисовал ему своеобразный характер чемпиона, и Мак-Коннор, бросив на произвол судьбы неоконченную партию, кинулся разыскивать Чентовича на верхней палубе. Тут я снова почувствовал, что удержать человека с такими мощными плечами, если он вбил себе что-либо в голову, — дело совершенно безнадежное.

Я напряженно ждал. Прошло десять минут, и Мак-Коннор вернулся, как мне показалось, не в очень хорошем расположении духа...

— Ну как? — спросил я.

— Вы были правы, — ответил с досадой Мак-Коннор, — не очень-то приятный господин. Я поздоровался и назвал себя, но он даже руки не протянул. Я попытался объяснить ему, что все мы, пассажиры, будем горды и счастливы, если он согласится удостоить нас сеансом одновременной игры. Но он был со мной страшно официален и ответил, что, к сожалению, контракт с импрессарио, организовавшим его турне, обязывает его играть во время поездки только за вознаграждение и что минимальный его гонорар — двести пятьдесят долларов за партию.

Я рассмеялся.

— Вот уж никогда не думал, что передвигать фигуры с белых квадратов на черные — такое доходное дело. Надеюсь, вы столь же любезно отклонялись.

Однако Мак-Коннор остался совершенно серьезен.

— Матч состоится завтра в три часа дня здесь в курительном салоне. Надеюсь, ему не так-то легко удастся разбить нас.

— Как? Вы дали ему двести пятьдесят долларов?! — вскричал я в совершенном изумлении.

— Почему же нет? *C'est son metier* \*.

Если бы у меня разболелся зуб, а на борту парохода оказался дантист, ведь не стал бы он рвать его даром. Его право — заломить, сколько он хочет. Так везде. В любой профессии лучшие специалисты всегда бывают прекрасными коммерсантами. Что же до меня, то я за чистые сделки. Я с гораздо большим удовольствием заплачу вашему Чентовичу звонкой монетой, чем стану просить его об одолжении да еще буду чувствовать себя обязанным рассыпаться потом в благодарностях. Мне случалось проигрывать за вечер в нашем клубе и побольше двухсот пятидесяти долларов, но ведь мне не доводилось играть с чемпионом мира. «Третьеразрядному» игроку не стыдно проиграть Чентовичу.

Меня забавляло, как сильно невинное выражение «третьеразрядные игроки» ранило самолюбие Мак-Коннора. Поскольку, однако, дорогое развлечение, предоставившее мне возможность познакомиться с интересовавшим меня субъектом, оплачивалось Мак-Коннором, я предпочел промолчать.

Мы поспешили известить о предстоящем событии еще нескольких человек, обнаруживших пристрастие к шахматам, и потребовали оставить за ними для матча не только наш стол, но и все соседние, чтобы избежать возможных помех со стороны остальных пассажиров.

На другой день точно в назначенный час наша компания собралась в полном составе. Центральное место, напротив

---

\* Это его профессия (франц.).

чемпиона, было, разумеется, предоставлено Мак-Коннору. Он волновался, курил одну за другой крепкие сигары и нервно поглядывал на часы.

Чемпион заставил себя ждать добрых десять минут (помня рассказы своего приятеля, я предвидел что-нибудь в этом роде), и это еще больше подчеркнуло торжественность его появления. Он подошел к столу с невозмутимым и спокойным видом, не поздоровался. По-видимому, его неучтивость должна была означать: «Вам известно, кто я, а мне совсем не интересно знать, кто вы», — и сразу же сухим, деловым тоном начал излагать свои условия. Так как на пароходе не было достаточного количества шахматных досок для проведения сеанса одновременной игры, он предлагает, чтобы все мы играли против него сообща. Сделав ход, он будет отходить в другой конец комнаты, чтобы не мешать нам советоваться. Мы же, сделав ответный ход, должны будем, за неимением колокольчика, стучать по стакану чайной ложечкой. Если не будет возражений, он предлагает дать на обдумывание каждого хода максимум десять минут. Мы, как робкие ученики, приняли все его условия. Чентовичу достались черные; он стоя сделал первый ответный ход, сразу повернулся, отошел в условленное место и там, лениво развалившись в кресле, принялся перелистывать иллюстрированный журнал.

Вряд ли стоит описывать эту партию. Кончилась она, как и следовало ожидать, полным нашим поражением, и к тому же на двадцать четвертом ходу. Не было ничего удивительного в том, что чемпион мира, играя, что называется, левой рукой, наголову разбил с полдюжины посредственных и совсем слабых игроков; но всем нам было противно надменное поведение Чентовича, который ясно дал почувствовать, что разделался с нами без малейшего труда. Каждый раз, подойдя к столу, он бросал на доску беглый и нарочито небрежный взгляд, а на нас и вовсе не обращал внимания, словно мы тоже были деревянными фигурами. Так, не потрудившись даже взглянуть на нее, кидают кость бродячей собаке. Мне казалось, что, обладая он хоть какой-то чуткостью и тактом, ему бы следовало указать



нам на наши ошибки или подбодрить нас дружеским словом. Даже закончив игру, этот шахматный робот не произнес ни звука. Сказав «мат», он остался неподвижно стоять у стола, очевидно, желая узнать, не хотим ли мы сыграть еще одну партию. Я уже поднялся было с места и, как всегда, пасуя перед бесцеремонной грубостью, приготовился дать понять жестом, что лично я с удовольствием буду считать наше знакомство законченным, едва только окончатся финансовые расчеты. Но, к моей досаде, в это самое мгновение Мак-Коннор, сидевший рядом со мной, хрипло произнес: «Реванш».

Меня испугал вызов, прозвучавший в голосе Мак-Коннора. Он скорее напоминал боксера, готового нанести решающий удар, нежели корректного джентльмена. Может быть, его возмутило оскорбительное поведение Чентовича или причиной тому было его собственное уязвленное самолюбие, но, как бы то ни было, даже внешне Мак-Коннор совершенно изменился. Он покраснел до корней волос, ноздри раздулись, на лбу выступили капли пота, от закушенной губы к воинственно выставленному вперед подбородку пролегли резкие складки. Я с беспокойством заметил в его глазах огонек неукротимой страсти, которая охватывает обычно игроков в рулетку, когда нужный им цвет не выпадает шесть-семь раз подряд после непрерывно удваиваемых ставок. Я уже знал, что этот одержимый готов поставить против Чентовича все свое состояние и играть, играть, играть по простым или удвоенным ставкам, пока не выиграет хотя бы одну партию. Если бы Чентович взялся за это дело, Мак-Коннор мог бы оказаться для него сущим золотым дном, и прежде чем на горизонте возник бы Буэнос-Айрес, в кармане чемпиона очутилось бы несколько тысяч долларов.

Чентович остался недвижим.

— Извольте, — вежливо проговорил он. — Теперь, господа, вы будете играть черными.

Вторая партия мало чем отличалась от первой, только наша компания несколько увеличилась за счет подошедших зрителей и игра стала оживленней. Мак-Коннор пристально смот-

рел на доску, словно хотел загипнотизировать шахматные фигуры и подчинить их своей воле. Я чувствовал, что он с восторгом пожертвовал бы тысячей долларов за удовольствие крикнуть «мат» в лицо нашему невозмутимому противнику. И странно, но его угрюмое волнение непостижимым образом передалось всем нам. Теперь каждый ход обсуждался с гораздо большей страстностью, и мы спорили до последней секунды, прежде чем соглашались дать сигнал Чентовичу. Дойдя до семнадцатого хода, мы с изумлением обнаружили, что у нас создалась позиция, казавшаяся поразительно выгодной: мы сумели продвинуть пешку «с» на предпоследнюю линию, и все, что нам нужно было теперь сделать, — это продвинуть ее вперед на с1. Мы получали второго ферзя. Однако мы не были вполне спокойны: нам не верилось, что у нас действительно появился такой очевидный шанс на выигрыш. Все мы подозревали, что преимущество, которое мы, казалось, вырвали, было не чем иным, как ловушкой, расставленной Чентовичем, предвидевшим развитие игры на много ходов вперед. И все же, как мы ни обсуждали и ни рассматривали положение со всех сторон, мы не могли разгадать, в чем заключался подвох. Наконец, когда десять минут уже почти истекли, мы решили рискнуть сделать этот ход. Мак-Коннор уже взялся за пешку, чтобы передвинуть ее на последний квадрат, как вдруг чья-то рука остановила его и тихий, вкрадчивый голос произнес:

— Ради Бога, не надо.

Мы все невольно обернулись. За нами стоял человек лет сорока пяти, — узкое, с резкими чертами лицо его уже раньше, на прогулках, привлекло мое внимание своей необычайной мертвенной бледностью. Видимо, он только что присоединился к нашей компании, и, погруженные в обсуждение очередного хода, мы не заметили его появления. Увидев, что мы смотрим на него, он торопливо продолжал:

— Если вы сделаете ферзя, он немедленно возьмет его слоном, которого вы снимете конем. Он же в это время продвинет свою проходную пешку на d7 и будет угрожать вашей ладье. Если даже вы объявите шах конем, все равно партия для

вас будет потеряна — через девять или десять ходов вы получите мат. Почти ту же комбинацию применил в 1922 году Алехин, играя против Боголюбова на шахматном турнире в Пестьене.

Пораженный Мак-Коннор выпустил из рук пешку и, как и все мы, с немым удивлением уставился на ангела-хранителя, свалившегося к нам с неба. Ведь предугадать мат за девять ходов мог только игрок высшего класса, участник международных состязаний, может быть, он направлялся на тот же турнир, что и Чентович, и будет оспаривать мировое первенство? Как бы то ни было, его внезапное появление, его вмешательство в игру в самый критический момент показались нам чем-то сверхъестественным.

Первым пришел в себя Мак-Коннор.

— Что же вы посоветуете? — прошептал он возбужденно.

— Пока что не продвигайте пешки вперед. Пока уклоняйтесь. Прежде всего выведите короля из опасной зоны — с g8 на h7. Тогда ваш противник, по всей вероятности, перенесет атаку на другой фланг. Но эту атаку вы можете парировать ходом ладьи с8 — с4. Это ему будет стоить потери двух темпов и одной пешки и, таким образом, всего преимущества. В таком случае у вас обоих окажутся проходные пешки, и если вы будете правильно защищаться, то сможете свести партию к ничьей. Это лучшее, что вы можете сделать.

Мы снова остолбенели. Точность и быстрота его расчетов ошеломили нас. Похоже было, что он читает ходы по книжке. Благодаря его вмешательству игра принимала неожиданный оборот. Возможность сыграть вничью с чемпионом мира — это было так заманчиво! Как сговорившись, мы все отодвинулись в сторону, чтобы не мешать ему смотреть на доску.

Мак-Коннор переспросил:

— Значит, короля с g8 на h7?

— Конечно. Сейчас самое главное — уклониться.

Мак-Коннор повиновался, и мы постучали по стакану.

Чентович подошел своей обычной ленивой походкой и посмотрел, какой ход мы сделали. Потом он передвинул пешку

с h2 на h4 на королевском фланге, точно так, как предсказывал наш таинственный помощник.

А тот уже шептал взволнованно:

— Ладью вперед, ладью с с8 на с4, тогда ему придется сначала защитить пешку. Но это ему не поможет. Не обращайтесь внимания на его проходную пешку, берите конем с3 — d5, и тогда равновесие восстановится. Атакуйте вместо того, чтобы защищаться.

Мы не понимали, о чем он говорит. Он с таким же успехом мог говорить с нами по-китайски. Мак-Коннор, как зачарованный, не размышлял, делал то, что ему приказывали. Мы снова застучали по стакану, призывая Чентовича. И тут он, внимательно вглядываясь в доску, впервые помедлил, перед тем как пойти. Ход он сделал как раз тот, который предугадал незнакомец. Он уже повернулся, чтобы идти, но тут произошло нечто новое и непредвиденное: Чентович поднял глаза и оглядел наши ряды. Вне всякого сомнения, он хотел выяснить, кто же это из нас вдруг оказал ему такое энергичное сопротивление.

Наше волнение возрастало с каждой минутой. Раньше мы играли без серьезной надежды на выигрыш, но теперь мысль о том, что мы можем сломить холодную надменность Чентовича, воодушевляла всех. Не теряя ни минуты, наш новый друг указал следующий ход. Можно было приглашать Чентовича продолжить игру. Дрожащей рукой я ударил ложкой по стакану, и тут настал наш черед торжествовать: Чентович, до тех пор игравший стоя, помедлил, помедлил и в конце концов сел за стол. Опустился он на стул медленно и тяжело, но этого было вполне достаточно для того, чтобы мы наконец оказались игроками «одного уровня», пусть даже только в прямом смысле этого слова. Мы заставили его обращаться с нами, как с равными, по крайней мере, внешне. Он сидел неподвижно, пристально смотря на доску и обдумывая ход; его тяжелые веки почти совсем прикрыли глаза. От напряженного раздумья рот его слегка приоткрылся, это придавало ему глуповатый вид. Чентович думал несколько минут, потом сделал ход и встал.

И сразу же наш друг зашептал:

— Пат. Хорошо задумано. Но не идите на это. Форсируйте размен. Обязательно размен! После этого будет ничья, он ничего не сможет сделать.

Мак-Коннор повиновался. Последующие маневры обоих игроков (мы-то все уже давно превратились в простых статистов) состояли в непонятных для нас передвижениях фигур. Ходов через семь Чентович, подумав немного, поднял на нас глаза и сказал: «Ничья».

На мгновение воцарилась полная тишина. Вдруг сразу стали слышны и шум моря, и радио в соседней гостиной, и каждый шаг гуляющих на верхней палубе, и тонкий свист ветра в оконных рамах. Мы не смели пошевелиться. Все произошло так внезапно, мы просто были напуганы: неизвестно откуда взявшийся человек заставил подчиниться своей воле чемпио-на мира, и к тому же в наполовину проигранной партии. Только Мак-Коннор шумно перевел дыхание, откинулся назад, и с его губ сорвалось удовлетворенное: «Ага!» Я снова внимательно посмотрел на Чентовича. Мне еще раньше показалось, что к концу игры он побледнел. Но чемпион мира умел держать себя в руках. По-прежнему сохраняя равнодушный вид, он сгреб твердой рукой фигуры с доски и спросил:

— Желаете сыграть третью партию, господа?

Вопрос был задан спокойным, чисто деловым тоном, но удивительно было то, что чемпион, как бы совершенно не замечая Мак-Коннора, пристально смотрел в глаза нашему избавителю. Как лошадь по уверенной посадке узнает нового, опытного всадника, так и Чентович разгадал, кто, собственно, был его настоящим и единственным противником. Вслед за ним и мы невольно устали на незнакомца. Но не успел тот ответить, как, охваченный честолюбивым азартом, Мак-Коннор торжествующе воскликнул:

— Конечно, без всякого сомнения! Но только на этот раз играть будет этот господин. Он один против Чентовича.

И тут произошло нечто совсем непредвиденное. Незнакомец, который все еще с непонятным напряжением смотрел на

пустую доску, вздрогнул, услышав это энергичное заявление. Видя, что все взгляды устремлены на него, он смутился.

— Ни в коем случае, господа, — сказал он, запинаясь, в явном замешательстве, — это невозможно... Вам придется обойтись без меня... Ведь прошло уже двадцать лет, нет, даже двадцать пять лет с тех пор, как я сидел за шахматной доской. Я только сейчас понял, как невежливо поступил, вмешавшись без разрешения в вашу игру. Прошу вас извинить меня за дерзость. Больше я не буду вам мешать.

И прежде чем мы успели прийти в себя от изумления, он повернулся и вышел из салона.

— Но это невозможно! — грохотал пылкий Мак-Коннор, барабанив кулаком по столу. — Совершенно исключено, чтобы он двадцать пять лет не играл в шахматы! Да ведь он предвидел каждую комбинацию, каждый встречный маневр, по крайней мере, за пять-шесть ходов. Из пальца этого не высосешь. Это просто невероятно, не так ли?

С последним вопросом Мак-Коннор невольно обратился к Чентовичу, но чемпион не утратил ледяного спокойствия.

— Не могу ничего сказать на этот счет. Во всяком случае, в игре этого господина было что-то не совсем обычное и интересное; потому-то я намеренно дал ему возможность разыграть партию, как ему хотелось.

Он тут же лениво поднялся и деловито закончил:

— Может быть, этот господин или вы, господа, пожелаете завтра сыграть еще партию, — с трех часов я буду в вашем распоряжении.

Мы не могли подавить легких улыбок. Каждый из нас прекрасно понимал, что отнюдь не великодушные заставило Чентовича уступить победу нашему неизвестному помощнику. Замечание его было не чем иным, как наивной попыткой скрыть свое поражение, и нам только еще больше захотелось стать свидетелями окончательного посрамления этого высокомерного гордеца. Всех нас, праздных путешественников, вдруг охватил дикий, честолюбивый азарт. Нас пленяла мысль, что здесь, на нашем пароходе, в открытом море, пальма

первенства будет вырвана из рук чемпиона и телеграфные агентства разнесут весть об этом событии по всему миру. К этому нужно добавить, что нас заинтриговало таинственное появление нашего спасителя, его вмешательство в игру в самый критический момент, контраст между его болезненной застенчивостью и непоколебимой уверенностью профессионала. Кто же этот незнакомец? Может быть, на наших глазах случайно открылся миру доселе неизвестный шахматный гений? Или это знаменитый маэстро, по какой-либо причине не пожелавший открыть свое имя? Мы горячились, на все лады обсуждая каждую из этих возможностей. Самые немислимые предположения уже не казались нам невероятными, когда мы вспоминали его непонятную робость, его неожиданное заявление, что он не играл уже много лет, и сопоставляли все это с очевидным мастерством его игры. В одном, однако, мы сходились все: надо сделать так, чтобы турнир продолжался. Мы решили приложить все усилия и уговорить незнакомца играть на другой день против Чентовича. Мак-Коннор брался оплатить расходы, а меня в качестве соотечественника — мы тем временем узнали у стюарда, что незнакомец был австрийцем, — уполномочили передать ему нашу общую просьбу.

Мне не понадобилось много времени, чтобы найти его. Он читал, растянувшись в шезлонге на верхней палубе. Я воспользовался этим, чтобы хорошенько рассмотреть его. Он лежал, откинувшись на подушку, и вид у него был очень утомленный. Меня поразило полное отсутствие красок в его сравнительно молодом, с резкими чертами лице. Виски у него были совершенно белые. Не знаю почему, но у меня создалось впечатление, что постарел он внезапно. Как только я подошел к нему, он вежливо встал и представился. Имя, которое он назвал, принадлежало семье, пользовавшейся большим уважением в старой Австрии. Я вспомнил, что один из членов этой семьи был близким другом Шуберта, другой — придворным врачом старого императора. Доктор Б. был потрясен, когда я повторил ему нашу просьбу сыграть с Чентовичем. Оказалось, что он и не подозревал, что играл, да еще с таким успехом,

против прославленного чемпиона мира. Почему-то эта подробность произвела на него особенно сильное впечатление. Он снова и снова переспрашивал, уверен ли я, что его противником действительно был знаменитый обладатель международных призов. Скоро я понял, что это обстоятельство сильно облегчает мою миссию. Однако, чувствуя, что имею дело с очень деликатным и воспитанным человеком, я решил не упоминать, что в случае его поражения Мак-Коннор понесет материальный ущерб. Поколебавшись немного, доктор Б. согласился принять участие в матче, но просил предупредить моих приятелей, чтобы они не возлагали слишком больших надежд на его способности.

— Потому что, — добавил он со странной улыбкой, — я, право, не знаю, смогу ли играть по всем правилам. Уверяю вас, когда я упомянул, что не притрагивался к шахматам с гимназических времен, то есть больше двадцати лет, я сказал это не из ложной скромности. И даже в те времена я ничего не представлял собой как шахматист.

Это было сказано так просто, что я ни на минуту не усомнился в искренности его слов. Но все же я не мог не возразить ему, что меня поразила точность, с какой он ссылался на мельчайшие подробности партий, сыгранных разными чемпионами. По всей вероятности, он много времени посвятил изучению теории шахматной игры?

Доктор Б. снова улыбнулся своей непонятной улыбкой:

— Много времени? Видит Бог, это правда. Шахматам я посвятил очень много времени. Но это произошло при особых, я бы сказал, исключительных обстоятельствах. Это довольно запутанная история и может сойти за иллюстрацию к повести о нашей прелестной эпохе. Может быть, вы запасетесь терпением на полчаса?..

Он указал на соседний шезлонг. Я с удовольствием принял приглашение. Поблизости никого не было. Доктор Б. снял очки, положил их рядом и начал:

— Вы любезно заметили, что моя фамилия вам, уроженцу Вены, знакома. Полагаю, однако, что вы вряд ли слышали о



юридической конторе, которую возглавляли сначала мы с отцом, а потом я один. Мы не брались за дела, которые вызывали шум в газетах, и принципиально избегали новых клиентов. Собственно говоря, мы вообще не занимались обычной юридической практикой, а ограничивались тем, что давали юридические советы и управляли имуществом богатых монастырей, с которыми был близко связан мой отец, в прошлом депутат клерикальной партии. Кроме того, теперь, когда монархия уже стала достоянием истории, об этом можно говорить открыто, — нам было доверено и управление капиталами некоторых членов императорского дома.

Связи нашей семьи с двором и церковью (один мой дядя был лейб-медиком императора, а другой — аббатом в Зайтенштеттене) восходят еще к предыдущим поколениям; нам оставалось только сохранять и поддерживать эти связи. Доверие клиентов перешло к нам по наследству, и вместе с доверием перешли и несложные, спокойные обязанности. От нас требовались главным образом скромность и преданность — качества, которыми в полной мере обладал мой отец. Только благодаря его осмотрительности наши клиенты сохранили значительные ценности в годы инфляции и после переворота. Потом, когда власть в Германии захватил Гитлер и началась конфискация имущества церковей и монастырей, из-за границы были предприняты некоторые шаги для спасения хотя бы движимого имущества. Переговоры велись через нас, и сделки между императорским домом и Ватиканом, которые никогда не станут достоянием гласности, были известны лишь нам двоим. Контора наша была совершенно незаметна, у нас не было даже вывески на двери, мы нарочито держались вдали от монархических кругов, и это ограждало нас от навязчивых расспросов. Австрийские власти и не подозревали, что в течение всех этих лет тайные курьеры императорской семьи доставляли в нашу скромную контору на четвертом этаже чрезвычайной важности письма и увозили ответы на них.

Известно, что еще задолго до того, как нацисты двинули

свои армии против всего света, они начали создавать во всех соседних с Германией странах столь же хорошо вышколенные и не менее опасные военизированные легионы из людей ободенных, отверженных и обиженных. В каждой конторе, на каждом предприятии существовали их так называемые ячейки, у них были шпионы и соглядатаи повсюду, включая личные резиденции Дольфуса и Шушнига. Имелся их агент и в нашей невзрачной конторе, о чем я, увы, узнал слишком поздно. Это был жалкий и бездарный чинуша, которого я взял по рекомендации одного священника, чтобы придать нашей конторе вид настоящего делового учреждения. Давали мы ему только самые невинные поручения: он отвечал на телефонные звонки и подшивал бумаги, разумеется, бумаги, не имевшие сколько-нибудь серьезного значения. Ему не разрешалось вскрывать корреспонденцию. Самые важные письма печатал я сам и только в одном экземпляре. Все основные документы я держал у себя дома, а тайные переговоры вел только в монастырской обители или во врачебном кабинете своего дяди. Благодаря этим мерам предосторожности шпион, приставленный к нам, не мог узнать ничего существенного. Но, по-видимому, несчастная случайность открыла глаза этому тщеславному человечку, и он понял, что мы ему не доверяем, что за его спиной творятся интересные вещи. Возможно, что в мое отсутствие один из курьеров по небрежности сказал «его величество» вместо условного «барон Берн». Не исключено также, что негодяй вскрывал тайком письма. Как бы то ни было, еще до того, как я начал подозревать что-нибудь, он уже получил приказ из Мюнхена или Берлина вести за нами слежку. Уже гораздо позже, после своего ареста, я вспомнил, как он, поначалу ленивый и бездеятельный, стал проявлять вдруг в последние месяцы необычайное рвение: он все время настойчиво предлагал мне отправлять мои письма. Признаюсь, я допустил известную неосторожность, но разве не сумел Гитлер обойти и перехитрить крупнейших дипломатов и генералов нашего времени?

Гестапо следило за мной неотступно, — это наглядно под-

тверждает тот факт, что эсэсовцы арестовали меня вечером в тот самый день, когда отрекся Шушниг, и за день до того, как Гитлер вошел в Вену. К счастью, услышав по радио прощальную речь Шушнига, я успел сжечь все наиболее важные документы, а другие, включая расписки на ценные бумаги, находившиеся за границей и принадлежавшие монастырям и двум эрцгерцогам, спрятал в корзину с грязным бельем, которую моя верная экономка отнесла в дом дяди. Все это было сделано буквально в последнюю минуту, когда гитлеровцы уже ломились ко мне в дом.

Доктор Б. прервал свой рассказ, чтобы зажечь сигару. Вспыхнула спичка, и я увидел, что правый уголок рта у доктора нервно подергивается. Я уже раньше заметил это мимолетное, еле уловимое подергивание, оно повторялось каждые две-три минуты и придавало его лицу чрезвычайно беспокойное выражение.

— Вы, наверное, ждете, что я расскажу о концентрационном лагере, в который были брошены все приверженцы старой Австрии и которые подвергались там мучениям, пыткам и унижениям. Ничего подобного со мной не случилось. Я был отнесен к особой категории. Меня не поместили с теми несчастными, на которых гитлеровцы всеми способами — терзая их душу и тело — вымещали накопившуюся злобу; я был включен в небольшую группу людей, из которых нацисты рассчитывали выжать деньги или важные сведения. Моя скромная персона сама по себе, конечно, не представляла для гестапо никакого интереса, но они догадывались, что мы с отцом были подставными лицами, опекунами имущества и доверенными их злейших врагов. Они хотели заставить меня передать им в руки документы, уличающие монастыри, чтобы выдвинуть против них обвинение в сокрытии капитала; они хотели получить материалы против императорского дома и всех приверженцев монархии. Они подозревали, и не без основания, что значительная часть фондов, которые проходили через наши руки, была хорошо припрятана и недоступна для их посягательств. Потому-то они и арестовали меня в первый же день:

они рассчитывали, применив испытанные методы, добиться от меня нужных сведений.

По этой причине люди моей категории, из которых надо было выжать деньги или важные документы, не были сосланы в концентрационные лагеря. Вы, вероятно, помните, что наш канцлер, а также барон Ротшильд, от родственников которого они надеялись получить миллионы, не были брошены в лагерь за колючую проволоку; напротив, им создали особые условия: они были помещены в отдельные комнаты в отеле «Метрополь», где находился штаб гестапо. Той же чести удостоился и я, хотя ничего собой не представлял.

Отдельная комната в отеле — звучит необычайно гуманно, не правда ли? Но поверьте, они вовсе не собирались создавать человеческие условия. Вместо того, чтобы загнать нас, «видных людей», в ледяные бараки по двадцать человек в комнатухе, они представляли нам сравнительно теплые номера в отеле, но при этом они руководствовались тонким расчетом. Получить от нас нужные сведения они намеревались, не прибегая к обычным избиениям и истязаниям, а применив более утонченную пытку — пытку полной изоляцией. Они ничего с нами не делали. Они просто поместили нас в вакуум, в пустоту, хорошо зная, что сильнее всего действует на душу человека одиночество. Полностью изолировав нас от внешнего мира, они ожидали, что внутреннее напряжение скорее, чем холод и плети, заставит нас заговорить.

На первый взгляд комната, в которую меня поместили, не производила неприятного впечатления: в ней были дверь, стол, кровать, кресло, умывальник, зарешеченное окно. Но дверь была заперта днем и ночью; на столе — ни книг, ни газет, ни карандашей, ни бумаги; перед окном — кирпичная стена; мое «я» и мое тело находились в пустоте. У меня отобрали все: часы — чтобы я не знал времени; карандаш — чтобы я не мог писать, перочинный нож — чтобы я не мог вскрыть вены; даже невинное утешение — сигареты были отняты у меня. Единственным человеческим существом, которое я мог видеть, был тюремный надзиратель, но ему запрещалось разговаривать со

мною и отвечать на мои вопросы. Я не видел человеческих лиц, не слышал человеческих голосов, с утра и до ночи и с ночи до утра я не имел никакой пищи для глаз, для слуха и для остальных моих чувств. Я был наедине с самим собой и с немногими неодушевленными предметами — столом, кроватью, окном, умывальником. Я был один, как водолаз в батискафе, погруженный в черный океан безмолвия и притом смутно сознающий, что спасительный канат оборван и что его никогда не извлекут из этой безмолвной глубины.

Я ничего не делал, ничего не слышал, ничего не видел. Особенно по ночам. Это была пустота без времени и пространства. Можно было ходить из угла в угол, и за тобой все время следовали твои мысли. Туда и обратно, туда и обратно... Но даже мыслям нужна какая-то точка опоры, иначе они начнут бессмысленно кружиться вокруг самих себя: они тоже не выносят пустоты. С утра и до вечера ты все ждал чего-то, но ничего не случалось. Ты ждал, ждал — и ничего не происходило. И так все ждешь, ждешь, все думаешь, думаешь, думаешь, пока не начинает ломить в висках. Ничего. Ты по-прежнему один. Один. Один...

Так продолжалось две недели. Я жил вне времени, вне жизни. Если б началась война, я б никогда не узнал об этом: мой мир ограничивался столом, дверью, кроватью, умывальником, креслом, окном, стенами. Каждый раз, когда я смотрел на обои, мне казалось, что кто-то повторяет их зигзагообразный рисунок стальным резцом у меня в мозгу.

Наконец начались допросы. Вызывали внезапно — я не знал, днем то было или ночью. Идти приходилось неизвестно куда, через несколько коридоров. Потом нужно было ждать неизвестно где. Наконец вы оказывались перед столом, за которым сидели двое в форме. На столе лежали кипы бумаг — документы, содержания которых вы не знали; потом начинались вопросы: нужные и ненужные, прямые и наводящие, вопросы-ширмы и вопросы-ловушки. Пока вы отвечали на них, чужие недобрые пальцы перелистывали бумаги, и вы не знали, что в них было написано, и чужая недобрая рука запи-

сывала ваши показания, и вы не знали, что, собственно, она записывает. Но самым страшным в этих допросах было для меня то, что я не знал и не мог узнать, что именно уже известно гестапо об операциях, производившихся в моей конторе, и что они еще только стараются выпытать у меня. Я уже говорил вам, что в последнюю минуту вручил своей экономке для передачи дяде самые важные документы. Получил ли он эти документы? Что именно знал мой служащий? Какие письма он перехватил? Что могли они выведать у какого-нибудь туловатого священника в одном из монастырей, делами которых мы занимались?

А они все спрашивали и спрашивали. Какие ценные бумаги покупал я для такого-то монастыря? С какими банками я имел деловые сношения? Знал ли я такого-то или нет? Переписывался ли я со Швейцарией и еще Бог знает с каким местом? Я не мог предвидеть, до чего они уже докопались, и каждый мой ответ был чреват для меня грозной опасностью. Признавшись в чем-нибудь, чего они еще не знали, я мог без нужды подвести кого-нибудь под удар; продолжая все отрицать, я вредил себе.

Но допросы были еще не самым худшим. Хуже всего было возвращаться после допроса в пустоту — в ту же комнату, с тем же столом, той же кроватью, тем же умывальником, теми же обоями. Оставшись один, я сразу начинал перебирать в памяти все, что происходило на допросе, размышлять, как бы я мог поумнее ответить, прикидывать, что я скажу в следующий раз, чтобы рассеять подозрение, вызванное моим необдуманным замечанием.

Я все это перебирал в уме, проверял, взвешивал каждое слово, сказанное следователю, восстанавливал в памяти его вопросы и свои ответы. Я старался разобраться, какая же часть моих показаний заносится в протокол, хотя прекрасно сознавал, что рассчитать и установить все это просто невозможно. Как только я оставался один в пустоте, мысли начинали безостановочно вертеться в моей голове, рождая все новые предположения, отравляя даже сон. Каждый раз вслед за допросом

в гестапо за работу безжалостно принимались мои собственные мысли; они вновь воспроизводили муки и терзания допроса; и это было, пожалуй, еще более ужасно, потому что у следователя все, по крайней мере, кончалось через некоторое время, а повторение только что пережитого в моем сознании, скованном коварным одиночеством, не имело конца. Со мной по-прежнему были стол, умывальник, кровать, обои, окно. Внимание не отвлекалось ничем, не было ни книги, ни журнала, ни нового лица, ни карандаша, которым можно было бы что-то записать, ни спички, чтобы повертеть в пальцах, ничего, совсем ничего.

Тут только я полностью осознал, с какой дьявольской изобретательностью, с каким убийственным знанием человеческой психологии была придумана эта система тюремной одиночки в отеле. В концентрационном лагере, наверно, пришлось бы возить на тачке камни, стирая руки до кровавых мозолей, пока не закоченеют ноги, жить в вонючей и холодной камерке с двумя десятками таких же несчастных. Но ведь там вокруг были бы человеческие лица, пространство, тачка, деревья, звезды, там было бы на чем остановить взгляд... Здесь же вокруг никогда ничего не менялось, все оставалось до умопомрачения неизменным. Ничего не менялось в моих мыслях, в моих навязчивых идеях и болезненных расчетах. Этого они и добивались: они хотели, чтобы мысли душили меня, душили до тех пор, пока я не начну задыхаться. Тогда у меня не будет иного выхода, как сдаться и наконец признать все, что им было нужно, и выдать людей и документы.

Постепенно я стал чувствовать, что под страшным давлением пустоты нервы мои начинают сдавать. Понимая, как это опасно, я изо всех сил напрягал волю и, чтобы окончательно не потерять контроль над собой, старался хоть чем-нибудь заняться. Я декламировал стихи, пытался восстановить в памяти все, что когда-то знал наизусть, — народные песни, стишки детских лет, Гомера, которого мы учили в гимназии, параграфы Гражданского уложения. Потом я стал решать арифметические задачки, складывал и делил в уме всевоз-

можные числа, но в пустоте моему сознанию не за что было уцепиться. Я уже не мог ни на чем сосредоточиться. В мозгу возникала одна и та же мысль и стремительно начинала работать. Что они знают? Что я сказал вчера, что я должен сказать в следующий раз?

Это состояние, передать которое невозможно, длилось четыре месяца. Четыре месяца — это легко написать, всего двенадцать букв; легко и сказать — всего несколько слогов; губы вымолвят в четверть секунды эти звуки: четыре месяца! Но кто сможет охватить и измерить, как бесконечно долго тянулось это время вне времени и пространства? Этого не расскажешь, и не опишешь, и никому не объяснишь, когда вокруг одна пустота, пустота и все тот же стол, и кровать, и умывальник, и обои, и молчание, и все тот же служитель, который, не поднимая глаз, просовывает в дверь еду, все те же мысли, которые по ночам преследуют тебя до тех пор, пока не начинаешь терять рассудок.

По некоторым мелким признакам я с ужасом понял, что мозг мой перестает действовать нормально. Вначале я приходил на допросы с совершенно ясной головой. Я давал показания спокойно и осторожно и отчетливо сознавал, что я должен говорить и чего не должен. Теперь же все, что я мог, — это, запинаясь, связывать простейшие фразы, потому что глаза мои неотступно следили за пером, которое летело по бумаге, записывая показания, и мне самому хотелось нестись вдогонку за моими собственными словами. Я чувствовал, что перестаю владеть собой. Я понимал, что приближается момент, когда для своего спасения я расскажу все, что знаю, а может быть, и больше. Для того чтобы вырваться из этой удушающей пустоты, я предам двенадцать человек, выдам их тайны, выдам без всякой выгоды для себя, получив, может быть, только короткую передышку.

Однажды вечером дошло до того, что, когда тюремный надзиратель принес мне еду, меня охватил такой приступ отчаяния, что я вдруг закричал ему вслед:

— Отведите меня к следователю! Я хочу во всем признать-



ся! Я скажу им, где находятся бумаги и деньги! Я все скажу им! Все!

Но, к счастью, он не слышал меня и не хотел слышать.

И вот в этот момент крайней безнадежности случилось нечто непредвиденное. Произошло событие, которое обещало избавление, пускай временное, но все же избавление. Был конец июля, день был темный, зловещий, дождливый. Все эти подробности я отчетливо помню, потому что в окна коридора, по которому меня вели на допрос, барабанил дождь. Мне пришлось дожидаться в прихожей перед кабинетом следователя. Перед допросом всегда заставляли подолгу ждать, это входило в их систему. Сперва взвинчивали нервы внезапным вызовом среди ночи, потом, когда вы брали себя в руки и подготавливались к испытанию, когда ваши воля и ум были напряжены и готовы к сопротивлению, вас заставляли ждать, стоять перед закрытой дверью час, два, три часа. Эта бессмысленная пауза была рассчитана на то, чтобы утомить вас физически и сломить морально. В тот четверг, 27 июля, — есть особые причины, почему я так хорошо запомнил это число — они продержали меня особенно долго; часы пробили дважды, а я все ждал, стоя в прихожей. Само собой разумеется, мне никогда не разрешали садиться, и за два часа ноги мои совершенно одеревенели. В комнате, где я ждал, висел календарь. Мне трудно объяснить вам, до чего мне хотелось увидеть что-то напечатанное, что-то написанное, поэтому-то я как зачарованный уставился на эти цифры и буквы: «27 июля». Я просто пожирал их глазами. Потом я снова ждал и еще ждал, глядя на дверь, соображая: когда же она наконец отворится? Я прикидывал в уме, какие вопросы зададут мне на этот раз мои инквизиторы, но прекрасно понимал, что спросят они что-то совершенно противоположное тому, к чему я подготовился. И все-таки, несмотря ни на что, я благословлял и эту мучительную неизвестность, и физическую усталость: ведь я находился в другой, не своей комнате! Эта комната была чуть больше моей, с двумя окнами вместо одного, без кровати, без умывальника и без миллион раз виденной трещины на подоконни-

ке. Дверь была окрашена в другой цвет, у стены стояло другое кресло, а налево шкафчик для бумаг и вешалка, на которой висели три или четыре мокрые шинели, шинели моих учителей. Передо мной было что-то новое — свежее зрелище для истосковавшихся глаз, и я жадно впитывал все подробности.

Я рассматривал каждую складку на шинелях; я заметил, например, что на одном из мокрых воротников повисла капля, и — вам это, наверное, покажется смешным — я с бессмысленным волнением ждал, оторвется ли в конце концов эта капля и скатится вниз или сумеет преодолеть земное притяжение и удержится на месте. Честное слово, в течение нескольких минут я, затаив дыхание, наблюдал за этой каплей, словно от нее зависела моя жизнь. Когда капля наконец скатилась, я принялся пересчитывать пуговицы на шинелях, — на одной было восемь, на другой — столько же, на третьей — десять. Потом я сравнивал знаки отличия. Даже не стану пытаться рассказать вам, как развлекали меня эти идиотские, ненужные мелочи, как они дразнили и насыщали мои изголодавшиеся глаза. И вдруг совершенно неожиданно я увидел нечто такое, что окончательно заворожило мой взгляд. Я заметил, что боковой карман одной из шинелей слегка оттопыривается. Я придвинулся ближе. По прямоугольным очертаниям того, что лежало в кармане, я догадался, что это книга. Колени мои задрожали. КНИГА! Вот уже четыре месяца, как я не держал в руках книги, так что сама мысль о том, что слова могут складываться в строчки, а строчки — составлять страницы, печатные листы и, наконец, книгу — книгу, в которой можно найти и запомнить новые, неизвестные мне доселе, интересные мысли, — все это одновременно возбуждало и одурманивало меня.

Я, как загипнотизированный, глядел на оттопыренный карман, в котором лежала книга, глядел с такой страстью, будто хотел прожечь своим взглядом дыру в шинели. И наконец, я уже не мог совладать со своим нетерпением. Руки мои дрожали при мысли о том, что я могу дотронуться до книги, хотя бы

через матерю шинели. Не отдавая себе отчета в том, что я делаю, я придвинулся еще ближе.

К счастью, надзиратель не обращал внимания на мое не совсем обычное поведение; по всей вероятности, он находил естественным, что человеку, простоявшему на ногах два часа, хочется опереться о стену. И вот я уже стоял совсем близко от шинели. Чтобы иметь возможность незаметно дотронуться до нее, я заложил руки за спину. Я потрогал карман и убедился, что внутри действительно было что-то прямоугольное, гнущееся, мягко похрустывающее — книга, книга! И вдруг меня ужалила мысль: «Укради эту книгу. Если тебе удастся это сделать, ты сможешь спрятать ее в своей камере и читать, читать, читать, наконец-то снова читать!» Едва эта мысль возникла у меня в голове, как яд ее начал молниеносно действовать. У меня зазвенело в ушах, заколотилось сердце, похолодевшие пальцы отказались повиноваться. Но когда первоначальное оцепенение миновало, я незаметно прижался к шинели и, ни на мгновение не сводя глаз с надзирателя, принялся спрятанными за спину руками вытаскивать книгу из кармана. Выше, выше, еще выше, потом рывок — я осторожно и легко потянул, и в руках у меня очутилась небольшая книжонка.

Только тут я испугался того, что наделал. Отступить было нельзя. Что мне оставалось делать? Я засунул книгу сзади под брюки так, чтобы ее придерживал пояс, потом постепенно передвинул на бедро. Теперь я мог удерживать книгу на месте, прижав по-военному руки по швам. Нужно было попробовать. Я шагнул от вешалки, два шага, три шага. Прекрасно! Если только я буду крепко прижимать пояс, книгу можно не выронить и унести с собой.

Потом начался допрос. Он потребовал от меня большего напряжения, чем обычно: отвечая на вопросы, я не думал над своими ответами, сосредоточив все усилия на том, чтобы не дать выскользнуть книге. К счастью, допрос на этот раз продолжался недолго, и мне удалось благополучно доставить книгу в свою комнату. Не буду утомлять вас подробностями; ска-

жу только, что на обратном пути в коридоре был очень опасный момент: книга выскользнула из-под пояса в брюки, и мне пришлось симулировать бурный припадок кашля, чтобы согнуться в три погибели и снова затолкать ее под пояс. Но каково же было мое счастье, когда я принес ее в свою преисподнюю и наконец остался один, но я уже больше не был один.

Вы, наверное, думаете, что первым моим побуждением было схватить книгу, просмотреть ее, начать читать? Ничего подобного. Прежде всего я принялся смаковать радость обладания ею; мне хотелось долго-долго щекотать нервы, размышляя, что за книга украдена мною, хотелось, чтобы она была с очень мелким, убористым шрифтом, чтобы в ней было много-премного букв и много-премного тоненьких страничек, чтобы я мог читать ее как можно дольше. Мне хотелось, чтобы чтение этой книги требовало от меня умственного напряжения, — мне не надо было ничего легкого, пошлого. Хорошо, если бы из нее можно было выучить что-нибудь наизусть, скажем, стихи. Хорошо, если бы это оказался — дерзкая мечта! — Гомер или Гете. Наконец я больше не мог совладать со своим жадным любопытством. Растянувшись на кровати, чтобы не вызвать подозрений у надзирателя — на случай, если бы он неожиданно открыл дверь, — я вытащил из-за пояса книгу.

Первый взгляд, брошенный на нее, не просто разочаровал меня; я ужасно рассердился: моя добыча, похищая которую я подвергался такой чудовищной опасности и которая породила такие пылкие надежды, оказалась всего лишь пособием по шахматной игре, сборником ста пятидесяти шахматных партий, сыгранных крупнейшими мастерами. Если бы я не был окружен со всех сторон стенами и решетками, я бы выбросил книгу в припадке ярости в окно. Какая польза, ну какая польза была мне от подобной ерунды? Как большинство гимназистов, я изредка для препровождения времени играл в шахматы. Но для чего нужна была мне эта теоретическая абракадабра?

В шахматы нельзя играть в одиночку, тем более без фигур и без доски. Я перелистывал в раздражении книгу, думая найти хоть что-либо для чтения — какое-нибудь введение или

пояснение, — но не нашел ничего, кроме ровных квадратных таблиц, воспроизводящих партии мастеров с их непонятными для меня обозначениями: a2 — a3, kf1 — g3 и так далее. Все это было для меня чем-то вроде алгебраических формул, к которым я не имел ключа. Только постепенно догадался я, что буквы a, b и c обозначали вертикальные ряды, а цифры 1 — 8 — горизонтальные и что они указывали на положение в данный момент каждой отдельной фигуры. Значит, эти чисто графические диаграммы все-таки что-то говорили.

«Кто знает, — думал я, — если мне удастся смастерить подобие шахматной доски, может быть, я смогу разыгрывать эти партии». Клетчатая простыня показалась мне даром божьим. Я сложил ее определенным образом, и у меня оказалось поле, расчерченное на шестьдесят четыре квадрата. Я вырвал из книжки первый лист и спрятал ее под матрац. Потом принялся лепить из хлебного мякиша короля, ферзя и остальные фигуры (результаты, конечно, были смехотворны) и, наконец, преодолев несчетные трудности, смог воспроизвести на простыне одну из позиций, приведенных в книге. Но когда я попытался разыграть всю партию, выяснилось, что несчастные фигурки, половину которых в отличие от «белых» я замазал пылью, совершенно не годились для моей цели. В первые дни вместо игры получалась сплошная неразбериха, я начинал партию снова и снова — пять, десять, двадцать раз. Но у кого еще было столько лишнего свободного времени, как у меня, пленника окружавшей меня пустоты? У кого еще могло быть такое упорное желание добиться своего и такое терпение?

Мне потребовалось шесть дней, чтобы без ошибок довести до конца одну партию. Через восемь дней я только один раз использовал простыню, чтобы закрепить в памяти расстановку шахматных фигур, а еще через восемь дней она не нужна была. Абстрактные понятия a1, a2, c3, c8 автоматически принимали в моем воображении четкие пластические образы. Переход этот совершился без всякого затруднения; силой своего воображения я мог воспроизвести в уме шахматную доску и фигуры и благодаря строгой определенности правил сразу же

мысленно охватывал любую комбинацию. Так опытный музыкант, едва взглянув на ноты, слышит партию каждого инструмента в отдельности и все голоса вместе.

Еще через две недели я без всякого труда мог сыграть любую партию из книги по памяти или, говоря языком шахматистов, вслепую. И только тогда я полностью осознал, какой замечательный дар принесла мне моя дерзкая кража. Ведь у меня появилось занятие, пускай бессмысленное и бесцельное, но все же занятие, заполнявшее окружающую пустоту. Сто пятьдесят партий, разыгранных мастерами, явились оружием, при помощи которого я мог бороться против угнетающего однообразия времени и пространства.

С тех пор, стремясь сохранить очарование новизны, я начал точно делить свой день: две партии утром, две партии после обеда и краткий обзор партий вечером. Так мой день, до этого бесформенный, как студень, оказался заполненным. Мое новое занятие не утомляло меня; замечательная особенность шахмат состоит в том, что ум, строго ограничив поле своей деятельности, не устает даже при очень сильном напряжении, напротив, его энергия обостряется, он становится более живым и гибким.

Сначала я разыгрывал партии механически, но постепенно, снова и снова повторяя мастерски разыгранные комбинации и атаки, я начал находить в этом эстетическое удовольствие. Я научился различать тонкости, уловки, хитрости нападения и защиты, уразумел, как можно предвидеть развитие игры за несколько ходов вперед, как намечается и осуществляется атака и контратака, и скоро мог распознавать индивидуальную манеру игры каждого чемпиона, распознавать так же безошибочно, как по нескольким строчкам стихотворения можно назвать поэта.

И то, что вначале служило только средством коротать время, стало наслаждением, и непревзойденные стратеги шахматного искусства — Алехин, Ласкер, Боголюбов, Тартаковер, — как дорогие друзья, разделяли со мной одиночество заключения.

Да, теперь уже я не был одинок в своей безмолвной камере. Регулярные занятия шахматами способствовали тому, что мои начавшие было сдавать умственные способности начали восстанавливаться. Освеженный мозг снова работал, как прежде, и даже стал еще более гибким и острым. Прежде всего восстановленная способность ясно и логично мыслить сказалась на допросах. За шахматной доской я бессознательно выработал в себе умение защищаться против ложных угроз и замаскированных выпадов, и с тех пор следователи уже не могли захватить меня врасплох. Мне даже казалось, что гестаповцы начали относиться ко мне с известным уважением. Их, возможно, удивляло, из какого неведомого источника черпаю я силы для дальнейшего сопротивления, когда уже столько людей было сломлено у них на глазах.

Счастливое время, когда я систематически, день за днем, разыгрывал эти сто пятьдесят партий, длилось два с половиной — три месяца. А потом я неожиданно опять очутился на мертвой точке. Передо мной снова была пустота. К этому моменту я уже по двадцать — тридцать раз проштудировал каждую партию. Прелесть новизны была утрачена, комбинации больше не озадачивали меня, не заражали энергией. Было бесцельно повторять без конца партии, в которых я давно уже знал наизусть каждый ход. Стоило мне начать, и вся игра разворачивалась передо мной, как на ладони, в ней не было ничего неожиданного, напряженного, неразгаданного. Вот если бы достать новую книгу, с новыми партиями и опять заставить работать свой мозг! Но это было невозможно, и у меня оставался только один выход: вместо старых, хорошо знакомых партий самому изобретать новые. Я должен был попытаться играть сам с собой, или, вернее, против себя.

Не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как воздействует на интеллект человека эта замечательнейшая из игр. Достаточно, однако, немного поразмыслить, чтобы стало ясно, что в шахматах, как чисто мыслительной игре, где исключена случайность, игра против себя самого является абсурдной. Главная прелесть шахмат и заключается, по существу,

прежде всего в том, что стратегия игры развивается одновременно в умах двух разных людей, причем каждый из них избирает свой собственный путь. В этой битве умов черные, не зная, какой маневр предпримут сейчас белые, стараются его разгадать и помешать им, тогда как белые, со своей стороны, делают все, чтобы догадаться о тайных намерениях черных и дать им отпор. Если бы один и тот же человек пожелал одновременно быть и черными и белыми, создалось бы бессмысленное положение, при котором один и тот же мозг в одно и то же время знает что-то и не знает; делая ход в качестве белых, он должен был бы как по команде забыть о том, какой хитрый план задумал перед этим, будучи черными. Подобное раздвоение потребовало бы, помимо расщепления сознания, и его попеременного включения и выключения, как в каком-то автоматически действующем аппарате; короче говоря, играть против самого себя столь же парадоксально, как пытаться перепрыгнуть через собственную тень. И тем не менее я в течение долгих месяцев отчаянно пытался совершить невозможное, абсурдное. У меня не было выбора, иначе я рисковал окончательно потерять рассудок и впасть в полный душевный маразм. В своем отчаянном положении, чтобы не быть окончательно раздавленным страшной пустотой, которая вновь смыкалась вокруг меня, я вынужден был хотя бы попробовать добиться этого раздвоения между черным и белым «я».

Доктор Б. откинулся в шезлонге и на минуту закрыл глаза. Казалось, он силился рассеять ожившие воспоминания. Уголок его рта снова произвольно дернулся. Потом он опять выпрямился.

— Так вот, мне думается, что пока все должно было быть вам понятно. Но, к сожалению, не уверен, что так же ясно будет для вас и то, что произошло в дальнейшем. Дело в том, что это новое занятие потребовало такого всеобъемлющего напряжения ума, что какой бы то ни был контроль над остальной его деятельностью стал совершенно невозможен. По моему мнению, игра в шахматы с самим собой — бессмыслица, но все же какая-то минимальная возможность для такой игры



существовала бы, если бы передо мной была шахматная доска, потому что доска, будучи осязаемой вещью, вызывала бы чувство пространства, создавая некую материальную границу между «противниками». Играя за настоящей шахматной доской настоящими шахматными фигурами, можно установить определенное время для обдумывания каждого хода, можно сесть сначала с одной стороны и представить себе, как выглядит вся позиция для черных, а потом — как она представляется белым. Но так как игру против себя, или, если угодно, с самим собой, я должен был вести на воображаемой доске, то мне приходилось непрерывно удерживать в уме положение всех фигур на шестидесяти четырех квадратах, и притом не только положение в сию минуту, но и рассчитывать наперед все возможные ходы обоих противников. Я прекрасно понимаю, что все это звучит как совершеннейшее безумие; для каждого из своих «я» мне приходилось представлять себе каждую позицию дважды, трижды, да нет, больше — шесть раз, двенадцать раз, да еще на четыре или пять ходов вперед.

Простите, пожалуйста, что я заставляю вас разбираться во всей этой безумной путанице. Разыгрывая в абстрактном пространстве эти фантастические партии, я должен был рассчитывать несколько ходов вперед за белых и столько же ходов за черных, должен был взвешивать все возникающие комбинации то с точки зрения черных, то с точки зрения белых, иначе говоря, сочетать в одном своем уме и ум черных, и ум белых. Но самая серьезная опасность этого жуткого эксперимента заключалась не в раздвоении моего «я». Она заключалась в том, что я должен был самостоятельно разыгрывать мною же придумываемые партии и то и дело терял всякую почву и словно падал в какую-то пропасть. Пока я разыгрывал партии чемпионов, все было хорошо: я просто повторял имевшую место игру, воспроизводил уже данное. Это требовало не больше напряжения, чем, скажем, запоминание стихов или статей какого-либо закона. То было систематическое дисциплинирующее занятие и потому прекрасное упражнение для мозга. Две партии до и две после обеда представляли собой опреде-

ленное задание, которое я выполнял совершенно спокойно; оно как бы заменяло мне прежние повседневные занятия. И, кроме того, если в процессе игры я ошибался или забывал следующий ход, я всегда мог заглянуть в книгу. Именно потому, что изучение чужих партий никак не затрагивало моего «я», оно так благотворно и успокаивающе действовало на мои расшатанные нервы. Мне было совершенно все равно, кто выиграет, черные или белые, потому что за пальму первенства сражались Алехин и Боголюбов, тогда как я сам, мой разум, мое сознание только смаковали тонкости поединка. Но как только я начал играть против себя, я бессознательно стал соперничать сам с собой. Мои «я» — белое и черное — должны были состязаться друг с другом, и каждое из этих «я» было одновременно охвачено нетерпеливым и честолюбивым желанием выиграть, одержать победу. Сделав ход в качестве черного «я», я лихорадочно ждал, что сделает мое белое «я». Оба «я» попеременно торжествовали, когда другое «я» делало неправильный ход, и раздражались, когда сами допускали подобную оплошность. Все это выглядит совершенно дико, и, конечно, эта искусственно созданная шизофрения, это намеренное раздвоение сознания со всеми его опасными последствиями были бы немыслимы у человека, находящегося в нормальной обстановке. Не забудьте, однако, что из нормальных условий я был грубо вырван, без всякой вины брошен за решетку, многие месяцы подвергался утонченной пытке — пытке одиночеством. Накопившаяся во мне ярость должна была рано или поздно на что-то излиться. Но так как моим единственным занятием была эта бессмысленная игра против себя самого, то мой гнев, моя жажда мести фантастически изливались именно в эту игру. Я хотел мстить, но для этого у меня было только мое второе «я», с которым я должен был вести непрестанную борьбу. Вот почему во время игры меня охватывало бешеное возбуждение. Первое время я еще мог проводить эти игры спокойно и рассудительно, делал перерывы между партиями, чтобы отдохнуть. Но мало-помалу мои больные нервы перестали выносить эти передышки. Стоило только белому «я»

сделать ход, как черное «я» уже лихорадочно передвигало фигуру, и, как только заканчивалась одна партия, я тут же требовал от себя следующей, вернее, каждый раз, как одно мое шахматное «я» терпело поражение, оно немедленно требовало у другого «я» реванша.

Я даже приблизительно не могу сказать, сколько партий против себя самого я сыграл, охваченный этой ненасытной жадностью, за долгие месяцы своего заключения, — может быть, тысячу, а может быть, и больше. То было наваждение, против которого я не мог бороться. С рассвета и до ночи я не думал ни о чем другом, кроме как о конях и пешках, ладьях и королях. В мозгу у меня непрерывно вертелись «а», «b» и «с», мат и рокировка, и все мое существо, все мои помыслы рвались к расчерченной на квадраты доске. Удовольствие от игры превратилось в страсть, страсть превратилась в бешенство, манию; она заполняла не только часы бодрствования, но потом уже и время сна. Я мог думать только о шахматах, о шахматных ходах, шахматных задачах. Иногда я просыпался в холодном поту и чувствовал, что игра бессознательно продолжается и во сне. Даже если я видел во сне людей, они передвигались, как конь или ладья, наступали и отступали, подобно шахматным фигурам.

На допросах я уже забывал, что отвечаю за свои слова и поступки. Наверное, я выражался сбивчиво и туманно: следователи как-то странно переглядывались между собой. На самом же деле, пока они задавали мне вопросы и размышляли над моими ответами, я просто с нетерпением ждал, чтобы меня отвели назад в мою камеру, где я смог бы снова заняться своим безумным делом: начать новую игру, еще одну и еще одну. Перерывы в игре все больше раздражали меня. Даже те пятнадцать минут, пока надзиратель прибирал мою камеру, те две минуты, пока он передавал мне еду, меня терзало лихорадочное нетерпение. Иногда завтрак оставался нетронутым до вечера, потому что, увлекшись игрой, я забывал о нем. Единственное физическое чувство, которое я испытывал, была страшная жажда. Я в два глотка осушал бутылку воды и умо-

лял надзирателя принести мне еще, но через минуту во рту у меня совершенно пересыхало.

Мало-помалу я стал приходиться во время игры в такое возбужденное состояние — к тому времени я уже с утра до ночи не думал ни о чем другом, — что больше не мог ни на минуту оставаться спокойным. Обдумывая ход, я непрерывно ходил по камере — туда и обратно, туда и обратно, все быстрее и быстрее, вперед и назад, вперед и назад. И чем больше приближалась развязка, тем быстрее метался я из угла в угол. Жажда победы, победы над самим собой доводила меня до иступления, потому что одно из моих шахматных «я» всегда отставало от другого. Одно «я» подхлестывало другое, и — я понимаю, что вам это должно казаться идиотством, — когда одно из моих «я» недостаточно быстро реагировало на ход, сделанный другим «я», то я злобно выкрикивал «скорее, скорее!» или «дальше, дальше!» Разумеется, сейчас я полностью отдаю себе отчет в том, что мое тогдашнее состояние было не чем иным, как психическим заболеванием, для которого я не могу подыскать другого названия, кроме неизвестного еще в медицине термина «отравление шахматами».

Пришло время, когда эта мания, это наваждение стало оказывать разрушительное действие не только на мой мозг, но и на мое тело. Я сильно исхудал, сон мой стал тревожен; проснувшись, я с трудом подымал отяжелевшие веки. Я чувствовал себя, как после перепоя, и руки у меня так дрожали, что я не мог поднести ко рту стакан. Но как только начиналась игра, меня охватывала бешеная энергия. Я носился по комнате, сжав кулаки, и время от времени сквозь красноватый туман ко мне доносился мой собственный голос, злобно, хрипло вопивший «шах» или «мат».

Не знаю, когда разрешилось кризисом это ужасное, неопи-суемое состояние. Знаю только, что однажды утром я проснул-ся, и пробуждение мое было совсем необычно. Я больше не ощущал тяжести во всем теле. Мне было легко и покойно. Благотворная усталость, какой я не испытывал уже много месяцев, лежала на веках, и мне было так уютно и приятно,

что я просто не мог заставить себя открыть глаза. Некоторое время я лежал и наслаждался чувством истомы, приятным оцепенением.

Внезапно мне показалось, что я слышу рядом живые человеческие голоса, слова, сказанные тихо и осторожно. Вы не можете представить себе мой восторг! Ведь прошло уже много месяцев, может быть, год, как я не слышал ничего, кроме резких, жестких, злых слов моих мучителей.

«Ты спишь, — сказал я себе, — ты спишь. Ни за что не открывай глаз, пусть этот сон длится как можно дольше, не то ты опять увидишь ту же проклятую камеру, с тем же стулом, умывальником, столом, обои с тем же неизменным рисунком. Ты спишь, продолжай спать».

Но любопытство одержало верх. Медленно, осторожно приоткрыл я глаза. Свершилось чудо. Я был в другой комнате, более просторной, чем моя камера в отеле; на окне не было решетки, в него свободно вливался свет, за окном вместо кирпичной стены виднелись деревья, зеленые деревья, и ветер играл их ветками, стены в комнате были белые и блестящие, и потолок белый и высокий. Я лежал в новой, непривычной постели, и — нет, это был не сон — возле меня слышался тот же шепот.

Пораженный, сам того не желая, я сделал резкое движение и сразу же услышал, как кто-то направился к моей кровати. Легкой походкой ко мне подошла женщина в белой наколке — сиделка, сестра. Я не мог прийти в себя от счастья. Целый год я не видел женщины. Не отрываясь, смотрел я на это дивное видение, и, наверное, в моем взгляде было такое безумное волнение, что она остановила меня: «Спокойно, лежите спокойно».

Я слушал только ее голос: неужели со мной разговаривал человек? Неужели на земле еще есть люди, которые не собираются меня допрашивать и мучить? И потом — непостижимое чудо! — то был голос женщины, мягкий, сердечный, я бы сказал, даже нежный. Я, не отрываясь, жадно смотрел на ее губы — после года в аду мне казалось невероятным, что один человек может ласково говорить с другим. Она улыбнулась

мне, да, она улыбнулась! Значит, на свете еще есть люди, которые могут приветливо улыбаться. Потом она приложила палец к губам и бесшумно отошла. Но повиноваться ей я не мог. Я еще не насытился созерцанием чуда. Я хотел сесть и проводить глазами это дивное, ласковое создание. Но когда я хотел облокотиться о спинку кровати, я не смог этого сделать. Вместо правой руки я увидел что-то постороннее — большой, тяжелый предмет. Должно быть, вся рука у меня была забинтована. С удивлением взирая на этот предмет, я начал мучительно соображать: где я и что со мной стряслось? Ранили меня каким-то образом они или я сам повредил себе руку? Я понял, что лежу в больнице.

В полдень пришел врач, приятный пожилой человек. Он знал мою семью и, видимо, желая дать почувствовать свое расположение, уважительно отозвался о моем дяде — лейб-медике. Он задал мне несколько вопросов, один из них особенно удивил меня: кто я — математик или химик?

«Ни то, ни другое», — ответил я.

«Странно, — пробормотал он, — в бреду вы все время выкрикивали какие-то неизвестные формулы — с3, с4. Мы ничего не могли понять».

Я спросил его, что случилось со мной. Он загадочно усмехнулся.

«Ничего серьезного. Острое расстройство нервной системы. — Оглянувшись по сторонам, он негромко добавил: «Это вполне понятно. Вы ведь... с 13 марта?..»

Я кивнул.

«Ничего удивительного при их методах. Не вы первый. Но не беспокойтесь»

Его доброжелательный тон и сочувственная улыбка убедили меня, что я в безопасности.

Через два дня доктор сам рассказал мне, что произошло. Тюремный надзиратель услышал в моей камере крики и подумал, что я, должно быть, спорю с кем-то, проникшим ко мне; но едва он показался на пороге, я бросился к нему с кулаками и заорал: «Делай ход, негодяй, трус!» Потом я схватил его за

горло и с такой яростью стал душиТЬ, что ему пришлось звать на помощь. Я продолжал бушевать и, когда меня тащили на медицинское освидетельствование, в коридоре вырвался и пытался выброситься в окно, разбил стекло и сильно порезал руку — вот тут еще остался глубокий шрам. В первые дни, когда я попал в госпиталь, у меня было что-то вроде воспаления мозга, но сейчас, по мнению врача, мой рассудок и центры восприятия уже в полном порядке. «Скажу прямо, — тихо добавил он, — я не доведу об этом до сведения власть имущих, не то они могут явиться и забрать вас обратно. Положитесь на меня, я сделаю все от меня зависящее».

Что сказал моим преследователям добрый доктор, я так и не знаю. Во всяком случае, он добился своего: меня освободили. Может быть, он заявил, что я не отвечаю за свои поступки. Возможно и другое: гестапо могло потерять ко мне интерес, поскольку к тому времени Гитлер занял уже всю Богемию, и тем самым с Австрией было покончено. Мне пришлось только подписать обязательство в течение двух недель покинуть страну. Все это время ушло на выполнение формальностей, так осложняющих в наши дни выезд за границу: надо было получить разрешение военных властей и полиции, уплатить налоги, выправить свидетельство о здоровье, паспорт, визу и прочее, так что размышлять о пережитом мне было некогда. По-видимому, какие-то таинственные силы регулируют деятельность человеческого мозга и автоматически выключают опасные для его психики воспоминания. Как бы то ни было, стоило мне вспомнить о моем заточении, как в сознании наступало затмение, и только много недель спустя, собственно говоря, только сейчас, на пароходе, я нашел в себе мужество осознать то, что пережил.

Теперь вам должно быть понятно мое странное, не совсем обычное поведение тогда, во время игры ваших друзей. Я случайно проходил через курительный салон и вдруг увидел у шахматного стола ваших друзей. От удивления и испуга я просто ошеломился. Ведь я начисто забыл, что можно играть в шахматы за настоящей доской и настоящими фигурами, за-

был, что в этой игре участвуют два совершенно разных человека, что они сидят друг против друга. По правде говоря, прошло несколько минут, прежде чем я сообразил, что эти люди играют в ту самую игру, в которую я сам столько времени играл, не в силах вырваться на волю. Значит, шифр, при помощи которого я вел свои игры на память, был не чем иным, как эрзацем, символом вот этих увесистых фигур. Я был поражен, увидев, что фигуры на доске и их передвижение полностью соответствуют тем выработанным мною представлениям, которые жили в моем воображении. Так, наверное, бывает поражен астроном, когда, теоретически доказав, путем сложных математических вычислений, существование новой планеты, он вдруг видит ее воочию, на небе, видит ясно, во всей ее реальности. Я смотрел на доску как зачарованный и видел там мою диаграмму — конь, тура, король, королева, пешки — все реальные, вырезанные из дерева фигуры; чтобы понять позицию, мне невольно пришлось сначала перенестись из моего абстрактно-математического шахматного поля к доске, на которой передвигались фигуры.

Понемногу меня охватило любопытство, мне захотелось проследить настоящую игру двух партнеров. И вот это-то и послужило причиной моего крайне прискорбного, бестактного вмешательства в вашу игру. Неверный ход вашего друга был для меня как удар в сердце. Я остановил его инстинктивно, как останавливают ребенка, перегнувшего через перила. Я только потом осознал всю грубую неуместность своего вмешательства.

Я поспешил заверить доктора Б., что все мы были очень рады случившемуся, тем более что благодаря этому инциденту познакомились с ним. Я добавил, что после всего услышанного мне будет вдвойне интересно присутствовать на завтрашнем импровизированном турнире.

Доктор Б. сделал беспокойное движение.

— Право, вы не должны ожидать слишком многого. Это будет просто испытанием для меня, могу ли я... могу ли я играть в шахматы нормально, сидя за шахматной доской, про-



тив настоящего, живого противника, передвигая настоящие фигуры. Потому что я начинаю все больше и больше сомневаться, играл ли я эти сотни или даже тысячи партий по правилам. А может быть, они просто плод моего больного воображения? Не был ли то просто бред, шахматная лихорадка, когда человек, как во сне, непрерывно движется вперед скачками? Ведь не думаете же вы серьезно, что я могу померяться силами с чемпионом мира, сыграть с ним, как равный с равным? На эту игру меня толкает только любопытство. Мне хочется выяснить задним числом, что же действительно происходило со мной в заключении: был ли я близок к безумию или уже перешагнул эту опасную грань. Вот и все, ничего больше.

В этот период прозвучал гонг, сзывавший пассажиров к обеду. Беседа наша продолжалась почти два часа: доктор Б. рассказывал мне свою историю гораздо более подробно, чем я изложил ее. Я сердечно поблагодарил его и распрощался, но не успел еще пересечь палубу, как он догнал меня. Он был явно взволнован и говорил, слегка заикаясь:

— Еще одно. Я не хочу быть невежливым по отношению к вашим друзьям, поэтому, пожалуйста, предупредите их заранее, что я сыграю только одну партию. Главное для меня — это раз и навсегда разрешить для себя этот вопрос, так сказать, подвести окончательный итог. Я вовсе не собираюсь начинать все снова. Я не могу позволить себе вторично заболеть этой шахматной горячкой, которую я и теперь еще вспоминаю с содроганием. Кроме того... кроме того, меня предупреждал врач, он настойчиво предупреждал меня. Для человека, который был подвержен мании, навсегда остается опасность рецидива, поэтому мне, страдавшему «отравлением шахматами», даже если меня считают совершенно излечившимся, надо держаться от шахматной доски подальше. Так что вы понимаете: только одна пробная игра и ни одной больше.

На следующий день точно в назначенное время, в три часа, мы собрались в курительном салоне. Наш кружок пополнился еще двумя любителями королевской игры — это были офицеры, которые специально попросили капитана перенести им

часы вахты, чтобы иметь возможность посмотреть игру. Чентович на сей раз тоже не заставил себя ждать, и после жеребьевки началась необычная игра: «Номо obscurissimus» против прославленного чемпиона мира по шахматам.

Очень жаль, что единственными свидетелями этой партии были такие мало смыслящие в шахматах люди, как мы, и что она безвозвратно утеряна для анналов шахматного искусства, как были утеряны для истории музыки фортепьянные импровизации Бетховена. Правда, на другой день мы сообща пытались восстановить ее по памяти, но тщетно. Очевидно, это произошло потому, что в азарте игры наше внимание было сосредоточено не на самой партии, а на игроках, разница в интеллектуальном уровне которых становилась все более зримой по мере того, как развивалась игра.

Опытный Чентович сидел совершенно неподвижно, словно каменное изваяние. Взор его был прикован к доске, умственное напряжение, казалось, стоило ему почти физических усилий. Доктор Б., напротив, держался свободно и непринужденно. Как настоящий дилетант, в лучшем смысле этого слова, как любитель, для которого весь смысл и удовольствие игры заключались в самой игре, он, казалось, отдыхал. В начале игры он разговаривал, весело объяснял нам свои ходы, небрежно курил сигарету за сигаретой и, когда наступала его очередь делать ход, бросал быстрый взгляд на доску и передвигал фигуру. Казалось, он каждый раз точно предвидел ход своего противника.

Дебют был разыгран быстро. Определенный план начал намечаться только после седьмого или восьмого хода. Чентович стал дольше обдумывать ходы, из этого мы заключили, что теперь началась настоящая борьба за инициативу.

Но, откровенно говоря, постепенное развитие партии, нередкое в серьезных турнирах, нас, непрофессионалов, пожалуй, даже разочаровало. Чем больше усложнялся рисунок игры, тем все непонятнее становились для нас позиции про-

---

\*Неизвестный человек (лат.).

тивников. Нам было не под силу не только уразуметь их намерения, но даже разобраться, кто же получил преимущество. Мы только видели, что отдельные фигуры, пробираясь вперед, действуют, как тараны, стремясь прорвать фронт противника, но поскольку каждый ход этих выдающихся игроков составлял только часть комбинации, а каждая комбинация — только часть плана, который, в свою очередь, осуществлялся только через несколько ходов, то стратегический замысел, согласно которому игроки двигали свои фигуры то вперед, то назад, был для нас совершенно непонятен.

Потом нами овладела давящая усталость, вызванная главным образом тем, что Чентович бесконечно долго обдумывал каждый свой ход. Это постепенно начало нервировать и нашего друга. С тревогой заметил я, что чем дольше продолжалась игра, тем беспокойнее он становился: ерзал на стуле, нервно зажигал сигарету за сигаретой, время от времени хватал карандаш и что-то записывал, заказывал минеральную воду и жадно глотал стакан за стаканом. Было очевидно, что мозг его конструировал комбинации в сто раз быстрее, чем мозг Чентовича. Каждый раз, когда тот после бесконечного раздумья неловко брал фигуру и решался передвинуть ее, наш друг, улыбнувшись, как улыбается человек, давно ожидавший чего-то и наконец дождавшийся, сразу же делал ответный ход. Видимо, он со своим живым, подвижным умом успевал заранее исследовать все возможности, открывавшиеся противнику. Чем дольше обдумывал каждый свой ход Чентович, тем нетерпеливее становился доктор Б., злобно, почти враждебно сжимавший губы. Чентович, однако, не желал торопиться. Он сидел, упорный и молчаливый, размышляя над ходами, и по мере того, как число фигур на доске уменьшалось, увеличивались паузы. К сорок второму ходу, после битых двух часов, все мы сидели в изнеможении, почти равнодушные к тому, что происходило перед нами. Один из офицеров уже ушел, другой читал книгу и бросал взгляд на доску только тогда, когда кто-то из игроков делал ход. Но вдруг после очередного хода Чентовича произошло нечто неожиданное. Доктор Б., заме-

тив, что Чентович, собираясь сделать ход, взялся за коня, сжался, как кошка перед прыжком. Он весь дрожал, и не успел Чентович исполнить свое намерение, как доктор Б. быстро продвинул вперед своего ферзя и громко, торжественно сказал:

— Так, теперь с этим покончено.

Потом он откинулся в кресле, скрестил руки на груди и вызывающе посмотрел на Чентовича. В глазах его сверкнул огонек.

Мы все невольно склонились над доской, стараясь сообразить, что означал этот торжествующий возглас, но прямой угрозы королю мы не увидели. Воскликание нашего друга относилось, по-видимому, к развитию игры, которого мы, близорукие дилетанты, понять не могли. Один только Чентович не шелохнулся. Он остался совершенно спокоен, как будто бы не слышал оскорбительного замечания «с этим покончено». Ничего не произошло. Однако все мы затаили дыхание, и сразу же стало слышно тиканье контрольных часов. Прошло три минуты, семь минут, восемь — Чентович продолжал сидеть без движения, и только по тому, как раздувались его широкие ноздри, было видно, какая буря бушевала у него в груди.

Казалось, наш друг, как и мы, с трудом переносил это томительное безмолвное ожидание. Он внезапно встал, оттолкнул стул и принялся ходить из угла в угол, вначале медленно, а затем все ускоряя и ускоряя шаг. Все присутствующие смотрели на него с удивлением, но никто не был так обеспокоен его поведением, как я: несмотря на охватившее его волнение, он ходил по совершенно точно ограниченному пространству, словно бы в своем воображении он каждый раз наткнулся на невидимую стену, заставлявшую его поворачивать назад. С содроганием понял я, что он бессознательно шагает по своей прежней камере. Во время заточения он, наверное, так же метался, как зверь в клетке, взад и вперед, сгорбившись, с судорожно сжатыми кулаками, точь-в-точь как сейчас. Так, именно так, с остановившимся взглядом тысячи раз бегал он из угла в угол там, и в лихорадочно блестящих глазах его сверкали красные огоньки безумия.

Но рассудок его был, по-видимому, еще в полном порядке, потому что время от времени он нетерпеливо поворачивался к столу, чтобы посмотреть, решился ли на какой-нибудь ход Чентович. Время продолжало тянуться — девять минут... десять... Затем произошло то, чего никто из нас не ждал. Чентович медленно поднял тяжелую руку, до этого неподвижно лежавшую на столе. Взволнованные, с натянутыми до предела нервами, ждали мы развязки. Но Чентович не сделал хода. Неторопливо, но решительно он сбросил тыльной стороной ладони с доски все фигуры. Мы не сразу поняли, что Чентович сдался. Он капитулировал, он не желал, чтобы мы стали свидетелями его окончательного поражения. Случилось неожиданное: чемпион мира, победитель бесчисленных турниров, опустил флаг перед незнакомцем, перед человеком, двадцать или двадцать пять лет не касавшимся шахмат. Наш друг, никому не известный, безымянный, в честном бою одержал победу над сильнейшим игроком мира.

Сами того не замечая, все мы в волнении повскакали с мест. У всех было чувство, что мы должны как-то выразить охватившее нас радостное изумление, должны что-то сказать или сделать. Один только человек остался неподвижен и спокоен — это был Чентович. Выждав немного, он поднял голову и, устремив на нашего друга каменный взгляд, спросил:

— Еще одну партию?

— Конечно! — воскликнул доктор Б. с неприятно резанувшим меня оживлением. Затем он сел и, прежде чем я успел напомнить ему о его условии — сыграть только одну партию, начал с лихорадочной поспешностью расставлять фигуры. Он так нервничал, устанавливая их по местам, что пешка дважды выскальзывала из его дрожащих пальцев и падала на пол. Этот прежде спокойный и тихий человек был явно в каком-то экстазе, все чаще подергивался уголок его рта, он весь дрожал, как от озноба.

— Не надо, — прошептал я ему, — не надо! На сегодня достаточно. Для вас это слишком большое напряжение.

— Напряжение? Ха-ха-ха! — громко, презрительно рас-

смеялся он. — За время, что мы тянули эту волынку, я мог сыграть семнадцать партий. Единственное, что мне трудно, — это стараться не заснуть при таких темпах. Ну что же, начнете вы когда-нибудь?

Последние слова, сказанные резким, почти грубым тоном, относились к Чентовичу. Тот посмотрел на противника спокойно и невозмутимо, но его угрюмый, каменный взгляд был как удар кулаком. Между игроками возникло сразу что-то новое — опасная напряженность, жгучая ненависть. То не были больше игроки, желавшие испытать искусство противника, а враги, поклявшиеся уничтожить друг друга. Чентович долго медлил, прежде чем сделать первый ход, и у меня создалось твердое впечатление, что медлил он умышленно, нарочито.

Без сомнения, этот испытанный в боях стратег уже давно сообразил, что его медлительность утомляет и раздражает противника. Не менее четырех минут понадобилось ему для того, чтобы сделать самое обычное начало — ход королевской пешкой. Наш друг ментально продвинул королевскую пешку со своей стороны, и снова Чентович невыносимо долго медлил с ответным ходом. Так бывает, когда с бьющимся сердцем ждешь удара грома после ярко полыхнувшей молнии, а грома все нет и нет. Чентович, казалось, совсем окаменел. Он обдумывал ходы спокойно и неторопливо, и во мне все росла уверенность, что он делает это нарочно. Его медлительность позволяла мне неотступно наблюдать за доктором Б. Он только что осушил третий стакан воды, и я невольно вспомнил, как он рассказывал о неутолимой жажде, мучившей его в камере. Налицо были все признаки ненормального состояния: лоб его покрылся испариной, шрам на руке покраснел и стал гораздо заметнее. Но все же он держал себя в руках. Только после четвертого хода, когда Чентович снова погрузился в изнурительное размышление, самообладание покинуло доктора Б., и, всплыв, он воскликнул:

— Пойдете ли вы, наконец?

Чентович холодно посмотрел на него.

— Насколько мне помнится, мы условились обдумывать

каждый ход не более десяти минут. Я принципиально буду придерживать этого условия.

Доктор Б. прикусил губу. Заметив, что он со все возрастающим нетерпением постукивает ногой по полу, я уже не мог совладать с охватившей меня тревогой: меня томило предчувствие, что он снова окажется во власти безумия. На восьмом ходу снова произошла стычка. Доктор Б., самообладание которого явно улетучивалось, не мог скрыть своего нервного раздражения. Он ни минуты не сидел спокойно и теперь принялся бессознательно барабанить по столу пальцами. Чентович снова поднял свою тяжелую мужицкую голову.

— Могу я просить вас перестать барабанить по столу? Мне это мешает. Я так не могу играть.

— Ха... — ответил доктор Б. с усмешкой. — Оно и видно! — Чентович покраснел.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил он резко, со злобой.

Доктор Б. снова коротко, презрительно рассмеялся.

— Ничего, кроме того, что, по всей видимости, вы очень волнуетесь.

Чентович промолчал и снова склонился над доской. Только через семь минут сделал он ответный ход. Игра продолжалась все в том же похоронном темпе. Чентович словно превратился в каменного истукана. Теперь, прежде чем передвинуть фигуру, он уже полностью выдерживал установленный максимум, а поведение нашего друга от хода к ходу становилось все более странным. Казалось, он потерял всякий интерес к игре и был занят чем-то посторонним. Он перестал взволнованно расхаживать, сидел неподвижно и, устремив в пространство отсутствующий, почти безумный взгляд, бормотал себе что-то под нос. Либо он был погружен в обдумывание каких-то бесконечных комбинаций, либо — и я подозревал, что это именно так, — разыгрывал в уме какие-то совсем другие партии. Как бы то ни было, каждый раз, когда Чентович делал ход, его нужно было возвращать к действительности. И теперь уже ему

требовалась одна или две минуты, чтобы снова разобраться в положении.

Во мне росло убеждение, что у доктора Б. начался припадок тихого помешательства, который в любой момент мог перейти в буйный. Он словно забыл и о нас, и о Чентовиче. И действительно, на девятнадцатом ходу разразился кризис. Едва только Чентович сделал ход, как доктор Б., бросив мимолетный взгляд на доску, вдруг продвинул своего офицера на три клетки вперед и громко, так, что мы все вздрогнули, закричал:

— Шах, шах королю!

В ожидании чего-то необычайного все впились глазами в доску. Но прошла минута, и дело приняло неожиданный оборот. Очень медленно Чентович поднял голову, чего не делал еще ни разу, и обвел нас взглядом. Что-то, казалось, доставило ему чрезвычайное удовольствие, губы его мало-помалу растянулись в довольную и высокомерную усмешку. Только до конца насладившись своим триумфом, причина которого была нам непонятна, он с притворной вежливостью обратился к присутствующим:

— Простите, но я не вижу шаха. Может быть, кто-нибудь из вас, господа, подскажет мне, в чем заключается шах моему королю?

Мы посмотрели на доску, а затем с тревогой на доктора Б. Король Чентовича был защищен от офицера пешкой — это заметил бы и ребенок, — так что ни о каком шахе не могло быть и речи. Мы забеспокоились. Может быть, наш друг в волнении продвинул фигуру на квадрат дальше или ближе, чем следовало? Наше молчание привлекло внимание доктора Б., он пристально посмотрел на доску и, запинаясь, сказал:

— Но король ведь должен быть на f7. Он стоит неправильно, совершенно неправильно. Вы сделали неправильный ход!.. Все фигуры стоят не на своих местах: эта пешка должна быть на d5, а не на d4. Это совсем другая партия. Это...

Он внезапно осекся. Я крепко схватил его за руку, вернее, просто ущипнул с такой силой, что даже он в своем безумном



смятении почувствовал это. Он обернулся и, как сомнамбула, посмотрел на меня:

— Что... вам угодно?

— Вспомните! — сказал я одно только слово и легко провел пальцем по шраму на его руке.

Он механически повторил мой жест и стеклянными глазами уставился на кроваво-красную полоску. Вдруг он задрожал всем телом, на лбу выступила испарина.

— Ради Бога, — прошептал он бледными губами, — неужели я сказал или сделал какую-нибудь глупость? Неужели возможно, что я опять?..

— Нет, — тихим голосом ответил я, — но вы должны прекратить игру сейчас же. Пора! Вспомните, что сказал врач.

Доктор Б. резко вскочил со стула.

— Прошу прощения за свою дурацкую ошибку, — сказал он своим вежливым голосом и склонился перед Чентовичем. — Я, конечно, сказал совершеннейшую чепуху. Само собой разумеется, эту партию выиграли вы.

Потом повернулся к нам:

— И вас, господа, я тоже прошу извинить меня. Но я предупреждал заранее, что не нужно возлагать на меня больших надежд. Простите, что я так позорно закончил игру. Последний раз я поддался искушению сыграть в шахматы.

Он поклонился и удалился с тем же скромным и загадочным видом, с каким впервые появился среди нас. Я один знал, почему этот человек никогда больше не прикоснется к шахматам, остальные же в замешательстве стояли вокруг, смутно догадываясь, что нечто темное и грозное пронеслось мимо, едва не задев их.

— Черт бы побрал этого дурака! — разочарованно проворчал Мак-Коннор.

Последним поднялся со своего стула Чентович и бросил еще один взгляд на неоконченную партию.

— Очень жаль, — великодушно сказал он. — Атака была совсем неплохо задумана. Для любителя этот человек играет на редкость талантливо.

A decorative rectangular border with ornate, swirling corner designs. The corners are filled with intricate, overlapping loops and flourishes, while the sides consist of two parallel lines.

# ЛЕГЕНДЫ





## ЛЕГЕНДА О СЕСТРАХ-БЛИЗНЕЦАХ

**В** одном южном городе, имени которого я предпочитаю не называть, меня поразил, при выходе из тесного переуллка, вид раннеготического здания с двумя могучими башнями, столь похожими друг на друга, что в сумерках одна могла показаться тенью другой. Вежливо приподняв шляпу, я обратился к краснощекому бюргеру, поставившему свой бокал с янтарным вином на столик маленького кафе, с просьбой сообщить мне название здания, величаво высившегося над низкими крышами домов. Мой неторопливый собеседник удивленно взглянул на меня и со спокойной, тонкой улыбкой проговорил:

— Затрудняюсь дать вам точные сведения. На плане города оно, вероятно, обозначено как-нибудь иначе, мы же называем его по-старинному «Дом сестер», потому ли, что обе башни так похожи друг на друга, или, быть может, потому, что...

Он запнулся, настороженно подавив улыбку, точно желая удостовериться, достаточно ли возбуждено мое любопытство. Но неполный ответ удваивает интерес, — и мы естественно втянулись в беседу; я охотно последовал его приглашению выпить рюмку терпкого золотистого вина. Перед нашими взорами, в свете медленно подымающейся луны, таинственно сверкало кружево башен; вино пришлось по вкусу, и я надеюсь, что та же участь постигнет небольшую рассказанную им легенду о сестрах-близнецах, которую я передаю добросовестно, не ручаясь за ее достоверность.

Войско короля Феодосия вынуждено было остаться на зимних квартирах в столице Аквитании. Когда измученные лошади обрели, благодаря длительному отдыху, гладкую, словно атлас, шерсть, а солдаты стали уже испытывать скуку, случилось, что начальник конницы, лангобард, по имени Герилунт, влюбился в красавицу лавочницу, продававшую в тенистом углу нижней части города специю и медовые пряники. Он был охвачен столь сильной страстью, что, не взирая на низкое происхождение красавицы и торопясь заключить ее в свои объятия, немедленно сочетался с ней браком и поселился в княжеском доме на базарной площади. Там они провели, скрываясь от людских взоров, много недель; влюбленные друг в друга, они забыли все: людей, время, короля и войну. Но пока они, поглощенные своей страстью, проводили ночи в объятиях друг друга, время не дремало. Теплый южный ветер прошел по стране; от горячего его дыхания таял лед, по легкому его следу пышным цветом распускались на лугах крокусы и фиалки. Прошла ночь, зазеленели деревья, влажными бугорками пробились на застывших ветвях почки; весна подымалась от дымящейся земли, а с нею возобновились и военные действия. Однажды ранним утром медный молот у ворот властно нарушил утренний сон влюбленных: приказ государя повелевал военачальнику вооружиться и выступить. Барабаны забили тревогу, вызывая воинов из домов, ветер звонко загудел в знаменах, и подковы оседланных коней застучали на базарной площади. Тогда Герилунт быстро вырвался из мягко обвивших его рук зимней жены своей, ибо честолюбие и мужественное стремление к битвам пылали в нем ярче любви. Равнодушный к слезам супруги, он не разрешил ей сопровождать его, оставил ее в обширном доме и вторгся с толпой всадников в мавританские владения. В семи битвах он опрокинул врага, огненными метлами разметал сарацинские разбойничьи земли, завоевал их города и победоносно разгромил страну вплоть до морского побережья; там он нанял парусники и галеры, чтобы

переправить на родину богатую добычу. Никогда победа не была столь быстрой, сражения столь блистательными. Неудивительно, что король, желая отблагодарить смелого воина, уступил ему за небольшую дань север и юг завоеванной страны в ленное пользование и управление. Теперь Герилунт, которому седло заменяло доселе и дом и родину, мог отдохнуть спокойно; он был обеспечен до конца своих дней. Но честолюбие, возбужденное быстрой победой, требовало большего: он не хотел быть подданным и данником своего государя; ему казалось, что лишь королевский венец достоин украсить светлое чело его супруги. Он стал побуждать свое войско к возмущению против короля, подготавливая восстание. Но своевременно раскрытый заговор не удался. Потерпев поражение еще до битвы, отлученный от церкви, покинутый своими всадниками, Герилунт вынужден был скрываться в горах; там за богатую мзду крестьяне убили дубинками опального военачальника во время сна.

В тот самый час, когда слуги короля нашли на сене в амбаре еще сочащийся кровью труп непокорного и, сорвав с него платье и драгоценности, бросили, нагого, на свалку, его жена, еще не зная о гибели мужа, родила в замке на роскошном парчовом ложе двух девочек-близнецов, которых, при большом стечении народа, окрестил сам епископ, дав им имена Софья и Елена. Еще не утихли гул колоколов на церковной башне и звон серебряных бокалов на пире, когда внезапно пришла весть о восстании и гибели Герилунта, а за ней — вторая, о том, что король, следуя благому закону, требует для казны дом и имущество мятежника. Итак, красавица лавочница, еле оправившись от родов, снова была вынуждена надеть старое шерстяное платье и спуститься на гнилую улицу нижней части города; но прежней нищенке сопутствовали теперь горькое разочарование и двое малюток. Снова пришлось ей усесться на низкой деревянной табуретке у своего ларька и предлагать соседям специи и сладкие медовые пряники, нередко принимая, вместе со скудными грошами, злые издевательства. Вскоре печаль погасила блеск ее очей, преж-

девременная седина обесцветила волосы. Но за нужду и невзгоды вознаграждали ее живость и своеобразная прелесть сестер-близнецов, унаследовавших весь блеск материнской красоты; они были столь сходны ростом и изяществом речи, что одна казалась живым отражением прелестного образа другой. Не только чужие, но и родная мать подчас не могла отличить Елену от Софии, так велико было их сходство. И она велела Софии носить на руке полотняную тесьму, чтобы отличить ее по этому знаку от сестры. Ибо, услышав голос или увидев лицо дочери, она не знала, с каким именем обратиться к ней.

Но сестры, унаследовав победную красоту матери, роковым образом получили в удел неудержимое честолюбие и жажду власти, отличавшие их отца; каждая из них стремилась во всем превзойти не только другую, но и всех ровесниц. Еще в те ранние годы, когда дети обычно спокойно и бесхитростно играют друг с другом, сестры во всякое дело вносили соревнование и зависть. Если кто-нибудь, плененный прелестью ребенка, надевал незатейливое колечко на палец одной, не предложив другой такого же подарка, если волчок одной вертелся дольше, чем у другой, мать находила обиженную на полу, с засунутыми в рот сжатыми пальцами, злобно стучащей каблуками. Похвала или нежное слово, обращенные к одной, вызывали досаду другой, и хотя они были так похожи друг на друга, что соседи, шутя, называли их «зеркальцами», они омрачали свои дни жгучей ревностью друг к другу. Тщетно пыталась мать потушить разгоравшееся пламя чрезмерного честолюбия враждующих сестер, тщетно старалась ослабить вечно натянутые струны соревнования; она должна была убедиться, что злосчастное наследие продолжало гнездиться в несозревших еще душах детей; и только сознание, что благодаря этому беспрестанному соревнованию обе девочки стали самыми умелыми и самыми ловкими среди своих ровесниц, давало ей некоторое утешение. За что бы ни взялась одна, другая тотчас же старалась превзойти ее. Обладая от природы подвижностью телесной и духовной, сестры-близнецы быстро

научились всем полезным и приятным женским искусствам: пряже льна, окраске материй, обращению с драгоценными вещами, игре на флейте, грациозным танцам, сложению искусных стихов, мелодичному пению под звуки лютни; нарушая обычаи знатных женщин, они изучали даже латынь, геометрию и высшие философские науки, с которыми знакомил их старый благодушный диакон. И скоро в Аквитании не стало девушки, равной по красоте, воспитанию и гибкости ума двум дочерям лавочницы. Но никто не мог бы сказать, кому из двух слишком уже одинаковых сестер, Елене или Софии, принадлежит первенство, ибо никто не отличил бы одну от другой ни по фигуре, ни по движениям, ни по речи.

Но наряду с любовью к искусствам и к познанию нежных и прелестных вещей, наполняющих душу и тело пылким стремлением вырваться из тисков повседневности в необъятные просторы чувства, в обеих девушках поднималось жгучее недовольство низким положением матери. Из академии, с диспутов, после состязаний с учеными в искусном обмене аргументами, или из круга танцующих, овеянные отзвуками мелодии, возвращались они на дымную улицу; там их мать, с непричесанной головой, до позднего вечера торговалась из-за горсти мускатных орехов или нескольких заплесневелых медяков, заставляя их стыдиться своей упорной нищеты; колкая ветхая циновка больно жгла внутренним огнем нежное девичье тело. Долго бодрствовали они ночью, проклиная свою судьбу, ибо, возвышаясь красотой и умом над знатными дамами, призванные выступать в мягких волнистых тканях, звеня драгоценными камнями, были они похоронены в затхлои и тусклой дыре и предназначены, в лучшем случае, стать хозяйками и самками для первого попавшегося полководца, с королевской кровью в жилах и властной душой. Они жаждали блестящих чертогов и толпы слуг, жаждали богатства и славы, и если случайно мимо них проносили благородную даму в пышных мехах, с сокольничими и телохранителями у легко колеблющихся носилок, лица их белели от злобы, как зубы во рту. Мощно вскипали в крови возмущение и честолюбие мя-



тежного отца их, который также не мог удовлетвориться золотой серединой, скромной судьбой; днем и ночью они размышляли, каким способом уйти от столь недостойного существования.

И вот неожиданным, но понятным образом случилось, что София, пробудясь, нашла место рядом с собою, на общем ложе, покинутом: Елена, отражение ее тела, участница ее вождений, тайно исчезла ночью; испуганная мать беспокоилась, не похитил ли ее кто-либо из дворян силой (ибо многие из юношей поражены были двойственным сиянием девушек и ослеплены им до потери рассудка). Наскоро одевшись, бросилась она к наместнику, который именем короля правил городом, и заклинала его послать погоню за злодеем. Он обещал. Но на следующий день, к глубокому стыду матери, распространилась весть, что Елена, едва созревшая, по доброй воле бежала с сыном дворянина, опустошившим ради нее ларцы и шкафы родного отца. Через неделю вслед за первой вестью пришла и другая, более ужасная: путешественники рассказывали, как пышно живет молодая блудница в другом городе со своим любовником, окруженная слугами, соколами и заморскими зверями, облаченная в меха и блестящие ткани, к досаде всех честных женщин округи. Но не успели эту весть разжевать болтливые людские уста, как новая, еще более страшная поспешила на смену: насытившись, опустошив мешки и карманы молодого щеголя, Елена отправилась в замок казначея, глубокого старика, отдала свое молодое тело за новую роскошь и безжалостно грабит скрягу. Через несколько недель, повывтащав золотые перья казначея, она бросила его, — словно общипанного и выпотрошенного петуха, — взяв себе другого любовника; этого сменил новый, более богатый, и вскоре стало всем известно, что Елена в соседнем городе торгует своим юным телом не менее усердно, чем дома ее мать — специями и сладкими медовыми пряниками. Тщетно посылала несчастная вдова гонца за гонцом к заблудшей дочери, умоляя ее не втаптывать в грязь порочной жизнью память отца. Чаша непотребства переполнилась, когда однажды, к стыду матери, от

ворот города двинулся по улице великолепный кортеж: впереди шли скороходы, одетые в ярко-красные костюмы, потом, как перед поездом вельможи, всадники, и среди них, окруженная резвящимися персидскими собаками и обезьянами редких пород, юная гетера, Елена, прелестью подобная праматери того же имени, — Елене, потрясавшей некогда царства, — и нарядная, как языческая царица Савская, вступающая в Иерусалим. Раскрылись рты, зашевелились языки, ремесленники покинули свои дома, писатели — свои труды, рой любопытных окружил шествие; потом колышащаяся толпа всадников и слуг приготовилась к почетной встрече на базарной площади. Наконец, распахнулась завеса, и юная блудница надменно перешагнула порог дворца, принадлежавшего когда-то ее отцу; расточительный любовник, в уплату за три страстных ночи, выкупил его для Елены из королевской казны. Точно в свое королевство, вступила она в покои, где на роскошной кровати родила ее почтенная мать; давно покинутые залы быстро наполнились дорогими языческими статуями; холодный мрамор покрыл деревянные лестницы и раскинулся искусными плитами и мозаикой; гобелены с изображениями людей и событий украсили стены, цветистый плющ уютно обвил дом; звон золотой посуды сливался со звуками музыки на праздничных пиршествах, ибо обученная всем искусствам Елена, привлекая своей молодостью, соблазняя умом, стала вскоре искуснейшей в любовных утехах и самой богатой гетерой. Из соседних городов, из чужих стран стекались богачи христиане, язычники, еретики, чтобы хоть раз насладиться ее ласками, и так как ее жажда власти была не меньше, чем честолюбие ее отца, она железной десницей держала влюбленных и дразнила страсть мужей, пока не выманивала все их состояние. Даже сын короля, и тот, после недели наслаждения, опьяненный и потом жестоко протрезвившийся, покинул объятия и дом Елены, уплатив горький выкуп заимодавцам.

Неудивительно, что столь смелое поведение озлобляло честных женщин города, особенно — пожилых. В церквах проповедники восставали против ранней порчи нравов, женщины

на рынках гневно сжимали кулаки, и часто звенели окна и ворота от брошенных в них камней. Но как ни озлоблялись порядочные женщины, — покинутые жены, одинокие вдовы, — как ни негодовали старе, опытные в своем ремесле блудницы, как ни облаивали этого дерзкого, внезапно ворвавшегося на луга наслаждения жеребенка, никто из женщин не пылал таким возмущением, как София, ее сестра. Сердце ее разрывалось не потому, что та предалась столь порочной жизни; нет, она раскаивалась, что сама пропустила минуту, когда юношадворянин сделал ей подобное же предложение, и то, к чему она втайне стремилась, — власть над людьми и роскошное существование, — досталось другой; а в ее холодную каморку все так же врывался ветер и выл наперегонки с ворчливой матерью. Сестра, в хвастливом сознании своего богатства, неоднократно посылала ей драгоценные наряды, но гордость Софии отвергала подачки. Нет, не могло честолюбие ее насытиться бесславным подражанием смелой сестре; она не желала оспаривать ее любовника, как в прежнее время — сладкий пряник. Ее победа должна была быть совершенной. Размышляя днем и ночью, чем бы заставить людей поклоняться ей и прославлять ее больше сестры, она убедилась вскоре по все растущему увлечению мужчин, что сохраненный ею скромный удел — девственность и незапятнанная чистота — является великолепной приманкой и достоянием, которыми умная женщина может промышлять прекрасно. И она решила превратить в драгоценность именно то, что сестра преждевременно расточила, и выставить напоказ свою добродетель так же, как сестра-гетера — свое тело. Если той поклонялись за пороки, то ей должны поклоняться за чистоту. Еще не успели смолкнуть языки сплетников, когда в одно утро любопытству изумленного города дана была новая пища: София, сестра гетеры Елены, ушла из мира, чтобы спастись от стыда и искупить позорный образ жизни сестры; она вступила в число послушниц знаменитого монастыря святой Женевьевы. Запоздавшие любовники рвали волосы на голове, разгневанные тем, что нетронутое сокровище ускользнуло из их рук. Но

верующие, охотно пользуясь небывалым случаем противопоставить сластолюбию прекрасный образ богобоязненной жизни, усердно распространяли эту весть повсюду, так что ни об одной девушке в Аквитании не говорили так много, ни одну из них не славил так, как Софию-благочестивую. Женщины преклоняли колени, когда она проходила мимо них в церковь в скромном одеянии; епископ брал ее с собой, когда навещал больных в госпитале; в церкви, когда пелась молитва, аббат ставил ее в первый ряд, чтобы взоры верующих могли любоваться той, которая приобрела, созерцая дьявольские поступки сестры, истинную веру в Бога. И сразу, — легко можно себе представить, как огорчилась Елена, — внимание страны обратилось всецело на невинную жертву искупления, которая, как голубь Божий, желая избежать греха, поднялась в горные области веры.

Странное созвездие Близнецов сияло в следующие месяцы над изумленной страной, вещая грешникам и благочестивым одинаковую радость. Ибо, если первым предоставляла Елена в избытке усладу телесную, то духовной усладой дарил вторых сверкающий добродетелью образ Софии, и, в силу такого разделения, впервые от создания мира, в этом городе Аквитании царство Божие отделено было от царства дьявола столь отчетливо и наглядно. Целомудренному покровительствовала София, а отдавшийся плотскому сластолюбию вкушал земные наслаждения в объятиях ее недостойной сестры. Но в душе каждого человека проложены от добра ко злу, от плоти к духу странно-соблазнительные пути, и вскоре оказалось, что как раз эта двойственность неожиданным образом нарушила спокойствие людское. Ибо сестры-близнецы, несмотря на совершенно различный образ жизни, оставались внешне похожими друг на друга благодаря одинаковому росту, одинаковому цвету глаз, одинаковой улыбке и одинаковой миловидности; одну нельзя было отличить от другой. Понятно поэтому, что среди мужчин в городе поднялось замешательство. Если юноша провел ночь, исполненную страсти, в объятиях Елены и утром поспешно забегал в церковь к обедне, желая очиститься от

греха, он удивленно, испуганный дьявольским наваждением, протирал глаза. Ибо благочестивая молеельщица, стоящая в первом ряду послушниц с опущенными глазами и сложенными руками, казалась ему той самой женщиной, которую держал он в своих объятиях нагую и разгоряченную. Он пристально вглядывался: да, те же губы, те же округлые и нежные движения, правда, не в порыве распутства, а в коленопреклоненной молитве перед алтарем, но все же — Елена. Он вглядывался, и глаза загорались, различая сквозь монашеское одеяние хорошо знакомое тело любовницы. И такая же игра отраженных чувств мучила разум тех, кто, после благоговейного созерцания монахини, встречал на повороте улицы недавно еще целомудренную Софию, странно изменившуюся, в роскошном платье с обнаженной грудью, в толпе волокит и слуг, торопящуюся на пир. Они старались себя уверить, что это Елена, а не София, но не могли все же отделаться от образа нагой монахини, и грешными мыслями оскверняли святость молитвы. Так колебались чувства между той и другой, подчас смешивались, шли превратным путем, и случалось, что юноши грезили о теле неприступной сестры, пребывая у продажной, и глядели на святую порочным взором сладострастия. Так уж творец неладно создал мужчин: их чувственные вождения требуют не того, что им предлагается; если женщина без борьбы отдает свое тело, они забывают о благодарности и делают вид, что их привлекает только невинность. Если сохранившаяся невинность сопротивляется, то это их лишь вдвойне возбуждает. Так никогда не удовлетворяется мужская двойственность в вечной борьбе между плотью и духом; здесь же затейливый дьявол затянул двойной узел, ибо блудница и монахиня — Елена и София — казались единым телом; нельзя было отличить одну от другой, и никто не мог дать себе точного отчета, кем из них он, собственно, желает обладать. И так случилось, что беспутную молодежь города можно было чаще встретить в церкви, чем в трактире, и развратники соблазняли золотом блудницу, чтобы для любовных игр надела она власяную рясу и создала тем видимость, будто они наслаждаются

телом чистой блюстительницы веры, Софии. Весь город, вся страна постепенно втянуты были в эту безумно-дразнящую, обманную игру, и ни слово епископа, ни увещевания правителя города не могли прекратить ежедневно возобновляющегося кощунства.

Казалось бы, они могли полюбовно прийти к соглашению и удовлетвориться тем, что одна — самая богатая, а другая — самая благочестивая женщина в городе; но обе, окруженные поклонением и славой, с гневно бьющимися и под власяницей, и под соблазнительным нарядом сердцами, размышляли в своем честолюбии, как нанести друг другу удар. София со злостью кусала губы, когда до нее доходили слухи, что сестра позорит в греховном маскараде ее священное облачение. Елена же ударами плети осыпала слуг, доносивших о том, что епископ и святые мужи почтительно преклоняют колена перед ее сестрой, а женщины целуют землю, по которой она ступала. Чем больше зла они друг другу желали, чем сильнее они ненавидели друг друга, тем тщательнее прятали они свои истинные чувства под личиной сострадания. Елена, со слезами в голосе, жалела за пиром сестру, так бессмысленно сгубившую под власяницей молодость свою и жизнелюбие; София кончала свою всенародную молитву нарочито подобранным текстом о грешниках, предпочитающих, в своем неведении, короткое земное счастье чистому и вечному небесному блаженству. Но убедившись, что ни послы, ни доносчики не в силах сбить их с избранного пути, они постепенно снова стали сближаться, словно два борца, хранящих вид равнодушия, но внимательно, взором и рукой, готовящих сокрушительный удар, который должен опрокинуть противника. Все чаще стали они бывать друг у друга, проявляя нежную заботу, и в то же время каждая готова была пойти на все, лишь бы повредить другой.

Однажды после вечерни София-благочестивая пришла к сестре, чтобы словом убеждения вновь попытаться отвлечь ее от позорной жизни. Вновь принялась она доказывать сестре, начинавшей уже терять терпение, как ничтожны крохи земной любви по сравнению с манной пищи небесной и как она

неправильно поступает, превращая данное ей Богом тело в средоточие греха. Елена, только что заставившая служанок приготовить данное ей Богом тело для греховного ремесла, слушала, полугневаясь, полусмеясь, и размышляла, довести ли докучливую проповедницу до исступления богохульными речами, или позвать в свои покои несколько красивых юношей, чтобы смутить ее взоры. И вдруг, словно тихо жужжащая муха, странная мысль коснулась ее виска — дьявольская мысль, глумливая и опасная; с трудом сдержала она улыбку. Изменив свое вызывающее поведение, она выгнала служанок и холопов из покоя, чтобы, оставшись с сестрой наедине, личиной раскаяния затуманить внутренне-сверкающий взор. О, пусть сестра не думает, — сказала опытная в искусстве лицемерия Елена, — что сама она не испытывает стыда за опутавшие ее жизнь грехи. Не раз овладевало ею отвращение к животному сладострастию мужчин; неоднократно собиралась она отказаться от всего этого и начать скромную богоугодную жизнь. Но она сознает, что сопротивление напрасно; София, богобоязненная София, огражденная стенами монастыря, девственница, и не подозревает, какой соблазн таит в себе могущество мужчины, которому ни одна посвященная женщина не может противостоять. О, она не подозревает, она, блаженная София, как силен натиск мужчины, она не знает, что сила эта содержит в себе странную усладу и, вопреки собственной воле, женщина покорно уступает его неистовству.

София, пораженная такой исповедью, неожиданной для нее в устах блудницы, поспешно собрала весь запас благочестивых и назидательных слов. Наконец-то и Елены коснулся божественный луч, — начала она свою проповедь, — ибо отвращение к греховному — начало истинной добродетели. Но заблуждение и слабость веры омрачают еще, должно быть, ее ум, если она утверждает, что невозможно, при помощи твердой воли, побороть вожделения плоти. В длинной речи припоминала она примеры святых Антония и Пафнутия, всех грешников, умерщвлением плоти и молитвой мужественно поборовших искушения. Но Елена печально опустила голову. О,

да, и она читала с восторгом о героической борьбе святых мужей этих с дьяволом чувственности.

Но дело в том, что мужчин наделил Бог не только более мощным телом, но и духом, более твердым, сотворив их победоносными воителями рати Божией. И никогда, — с тяжким вздохом проговорила она, — не в силах будет слабая женщина противостоять козням и соблазну мужчин, и за всю свою жизнь не видела она примера, чтобы женщина не покорилась настойчивости мужчины и оттолкнула его ласку.

— Как можешь ты говорить так, дерзкая, — возмутилась София, задетая в неукротимой своей надменности. — Разве я не пример тому, что решительная воля может противостоять животному натиску мужчин? С утра до вечера окружает меня их ватага, вплоть до церкви преследуют они меня по пятам, и к ночи я нахожу в своей постели письма и стихи, исполненные отвратительнейших обольщений. И никто не видел, чтобы я удостоила одного из них даже взглядом; молитва оберегает меня от соблазна. Нет правды в том, что ты говоришь: если женщина хочет искренне, она может себя защитить, этому пример я сама.

— О, я знаю, ты, счастливица, сумела уберечь себя до сих пор от всякого соблазна и сохранила целомудренными и тело и душу, — лицемерно возразила Елена, с притворной покорностью покосившись на сестру, — но это потому, что тебя спасает духовное облачение. Тебе защитой — стены монастыря, ты по ту сторону смелых вождлений. Не думай, что сохранением целомудрия обязана ты лишь собственной добродетели; я уверена, София, что наедине с юношей ты не сможешь и не захочешь ему сопротивляться. Ты, столь хорошо охраняемая, не имеешь понятия об уловках Эроса и его непобедимом обаянии. И ты, я в этом не сомневаюсь, так же покоришься ему, как покорились мы.

— Никогда! Нет, никогда! — резко ответила честолюбивая София. — Я готова и вне стен монастыря, без защиты моего облачения выдержать всяческий иску; оградой мне будут сила моей молитвы и моя воля.



Именно этого добивалась Елена. Шаг за шагом вовлекая надменную святую в подготовленную заранее западню, она не переставала вслух сомневаться в возможности такого сопротивления, пока, наконец, София, выведенная из терпения, сама не стала настаивать на решительном испытании. Она желает, да, она требует испытания, дабы слабая духом убедилась, наконец, что своей чистотой она обязана не монастырскому одеянию, а внутреннему влечению. Елена задумалась; от злого нетерпения сердце забилося в груди; наконец она проговорила:

— Послушай, София, я придумала подходящее испытание. Завтра вечером я жду Сильвандра, самого красивого юношу в стране; ни одна женщина не отвергла его ласк, но он хочет только меня. Двадцать восемь миль скачет он верхом, чтобы меня увидеть, и везет с собою семь фунтов золота и другие подарки, надеясь разделить со мною ложе. Но если бы даже он пришел с пустыми руками, я и тогда бы его не отвергла; заплатила бы сама ему столько же золота, чтобы провести с ним ночь, ибо он самый красивый юноша и самый приятный в обращении. Бог создал нас с тобою столь схожими внешнею, голосом и сложением, что, если ты наденешь мое платье, никто, даже знающий меня близко, не заподозрит обмана. Прими завтра, вместо меня, Сильвандра в моем доме и подели с ним трапезу. Если он, не распознав обмана, попросит твоей ласки, откажи под каким-нибудь предлогом. А я в соседней комнате буду ждать и следить, окажешься ли ты в силах до полуночи сдержатъ свои чувства. Но, повторяю, сестра, остерегайся: велик соблазн его присутствия, опаснее всякого насилия лещь мужчины, а еще опаснее тщеславие нашего сердца. Боюсь, сестра, может случиться, что ты, вне отшельнических своих стен, поддашься неожиданному соблазну, а потому заклиная тебя отказаться от столь смелой игры.

Гладкая речь коварной Елены, то уговаривавшей, то старавшейся отговорить сестру, подливала лишь масло в пламя ее высокомерия. Если испытание заключается в таком пустяке, — гордо заявила София, — то она не сомневается, что с легко-

стью выдержит его и может остаться госпожой положения не только до полуночи, но даже и до зари; она просит лишь разрешения запастись кинжалом на случай, если бы дерзкий осмелился прибегнуть к насилию.

Услышав столь гордую речь, Елена, точно в порыве благоговения, опустила на колени перед сестрой; на самом же деле она хотела только скрыть злорадство, сверкнувшее в глазах; они условились, что на следующий день благочестивая София примет Сильвандра. Елена, в свою очередь, поклялась навсегда отказаться от порочной жизни, если сестре удастся избежать соблазна. София, поспешно вернувшись в монастырь, принялась за чтение священных книг и высоких легенд о богобоязненных девах и, бичуя себя и изнуряя постом, молила Бога ниспослать ей силу выдержать испытание.

Но и Елена не сидела сложа руки. Ей ведомо было магическое искусство, состоящее в том, чтобы вызывать Эроса, своеговольного Бога, и удерживать его. Первым делом велела она своему повару-сарацину приготовить особые блюда, одобренные всеми возбуждающими сладострастие специями. В паштет она приказала положить бобровое семя, любово-страстные коренья и испанский перец; в вино подмешала белены и одуряющих трав, чтобы раньше времени вызвать усталость и затуманить ум. К тому же она заказала музыку, этого извечного сводника, теплым ветерком залетающего в открытую и томящуюся душу. Льстивые флейты и пылкие цимбалы приютились поблизости, скрытые от взора и потому особенно опасные для затуманенного чувства. Предусмотрительно запалив таким образом печи дьявола, деньгами и угрозами заставив служанок быть послушными, она нетерпеливо стала ждать состязания, и, когда вечером явилась бледная от поста и бессонной ночи, возбужденная близостью надвигающейся опасности богобоязненная София, ее встретил у порога рой толпящихся юных служанок; они повели изумленную Софию к благоухающему водоему. Там они сняли с юного тела краснеющей девушки серую будничную власяницу и принялись

натирать ей руки, бедра и спину настоями из цветов и благоухающими мазями столь нежно и крепко, что кровь жгуче прилила к порам. Волна влажно-струящейся прохлады, сменяясь волною тепла, пробегала по трепещущим жилам; быстро мелькающие руки увлажняли разгоряченное тело нарциссным маслом, нежно мяли его и так натирали блестящую кожу трещащими кошачьими шкурками, что голубые искры мерцали на шерсти; короче говоря, они приготавливали к любовным играм нерешавшуюся противиться богобоязненную Софию точно так же, как ежевечерне — Елену. Издали доносились тихие, вкрадчивые звуки флейты, от медных треножников подымался сладкий голубоватый дым ладана, и со стен благоухал, стекая каплями воска, сандал светильников. И, когда наконец София улеглась на ложе и в металлических зеркалах увидела свое отражение, она показалась себе чужой, но еще более прекрасной. Ее тело было легким и свежим, словно воздух, и она стыдилась в то же время приятного чувства охватившей ее неги. Однако недолго ей пришлось отдаваться двойственности ощущений. Сестра приблизилась, крадучись, как кошка, и в лъстивых выражениях стала восхищаться красотой Софии, пока та смущенно и резко не прервала поток суетной ее речи. Еще раз лицемерно обнялись сестры; обе дрожа — одна от беспокойства и страха, другая от нетерпения и зложелания. Елена приказала зажечь свечи и исчезла, как тень, в соседнем покое, чтобы насладиться смело задуманным зрелищем.

Блудница задолго до того послала весть Сильвандру о том, какое необыкновенное приключение его ожидает, приказав ему привлечь надменную сдержанностью и пристойным обращением, раньше чем осмелиться на небезопасный натиск. И когда вошел Сильвандр, мечтавший быть победителем в состязании, София левой рукой невольно схватилась за кинжал, который захватила с собой для защиты от насилия. Ей пришлось, однако, удивиться той почтительной вежливости, с которой мнимо-дерзкий любовник к ней приблизился. Предупрежденный сестрой, он не торопился обнять боязливую

Софию, не обратился к ней с нежными словами, а почтительно преклонил перед ней колени. Он взял из рук скромно ожидавшего слуги цепь массивного золота и пурпуровое платье из провансальского шелка и попросил разрешения накинуть ей на плечи и то и другое. На столь вежливое обращение София могла ответить только согласием: не двигаясь, она разрешила ему наложить на нее цепь и богатое платье; при этом вместе с прохладной цепью она ощутила на шее легкое прикосновение горячих пальцев. Но так как они не задержались легкомысленно на шее, а быстро вернулись без смелых попыток, Софии не представился случай для преждевременного гнева. И, не становясь навязчивым, лицемерный юноша снова склонился; чувствуя себя недостойным разделить с ней трапезу, он скромно попросил разрешения раньше умыться и почистить платье от дорожной пыли. Смущенно позвала она служанок и велела отвести его в покой для омовения. Но служанки, послушные тайному приказу своей госпожи Елены, намеренно неверно истолковав слова Софии, быстро совлекли с юноши одежды, так что вскоре он возник перед нею нагой и прекрасный, сходный с языческим изваянием Аполлона, красовавшимся прежде на базарной площади и разбитым на куски по приказанию епископа. Они натерли его маслами, омыли ему ноги нежной влагой; не спеша скрыть от взоров Софии красоту его юного тела, они вплели в волосы улыбающемуся обнаженному юноше розы и потом облачили его в новое богатое платье. И когда освеженный Сильвандр приблизился, он показался ей еще прекраснее. Заметив, что пленяется его красотой, она, разгневанная, поспешила удостовериться, что спрятанный в платье кинжал наготове. Но странно, прошел уже час, а юноша все еще занимал ее пустыми речами; все еще — теперь уже больше к огорчению ее, чем к удовольствию — не представлялся ей случай блеснуть перед сестрой примерной женской стойкостью. Ибо, чтобы защитить добродетель, необходимо, как известно, чтобы она была под угрозой. Но буря страсти как будто не подымалась в Сильвандре; лишь легким, слабым ветерком вежливости оваяно было дыхание его разговора; флейты, по-

степенно возвышающие из соседней комнаты вкрадчивые свои голоса, говорили, казалось, нежнее, чем алые, обычно ненасытные уста юноши. Он рассказывал, не уделяя ей особого внимания, о состязаниях и войнах, точно сидел за столом в кругу мужчин, и равнодушие было разыграно так мастерски, что София окончательно успокоилась. Не задумываясь, вкушала она от опасно приправленных блюд и пила дурманящее вино. Сердясь на то, что холодность юноши не дает ей ни малейшего повода блеснуть перед сестрой гордым и прекрасным негодованием, горя нетерпением, она сама наконец пошла навстречу опасности.

Неизвестно каким образом вырвался из ее горла чуждый ей самой смех, появилось желание придвинуться и потом откинуться назад в шаловливой игре; она не сдерживала себя, не стеснялась, — ведь до полночи еще далеко, кинжал под рукой, а этот мнимо-пламенный юноша холоднее, чем стальное лезвие этого кинжала. Все ближе и ближе придвигалась она к нему в ожидании случая победоносно отстоять свою добродетель; сама того не желая, богобоязненная София постигала то искусство обольщения, в котором за мзду земную обычно упражнялась здесь ее порочная сестра.

Но мудрое изречение гласит, что нельзя тронуть и волоса из бороды дьявола без того, чтобы он не схватил тебя нечаянно за шиворот. Так случилось и с богобоязненной, рвущейся в бой воительницей. От вина, таившего неведомую ей силу сладострастного возбуждения, от медленно поднимающегося благоухания, от сладостно-томящих звуков флейты, мысли ее постепенно затуманились. Смех превратился в лепет, резвость — в щекотку, и ни один доктор обоих факультетов не мог бы объяснить перед судом, случилось ли это во сне или наяву, в опьянении или в трезвом виде, с ее ли согласия или вопреки ее воле; коротко говоря, это произошло еще задолго до полуночи, — то, что по велению Бога или его соперника должно произойти между женщиной и мужчиной. Из распутившихся складок платья упал вдруг, зазвенев, на мраморный пол припрятанный тайно кинжал; странно: утомленная София не подняла

его, чтобы направить против находившегося в опасной близости юноши; не слышно было ни плача, ни сопротивления. И когда, торжествуя, в полночь порочная сестра ворвалась со слугами в превратившуюся в брачный покой комнату и, горя любопытством, подняла факел над ложем побежденной, — излишни были признания, излишне было раскаяние. Дерзкие служанки, по языческому обычаю, осыпали ложе розами более алыми, чем щеки покрасневшей Софии, слишком поздно осознавшей свой женский удел. Но сестра заключила смущенную женщину в объятия и горячо поцеловала ее, ибо наконец двойственность была сломлена и невеста небесная возвращена земле.

Пели флейты, гремели цимбалы, будто Пан вернулся на христианскую землю; дерзко обнаженные девушки плясали, восхваляя Эроса, отвергнутого Бога. Кружащийся в вакхическом танце хоровод возжег затем костер из благоухающего дерева, и жадными языками пожирало пламя преданный поруганию скромный монашеский наряд. Новую жрицу, притворяющуюся, дабы не сознаться в поражении, что она добровольно отдалась прекрасному юноше, служанки украсили такими же розами, как сестру; они стояли теперь рядом, пылающие одна от стыда, другая — в победном торжестве, и никто не мог бы отличить Софию от Елены, сестру когда-то богобоязненную от сестры-блудницы; взоры юношей жадно переходили от одной к другой в новом, двойственно-нетерпеливом вожделении.

Тем временем задорная ватага с шумом распахнула окна и двери замка. Ночные гуляки, разбуженный беспутный сброд, смеясь, притекал, обрадованный быстрым превращением, и солнце еще не успело осветить крыши, как весть о блестящей победе Елены над мудрой Софией, порока над целомудрием, потекла по улицам, словно вода из желоба. Богобоязненных эта весть поразила, словно колокол, с грохотом упавший на землю. В монастыре прервалась обедня, испуганно разбежались монахини, — серая голубиная стая, неожиданно застигнутая ястребом. Как только мужи города услышали, что рух-

нул этот надежнейший столп святости, они поторопились, возбужденные, насладиться на земле тем, что принесено было в жертву небу; они (к стыду будь сказано) приняты были достойно, ибо София, быстро обращенная, осталась у сестры Елены, ревностно и пылко стремясь уподобиться ей; говорят даже, что она превзошла ее вначале, так как пост во все времена возбуждал голод, и любит пламеннее тот, кто дольше предавался воздержанию. Настал конец зависти и соревнования; посвятив себя одним и тем же стремлениям, сестры жили в добром согласии под одной кровлей. Они причесывались одинаково, носили одинаковые платья и драгоценности, и так как смех их и манера ласковых речей были тоже сходны, то для сластолюбцев началась новая игра: после пламенных взглядов, поцелуев и ласк — угадать, в чьих объятиях они наслаждались: блудной ли Елены или богобоязненной Софии. Редко удавалось им узнать, кому из них они оставили свои деньги, — столь похожими оказывались обе, София и Елена; к тому же умные сестры доставляли себе удовольствие дурачить любопытных.

Итак, не впервые в нашем обманчивом мире, Елена восторжествовала над Софией, красота над мудростью, порок над добродетелью и неизменно-похотливая плоть над слабым и самодовлеющим духом; вновь получили подтверждение истины, которые еще Иов горестно вещал в достопамятных своих речениях, — злодей здравствует на земле, в то время как погибает богобоязненный, и справедливый служит посмешищем. Ибо по всей стране ни сборщик податей, ни надсмотрщик, ни бочар, ни ростовщик, ни золотых дел мастер, ни пекарь, ни карманник, ни церковный вор не собирали тяжким своим трудом столько денег, сколько две сестры — своим нежным рвением. В неизменном и дружеском согласии, они опустошали самые тяжелые мешки и самые полные ларцы; деньги и драгоценности сбегались еженощно в дом, словно мыши. Унаследовав от матери, кроме красоты, дух деловой и торговый, они не расточали своего золота, как большинство подобных им женщин, на пустые безделушки: нет, будучи умнее,

предусмотрительно отдавали это золото в рост, обильно снабжая ими христиан, язычников и евреев, и так усердно орудовали счетами, что вскорости в этом доме порока накоплено было монет, камней, верных расписок и надежных закладных больше, чем где бы то ни было. Неудивительно, что молодые девушки той страны утратили желание быть поденщицами и отмораживать себе пальцы у лоханок. Все вкуче они предпочли согревать постели мужчинам, и в скором времени город этот получил самую худшую славу из всех городов, и самые прочувствованные жалобы священников, заклинавших гибелью Содома, зазвучали в опустевших стенах храма. Горестно повествовать об этом: двадцать, нет, тридцать лет благословение Божие сопутствовало, видимо, порочной жизни сестер-блудниц, ибо все тяжелее становились их ларцы, и богатству своему они давно уже потеряли счет.

Но есть истина и в другом старинном изречении: как бы быстро ни скакал черт, в конце концов он сломает себе ногу. Так и здесь все злключения (о коих повествую я нехотя и вопреки собственному чувству возмущения) пришли к благополучному концу.

С течением времени мужчинам стала надоедать игра в загадку. Гости приходили реже, раньше гасились факелы в доме, и уже давно все, кроме сестер-близнецов, знали то, о чем глухо повествовало зеркало мигающим светильникам: о морщинках возле надменных глаз, об отцветающем перламутре постепенно вянущей кожи. Напрасно пытались они искусственными средствами восстановить то, что тайком отнимала у них безжалостная природа, напрасно гасили седину у висков, разглаживали ножами из слоновой кости морщины и мазали кармином губы усталого рта; годы, бурно прожитые годы, проступали явственно; их покинула красота, а с нею ушли и мужчины. В то время как они отцветали, кругом на улицах появлялись девушки, каждый год новое поколение, милые существа с небольшой грудью и бойкими кудрями, сугубо обольстительные для мужского любопытства чистотой нетронутого тела, — ибо сестры в то время стали подобны истоптанной мостовой база-



ра, по которой каждый проходил сотни раз. Все тише становилось в доме на базарной площади; дверные ручки покрывались ржавчиной, напрасно зажигались факелы и благоухала смола, некому было греться у пылающего камина, некого было ждать наряженным сестрам. Скучая, упражнялись флейтисты в бесконечной игре в кости, пренебрегая своим обольстительным искусством, и привратник, еженощно поджидавший гостей, толстел от избытка непотревоженного сна. Одинокó сидели наверху обе сестры за длинным столом, некогда дрожавшим от взрывов смеха, и так как никто из сластолюбцев не приходил коротать с ними время, у них достаточно оставалось досуга, чтобы вспоминать прошлое. В особенности София с грустью думала о том времени, когда, отвернувшись от земных наслаждений, отдавалась она истовым и богоугодным мыслям; она часто брала теперь в руки пыльные священные книги, ибо мудрость охотно посещает женщин, когда их покидает красота. Таким образом постепенно подготовлялся в обеих сестрах удивительный поворот мыслей, и, как в дни юности Елена-блудница поборола Софию, так теперь София, правда, несколько поздно и немало уже нагрешив, нашла в слишком земной своей сестре слушательницу, чуткую к ее призывам — смириться и искренне покаяться. Не находя больше желающих разделить с ними плотские утехи, они и сами потеряли к ним влечение. Таинственные прогулки начались по утрам: София украдкой стала посещать монастырь, дабы вымолить прощение, сначала одна, а потом в сопровождении Елены, и когда обе они объявили, что все добытые грехом деньги они желают без остатка передать на добрые дела, самые строгие среди верующих не могли усомниться в искренности их раскаяния.

И так случилось, что в одно прекрасное утро, когда привратник еще дремал, две просто одетые женщины с прикрытыми от нескромных взоров лицами, словно тени, выступили из пышного дома на базарной площади, своей пугливо-покорной походкой напоминая другую женщину — их мать, ту, что пятьдесят лет назад возвращалась из внезапного богатства на

улицу нижнего города — в нищету. Осторожно проскользнули они в робко приоткрытую дверь.

Те, кто в течение всей жизни, безмерно соревнуясь, требовали поклонения и покорности, боязливо прятали теперь свои лица, чтобы путь их остался неведомым, и судьба тайно смирившихся была забыта. Тем не менее еще один, последний раз сестры-близнецы привели в изумление весь город. Ранним утром зазвонили неожиданно все колокола, словно среди осени наступила Пасха; многолюдная процессия построилась у ворот монастыря, впереди шел епископ в окружении духовенства и толпы верующих с зажженными факелами. Он выступал величественно, и впервые после долгих лет поношения сверкали его глаза радостью из-под омраченного лба. Все теснее и взволнованнее толпился народ, чтобы рассмотреть, к какой святой обители движется непонятная процессия. И ко всеобщему изумлению, процессия направилась к дому сестер-блудниц на базарной площади. Епископ вошел, сопровождаемый духовенством, и, потрясая кадильницей, ладаном окурив порочную обитель, покой за покоем; после обеда каменщики укрепили церковный герб над аркадою этого дома, предназначенного отныне охранять добродетельных девушек. Сестры же — теперь только распространилась всех поразившая весть — тайно удалились в отдаленный женский монастырь, оставив на добрые дела все свое состояние, в качестве бесспорного доказательства своего раскаяния. Состояние это оказалось несметным, и золота было так много, что епископ, в память знаменательного этого превращения, решил соорудить над плоскою крышею дома, — как наглядный знак раскаяния, — высокие башни, самые величественные во всей Аквитании. Некий северный художник разработал план, двадцать долгих лет днем и ночью толпами трудились рабочие, и когда, наконец, великое дело было закончено, снова в изумлении собрался народ. Ибо то была не обычная, подъемлющая четырехугольную свою главу к небу одиночная башня, нет, женственно-стройные, одетые в гранитное кружево вздымались две башни — одна справа, другая слева, столь одинаковые вышиной, сораз-

мерностью и тонким очарованием шлифованного камня, что в первые же дни люди назвали обе башни «близнецами», только ли потому, что одна была отражением другой, или, быть может, и потому, что многие помнили сестер-близнецов, чей жизненный путь и чье превращение передал я честно, не ругаясь, впрочем, за достоверность.





## ГЛАЗА ИЗВЕЧНОГО БРАТА

*Моему другу  
Вильгельму Шмидтбонну*

Не уклонение от дел  
Освобождает нас от них.  
От действия отрешены  
Не можем быть мы ни на миг.

*Бхагаватгита, 3-я песня*

Что лучше — дело иль покой?  
Смушал и мудрых сей вопрос.  
Опасность кроется в делах:  
Легко запретное свершить.  
Опасно и бездействие —  
Поступков суть темна, как ночь.

*Бхагаватгита, 4-я песня*

*Сие есть история Вираты, которого народ его прославил  
четырьмя именами добродетели, но о ком не упоминается ни  
в летописях властителей, ни в книгах мудрецов, чья память  
забыта людьми.*

**В** те времена, когда мудрый Будда еще не ходил по земле и не изливал свет познания на своих слуг, жил в стране бирвагов, у царя Раджпутаны, знатный человек Вирата, которого называли Молнией Меча, ибо он был воин, храбрее самых храбрых, и охотник, чьи

стрелы никогда не летели мимо цели, чье копьё никогда не взвивалось напрасно и чья рука разила, как гром, при взмахе его меча. Его чело было светло, глаза его открыто встречали вопросы людей. Никто не видел его злобно сжимающим руку в кулак. Никогда его голос не возвышался до гневного крика. Он преданно служил своему государю, а его рабы почтительно служили ему, ибо не было более справедливого человека на пяти разветвлениях реки. Благочестивые люди склоняли голову, проходя мимо его дома, а дети улыбались, встречая его взор.

Однажды царя постигло несчастье. Брат его жены, которого он поставил правителем над половиной своего царства, пожелал завладеть и второй половиной и тайно подарками соблазнил лучших воинов царя, чтобы они служили ему. Он уговорил жрецов доставить ему ночью священных цапель озера, уже много тысячелетий служивших символом власти в стране бирвагов. Мятежник снарядил боевых слонов, собрал войско из недовольных жителей страны и, взяв с собой священных цапель, грозно выступил против города.

Царь приказал с утра до вечера бить в медные литавры и трубить в рога из слоновой кости; по ночам на башнях зажигали огни и бросали в пламя растертую чешую рыб, которая желтыми искрами взлетала к звездам, в знак призыва. Но пришли лишь немногие: весть о похищении священных цапель тяжело легла на сердца вождей и наполнила их страхом. Начальник воинов и хранитель слонов, самые испытанные из полководцев, пребывали уже в лагере врага, и тщетно покинутый царь искал вокруг себя друзей, ибо он был суровый властитель, строгий судья и неумолимый собиратель податей. Никого из доблестных военачальников не нашел он перед своим дворцом, и лишь растерянную толпу рабов и слуг.

В своей великой нужде царь вспомнил о Вирате, заявившем о верности своей при первом звуке рогов. В носилках черного дерева царь велел отнести себя к дому Вираты. Вирата пал ниц, когда царь вышел из носилок, но тот поднял и обнял его, прося повести войско против врага. Вирата склонил голову и сказал:

— Я сделаю это, господин, и не вернусь в этот дом, пока пламя мятежа не будет затоптано ногою твоих слуг.

И он собрал своих сыновей, своих родичей и рабов, примкнул с ними к кучке других верных царю людей и выстроил их для похода. Целый день пробирались они сквозь лесные дебри к реке, на другом берегу которой в несметном количестве собрались враги, похваляясь своей силой и вырубая деревья для моста, чтобы наутро переправиться и, потоком хлынув на страну, затопить ее кровью. Но Вирата, ходивший раньше на тигров, знал брод выше моста, и, когда спустилась темнота, он одного за другим перевел своих людей через воду, и среди ночи они врасплох напали на спящего врага. Они размахивали смоляными факелами, пугая слонов и буйволов, которые, обращаясь в бегство, топтали спящих при белом свете пламени, врывавшегося в шатры. Вирата же первым вбежал в шатер изменника, и, прежде чем пришли в себя спавшие, он уже убил двух из них, а третьего зарубил в тот миг, когда тот хотел схватиться за свой меч. С четвертым и пятым он бился один на один во мраке и поразил одного из них в лоб, а другого в обнаженную грудь. Когда же они безмолвно легли, тени среди теней, он загородил собой вход в шатер, дабы никто не проник внутрь, ибо он желал спасти белых цапель — священный символ божества. Но враги больше не показывались, они в безумном ужасе мчались прочь, а за ними, с криками торжества, гнались победоносные слуги царя. Погоня промчалась мимо и мало-помалу затихла вдали. Тогда Вирата спокойно сел у входа, скрестив ноги и держа в руках окровавленный меч; он ожидал возвращения своих спутников.

Прошло немного времени, и Божий день занялся за лесом, пальмы вспыхнули золотым багрянцем зари и засверкали, как факелы, над рекой. Огненной раной прорезало восток кровавое солнце. Тогда Вирата встал, снял с себя одежду и, воздев над головою руки, подошел к воде; он простерся на берегу, перед сверкающим оком Бога. Потом он вошел в воду для священного омовения, и кровь стекла с его рук. Когда же свет белой волной коснулся его головы, он вышел опять на берег,

облачился в свою одежду и с просветленным лицом вернулся к шатру, чтобы при свете утра посмотреть на подвиги ночи. С застывшим страхом в чертах, с широко раскрытыми глазами и с искаженными лицами лежали мертвые: с раскроенным лбом — зачинщик мятежа, и с рассеченной грудью — изменник, бывший ранее предводителем войска в стране бирвагов. Вирата закрыл им глаза и шагнул дальше взглянуть на других, убитых спящими. Они лежали, полуприкрытые своими плащами, и лица их были ему чужды, — это были рабы соблазителя, из южной страны, с курчавыми волосами и черной кожей. Но когда он повернул к себе лицо последнего, у него потемнело в глазах, ибо это был его старший брат, Белангур, горный князь, которого мятежник привлек к себе на помощь и которого он, Вирата, ночью убил собственной рукой. Сдрожью склонился он над скорченным телом. Но сердце больше не билось, неподвижно застыли раскрытые глаза убитого, и их черные зрачки проникали Вирате в самое сердце. И у Вираты остановилось дыхание; как неживой сидел он между мертвыми, отвратив взор свой, чтобы не встречать обвиняющих, застывших очей того, кто был рожден его матерью до него.

Но вскоре раздались громкие клики. Подобно стае диких птиц, возвращались с погони ликующие воины, с богатой добычей и веселой душой. Узрев мятежного князя, убитого среди своего стана, и священных цапель в сохранности, они стали плясать и скакать и целовали край ниспадавшей одежды у безучастно сидевшего Вираты и прославляли его новым именем — Молнией Меча. Подходили все новые и новые воины, они грузили добычу на повозки, но колеса под тяжестью поклажи так глубоко уходили в землю, что приходилось бить буйволов терновником, чтобы сдвинуть их с места. Гонец бросился в реку и поспешил вперед, чтобы принести весть царю, остальные воины остались при добыче и торжествовали победу. Но молча, в глубоком раздумье, сидел Вирата. Только раз возвысил он голос, когда его люди хотели похитить одежду с убитых. Тогда он встал и приказал сложить костер и возложить на него тела убитых для сожжения, дабы души их чисты-

ми вступили на путь перевоплощения. Люди дивились, что он поступает так с заговорщиками, чьи тела следовало бы бросить на растерзание шакалам. Но они исполнили его волю. Когда костер был возведен, Вирата сам зажег его и бросил благовония и сандал на разгорающиеся дрова. Потом он отвратил свое лицо и стоял в молчании, пока не рухнули последние бревна и раскаленная зола не упала на землю.

Тем временем рабы закончили наведение моста, накануне с хвастовством начатое противником. Впереди шествовали воины, увенчанные цветами низанга, за ними следовали рабы и ехали на конях князя. Вирата пропустил их вперед, ибо их пение и клики раздирали ему душу, и когда, наконец, он тоже двинулся в путь, между ними, по его воле, было некоторое расстояние. Посреди моста он остановился и долго смотрел вниз на текущую по обе стороны воду, перед ним же и за ним, соблюдая расстояние, остановились изумленные воины. И они увидели, как он поднял меч, как будто желая замахнуться им против неба, но, опуская руку, тихо выпустил рукоять и уронил меч в глубину. Тут же с бросились в воду нагие юноши, чтобы извлечь его, полагая, что меч случайно выскользнул из рук Вираты, но он строго отозвал их назад и медленно, с омраченным челом, прошел между удивленными рабами. Ни одного слова не сорвалось с его уст, пока они, час за часом, тянулись по желтой дороге к своему родному городу.

Они еще были далеко от яшмовых ворот и зубчатых башен Бирваги, как вдруг вдали поднялось белое облако. Оно катилось им навстречу, и вот из него, обгоняя пыль, показались скороходы и всадники. Завидя войско, они остановились и устлали дорогу коврами, в знак того, что за ними следует царь, чья нога никогда не должна касаться земного праха, с часа его рождения и до часа смерти, когда пламя охватит его священное тело. И уже приближался на древнем слоне царь, окруженный своею свитой. Послушный жожаку, слон опустил на одно колено, и царь сошел на разостланный ковер. Вирата хотел пасть ниц перед своим господином, но царь подошел к нему и принял его в свои объятия, — честь, неслыханная с начала



времен и не упоминаемая в летописях. Вирата приказал принести цапель, и когда они взмахнули белыми крыльями, раздалось такое ликование, что кони стали взвиваться на дыбы, а погонщики должны были укрощать слонов. Увидя это доказательство победы, царь вновь обнял Вирату и подал знак одному из слуг. Тот принес и подал меч славного праотца раджпутов, семь раз по семьсот лет пролежавший в сокровищнице царя, меч с рукоятью, сверкавшей драгоценными камнями, и с клинком, на котором золотыми знаками начертаны были таинственные слова победы. Эти письмена предков не могли прочесть теперь уже ни мудрецы, ни жрецы главного храма. И царь подал Вирате этот меч мечей, как дар своей признательности и в знак того, что отныне он будет старшим из его военачальников и предводителем его войск.

Но Вирата склонил лицо свое к земле и, не поднимая его, сказал:

— Могу ли я испросить себе милость от милостивейшего и обратиться с просьбой к великодушнейшему из царей?

Царь взглянул на него и сказал:

— Твоя просьба будет исполнена, прежде чем ты успеешь поднять на меня глаза. И если ты потребуешь половину моего царства, — она твоя, лишь только ты откроешь уста.

И Вирата сказал:

— Так дозвожь же, о царь, чтобы этот меч по-прежнему оставался в сокровищнице, ибо в сердце своем я дал зарок никогда больше не брать в руки меча, так как сегодня я убил моего брата, единственного, который вышел со мной из одного лона и который играл со мной, когда мать держала меня на руках.

Изумленно взглянул на него царь. И сказал:

— Будь же без меча старшим из моих военачальников, чтобы я знал, что мое государство защищено от всех врагов, ибо никогда ни один герой не вел лучше тебя рать против превосходящих сил. Возьми мой пояс, как знак власти, и моего коня, дабы все узнали в тебе первого из моих воинов.

Но Вирата еще раз склонил лицо к земле и возразил:

— Незримый подал мне знак, и мое сердце поняло его. Я должен был убить моего брата затем, чтобы узнать, что всякий, убивающий человека, лишает жизни брата. Я не могу быть вождем на войне, ибо в мече насилие, а сила враждует с правом. Кто причастен к греху убийства, — мертв сам. Я же не хочу, чтобы от меня исходил ужас, и предпочту добывать хлеб подаяниями, чем погрешить против этого поданного мне знака. Коротка жизнь в вечном перевоплощении, дай же мне мою долю прожить праведным.

Лицо царя омрачилось, и вокруг тишина испуга сменила шум ликования, ибо неслыханно было, во времена отцов и праотцов, чтобы человек благородного происхождения отказался от войны и князь не принял подарка от своего государя. Но затем властитель взглянул на священных цапель, символ победы, добытой Виратой, и лицо его вновь просветлело, когда он сказал:

— Храбрым перед лицом врагов я всегда знал тебя, Вирата, и справедливейшим среди слуг моего царства. Должен я обойтись без тебя на войне, я все же не хочу утратить тебя совсем. Так как ты вину знаешь и справедливо взвешиваешь ее, будь у меня верховным судьей и верши суд на ступенях моего дворца, дабы истина находила приют в моих стенах и право охранялось в стране.

Вирата простерся перед царем и, в знак благодарности, обнял его колени. Царь приказал ему сесть на слона рядом с собой, и они въехали в шестидесятибашенный город, где ликование жителей обступило их бушующим морем.

С высоты розовой лестницы, под сенью дворца, с восхода и до заката судил Вирата народ именем царя. И слово его было как весы, которые долго колеблются, прежде нежели измерить вес. Его взор ясно читал в душе виновного, и его вопросы упорно проникали в тайны преступлений, как барсуки проникают в темные недра земли. Строг был его приговор, но никогда не выносил он решения в тот же день, оставляя прохладный промежуток ночи между допросом и осуждением. В долгие

часы до солнечного восхода домашние его часто слышали, как он беспокойно ходил по крыше дома, размышляя о правде и кривде. Перед тем как изречь приговор, он окунал руки и лоб в воду, дабы его слово было свободно от горячности. И всегда, произнося приговор, он спрашивал преступника, не считает ли тот решение неправильным. Но редко кто-либо возражал. Молча целовали осужденные ступень у его ног и с поникшей головой принимали наказание, как бы из божьей десницы.

Но никогда уста Вираты не изрекали даже над преступнейшим слова смерти, и он не внимал корившим его за это. Ибо его страшила кровь. И в те годы дождь добела омыл почерневшие от пролитой крови камни круглого колодца праотцов раджпутов, над краем которого палач пригибал головы для смертоносного удара. И все же в стране совершалось меньше злодеяний. Вирата заточал преступников в каменные темницы или ссылал их в горы, где они должны были ломать камень для садовых оград, и на рисовые мельницы, где они вместе со слонами вертели жернова. Но он чтит жизнь, и люди чтили его, ибо никогда не замечали ошибок в его приговорах, небрежности в его допросах и не слышали гнева в его речах. Из далеких концов страны приезжали к нему в запряженных буйволами повозках землевладельцы, чтобы он разрешил их тяжбы, жрецы внимали его словам, и царь следовал его советам. Слава его росла, как растет молодой бамбук, прямой и светлый, и люди забыли данное ему когда-то имя Молнии Меча, и по всей стране раджпутов прославляли его, как Источник Справедливости.

И вот, когда Вирата уже шестой год вершил суд с высоты дворцовых ступеней, случилось однажды, что привели к нему юношу из племени хозаров, дикарей, живших за горами и поклонявшихся иным богам. Ноги его были изранены от многодневной дороги, когда его вели в столицу, и четырехкратные путы обвивали его мощные руки, чтобы он не мог ни на кого наброситься, как это грозно обещали его глаза, гневно вращавшиеся под насупленными бровями. Жалобщики привели его к подножию лестницы и с силой швырнули связанного на коле-

ни перед судьей. Затем они склонились сами и подняли руки, в знак обвинения.

Вирата изумленно воззрится на пришельцев.

— Кто вы, братья, пришедшие издалека, и кто тот, кого вы привели ко мне в путях?

Старейший из них склонился и заговорил:

— Пастухи мы, господин, мирно живущие на востоке, этот же — злейший из злого племени — бешеный зверь, убивший больше людей, чем есть пальцев на его руках. Один из жителей нашей деревни отказался дать ему в жены свою дочь, потому что их племя нечестиво: они едят собак и убивают коров. И он выдал ее за купца из долины. Этот же, одержимый гневом, как разбойник, ворвался к нам, убил ночью отца девушки и его троих сыновей, и когда слуги убитого гнали скот к подножию гор, он выслеживал и убивал их. Одиннадцать наших жителей лишил он жизни, пока мы не объединились и не повели на злодея облаву, как на дикого зверя, и не привели его сюда, к справедливейшему из судей, дабы ты освободил страну от насильника.

Вирата обратил лицо к связанному юноше.

— Правда ли то, что они говорят?

— Кто ты? Ты царь?

— Я Вирата, его слуга и слуга закона, поставленный налагать возмездие за вину и отделять правду от лжи.

Связанный долго молчал. Потом он мрачно взглянул на Вирату.

— Как можешь ты знать, где правда и где ложь, когда знание твое питается только словом людским?

— Против их слова пусть прозвучит твое слово, дабы я узнал истину.

Презрительно поднял брови связанный юноша.

— Я не стану спорить с ними. Как можешь ты знать, что я содеял, если я сам не знаю, что творят мои руки, когда на меня нападает гнев? Я справедливо поступил с тем, кто продал женщину за деньги, справедливо поступил с его детьми и слугами. Пусть обвиняют меня. Я презираю их и презираю твой суд!

Гнев потряс присутствующих, когда они услышали, как закоснелый преступник поносил справедливого судью, и судебный страж уже занес сучковатую палку для удара. Но Вирата движением руки усмирил их гнев и возобновил вопросы. И после каждого ответа жалобщиков он спрашивал обвиняемого. Но тот стиснул зубы и только раз сказал со злобной усмешкой:

— Как хочешь ты узнать истину из чужих слов?

Солнце высоко стояло над головой в час полудня, когда иссякли вопросы Вираты. Он поднялся и хотел, по своему обыкновению, уйти домой и лишь на следующий день возвестить приговор. Но жалобщики простерли к нему руки.

— Господин, — сказали они, — семь дней мы шли, чтобы предстать пред твоим лицом, и семь дней продлится наш обратный путь. Мы не можем ждать до завтра, так как скот наш гибнет от жажды и поле ждет нашего плуга. Господин, мы молим тебя изречь твой приговор!

Тогда Вирата вновь опустился на ступени и погрузился в раздумье. Лицо его было напряженно, как у человека, несущего на голове большую тяжесть. Никогда доселе не доводилось ему произносить приговор над преступником, который не просил о милости и не защищал себя. Долго думал он, и тени росли, по мере того как текли часы. Потом он подошел к колодцу, омыл лицо и руки в прохладной воде, дабы его слово было свободно от горячности, и сказал:

— Да будет справедлив приговор, который я изреку. Смертный грех принял на себя этот юноша, одиннадцать живых душ изгнал он из теплого тела в мир перевоплощения. Пусть же он за каждого убитого им будет заточен на год в подземный мрак. И за то, что он одиннадцать раз пролил человеческую кровь, да будет он одиннадцать раз в году бит бичом, пока кровь не брызнет из него, дабы он заплатил по числу своих жертв. Но жизнь ему пусть будет сохранена, ибо жизнь даруют боги, и человек не смеет посягать на божественное. Да будет справедлив приговор, который я изрек не в угоду кому-либо, а во имя великого воздаяния!

И снова опустился Вирата на ступени, и челобитчики поцеловали их, в знак почтения. Но связанный юноша мрачно встретил взор судьбы, вопросительно устремленный на него. Тогда Вирата сказал:

— Я призывал тебя просить меня о милосердии и помочь мне против твоих обвинителей, но уста твои оставались сомкнутыми. Если есть заблуждение в моем приговоре, то вини перед всевышним не меня, а свое молчание. Я хотел быть милостивым к тебе.

Связанный встрепенулся.

— Мне не нужна твоя милость. Что она по сравнению с жизнью, которую ты у меня отнимаешь одним словом?

— Я не отнимаю у тебя твоей жизни.

— Ты отнимаешь ее и отнимаешь более жестоким образом, чем делают это вожди нашего племени, которое называют диким. Почему ты не убиваешь меня? Я убивал один на один, ты же велишь закопать меня, как падаль, в мрак земной, дабы я гнил годами, потому что сердце твое робеет перед кровью. Произвол в твоём законе, и пытка в твоём приговоре. Убей меня, ибо я убивал!

— Я справедливо отмерил твое наказание...

— Справедливо отмерил? Где же твоя мера, судья, которой ты меришь? Разве ты был наказан, что знаешь бич? Как можешь ты проворными пальцами отсчитывать годы, как будто равны часы под солнцем и часы, схороненные во мраке земли? Разве ты сидел в узилище, что знаешь, сколько весен отнимаешь ты у меня? Нет, ты ничего не знаешь, ибо справедливость тебе чужда! Силу удара знает лишь тот, кто принимает его, а не тот, кто его наносит. Лишь испытавший страдание может измерить его. В своей надменности ты осмеливаешься наказывать вину, а сам виновнее всех, ибо я отнимал жизнь в гневе, в непреодолимом порыве страсти, ты же хладнокровно отнимаешь мою жизнь и отмериваешь мерой, которой не знаешь и не можешь знать. Сойди со ступеней справедливости, о судья, чтобы не соскользнуть вниз! Горе тому, кто мерит мерой произвола, горе незнающему, мнящему, что он знает истину!

Сойди со ступеней, судья неправедный, и не карай живых смертью твоего слова!

Пена ярости выступила на устах кричащего, и снова с гневом набросились на него окружающие. Но Вирата вновь остановил их, отвратил свое лицо от юноши и тихо сказал:

— Я не могу отменить приговор, произнесенный с этих ступеней. Да будет он справедливым перед лицом всевышнего!

И Вирата удалился, а стража схватила юношу. Но еще раз судья остановился и оглянулся. Навстречу ему неподвижно и злобно смотрели глаза увлекаемого. И с трепетом почувствовал Вирата в сердце своем, как похожи были они на глаза мертвого брата в тот час, когда тот лежал убитый его рукой, в шатре мятежного князя...

В тот вечер ни одного слова не проронил больше Вирата. Взор осужденного терзал его душу, как раскаленная стрела. И домашние его слышали всю ночь, как он, не переставая, час за часом ходил по крыше своего дома, пока утро не озарило верхушки пальм.

В священном озере храма свершил Вирата утреннее омовение и помолился на восток. Затем он вернулся в свой дом, облекся в желтые праздничные одежды, без улыбки приветствовал домашних, которые удивленно, но молча смотрели на его торжественные приготовления, и направился один к царскому дворцу, открытому для него в любой час дня и ночи. Вирата простерся перед царем и прикоснулся к краю его одежды, в знак просьбы.

Царь ласково посмотрел на него и сказал:

— Твое желание коснулось моей одежды. Оно будет исполнено, прежде чем ты успеешь его высказать, Вирата.

Вирата оставался простертым.

— Ты поставил меня верховным судьей. Шесть лет вершу я суд именем твоим и не знаю, правдиво ли я судил. Подари мне месяц тишины, дабы я мог найти путь к истине, и позволь мне скрыть мой путь от тебя и от всех людей. Я хочу избежать ошибки и жить без вины.

Царь изумился.

— Обеднеет справедливостью мое царство от этого месяца до следующего. Но я не спрашиваю о твоём пути. Да приведет он тебя к истине.

Вирата поцеловал, в знак благодарности, край царской одежды, еще раз низко поклонился и вышел.

С залитых солнцем улиц вошел он в свой дом и созвал жену и детей.

— Целый месяц вы не увидите меня. Проститесь со мной и ни о чем не спрашивайте.

Робко взглянула на него жена, и смиренно стояли сыновья. К каждому склонился он и каждого поцеловал в лоб.

— А теперь ступайте в свои покои и затворитесь, чтобы никто не смотрел мне в спину, когда я пойду из этой двери. И не спрашивайте обо мне, пока не народится новый месяц.

И они отошли в молчании.

Вирата же снял праздничные одежды и надел темные, помолился перед изображением тысячеликого Бога и, начертав на пальмовых листьях пространные письма, скатал эти листья в виде письма. С наступлением темноты вышел он из своего замолкшего дома и направился за город, к скале, в которой находились глубокие рудники и темницы. Он стал стучать в дверь привратника, пока спящий не поднялся со своей циновки и не спросил, кто зовет его.

— Вирата я, верховный судья. Я пришел взглянуть на того, кого вчера привели.

— Он заточен в глубине, господин, в самой нижней келье. Проводить тебя к нему, господин?

— Я знаю дорогу. Дай мне ключ и ложись на покой. Утром ты найдешь ключ перед своей дверью. И не говори никому, что ты меня сегодня видел.

Привратник склонился перед ним и принес ключ и светильник. Вирата кивнул ему, и служитель, молча отступив, улегся



опять на циновку. Вирата же отпер медную дверь, ведущую в подземелье, и спустился в глубину тюрьмы. Уже сотни лет тому назад цари раджпутов начали заточать в эти скалы своих узников, и каждый заточенный, день за днем, все глубже выдалбливал гору, создавая новые кельи в холодном камне, для новых рабов тюрьмы.

Еще один взгляд бросил Вирата на узкую полосу неба с ярко сверкающими звездами, затем он закрыл за собой дверь. Сырым дыханием пахнула ему навстречу темнота, и пламя светильника затрепетало в ней, как испуганный зверек. Еще доносились до него мягкий шелест ветра в деревьях и резкие крики обезьян. В верхнем подземелье царила полная тишина, недвижимая и холодная, как в глубине морской. От камней тянуло лишь сыростью, но не запахом плодоносной земли, и чем глубже спускался Вирата, тем громче звучали его шаги в твердыне молчания.

На пятой глубине, большей, чем высота самых высоких пальм, находилась келья заключенного. Вирата вошел и направил светильник на съезжившееся неподвижное тело, которое шевельнулось лишь тогда, когда его коснулся свет. Звякнула цепь.

Вирата наклонился над узником.

— Узнаешь ли ты меня?

— Я узнал тебя. Ты тот, кого они поставили господином над моей судьбой и кто растоптал ее своей ногой.

— Я никому не господин. Я слуга царя и справедливости. Я пришел, чтобы послужить ей.

Мрачно взглянул заключенный в лицо судьи.

— Что нужно тебе от меня?

Долго молчал Вирата, потом сказал:

— Я причинил тебе боль моим словом, но и ты причинил мне боль своими словами. Я не знаю, был ли справедлив мой приговор, но в твоем слове была истина: никто не смеет мерить мерой, которой сам не знает. Я был слеп и хочу прозреть. Сотни людей посылал я в этот мрак, многих обрек я на кары, тяжесть которых сам не знал. Ныне я хочу узнать то, чего не

знал, дабы стать справедливым и без вины вступить на путь перевоплощения.

Узник продолжал неподвижно смотреть на него. Тихо бряцала цепь.

— Я хочу знать, к чему я приговорил тебя, хочу изведать ожог бича на своем теле и остановленное время в своей душе. На месяц я хочу занять твое место, дабы узнать, как я соразмерил твое искупление. Потом я изреку новый приговор с высоты дворцовых ступеней, познав его силу и тягость. Ты же будь это время на свободе. Я дам тебе ключ, который выведет тебя отсюда, и предоставлю тебе месяц свободной жизни, если ты обещаешь мне вернуться. И тогда из мрака этой темницы зажжется во мне свет познания.

Узник окаменел. Цепь больше не звенела.

— Клянись мне именем безжалостной богини мести, настаивающей каждого, клянись мне в том, что на этот месяц ты для всех замкнешь свои уста, и я дам тебе ключ и мое платье. Ключ ты положишь перед дверью привратника и выйдешь свободно. Но ты будешь связан клятвой перед тысячеликим Богом в том, что, когда месяц завершит свой круг, ты отнесешь это послание царю, дабы я был освобожден и мог еще раз судить тебя по справедливости. Клянешься ли ты перед тысячеликим Богом исполнить это?

— Клянусь! — глухо сорвалось с уст дрожащего узника.

Вирата освободил цепь и сбросил с плеч свою одежду.

— Вот, бери мою одежду, дай мне твою, закрой лицо, чтобы тебя не узнали сторожа. А теперь возьми эту бритву и сбрей мне волосы и бороду, чтобы и меня они не узнали.

Заклученный взял бритву, но его дрожащая рука опустилась. Однако под повелительным взглядом Вираты он исполнил его приказание. Долго молчал он, но потом с криком бросился наземь.

— Господин, я не перенесу, чтобы ты пострадал за меня. Я убивал, проливал кровь горячею рукой. Справедлив был твой приговор.

— Не тебе взвесить это, и не мне. Но скоро на меня снизой-

дет свет. Иди же, и в день, когда месяц закончит свой круг, явись, как ты поклялся, перед царем, дабы он освободил меня. Тогда я буду знать цену своих поступков, и мое слово навсегда очистится от несправедливости. Иди!

Узник пал ниц и поцеловал землю...

Тяжело захлопнулась во мраке дверь, еще раз скользнул отблеск светильника по стенам, и ночь пала на часы времени.

На следующее утро никем не узнанного Вирату вывели на поле перед городом и там подвергли бичеванию. Когда первый удар обрушился на содрогнувшуюся обнаженную спину, Вирата вскрикнул. Потом он стиснул зубы. При семидесятом ударе у него потемнело в глазах, и его унесли за-  
мертво.

Он очнулся, простертый в своей келье, и ему казалось, что он лежит спиной над пылающим огнем. Но вокруг чела его была прохлада, и запах диких трав наполнял воздух. Он почувствовал чью-то руку на своих волосах и капли освежающей влаги. Тихо приоткрыл он глаза и увидел жену привратника, заботливо омывавшую ему лоб. И когда он широко раскрыл глаза, звезда милосердия сверкнула ему в ее взоре. И через муку своего тела познал он, в свете доброты, смысл всякого страдания. Тихо улыбнулся он ей и больше не чувствовал боли.

На второй день он уже мог подняться и ощупать руками стены. Он чувствовал, как с каждым шагом для него вырастал новый мир, а на третий день зарубцевались раны, вернулись ясность сознания и телесные силы. Он неподвижно сидел и знал о часах лишь по каплям, падавшим со стены и делившим великое молчание на множество малых времен, которые вырастали в дни и ночи, как сама жизнь из тысяч дней вырастает в зрелость и старость. Никто не говорил с ним, мрак застывал в его крови, но из какой-то глубины понемногу всплывала пестрота воспоминаний и растекалась тихим озером созерцания, в котором отражалась вся его жизнь. Никогда доселе дух

его не был так чист, как при этом безмолвном созерцании отраженного мира.

С каждым днем светлел взор Вираты, из мрака яснее выступали предметы и раскрывали его осязанию свою форму. И душа его светлела в тихом спокойствии: кроткая радость созерцания, питаемая воспоминанием, этой тенью тени, играла формами перевоплощения, как руки скованного — камушками, усыпавшими подземелье. Отрешившийся от самого себя, зачарованный, не знающий в темноте собственного вида, он все сильнее чувствовал силу тысячеликого Бога и видел себя проходящим ступени перевоплощения, не принадлежа ни к одной, — освобожденный от рабства воли, мертвый среди жизни и живой в смерти... Всякий страх уничтожения растворился в тихой радости отрешения от плоти. И ему казалось, что с каждым часом он глубже опускается во мрак, туда, где камень и черные корни земли, и все же несет новые ростки, как червь, роющийся в земле, или растение, устремляющееся своим стеблем ввысь, или только скала, хладно покоящаяся в блаженном неведении бытия.

Восемнадцать ночей вкушал Вирата божественную тайну глубокого созерцания, отрешенный от собственной воли и свободный от жажды жизни. Блаженством казалось ему то, что он совершал как искупление, и уже ощущал он в себе вину и неумолимость судьбы лишь как смутные сновидения, под вечным бдением знания. В девятнадцатую же ночь он внезапно пробудился от сна: земная мысль коснулась его. Раскаленной иглой впилась она в его мозг. Ужас потрясал его тело, и дрожали пальцы его рук, как листья на ветке. Что, если пленник нарушит клятву и забудет его, и он должен будет остаться здесь на много тысяч дней, пока мясо не спадет с его костей и язык не окоченеет в молчании? Воля к жизни еще раз пантерой взметнулась в его теле и разорвала оболочку покоя: время вошло в его душу, и с ним страх, и надежда, и все смятение человека. Он не мог больше размышлять о тысячеликом Боге вечной жизни, а лишь о себе; глаза его жаждали света, ноги его, тершиися о твердый камень, требовали простора, жажда-

ли прыжка и бега. Он не мог не думать о жене и сыновьях, о доме и добре, о жарких искушениях мира, которые мы впитываем нашими чувствами и ощущаем нашей горячей кровью.

С этого дня время, доселе безмолвно, как черное зеркальное озеро, лежавшее у его ног, хлынуло в его сознание. Мощным потоком катилось оно мимо него. Он хотел бы, чтобы оно подхватило его и унесло с собой, к далекому часу освобождения. Но время было против него: задыхаясь, словно измученный пловец, вырывал он у него один час за другим. Он не мог больше оставаться на своем ложе. Мысль, что тот может забыть его и ему придется сгнить здесь, в этом подземелье молчания, заставляла его метаться по тесной келье. Тишина душила его. В крике он изливал камням свой гнев и жалобы, проклинал себя, и богов, и царя. Окровавленными ногтями царапал он издевавшиеся над ним скалы и бился головой о дверь, пока не падал без чувств на пол, чтобы, очнувшись, снова вскочить и, подобно бешеной крысе, метаться по келье.

За эти дни, от восемнадцатого дня поры отрешенности и до нового месяца, Вирата прошел миры отчаяния. Ему были противны еда и питье, ибо страх наполнил его тело. Ни одной мысли не мог он удержать в сознании, только губы его считали падавшие капли, чтобы дробить время, бесконечное время, на отдельные дни. И, неведомо для него, голова его поседела над стучащими висками.

На тридцатый же день раздался шум перед дверью и опять уступил место тишине. Потом прозвучали шаги, распахнулась дверь, ворвался свет, и перед погребенным во мраке предстал царь. С любовью обнял он Вирату, говоря:

— Я узнал о твоем поступке, более прекрасном, чем все когда-либо запечатленные в писаниях отцов. Как звезда заблестит он высоко над низиной нашей жизни. Выйди же, дабы свет божий озарил тебя и чтобы счастливый народ мог узреть справедливого судью!

Вирата прикрыл рукою глаза, ибо свет причинял ему боль. Как пьяный, встал он, шатаясь, и слуги должны были поддержать его. Но прежде чем выйти из ворот, он сказал:

— О царь, ты назвал меня справедливым судьей, я же знаю теперь, что всякий, творящий суд, совершает несправедливость и обременяет себя виною. Еще остались в этих глубоких подземельях люди, страдающие по моему слову, и лишь теперь понял я их страдания и знаю: ничем не смеем мы ни за что воздавать. Отпусти и тех, о царь, и отстрани народ с моего пути, ибо я стыжусь их восхвалений.

Царь подал знак, и люди оттеснили народ. Снова наступила тишина вокруг них. И сказал царь:

— На верхней ступени дворца моего сидел ты, чтобы творить суд. Ныне же, когда через познание человеческого страдания ты стал более мудрым, чем какой-либо судья, живший на земле, ты должен воссесть рядом со мной, дабы я прислушивался к твоему слову и сам стал мудрым.

Но Вирата обнял его колени, в знак просьбы.

— Освободи меня от моих обязанностей! Я не могу больше судить людей, с тех пор как я знаю, что никто не может быть судьей другого. Кара принадлежит Богу, а не людям, ибо кто вмешивается в ход судеб, тот впадает в вину. Я же хочу прожить мою жизнь без вины.

— Так будь же не судьей, а моим советником, — ответил царь, — и давай мне справедливые советы о войне и мире, налогах и оброках, дабы я не заблуждался в моих решениях.

И еще раз обнял Вирата колени царя.

— Не облакай меня властью, царь, ибо власть побуждает к действиям, а какой поступок справедлив и не вмешивается в ход судеб? Если я посоветую войну, я тем самым посею смерть, и каждое сказанное мною слово вырастает в деяние, а каждое деяние таит в себе смысл, которого я не знаю. Справедливым может быть лишь тот, кто не касается ничьей судьбы и ничьих дел, кто живет одиноким. Никогда я не был ближе к познанию истины, чем тогда, когда я был одинок, лишенный человеческого слова, и никогда я не был свободнее от вины. Дозволь же мне мирно жить в моем доме, без всяких других обязанностей, кроме жертвоприношений богам, дабы я остался чистым от всякой вины.

— Неохотно отпускаю я тебя, — сказал царь, — но кто смеет противоречить мудрецу и перечить воле праведника? Живи по своему желанию, и пусть будет честью для моего государства, что в его пределах живет человек, свободный от вины.

Они вышли из ворот, и царь отпустил его. Одинокó шел Вирата и вдыхал сладостный, пронизанный солнцем воздух. Легко было у него на душе, когда, свободный от всех обязанностей, он возвращался в свой дом. За ним послышалась легкая поступь босых ног, и, обернувшись, он увидел осужденного, чью муку он принял на себя. Тот поцеловал прах у его ног, боязливо согнулся и исчез. И впервые с того часа, когда он увидел застывшие глаза своего брата, улыбнулся Вирата и, радостный, вошел в свой дом.

Светлы были дни Вираты в его доме. Он пробуждался с молитвой благодарности за то, что глаза его встречают красоту неба, вместо мрака, что вокруг него краски и ароматы священной земли и ясная музыка утра. Каждый день снова, как великий дар, принимал он чудо дыхания и свободу своих членов, благоговение пробуждали в нем его собственное тело, мягкое тело жены и сильные тела сыновей. Во всем он видел присутствие могучего тысячеликого Бога, и душа его была окрылена тихой гордостью оттого, что он никогда не посягал на чужую судьбу и никогда враждебно не касался ни одного из тысяч воплощений незримого Бога. С утра до вечера читал он книги мудрости и посвящал свои дни добродетели — безмолвию созерцания, кроткому отрешению духа, делам милосердия и жертвенной молитве. Но радостен был его дух, и кротка его речь, обращенная даже к ничтожнейшему из его слуг, и домашние любили его больше, чем когда-либо. Он был другом бедных и утешителем несчастных. Молитва многих охраняла его сон, и люди не называли его больше Молнией Меча, или Источником Справедливости, но Нивой Совета. Ибо не только ближайшие соседи приходили к нему за советом, но и издали шли к нему незнакомые люди, дабы он разрешил их спор, хотя он и не был больше судьей. И слову его подчинялись все.

И Вирата был счастлив, чувствуя, что советовать лучше,

чем приказывать, и примирять лучше, нежели судить. Его жизнь представлялась ему без вины, с тех пор как он никого ни к чему не принуждал и все же воздействовал на судьбу многих людей. И со светлой душой вкушал он полдень своей жизни.

И прошли три года, и еще раз три, как один светлый день. Все более кротким становился дух Вираты, и когда к нему являлись спорщики, он уже с трудом понимал, как может быть столько беспокойства на земле и как могут люди враждовать из-за мелкого чувства собственности, когда им принадлежит вся необъятная жизнь и сладкое благоухание бытия. Он не завидовал никому, и никто не должен был завидовать ему. Как остров мира возвышался его дом среди равнины жизни, не достигаемый вихрями страстей и бурными потоками вожделений.

Однажды вечером, в конце шестого года его покоя, когда Вирата уже удалился ко сну, он вдруг услышал резкие крики и звуки ударов. Он вскочил со своего ложа и увидел, как его сыновья, бросив одного из рабов на колени, били его по спине бичом из гиппопотамовой кожи так, что брызгала кровь. Широко раскрытые от боли глаза раба встретили его взор. И он вновь узнал взор своего некогда убитого им брата. Вирата поспешно подошел, остановил сыновей и спросил, что произошло.

Из расспросов выяснилось, что раб, который должен был приносить в деревянных кадках воду из высеченного в скале колодца, уже неоднократно, ссылаясь на изнеможение от полуденного зноя, запаздывал и не раз был за это наказан, пока, наконец, не сбежал вчера, после особенно сурового наказания. Сыновья Вираты верхом погнались за ним и настигли его уже за рекой. Веревкой они привязали его к седлу коня и, то заставляя бежать, то волоча по земле, с израненными ногами доставили домой. Здесь его подвергли еще более жестокому наказанию, в назидание ему и другим рабам, которые в трепете, с дрожащими коленями глядели на своего поверженного товарища. Вирата своим приходом прервал истязание.



Вирата взглянул на раба. Песок у его ног был пропитан кровью. Глаза несчастного были широко раскрыты, как у животного, над которым занесен нож. И в его застывшем взоре Вирата видел черный ужас, который некогда посетил его ночью.

— Отпустите его, — сказал он сыновьям, — его вина искуплена.

Раб поцеловал прах у ног Вираты. Впервые сыновья с досадой отошли от отца. Вирата вернулся в свои покои. Бессознательно омыл он лоб и руки и при этом прикосновении внезапно с испугом понял то, что раньше не вошло ясно в его сознание: что он в первый раз снова был судьей и решал судьбу человека. И в первый раз за шесть лет сон снова покинул его.

И когда он без сна лежал во мраке, перед ним выступили полные ужаса глаза раба — или то были глаза его убитого брата? — и гневные глаза его сыновей, и он снова и снова спрашивал себя, не поступили ли его сыновья несправедливо с этим слугой. Из-за малой провинности кровь обогрила песок его дома, бич врезался в живое тело из-за ничтожного упущения, и эта вина жгла сильнее тех ударов бича, которые обжигали некогда его спину. Правда, наказание это постигло не свободного человека, а раба, чье тело с самой колыбели принадлежало ему, Вирате, по закону царей. Но был ли этот закон справедлив перед тысячеликим Богом? Справедливо ли, чтобы тело человека было всецело подчинено чужой воле, чужому произволу, и неужели свободен от вины тот, кто отнимает у раба его жизнь или ломает ее?

Вирата встал со своего ложа и зажег свет, чтобы в книгах мудрости найти на это ответ. И нигде он не встретил различия между человеком и человеком, кроме законов о кастах и условиях, но в заветах любви, во всем тысячеликом бытии, он не находил различий и разграничений. Все с большей жадностью впивал он знание, ибо никогда душа его не терзалась так сомнением. Но еще раз вспыхнуло ярко пламя его светильника и погасло.

И когда затем мрак пал со стен, Виратой овладело таинст-

венное чувство: ему казалось, что это уже не его комната, которую он обводит ослепшим взором, а та тюрьма, в которой он некогда с ужасом познал, что свобода есть глубочайшее право человека и что никто никого не смеет заточать не только на всю жизнь, но даже на один год. Раба же этого, понял он, он заточил в невидимый круг своей воли и приковал его к случайности своего решения, не оставив ему свободным ни одного шага его жизни. Прозрение снизошло на него, в то время как он тихо сидел, прислушиваясь к нахлынувшим на него мыслям. Теперь его осенило сознание, что и здесь он не был свободен от вины, пока он подчинял людей своей воле и называл их рабами, по закону человеческого, а не данному тысячеликим Богом. И он простерся в молитве.

— Благодарю тебя, тысячеликий, посылающий мне знамение, не дающий мне закоснеть в грехе, дабы я все ближе шел навстречу тебе, по незримому пути твоей воли! Дай мне познавать мою вину в обличающих глазах извечного брата, которого я всюду встречаю, который глядит и из моих глаз, и чьей болью я болею, дабы я чистым прошел через жизнь и дыхание мое было свободно от вины.

И опять прояснилось чело Вираты. Со светлым взором вышел он под ночное небо, приемля белый привет звезд и глубоко вдыхая нарастающий шелест предрассветного ветра. Садом спустился он к реке, и когда на востоке встало солнце, он окунулся в священные струи и вернулся к своим, собравшимся для утренней молитвы.

Он вошел в их круг, приветствовал их доброй улыбкой, кивком удалил женщин в их покои и обратился к своим сыновьям:

— Вам известно, что уже много лет единственной заботой, волнующей мою душу, было стремление праведно жить на земле. И вот вчера кровь обогрила почву моего дома, кровь живого человека! И я хочу смыть с себя эту кровь и искупить вину, совершенную под моей кровлей. Пусть раб, который за малую провинность понес слишком жестокое наказание, от-

ныне будет свободен и идет куда захочет, дабы он не обвинил перед вечным судьей ни вас, ни меня.

Молча стояли сыновья, и враждебность чувствовал Вирата в этом молчании.

— Безмолвием встречаете вы мои слова, но я не хотел бы ничего предпринять, не выслушав вас.

— Виновному ты хочешь подарить свободу, дать ему награду вместо наказания, — начал старший сын. — Много слуг в нашем доме, и один не идет в счет. Но каждый поступок влечет за собой другие, составляя с ними общую цепь. Отпуская этого раба, как ты можешь удерживать других, принадлежащих тебе, если они пожелают уйти?

— Если они захотят уйти из моей жизни, я должен буду отпустить их. Ничью судьбу я не хочу стеснять, ибо кто кует судьбы, тот впадает в вину.

— Но ты нарушаешь право закона, — начал второй сын, — рабы эти принадлежат нам, как принадлежат нам земля, дерево на этой земле и плод этого дерева. Поскольку они служат тебе, они связаны с тобой, и ты связан с ними. Ты посягаешь на порядок, который существует тысячи лет. Раб не хозяин своей жизни, а слуга своего хозяина.

— Есть только одно право от Бога, и это право — жизнь; оно дается каждому с первым его вздохом. К добру призвал ты меня, ослепленного и мнившего себя свободным от вины. Годами я владел чужими жизнями. Теперь же я прозрел и знаю: праведный не смеет обращать людей в скотов. Я всем хочу дать свободу, чтобы быть свободным от вины перед ними на земле.

Упорство было написано на лицах сыновей, и жестко ответил старший из них:

— Кто будет орошать поля, дабы не засох рис, кто поведет буйволов в поле? Должны мы сами взяться за плуг, во имя твоей причуды? Ты сам никогда не утруждал рук своих работой и никогда не огорчался тем, что твоя жизнь выросла на чужом труде. А ведь есть чужой пот и в плетеной циновке, на которой ты лежал, и над твоим сном бдели опахала слуг. И вот ты хочешь их всех прогнать, чтобы никто больше не трудился,

кроме нас, твоей плоти и крови? Быть может, ты прикажешь нам выпрячь буйвола из плуга и самим тянуть постромки, дабы избавить животное от бича? Ведь и ему тысячеликий дал дыхание! Не касайся, отец, установленного, ибо и оно от Бога! Не с охотой открывается земля, необходимо насилие над нею, дабы она родила плоды. Насилие есть закон под звездами, и не можем мы обойтись без него.

— Но я хочу обойтись без него, ибо сила редко бывает права, я же хочу прожить без греха на земле.

— Без силы нельзя владеть ничем, ни человеком, ни скотом, ни терпеливой землей. Где ты хозяин, ты должен быть и господином, кто владеет, тот связан с судьбой других людей.

— Но я хочу отрешиться от всего, что ввергает меня в вину. И я приказываю вам отпустить рабов и самим трудиться для дома.

Гнев сверкнул во взорах сыновей, и они с трудом удерживались от ропота. Потом старший сказал:

— Ты сказал, что не хочешь насилловать ничьей воли. Ты не хочешь повелевать своим рабам, дабы не впасть в вину. Нам же ты приказываешь и вторгаешься в нашу жизнь. Где же здесь, спрашиваю я тебя, справедливость перед Богом и людьми?

Долго молчал Вирата. Когда же он поднял взор, то увидел пламя алчности в их взорах, и трепет охватил его душу. И он тихо сказал:

— Вы правы... Возьмите дом мой и разделите его по своему желанию. Я не хочу больше владения и не хочу вины. Правильно сказал ты: кто властвует, тот лишает свободы других, но прежде всего свою же душу. Кто хочет жить без вины, тот не должен иметь власти ни над домом, ни над чужой судьбой, не должен питаться чужим потом и кровью, не должен дорожить страстью женщины и сытой ленью. Лишь кто живет один, живет для своего Бога, только трудящийся знает его, только бедняк имеет его вполне. Я же хочу быть ближе к Незримому, чем к своей земле, и жить без вины. Берите дом и делите его в мире!

Вирата повернулся и ушел. Изумленные стояли сыновья: утоленная алчность сладко горела в их теле, и все же они были пристыжены в душе.

Вирата же заперся в своем покое и оставался глух к призывам и уговорам домашних. И когда спустились ночные тени, он собрался в путь, взял посох, чашу для подаяния, топор для работы, горсть сухих плодов для утоления голода и пальмовые листья с письменами мудрости — для благочестивой молитвы, подоткнул края своей одежды и молча покинул свой дом, ни разу не оглянувшись ни на жену, ни на детей, ни на все свое добро. Всю ночь шел он, пока не достиг реки, в которую однажды, в горький час пробуждения, он опустил свой меч, перешел ее вброд и по берегу направился вверх по течению, где не было и следов жилья и земля еще не знала плуга.

На заре дошел он до места, где молния поразила старое магновое дерево и выжгла прогалину среди чащи. Река, образуя здесь излучину, тихо катилась мимо, и стая птиц кружилась над мелкой водой, безбоязненно утоляя свою жажду. Светло было здесь от открытой реки, а дальше лежали тени от деревьев. Еще валялись кругом расщепленные ударом молнии обломки ствола и примятый кустарник. Вирата оглядел одинокую прогалину среди леса. И он решил построить здесь хижину и посвятить остаток дней своих созерцанию, вдали от людей и всякой вины.

Целых пять дней сколачивал он хижину, ибо руки его отвыкли от работы. И после того его день был наполнен трудом, ибо он должен был искать плоды для своего пропитания, вырубать перед своей хижинкой кустарник, со всех сторон напиравший на нее, и строить забор из острых кольев, чтобы голодный тигр, оглашавший своим воем ночной мрак, не ворвался в его жилье. Но ни один человеческий звук не проникал в его жизнь и не смущал его душу; тихо, как вода в реке, текли его дни, питаемые бесконечным источником.

Птицы же прилетали по-прежнему, отдыхающий человек не пугал их, и вскоре они стали вить гнезда под кровлей его хижины. Он насыпал им семена больших цветов и плоды. Они

охотно подскакивали близко и не боялись больше его рук, они слетали с пальм, когда он их манил. Он играл с ними, и они доверчиво позволяли трогать себя. Однажды он нашел в лесу молодую обезьяну. Она сломала себе лапу и по-детски всхлипывала, лежа на земле. Он взял ее к себе, вырастил, и понятливое животное, подражая ему для забавы, оказывало ему услуги. И так он был окружен милыми живыми созданиями, и все же он знал, что и в животных дремлет насилие и зло, как в человеке. Он видел, как крокодилы кусали и преследовали друг друга в гневе, как птицы острым клювом выхватывали из воды рыб и как змеи внезапно сжимали своими кольцами тех же птиц. Вся чудовищная цепь уничтожения, которой жестокая богиня опутала весь мир, предстала ему, как закон, и знание не могло противиться этому закону. И ему было отрадно быть только созерцателем этих битв, свободным от вины и непричастным к растущему кругу уничтожения.

Год и несколько месяцев не видел он ни одного человека. Но однажды охотник, преследуя идущего к водопою слона, увидел с того берега необычную картину. Перед узкой хижиной полулежал, озаренный желтым вечерним светом, белобородый старец, птицы мирно сидели у него на голове, обезьяна звонкими ударами раскалывала орехи у его ног. Он же взглянул на верхушки пальм, где качались синие и пестрые попугаи, и как только он поднял руку, они золотым облаком слетели вниз и опустились ему на руки. И подумал охотник, что он видит святого, о коем было возвещено, что «звери будут говорить с ним голосом людским, и цветы будут вырастать под его шагами; он будет звезды срывать своими губами и двигать месяц по небу одним дыханием своих уст». И охотник забыл про охоту и поспешил домой поведать о виденном.

Уже на следующий день начали стекаться любопытные, чтобы с того берега подивиться на чудо. Все увеличивалось их число, пока, наконец, один из них не узнал Вирату, без вести пропавшего со своей родины, бросившего дом и имущество, во имя великой справедливости. Все дальше разлеталась весть и достигла царя, скорбевшего о своем утраченном слуге, и он

велел снарядить барку с четырежды семью гребцами. Без устали гребли они, пока барка не поднялась вверх по течению до того места, где стояла хижина Вираты. Тогда они постелили ковры под ноги царю, и он направился к мудрецу. Но уже год и шесть месяцев не слышал Вирата голоса человеческого. Робко и нерешительно поднялся он навстречу гостям, забыл о поклоне слуги перед властелином и только тихо сказал:

— Да будет благословен приход твой, о царь!

Царь обнял его.

— Годами вижу я, как ты идешь по пути к совершенству. И я пришел узреть, как живет праведник, дабы поучиться у него.

Вирата склонился.

— Вся моя мудрость заключается в том, что я разучился жить с людьми, желая быть свободным от всякой вины. Только самого себя может поучать одинокий. Я не знаю, мудро ли то, что я делаю, не знаю, счастье ли то, что я чувствую. Ничего не могу я советовать и ничему не могу учить. Мудрость одинокого отлична от мудрости мирской, и закон созерцания отличен от закона действия.

— Но видеть, как живет праведный, это уже значит учиться, — ответил царь. — С тех пор как я увидел твой взор, меня наполнила светлая радость. Большого я не хочу.

Вирата вновь склонился перед царем. И вновь обнял его царь.

— Могу ли я сделать что-нибудь для тебя или передать весть от тебя твоим?

— Ничего нет больше моего на земле, о царь, или же все мое! Я забыл, что некогда среди других домов и у меня был дом, и дети среди других детей. Безродному принадлежит вся земля, отрешенному — вся полнота жизни, невинному — мир. У меня нет другого желания, как быть без вины на земле.

— Прощай же, и помни обо мне в благочестии своем.

— Я помню о Боге, и тем самым помню и о тебе и о всех других живущих, ибо во всех его дыхание.

Вирата пал ниц. Царская барка тронулась вниз по реке, и

много месяцев отшельник не слышал больше голоса человеческого.

Еще раз простерла крылья слава Вираты и белым соколом воспарила над страной. В самые отдаленные селения и хижины на берегу морском дошла весть о том, кто покинул свой дом и добро свое, чтобы вести жизнь истинного благочестия. И люди прозвали богобоязненного четвертым именем добродетели — Звездой Одиночества. Жрецы восхваляли его самоотречение в храмах, а царь — перед своими слугами. И когда судья произносил приговор, он всегда добавлял: «Да будет слово мое справедливо, как справедливы были слова Вираты, который живет теперь только для Бога и достиг высшей мудрости».

И случилось теперь, — чем дальше, тем чаще, — что люди, поняв несправедливость своих поступков и глухой смысл своей жизни, покидали дом и родину, раздаривали свое имущество и уходили в лес, чтобы, подобно тому праведнику, сколотить себе хижину и жить для Бога. Ибо пример есть сильнейшая связь на земле, связующая людей, каждый поступок пробуждает в других волю к добру, и, вострепнувшись от своей дремоты, человек деятельно наполняет часы дней своих. И эти очнувшиеся ужасались пустоте своей жизни, они видели кровь на своих руках и вину в своих душах. Они снимались с места и шли в лес, чтобы построить себе хижину, чтобы отныне удовлетворять лишь насущнейшие потребности своего тела и предаваться бесконечному благочестию. Встречаясь друг с другом на дороге, при собирании плодов, они не произносили ни слова, дабы не связывать себя узами нового общения, но глаза их радостно улыбались, и в душах своих они несли друг другу мир. Народ же называл тот лес Урочищем Благочестивых, и ни один охотник не углублялся в его дебри, дабы не нарушить убийством святость этого места.

И вот однажды Вирата, бродивший утром по лесу, увидел одного из отшельников, неподвижно простертого на земле, и когда он склонился над ним, чтобы поднять упавшего, он заметил, что в теле того не было жизни. Вирата закрыл мертвому глаза, произнес молитву и попытался вынести брентную обо-



лочку покойного из чаши, чтобы развести костер и дать возможность телу этого брата вступить чистым на путь перевоплощения. Но тяжесть была слишком велика для его рук, ослабевших от скудного питания плодами. И он пошел через брод на тот берег, в ближайшую деревню, просить помощи.

Когда жители деревни увидели праведника, которого они называли Звездой Одиночества, идущим по улице, они сбежались, чтобы почтительно выслушать его волю, и тотчас отправились рубить деревья, чтобы предать мертвого погребению. И где проходил Вирата, женщины падали ниц, а дети останавливались и изумленно смотрели вслед шествующему в молчании. И мужчины выходили из своих домов — поцеловать одежду высокого гостя и принять благословение святого. С улыбкой проходил Вирата через эту волну человеческого благоволения и чувствовал, как сильно и чисто он может снова любить людей, с тех пор как он больше не связан с ними.

Когда же он проходил мимо последнего низенького дома деревни, увидел он вдруг устремленные на него полные ненависти глаза женщины. Он вздрогнул, ибо ему показалось, будто он снова видит уже много лет назад забытые им глаза своего убитого брата. Он отпрянул назад, так отвыкла его душа от всякой враждебности за время его уединения. Он пытался уверить себя, что глаза его ошиблись. Но черный неподвижный взор по-прежнему был устремлен на него. И когда, овладев собою, Вирата снова шагнул вперед, чтобы приблизиться к дому, женщина враждебно отодвинулась в глубину прохода, и из темноты продолжал мерцать устремленный на отшельника горящий взор, как взор тигра в неподвижной чаше.

Вирата недоумевал. «Как могу я быть столь виновен перед нею, которую я никогда не видел, что она с такой ненавистью взирает на меня? — сказал он себе. — Это, вероятно, ошибка, и я хочу ее выяснить». Спокойно подошел он к дому и постучал в дверь. Лишь гулкий отзвук ответил ему, и все же он чувствовал исполненную ненависти близость чужой женщины. Терпеливо продолжал он стучать, ждал и стучал опять, как

нищий. Наконец она вышла, колеблясь, мрачно и враждебно устремив на него взор.

— Что тебе еще надо от меня? — яростно напустилась она на него.

И он увидел, что она должна была схватиться за косяк, так потрясал ее гнев.

Вирата же смотрел ей прямо в лицо, и на сердце у него стало легче, так как он убедился, что никогда раньше не видел ее. Ибо она была молода, а он уже много лет назад сошел с пути людей. Никогда их пути не скрещивались, и никогда он не мог причинить ей вред.

— Я хотел приветствовать тебя словами мира, женщина, — ответил Вирата, — и спросить тебя, почему ты смотришь на меня с гневом? Что сделал я тебе? Разве я причинил тебе зло?

— Что ты мне сделал? — Злая усмешка скривила ее губы. — Что ты мне сделал? Малость, только самую малость! Мой дом был полной чашей, ты сделал его пустым. Ты похитил у меня самое дорогое и убил мою жизнь. Иди, чтобы я не видела больше твоего лица! Или я не сдержу больше своего гнева!

Вирата в недоумении посмотрел на нее. Ее глаза так дико сверкали, что он подумал, не безумная ли перед ним. Он уже готов был уйти и, повернувшись, сказал:

— Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Я живу вдали от людей и не виновен ни в чьей судьбе. Ты совсем не знаешь меня.

Но ненависть ее преследовала его.

— Нет, я знаю тебя, которого все знают! Ты — Вирата, кого они зовут Звездой Одиночества, кого они прославляют четырьмя именами добродетели. Но я не стану прославлять тебя, мой рот не устанет тебя обвинять, пока меня не услышит великий судья всех живущих. Войди же, если ты хочешь увидеть, что ты мне сделал!

Она увлекла изумленного Вирату за собой в дом и распахнула дверь в низкую и темную комнату. И она потащила его в угол, где что-то неподвижно лежало на полу на циновке. Вирата нагнулся и отпрянул в ужасе. Перед ним лежал мертвый

мальчик, и неподвижные глаза его с укором были устремлены на пришельца, как некогда глаза его брата. Рядом, потрясаемая горем, кричала женщина:

— Это мой третий, мой последний, и его тоже ты умертвил, ты, которого называют святым и слугой Богов!

И когда Вирата вопросом хотел остановить ее, она повлекла его дальше.

— Посмотри на этот пустой ткацкий станок! Здесь стоял Паратика, мой муж, и целыми днями ткал белый холст. Не было в стране ткача искуснее его. Издалека приносили ему работу, и работа приносила нам жизнь. Светлы были наши дни, ибо Паратика был добр, и трудолюбие его не имело предела. Он не знался с бездельниками и избегал улицы. Трех сыновей подарил он мне, и мы растили их, дабы из них вышли люди, подобные ему, добрые и честные. И вот однажды пришел, — о, если бы он никогда не приходил! — охотник и поведал, что объявился в стране человек, который оставил свой дом и имущество свое, чтобы при жизни приблизиться к Богу. И с того дня задумался Паратика. Он долго угрюмо сидел по вечерам и не говорил ни слова. И однажды, проснувшись среди ночи, я не увидела его около себя. Он ушел в лес, который называют Урочищем Благочестивых и где ты пребывал, чтобы помнить о Боге. Но, помня о Боге, Паратика забыл о нас, забыл, что мы жили его работой. Нищета вошла в наш дом, детям не хватало хлеба, они умирали один за другим, а сегодня и этот, последний, умер из-за тебя. Ибо это ты соблазнил Паратику! Для того, чтобы ты мог быть ближе к истинному существу Бога, трое моих детей, плоть от плоти моей, ушли в сырую землю. Чем искупишь ты это, если я призову тебя к ответу перед судьей живых и мертвых? Чем искупишь ты муки их маленьких тел, корчившихся от боли, в то время как ты сыпал птицам крошки и был далек от всякого страдания? Как искупишь ты то, что сманил честного человека с работы, кормившей его и его невинных детей, сманил безумным мечтанием о том, что в одиночестве он будет ближе к Богу, чем среди живой жизни?

Бледный и с дрожащими губами стоял Вирата.

— Не ведал я того, что служу соблазном для других. Я думал, что жизнь моя замыкается мною.

— Где же твоя мудрость, мудрец, если ты не знаешь того, что знают даже дети: что все дела наши от Бога и что никому не уйти от этого и от закона вины. Ты возгордился, мня себя господином своих поступков и поучая других. Что было сладко тебе, стало моей горечью, а твоя жизнь — смертью этого ребенка.

Вирата задумался ненадолго, потом он поник головой.

— Правду сказала ты, и я вижу, что всякая боль приносит больше познания истины, чем все размышления мудрецов. Все, что я знаю, я узнал от несчастных, и все, что я видел, я видел во взоре замученных, во взоре извечного брата. Не смиренным я был перед лицом Бога, а гордецом. Я познаю это через то страдание, которое сейчас терплю. Я виноват перед тобою и перед многими, о которых я не знаю. Ибо и бездействующий совершает поступки, делающие его виновным на земле, и одинокий живет во всех своих братьях. Прости же мне, женщина! Я вернусь из леса, дабы вернулся и Паратика и зачал новую жизнь в твоём лоне, взамен погибших.

Он низко склонился и прикоснулся губами к краю ее одежды. И тогда весь гнев оставил ее; пораженная, смотрела она вслед уходившему.

Еще одну ночь провел Вирата в своей хижине, смотрел на звезды, мягко сверкавшие в небесной глубине и гаснувшие с приближением утренней зари, еще раз созвал он птиц, кормил и ласкал их. Потом он взял посох и чашу, как тогда, когда много лет назад он пришел сюда, и направился обратно в город.

И лишь только разнеслась весть о том, что святой покинул свое одиночество и пребывает в стенах города, народ радостно устремился посмотреть на редкостного гостя. Лишь у некоторых шевелилось тайное опасение, что приход его от Бога может предвещать бедствия. Среди общего преклонения шел

Вирата и пытался приветствовать людей бодрой улыбкой, обычно игравшей на его губах. Но впервые не мог он улыбаться, его взор оставался строгим и уста замкнутыми.

Он достиг дворца. Час совета уже миновал, и царь был один. Вирата направился к нему, и тот встал, чтобы заключить его в свои объятия. Но Вирата простерся перед ним и прикоснулся к краю его одежды, в знак просьбы.

— Твоя просьба будет исполнена, — сказал царь, — прежде чем она станет словом на твоих устах. Великая честь выпала мне, что я имею власть послужить благочестивому и оказать помощь мудрому.

— Не зови меня мудрым, — ответил Вирата, — ибо путь мой не был правильным. Замкнулся мой круг, и я просителем стою опять у твоего порога, где некогда я просил освободить меня от службы. Я хотел быть свободным от вины и избегал всякого действия, но и я запутался в сетях, которые боги поставили смертным.

— Не могу я поверить этому, — ответил царь. — Как мог ты причинить людям зло, ты, избегавший их? Как мог впасть в вину ты, живший в Боге?

— Не по умыслу совершал я зло. Я бежал вины, но стопы наши прикованы к земле, а поступки связаны законами богов. И бездействие есть поступок. И не мог я сокрыться от глаз извечного брата, которому всегда приносим мы добро или зло против нашей воли. Но семикратно виновен я, ибо я бежал перед Богом и отказывал жизни в служении. Беспольным был я, ибо питал только свою жизнь и никому не служил. Ныне я вновь хочу служить.

— Чужда мне речь твоя, Вирата, я не понимаю тебя. Выскажи мне свое желание, дабы я мог исполнить его.

— Я больше не хочу быть свободным в своей воле. Ибо свободный не свободен, и не невинен бездеятельный. Свободен лишь тот, кто подчиняется, кто, не рассуждая, волю свою отдает другому, свою силу — делу. Только середина работы принадлежит нам, ее начало и конец, ее причина и следствие — в руках богов. Освободи меня от моей воли, ибо всякая воля

есть заблуждение, а всякое служение — мудрость. И я возблагодарю тебя, о царь!

— Я не понимаю тебя. Я должен освободить тебя, просишь ты, и в то же время просишь о службе. Свободен лишь тот, кто служит другому, а не тот, кто приказывает ему? Я не понимаю этого!

— И хорошо, о царь, что ты не понимаешь этого в сердце своем. Иначе как мог бы ты оставаться царем и повелевать, если бы ты это понял?

Лицо царя потемнело от гнева.

— Так ты думаешь, что повелитель ничтожнее перед лицом Бога, нежели слуга?

— Нет ничтожных и нет великих перед лицом Бога. Но тот, кто подчиняется, не рассуждая, и отказывается от своей воли, снимает с себя вину и обращается к Богу. Но кто проявляет свою волю и мнит мудростью бороться со злом, тот впадает в искушение и вину.

Лицо царя оставалось мрачным.

— Так все службы равны? И нет более важной и менее важной перед Богом и людьми?

— Возможно, что иная и покажется людям более важной, о царь, но одинаково всякое служение перед Богом.

Царь долго мрачно смотрел на Вирату. Гордость злобно сжимала его сердце. Но когда он взглянул на скорбное лицо Вираты и на белые волосы над его морщинистым лбом, он подумал, что старик преждевременно впал в детство. И, чтобы испытать его, царь насмешливо спросил:

— Хотел бы ты стать псарем при моем дворце?

Вирата пал ниц и поцеловал ступень у ног царя в знак благодарности.

И с того дня стал псарем старец, которого страна некогда прославляла четырьмя именами добродетели, и жил он с другими слугами в дворцовых подвалах. Сыновья стыдились его и далеко обходили дворец, чтобы не узреть его и не быть вынужденными признать свое родство перед другими. Жрецы отвер-

нулись от недостойного. Только народ еще первое время приходил и дивился на старца, который некогда был первым в государстве, а теперь ходил по двору с собачьей плеткой в руках. Но он не обращал на них внимания, и они вскоре перестали приходиться и больше не думали о нем.

Вирата ревностно исполнял свои обязанности от утренней до вечерней зари. Он обмывал собак и снимал коросту с их кожи, приносил им пищу, чистил их подстилки и подметал за ними. Вскоре собаки полюбили его больше, чем кого-либо другого во дворце, и это радовало его. Его дряхлый морщинистый рот, редко обращавшийся с речью к людям, всегда улыбался от радости, и он мирно доживал долгие годы своей старости, которые текли без больших событий. Царь раньше его перешел в вечность; пришел новый царь, который не обращал на него внимания и даже однажды ударил его палкой за то, что собака заворчала при проходе государя. И остальные люди мало-помалу забыли о его существовании.

Когда же исполнилась мера лет Вираты и он умер и был зарыт в общей могиле слуг, в народе уже никто не помнил о том, кого страна когда-то прославляла четырьмя именами добродетели. Сыновья его спрятались, и никто из жрецов не пел погребальных песен над его прахом. Лишь собаки выли два дня и две ночи, потом и они забыли Вирату, чье имя не вписано в летописи властителей и не упоминается в книгах мудрецов.





## ЛИОНСКАЯ ЛЕГЕНДА

**Д**венадцатого ноября 1793 года Баррер выступил во французском Национальном Конвенте с убийственным предложением, направленным против вероломного и павшего наконец Лиона, предложением, кончавшимся словами: «Лион ополчился на свободу, Лиона не существует». Он требовал, чтобы здания мятежного города сровняли с землею, памятники обратили в прах и чтобы самое имя Лиона предано было забвению. Прошла неделя, прежде чем Конвент решился наконец изъявить согласие на уничтожение города, второго по величине во всей Франции, и даже после подписания декрета комиссар Конвента Кутон, уверенный в скрытом сочувствии Робеспьера, не спешил с выполнением геростратова приказа. Чтобы соблюсти форму, он с большой торжественностью собрал на площади Белькур толпу народа и символически погрозил серебряным молотком в направлении обреченных на гибель домов: однако и после того не слишком бурно застучали заступы о величественные фасады, и гильотина скупно отмеряла удары своего глухо рокочущего ножа. Успокоенный столь неожиданной мягкостью, несчастный город, жестоко потрясенный гражданской распрей и долгой осадой, начал уже было питать робкие надежды; наиболее мужественные порывались приступить, среди хаоса, к восстановлению разрушенного и осторожно восстанавливали порядок, как вдруг излишне мягкий и нерешительный трибун оказался отозванным и взамен него явились в «Ville affranchie» — ибо так именовался отныне город в декретах



республики — Калло д'Эрбуа и Фуше, украшенные шарфами народных уполномоченных. Прошла ночь, и то, что казалось всего лишь нарочито запугивающим декретом, стало жуткой явью. «До сих пор ничего еще здесь не сделано», — гласили нетерпеливые строки первого же донесения новых трибунов в Конвент, — строки, подтверждавшие собственное их патриотическое усердие и бросавшие тень подозрения на слишком мягкого предшественника. Сразу же начались те страшные казни, о которых Фуше, «mitrailleur de Lyon», вспоминал впоследствии, в качестве герцога Отрантского и поборника легитимистских принципов, весьма неохотно.

Вместо медленно работающих заступов, пороховые мины взрывали теперь ряд за рядом великолепнейшие здания, вместо «ненадежной и недостаточной» гильотины, залпы ружей и митральез разом кончали с сотнями осужденных. Коса правосудия, оттачиваемая что ни день новыми яростными декретами, срезала, широко захватывая, обильную жатву человеческую: давно уже быстротекущая Рона приняла на себя хлопотливое дело погребения, давно уже не хватало тюрем для множества подозрительных. Подвалы общественных зданий, школы и монастыри избраны были в качестве пристанища для осужденных — пристанища, правда, кратковременного, ибо коса работала быстро и один и тот же пук соломы редко согревал одно и то же тело дольше, чем в течение единственной ночи.

Столь же кратковременным являлось и сообщество той группы осужденных, которая в один из морозных дней кровавого ноября была загнана в подвалы городского управления. Днем они предстали поочередно перед комиссарами, и после беглого опроса судьба их решилась; теперь они теснились в количестве шестидесяти четырех человек, мужчины и женщины вперемежку, во мраке низкого сводчатого, пропитанного запахом винных бочек и плесени помещения; скудное пламя очага не столько согревало, сколько озаряло собравшихся. Большинство в каком-то мертвом оцепенении лежали на соломенных мешках, другие писали прощальные письма за единственным деревянным столом, при дрожащем свете вос-

ковой свечи: писали наскоро, зная, что жизнь их может догореть раньше, чем это синевую вспыхивающее на холоде пламя. Говорили только шепотом, и потому с улицы явственно доносился, в морозной тиши, глухой грохот взрывов, сопровождаемых обвалами зданий. Однако непрерывное нагромождение событий полностью отняло у них, казалось, способность чувствовать и мыслить отчетливо; молча и неподвижно пребывали они во мраке, словно в преддверии могилы, ни на что уже не надеясь и ни единым движением не обнаруживая своей принадлежности к живущим.

Вдруг, в седьмом часу вечера, загромыхали у двери уверенные и тяжелые шаги, застучали приклады ружей, и ржавый засов с визгом отодвинулся. Заключенные вскочили в невольном испуге: неужто, вопреки обычаю, отнимается у них последняя ночь, и час их пробил? Синевую затрепетало на морозном ветру пламя свечи, словно пытаясь оторваться от воскового своего тела, и ужас вместе с ним метнулся навстречу неизвестности. Вскоре, однако, внезапная тревога улеглась, ибо выяснилось, что начальник тюрьмы явился всего-навсего с новой группой осужденных, числом около двадцати; их свел он по ступенькам лестницы вниз, не сказав при этом ни слова и не пытаясь указать им место в переполненном помещении.

Недружелюбным взором встретили пленники пришельцев. Так уж странно создан человек, что повсюду он приспособляется торопливо и склонен чувствовать себя как дома даже на бивуаке, в полном сознании своего права. Так и ранее прибывшие невольно рассматривали затхлый и мрачный этот подвал, эти заплесневелые соломенные тюфяки, место у огня и даже пронизывающую сырость последнего своего пристанища, как свою собственность: каждый из вновь пришедших, не взирая на общность жребия, представлялся им незванным и назойливым гостем, посягающим на скудное их достояние. По-видимому и пришельцы ясно почувствовали ледяную враждебность предшественников, при всей ее очевидной нелепости перед лицом смерти, ибо — странно — они не обменялись с товарищами по жребию ни поклоном, ни словом приветствия,

не потребовали себе места за столом и на соломе: молча и угрюмо разместились они в углу, сбившись в кучу, словно стадо в грозу. И если и до того тишина нависала жутко под сводами, то теперь, в напряженности этого бессмысленно возникшего чувства, действовала она угнетающе.

Тем явственнее и пронзительнее прозвучал в тишине внезапный крик, звенящий, почти судорожный, словно исходящий из другого мира, — крик, оторвавший даже самых безучастных от их равнодушия и подавленности. Девушка, только что прибывшая вместе с другими, вскочила, разом сорвавшись с места; вытянув перед собой руки, словно бросаясь вперед, она с судорожным криком: «Робер, Робер!» — ринулась к молодому человеку, который стоял в стороне, облокотившись на оконную решетку, и теперь, в свою очередь, бросился к ней навстречу. И спустя мгновение, как два пламени единого огня, пылали уже оба юные существа, сливая жар свой, уста к устами, тело к телу, столь тесно, что слезы восторга смешивались на щеках и рыдание исходило, казалось, из единой задыхающейся груди. Если они отрывались друг от друга на миг, не в силах поверить своей близости и смущенные чрезмерностью неправдоподобности, то следующий миг сообщал уже новый пыл их объятию. В единое дыхание сливали они плач свой и рыдания, и слова, и крики, отрешенные от мира в безмерности чувства, вовсе не замечая присутствующих; движимые изумлением, эти последние повскакали со своих мешков и неуверенно приближались теперь к ним.

Когда улегся, наконец, первый пыл лихорадочного возбуждения, вызванного нечаянной встречей, молодые люди не замедлили удовлетворить сочувственное любопытство окружающих. Девушка оказалась подругой детства, а в дальнейшем, вот уже несколько месяцев, невестой Робера де Л., сына одного из местных городских служащих. Помолвка их была уже оглашена с церковной кафедры, и венчание назначено как раз на тот день, когда войска Конвента ворвались в город; долг службы жениха, сражавшегося против республики в армии Преси, обязывал его сопутствовать генералу-роялисту в его

отчаянной попытке прорыва. Несколько недель не было от него известий, и она готова была уже надеяться, что жених благополучно перешел швейцарскую границу, как вдруг один из городских писцов сообщил ей, что местопребывание его по доносу открыто и вчера он предстал перед революционным трибуналом. Узнав об аресте жениха и неизбежно ожидающем его приговоре, отважная девушка, с той таинственной и непостижимой энергией, которая в минуты крайней опасности отличает женщин, преодолела невообразимые препятствия и добилась личного приема у комиссаров Конвента, дабы вымолить жениху прощение. Колло д'Эрбуа, перед которым бросилась она на колени, сначала резко отказал ей, заявив, что не милует предателей. После этого она поспешила к Фуше; этот последний, столь же жестокий нравом, как и первый, но в обращении более скрытный, прибегнул ко лжи, чтобы совладать с волнением, охватившим его при виде несчастной молодой девушки: он сказал, что охотно содействовал бы смягчению участи ее жениха, но, согласно донесению, — и он бросил через лорнет беглый взгляд на какую-то случайную бумажку, — Робер де Л. расстрелян уже сегодня утром на поле Бротто. Обмануть молодую девушку оказалось нетрудно тому, кто впоследствии столь же находчивой ложью умел вводить в заблуждение Наполеона и властителей мира; девушка поверила, что жених ее мертв. Но вместо того, чтобы отдаться бесильной женской скорби, она, не дорожа бессмысленной отныне жизнью, сорвала с волос кокарду, растоптала ее ногами и громко, так что слышно было в соседней комнате, стала поносить Фуше и сбежавшихся его приспешников, именуя их кровопийцами, палачами и подлыми преступниками. И пока солдаты связывали ее и тащили из комнаты, она слышала, как Фуше, быстро оправившийся от неожиданности, диктовал своему рябому секретарю приказ об ее аресте.

Все это восприняла она, — так рассказывала она окружающим в страстном и почти радостном волнении, — как нечто несущественное и нереальное; наоборот, восторженное чувство удовлетворения охватило ее при мысли, что ей предстоит

так скоро последовать за своим погибшим возлюбленным. На допросе она ничего не отвечала, — столь живо было в ней радостное предчувствие близкого конца: она даже не подняла почти глаз, когда вместе с запоздалой группой осужденных вступила в тюрьму. Да и что в этом мире могло иметь для нее значение, если возлюбленный мертв и сама она так близка к нему в предстоящей смерти? Поэтому она с полным безучастием пребывала в углу, пока взор ее, едва освоившийся с мраком, не остановился в изумлении на молодом человеке, задумчиво стоявшем у окна, в позе, удивительно схожей с той, которая свойственна была ее жениху в минуты, когда он, задумавшись, смотрел перед собой. Силой заставила она себя отрешиться от столь бессмысленной и обманчивой надежды, но все-таки встала с места. И как раз в эту минуту и он отошел от окна и вступил в полосу света. И ей непонятно, пояснила она, все еще волнуясь, как не умерла она в этот миг острого потрясения; она явственно почувствовала, как сердце, словно живое, порывалось выскочить из ее груди, когда она увидела того, кого считала давно несуществующим; почти насильно, нажатием руки, заставила она свое сердце стать на место.

Пока она рассказывала все это, волнуясь и торопясь, рука ее ни на секунду не отрывалась от руки возлюбленного. Вновь и вновь, не отводя глаз, словно все еще не веря в его близость, возвращалась она в его объятия; и трогательное зрелище это удивительнейшим образом взволновало присутствующих. Незадолго до того оцепенелые, усталые, равнодушные, замкнувшиеся в себе, теперь они обступили столь странно соединившуюся чету, проявляя лихорадочную живость. Каждый из них забыл, перед лицом столь необычайного, о своей собственной судьбе, каждый торопился высказать слово участия, сочувствия, сострадания; но молодая девушка, в порыве некоего горделивого вдохновения, горячо отвергала всякое выражение соболезнования. Нет, она счастлива, безмерно счастлива тем, что умрет одновременно с возлюбленным и что им не придется оплакивать друг друга. И одно только омрачает ее счастье: что ей не суждено предстать перед Богом, приняв имя возлюблен-

ного в качестве признанной жены его. Она сказала это без умысла, ни о чем не думая, и тотчас же забыла о сказанном, снова упав в объятия возлюбленного; поэтому она не заметила, что, глубоко тронутый ее словами, один из товарищей Робера по оружию осторожно отошел в сторону и начал тихо шептаться с пожилым мужчиною, остававшимся, из-за ломоты в суставах, у огня. Сказанные шепотом слова взволновали, по-видимому, этого человека, ибо он тут же поднялся с места и, тяжело ступая, приблизился к юной чете. Он пояснил, что хотя на нем и крестьянская одежда, он священник из Тулона, отказавшийся присягнуть республике и арестованный здесь, в Лионе, по доносу. На нем нет церковного облачения, но пастырский сан его и пастырские полномочия с ним нераздельны. И так как помолвка их давно уже оглашена с кафедры и, с другой стороны, приговор не допускает промедления, то он охотно выполнит их благочестивое желание и сочетает их воедино перед лицом свидетелей, соучастников их жребия, и вездесущего Бога.

Пораженная тем, что и это ее желание, сверх всякой надежды, исполняется, молодая девушка вопросительно взглянула на жениха. Ответом был его сияющий взор. Тогда девушка, встав на колени на жестких плитах, поцеловала руку священнику и попросила его свершить обряд венчания в этом столь недостойном помещении, ибо она чувствует, что дух ее чист и исполнен сознанием святости мгновения. Присутствующие, потрясенные мыслью, что смертное пристанище их станет на время храмом Божьим, невольно разделили волнение невесты, пытаясь скрыть его за хлопотливой деятельностью. Мужчины поставили в ряд несколько имевшихся стульев и зажгли восковые свечи перед железным распятием, создав, таким образом, подобие алтаря, женщины торопливо сплели из случайных цветов, что вручили им по дороге в тюрьму сострадательные прохожие, скромный брачный венок и возложили его на голову невесты; в это время священник удалился в соседнее помещение и дал сначала ее нареченному, а потом и ей отпущение грехов. Когда оба предстали затем перед имп-

ровизированным алтарем, воцарилась на несколько минут тишина столь полная и заметная, что караульный солдат, заподозрив что-то недоброе, распахнул внезапно дверь и вошел. При виде необычайного зрелища смуглое крестьянское лицо его озарилось невольной сосредоточенностью и благочестием. Он, не двигаясь, остановился у дверей и стал, таким образом, молчаливым свидетелем совершающегося обряда.

Священник подошел к столу и кратко пояснил, что церковь Божия и алтарь Его — всюду, где люди смиренно объединяются в вере в Бога. Потом он преклонил колена, и с ним все присутствующие; стало так тихо, что узкое пламя свечей не колыхалось. Четырьмя белыми лилиями замерло оно поверх матового воска. Потом, среди воцарившегося молчания, священник спросил, хотят ли они соединиться на жизнь и смерть. «На жизнь и смерть», — твердо ответили оба, и слово «смерть», недавно еще исполненное ужаса, прозвучало теперь, среди молчания, светло и звонко, и не страшно. Священник соединил их руки и произнес связующие слова: «*Ego auctoritate sanctae matris Ecclesiae qua fungor, conjungo vos in matrimoniam in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.*»

Церемония кончилась. Новобрачные поцеловали священнику руку, свидетели поздравили их; каждый из осужденных пытался подойти ближе и сказать от себя слово приветствия. Никто не думал в эту минуту о смерти, в звуке этого слова не было больше ужаса.

Между тем тот самый друг жениха, который во время венчания был свидетелем, пошептался незаметно с другими, и вскоре вновь поднялась странная суэта. Мужчины, лукаво переглядываясь, стали выносить из соседнего помещения мешки с соломой; потом к новобрачным, всецело захваченным необычностью совершившегося и не замечавшим приготовления, подошел друг их и, улыбаясь, заявил, что он сам и товарищи его по жребию охотно подарили бы что-нибудь новобрачным, но что значат дары земные для тех, кто не властен уже в своей жизни? Поэтому они решили предложить им то единственное, что может иметь ценность и отраду для ново-

брачных: уединение и тишину первой и последней их брачной ночи; сами они готовы поместиться в ближайшем к выходу помещении с тем, чтобы предоставить соседний, меньший по размерам покой всецело им. «Воспользуйтесь последними часами, — прибавил он, — никто не вернет нам прожитого мгновения, и тот, кому выпала на долю любовь, пусть насладится ею».

Молодая девушка покраснела до корней волос, но супруг ее открыто взглянул в глаза другу и, тронутый, братски пожал его руку. Новобрачные не произнесли ни слова; они только смотрели друг на друга, чувствуя, что вновь таинственным образом исполнялось их невысказанное, втайне лелеемое желание. И вышло так, что без чьего бы то ни было прямого распоряжения, по собственному почину, мужчины окружили жениха, женщины — невесту и, высоко подняв свечи, отвели их в дарованное смертью пристанище, бессознательно совершая таким образом, от полноты своего участия, древний свадебный обряд.

Тихо закрылись двери за новобрачными; никто не обмолвился непристойной или нечистой шуткой по поводу близости брачной четы, ибо некая необычайная торжественность незримо простерла свои крылья над теми, кто, не в силах противостоять своему жребию, лицом к лицу со смертью, мог одарить другого пригоршней счастья. И втайне каждый из них признателен был судьбе, столь благотворно отвратившей его от мыслей о неизбежной участи. Так до рассвета пролежали на своих мешках осужденные, предавшись сну или бодрствуя, и лишь изредка тяжелый вздох смешивался с ровным дыханием.

Когда пришли на следующее утро солдаты, чтобы ответить осужденных — восемьдесят четыре человека — к месту казни, все они проснулись уже и были совершенно готовы. Только в боковом помещении, где спали новобрачные, царила тишина; даже резкий стук прикладов не разбудил утомленную чету. Тогда вчерашний распорядитель, друг молодого мужа, осторожно переступил порог, не желая, чтобы блаженный сон их насильственно нарушен был палачом.

Они лежали, нежно обняв друг друга; рука ее, словно поза-



бытая, поддерживала его запрокинутую назад голову; лица, даже сквозь легкое оцепенение сна, сияли такой блаженной удовлетворенностью, что нелегко было нарушить это спокойствие. Но медлить было нельзя, и он настойчивым прикосновением руки разбудил его первого; тот взглянул растерянно и, разом осознав происходящее, нежно прикоснулся к подруге. Она открыла глаза, по-детски испуганная, — испуганная слишком резким переходом к ледяной действительности; потом улыбнулась понимающе: «Я готова».

Когда появились, рука об руку, новобрачные, все невольно уступили им дорогу, и вышло так, что оба они оказались во главе последнего, смертного шествия осужденных. Привычные к зрелищу подобных печальных передвижений люди на этот раз изумленно и, перешептываясь, глядели вслед странной процессии, ибо возглавлявшая ее чета — молодой офицер и женщина с брачным венком на голове — сияла такой необычайной светозарностью и таким, почти блаженным, спокойствием, что даже наиболее темные из зрителей благоговейно постигали тут какую-то высокую тайну. Но и остальные осужденные, вместо того, чтобы брести обычным, мелким и спотыкающимся шагом людей, ведомых на казнь, следили с огнем во взорах за этими двумя, в смутном и судорожном отчаянии, что еще раз суждено совершиться над обоими чуду и что чудо это отвратит и от них неизбежную смерть.

Но жизнь любит только чудесное и скупится на истинные чудеса: совершилось одно-единственное, ежедневное для Лиона чудо. Шествие перешло через мост на болотистое поле Бротто, там встретили его два взвода пехоты — три ружейных дула на каждого осужденного. Их поставили в ряд, и одним единым залпом покончили со всеми. Потом солдаты бросили сочащиеся еще кровью тела в Рону, и быстрые волны ее бесстрастно сомкнулись над темной участью неведомых пришельцев. Только брачный венок, легко отделившийся, держался некоторое время на поверхности, уносясь по течению, одинокий и ненужный. Потом потонул и он, а с ним вместе, надолго, память о той примечательной, вырванной у смерти ночи.



## ЛЕГЕНДА О ТРЕТЬЕМ ГОЛУБЕ

**В** книге о начале времен рассказано о первом голубе и о втором голубе, которых прародитель Ной выпустил из ковчега, когда закрылись источники бездны и окна небесные и перестал дождь с неба. Но кто поведал о странствиях и участи третьего голубя? К вершине горы Арарат пристал спасительный ковчег, укрывший в своих недрах всякую жизнь, которая была пощажена от потопа; и когда прародитель увидел вокруг лишь валы и волны, тогда выпустил он первого голубя, дабы узнать, видна ли уже где-нибудь земля под очистившимся от туч небом.

И первый голубь, так рассказано в книге, поднялся и взмахнул крылами. Он полетел на восток, полетел на запад, но вода была повсюду. Нигде не нашел он места покоя для ног своих, и мало-помалу крылья его стали ослабевать. Тогда голубь вернулся к единственному оплоту на земле, к ковчегу, и летал вокруг покоившегося на горной вершине судна, пока Ной не простер руку свою, и взял его, и принял к себе в ковчег.

Ной помедлил семь дней, и в эти семь дней дождь не лился на землю, и вода постепенно возвращалась с нее; тогда он взял второго голубя и выпустил его. Утром вылетел голубь, а когда возвратился в вечернее время, свежий масличный лист был в клюве у него как первый знак, что освободилась земля; и Ной узнал, что верхушки деревьев уже выступили над водой и что миновало испытание.

Он помедлил еще семь дней и выпустил третьего голубя, и

голубь полетел в мир. Он вылетел утром и уже не возвратился вечером. Ной ждал день за днем, но голубь не вернулся к нему. И прародитель узнал, что вода сошла с лица земли. О голубе же третьем он больше ничего не слышал, и не слышал род людской, ни разу никто не поведал о нем вплоть до наших дней.

Вот повесть о странствиях и участи третьего голубя. Утром вылетел он из душного ковчега, где в темноте роптали от нетерпения твари и стоял стук копыт и когтей, дикий рев, и свист, и шипение, и лай; из тесноты вылетел он в необъятную ширь, из тьмы — на свет. И едва он взмахнул крылами в ясном, душистом от дождя воздухе, как повеяло на него свободой и благодатью бесконечности. Внизу блестели воды, подобно влажному мху зелени леса, с лугов поднимался утренний пар, и сладко пахло соками прорастающих трав. Сверкала гладь небес, восходящее солнце играло сотнями зорь на зубцах горных вершин, точно красная кровь, алело от него море, точно жаркая красная кровь, дымилась цветущая земля. Блаженным взором созерцал голубь пробуждение мира, на простертых крыльях паря над ним, над морями и сушей летал он в светлом сне и сам становился крылатым сном. Подобно Господу Богу, он первый смотрел на освобожденную землю и не мог насмотреться. Давно позабыл он, зачем седобородый патриарх выпустил его из ковчега, давно позабыл, что надо вернуться. Ибо мир стал ему отчизной, а небо — родным домом.

Так летел третий голубь, неверный посланец прародителя, над пустынным миром, все дальше гнал его вихрь счастья, ветер блаженного нетерпения, все дальше летел он, все дальше, пока не отяжелели у него крылья и не стали точно свинец. Земля властно влекла его к себе, все ниже опускались усталые крылья, они уже задевали верхушки влажных деревьев и наконец на исходе второго дня голубь опустился в глубь леса, еще безмянного, как все в начале времен. Он схоронился в чаще ветвей, чтобы отдохнуть от дальнего полета, ветки прикрывали его, ветер баюкал, прохладно было днем среди листвы и тепло ночью в лесном приюте. Вскоре он забыл о небе, где веет

ветер, и о манящей дали, зеленый свод укрыл его, и годы без счета скоплялись над ним.

Тот лес, который голубь избрал себе жилищем, был лес знакомого нам мира, но люди еще не обитали в нем, и в этом уединении голубь постепенно сам стал сном. В зеленом мраке приютился он, и время текло мимо него, и смерть забыла о нем, ибо все те твари, от каждого рода по одной, которые видели мир в начале его, до потопа, умереть не могут, и охотники не властны их убить. Незримо гнездятся они в заповедных складках того покрова, которым одета земля, — так и этот голубь укрылся в чаще леса. Правда, временами он чуял присутствие людей: то гремел выстрел и стократно отдавался под зеленым сводом, то дровосек рубил дерево, и гул стоял в лесной чаще, то звучал воркованием тихий смех влюбленных, которые, обнявшись, шли по укромным тропкам, то звенела издали песенка детей, ходивших по ягоды. Забытый голубь, окутанный листвою и сном, слышал порой эти голоса мира, но без страха внимал им и не покидал своего темного пристанища.

Но наступил день, когда загудел весь лес и пошел такой гром, что казалось, земля раскалывается надвое. По воздуху со свистом носились черные железные комья, и куда они падали, там в страхе дыбом вставала земля и деревья ломались, как былинки. Люди в разноцветных одеждах бросали друг в друга смерть, а чудовища-машины изрыгали пламя пожаров. Молнии взвивались с земли в облака, и гром вторил им; казалось, будто земля хочет взлететь в небо или небо низвергнуться на землю. Голубь очнулся от сна. Над ним была смерть и гибель; как некогда воды потопа, так бушевал теперь над миром огонь. Голубь взмахнул крылами и устремился ввысь, дабы вместо горящего леса найти себе другой приют, приют мира.

Он устремился ввысь и полетел над нашей землей в поисках мира, но куда он ни залетал, повсюду люди сверкали молниями и громыхали громами, повсюду была война. Море огня и крови, как некогда, затопило землю, снова настал всемирный потоп, и голубь неутомимо носился над нашими странами, чтобы найти место покоя, а потом воспарить к праотцу и

принести ему масличный лист надежды. Но нигде в эти дни не мог он найти масличный лист, все выше вздымались волны погибели, все ширилось по земле пламя пожаров. Еще не обрел голубь место покоя, еще не обрело человечество мир, и не может он вернуться домой, не может успокоиться навеки.

Никто не видел таинственного заблудшего голубя, что ищет мира в наши дни, и все же он парит над нами, испуганный и усталый. Иногда, и только по ночам, внезапно проснувшись, можно услышать, как где-то вверху шелестят крылья в торопливом полете, в тревожных, отчаянных поисках. Нашими мрачными думами отягощены эти крылья, наши чаяния трепещут в их тревожных взмахах, ибо тот заблудший голубь, что дрожа парит между небом и землей, тот неверный посланец былых времен ныне несет праотцу рода человеческого весть о нашей собственной судьбе. И вновь, как тысячи лет назад, целый мир ждет, чтобы кто-то простер руки навстречу ему и признал, что пора положить конец испытанию.





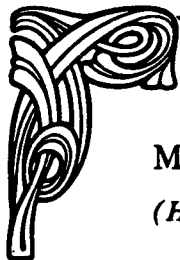
# РОКОВЫЕ МГНОВЕНИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЕ  
МИНИАТЮРЫ



*История, как в зеркале, отражает природу во всех ее неисчислимых и неожиданных формах, она не признает системы и презирает законы: то она устремляется к цели, словно поток, то создает событие из случайного дуновения ветерка. Иногда с терпением медленно нарастающих кристаллов громоздит она эпохи, а иногда трагически рассекает нависшие тучи яркой вспышкой молнии. Всегда созидаящая, только в эти гениально краткие мгновения она является подлинным художником. Миллионы сил управляют мировыми событиями, но лишь редкий миг взрыва облакает их в трагические формы. Из целого столетия я попытался нарисовать пять таких мгновений, не окрашивая их внутренней правды в цвета своего воображения. Ибо история, там, где она совершенна, нуждается не в исправляющей руке, а лишь в повествующем слове.*





## МИГ ВАТЕРЛОО

*(Наполеон, 18 июня 1815 года)*

**С**удьбу влечет к могущественным и властным. Годами она покорно следует по стопам избранника — Цезаря, Александра, Наполеона; она любит натуры стихийные, подобные ей самой, необъятной стихии.

Но иногда — такие случаи редки во все эпохи — бросается она, по странной прихоти, в объятия посредственности. Иногда — и это самые удивительные мгновения в мировой истории — нить судьбы на одну-единственную трепетную минуту попадает в руки ничтожества. И эти люди испытывают обычно не счастье, а испуг от властного напора ответственности, толкающего их в героину мировой игры. И почти всегда выпускают они из дрожащих рук доставшуюся им судьбу; редкому удается схватить случай, а заодно вознести и себя. Лишь на миг дается великое в руки ничтожеству; и кто упустит этот миг, для того он потерян безвозвратно.

## ГРУШИ

Среди балов, ухаживаний, козней и ссор Венского конгресса, как разорвавшаяся бомба, с треском разлетается весть, что Наполеон — скованный лев — вырвался из своей клетки на Эльбе; ей вдогонку другая: он завоевал Лион, прогнал короля, полки с фанатическими лозунгами на знаменах переходят на его сторону, он в Париже, в Тюильри. Все было напрасно: и

Лейпциг, и кровавые войны последнего двадцатилетия. Словно схваченные чьей-то когтистой лапой, соединяются только что пререкавшиеся и ссорившиеся министры; английская, прусская, австрийская, русская армии поспешно мобилизуются, чтобы вторично и окончательно уничтожить власть узурпатора; никогда еще Европа законных монархов не была так единодушно настроена, как в эти первые дни возмущения. С севера на Францию двинулся Веллингтон, ему на помощь спешит прусская армия под предводительством Блюхера, у берегов Рейна готовится к выступлению Шварценберг, и в виде резерва медленно и тяжело проходят через Германию русские полки.

Наполеон одним взглядом охватывает грозящую ему опасность. Он понимает, что нельзя ждать, пока соберется вся свора. Он должен их разделить, должен напасть на каждого в отдельности — на пруссаков, англичан, австрийцев — раньше, чем они станут европейской армией и предопределят тем падение его империи. Он должен спешить, — пока не пробудился ропот внутри страны; он должен стать победителем раньше, чем республиканцы окрепнут и соединятся с роялистами, раньше, чем двуличный неуловимый Фуше в союзе с Талейраном — его врагом и двойником — нанесет ему смертельный удар в спину. С невероятной силой должен он, пользуясь энтузиазмом, охватившим его армию, броситься на врага: каждый упущенный день означает потерю, каждый час влечет за собой опасность. И он поспешно бросает звенящий жребий войны на самое кровавое из полей Европы — на Бельгию. 15 июня в три часа ночи авангард большой и ныне единственной армии Наполеона переходит границу. 16-го при Линьи они нападают на прусскую армию и отбрасывают ее. Это первый удар лапы вырвавшегося льва, он ужасен, но не смертелен. Побежденная, но не уничтоженная прусская армия отходит к Брюсселю.

И Наполеон готовится к нанесению второго удара, на этот раз Веллингтону. Он не должен терять ни минуты, он не может позволить себе передышку; каждый день приносит противни-

ку подкрепление, и страна позади него, истекшая кровью, — беспокойный французский народ, — должна быть опьянена жгучим алкоголем победоносных бюллетеней. Уже 17-го он направляется со всей своей армией к вершинам Катр-Бра, где окопался холодный стальной противник — Веллингтон. Никогда распоряжения Наполеона не были предусмотрительнее, его военные приказы яснее, чем в этот день: он обдумывает не только атаку, но и все ее опасные возможности, учитывает, что побитая, но не уничтоженная армия Блюхера способна соединиться с армией Веллингтона.

Чтобы избежать этого, он отделяет часть своей армии, которая шаг за шагом должна гнать прусскую армию и препятствовать соединению ее с англичанами.

Командование этой частью армии он вверяет маршалу Груши. Это человек заурядный, но храбрый, живой, честный, положительный, испытанный начальник кавалерии, но — не больше, чем начальник кавалерии. Не столь пылкий, увлекающийся, неистовый кавалерист, как Мюрат, не стратег, как Сен-Сир и Бертье, и не герой, как Ней. Его грудь не украшена воинственной кирасой, его облик не окружен мифическим ореолом, он не обладает выдающимися качествами, которые венчали бы его чело славой и проложили бы ему путь к героическому миру наполеоновских легенд; он стал знаменит только злополучием своим, своей неудачей. Двадцать лет участвовал он во всех войнах, от Испании до России, от Нидерландов до Италии, медленно преодолевая степени отличия вплоть до звания маршала, не без заслуг, но и без выдающихся подвигов. Пули австрийцев, солнце Египта, кинжалы арабов, морозы России были устранены с его пути предшественниками: Дезе при Маренго, Клебером в Каире, Ланном при Ваграмме; дорогу к высокому посту он не отвоевал, она подготовлена для него двадцатилетней войной.

Что Груши не герой и не стратег, а только человек положительный, верный, храбрый и трезвый, — Наполеону хорошо известно. Но половина его маршалов в могилах, остальные, недовольные, пребывают в своих владениях, усталые от бес-

конечных войн. И он вынужден доверить среднему человеку решающее, ответственное дело.

17 июня в одиннадцать часов утра — день после победы у Линьи, день перед Ватерлоо — Наполеон впервые поручает маршалу Груши самостоятельное командование. На одно мгновение, на один день скромный Груши вступает из военной иерархии в мировую историю. На один миг, но на какой миг! Приказания Наполеона ясны. В то время как сам он наступает на англичан, Груши должен с одной третью армии преследовать пруссаков. На первый взгляд очень простое поручение, прямое и ясное, но упругое и обоюдоострое, как меч. Ибо вместе с тем Груши приказано не отрываться от главной армии.

Робко он принимает командование. Он не привык действовать самостоятельно; его благоразумие, лишенное инициативы, приобретает уверенность лишь под защитой гениального взора императора, руководящего его поступками. Помимо того, он чувствует за спиной недовольство генералов и — может быть, может быть — сумрачный взмах крыльев неведомой судьбы. Только близость главной квартиры несколько успокаивает его: три часа форсированного марша отделяют его армию от армии императора.

Под проливным дождем Груши прощается. Медленно шагают его солдаты по мягкой глинистой почве за пруссаками или, вернее, в том направлении, где они предполагают найти Блюхера.

## НОЧЬ В КАЙЮ

Северный дождь льет непрерывно. Словно вымокшее стадо, продвигается в темноте наполеоновское войско. У каждого солдата фунта два грязи пристало к подошвам; нет ни пристанища, ни дома, ни кровли. Сено слишком отсырело, чтобы лечь на него; десять — двенадцать солдат прижимаются друг к другу, спят сидя — спина к спине — под проливным дождем. И сам император не отдыхает. Лихорадочное возбуждение

гонит его с места на место; результаты разведки неудовлетворительны из-за непроницаемой погоды, осведомители дают лишь смутные сведения. Он еще не знает, примет ли Веллингтон сражение; нет также известий о прусской армии от Груши. И в час ночи, пренебрегая хлещущим ливнем, он идет вдоль авангарда, приближаясь на расстояние пушечного выстрела к английским бивуакам, в которых то тут, то там среди тумана вспыхивают легкие дымные огоньки, и вырабатывает план сражения. Лишь на заре возвращается он в маленькую лачугу в Кайю, в свою жалкую ставку, где находит первые депеши Груши, содержащие еще неясные сведения об отступлении пруссаков, но вместе с тем и успокаивающее обещание — продолжать погоню. Постепенно дождь затихает. Нетерпеливо ходит император взад и вперед по комнате и пытливо вглядывается в желтый горизонт, ожидая, чтобы прояснились, наконец, дали и выяснилось окончательное решение.

В пять часов утра дождь прекращается, и обволакивающие душу тучи рассеиваются, — он принимает решение. Отдается приказ по армии: в девять часов приготовиться к атаке. Ординарцы летят по всем направлениям. Барабан играет сбор. И только тогда бросается Наполеон на походную кровать для двухчасового сна.

## УТРО ВАТЕРЛОО

Десять часов утра. Но еще не все полки в сборе. Размякшая после трехдневного ливня почва затрудняет передвижение и задерживает подход артиллерии. Лишь постепенно проглядывает солнце и светит при резком ветре; но это не солнце Аустерлица, яркое, лучистое, обещающее счастье, это уныло мерцающий северный полусвет. Наконец полки в сборе; перед началом битвы Наполеон верхом на белом коне объезжает фронт. Орлы на знаменах опускаются, словно пригнутые буйным ветром, кавалеристы воинственно взмахивают саблями, пехота, в знак приветствия, поднимает на штыках свои медвежьи шапки. Исступленно гремят барабаны, неистово радо-

стно встречают полководца трубы, но весь этот фейерверк звуков покрывается раскатистым, дружным, полным восторга криком семидесятитысячной армии: «Vive l'Empereur!»\*

Ни один смотр за все двадцать лет властвования Наполеона не был величественнее и восторженнее этого — последнего. Едва утихли крики, в одиннадцать часов, — на два часа позже, чем было определено, позже на роковых два часа, — отдается командирам приказ осыпать картечью красные мундиры у холма. И вот двинулся вперед с артиллерией Ней — «Le brave des braves»\*\*.

Настает решающий час Наполеона. Несчетное количество раз описана эта битва: не успеваешь перечитывать, упиваясь всеми волнующими моментами, великолепное описание Вальтера Скотта или эпизодическое изображение Стендаля. Битва эта одинаково значительна и многообразна и вблизи и издали, с холма полководца и с седла кирасира. Это предел напряжения и драматизма, с непрерывным переходом от страха к надежде, разрешающийся в одном исключительном моменте катастрофы: пример истинной трагедии, ибо судьба избранника определила судьбу Европы, и фантастический фейерверк наполеоновской эпопеи, как ракета, возносится к небесам, навеки угасая в трепетном мерцании.

От одиннадцати до часу французские полки атакуют высоты, захватывают деревни и позиции, снова отступают и снова идут вперед. Уже десять тысяч трупов покрывают глинистые мокрые холмы открытого пространства, но в итоге — только усталость с той и с другой стороны. Обе армии утомлены, оба командующих встревожены. Оба знают, что победит тот, кто первый получит подкрепление, — Веллингтон от Блюхера, Наполеон от Груши.

Нервничая, Наполеон вновь и вновь наводит подозрную трубу, снова отдает приказания; если его маршал прибудет своевременно, над Францией еще раз взойдет, сияя, солнце Аустерлица.

\* Да здравствует император! (фр.)

\*\* Храбрейший из храбрых (фр.).

## ОШИБКА ГРУШИ

Груши, невольный вершитель судьбы Наполеона, следуя его приказу, выступил 17 июня по указанному направлению, за пруссаками. Дождь перестал. Беззаботно, как в мирной стране, продвигаются молодые полки, вчера впервые понюхавшие порох; все еще не видно врага, нет и следа побитой прусской армии.

Вдруг, в то время как маршал наскоро завтракает в крестьянской избе, земля под их ногами начинает слегка трястись. Они прислушиваются. Снова и снова, глухо и уже тише грохочет гром: это пушки, батарейный огонь вдали, но не так уж далеко, самое большее — на расстоянии трехчасового перехода. Несколько офицеров по обычаю индейцев бросаются на землю, чтобы правильно определить направление. Непрерывно и невнятно доносится далекий гул. Это канонада при Мон-Сен-Жане, начало событий у Ватерлоо. Груши созывает совет. Горячо, пламенно требует Жерар, его помощник: «Il faut marcher au canon!» Быстрым шагом — к месту канонады! Другой офицер его поддерживает: туда, скорее в ту сторону! Никто не сомневается, что император столкнулся с англичанами и жестокая битва в разгаре. Груши колеблется. Приученный к послушанию, он боязливо придерживается предначертаний, приказа императора — преследовать отступающих пруссаков. Жерар выходит из себя, видя его нерешительность: «Marchez au canon». Приказом, не просьбой звучит это требование младшего командира перед лицом двадцати офицеров и штатских. Груши недоволен. Он подчеркивает, строже и определеннее, недопустимость отклонения от приказа до тех пор, пока от императора нет другого распоряжения. Офицеры разочарованы; пушки грохочут среди зловещей тишины.

Жерар пытается в последний раз: он умоляет разрешить ему хотя бы с одной дивизией и горсточкой кавалерии отправиться к полю битвы и обязуется быть своевременно на месте. Груши размышляет. Он размышляет только одну секунду.

## МГНОВЕНИЕ МИРОВОЙ ИСТОРИИ

Одну секунду размышляет Груши, и в эту секунду он вершит свою судьбу, судьбу Наполеона и всего мира. Она решает, эта секунда в крестьянской избе в Вальгейме, судьбу девятнадцатого века: она — залог бессмертия — на устах этого очень честного и столь же заурядного человека, она — в руке его, нервно сжимающей меж пальцев фатальный приказ императора. Если Груши решится, если будет смел, послушается приказа, доверяя себе и видимой необходимости, — Франция спасена. Но человек подначальный подчиняется предписаниям больше, чем велению своего разума.

Груши энергично отвергает предложение. Нет, недопустимо дробить такую маленькую армию. Его задача — преследовать пруссаков, и только. И он не соглашается отступить от полученного приказа. Недовольные офицеры безмолвствуют. Он — в кольце молчания. И безвозвратно уходит то, чего не искупят уже ни слова, ни деяния, — уходит решающее мгновение. Веллингтон победил!

И они маршируют дальше, Жерар, Вандам, с гневно сжатыми кулаками, Груши, обеспокоенный, все более теряющий уверенность: странно! Пруссаков не видно, очевидно, они покинули брюссельскую дорогу. Разведчики приносят подозрительные вести: отступление пруссаков обратилось в форсированный марш по направлению к полю битвы. Еще есть время прийти на помощь императору, и все тревожнее ждет Груши вести — приказа вернуться. Но приказа нет. Все отдаленнее раскаты пушечных залпов над содрогающейся землей: железный жребий Ватерлоо.

## ВЕЧЕР ВАТЕРЛОО

Между тем уже час дня. Четыре атаки отброшены, но они заметно смяли центр Веллингтона. Наполеон готовится к решительному штурму. Он приказывает подкрепить батареи пе-



ред Бель-Альянсом, и, прежде чем дым канонады туманной завесой спустился меж холмов, Наполеон бросает последний взгляд на поле битвы.

И вот к северо-востоку он замечает надвигающуюся темную тень. Как будто выходят из леса новые полки. Подзорные трубы обращены в ту сторону: Груши ли это, смело пренебрегший приказом, чудесно являющийся в решительный час? Нет, пленный доносит, что это авангард генерала Блюхера — прусские полки. Впервые у императора появляются подозрения, что побитая прусская армия уклонилась от преследования, чтобы своевременно соединиться с англичанами, в то время как целая треть его собственной армии маневрирует без всякой пользы в пустом пространстве. Тотчас же он пишет Груши записку с поручением во что бы то ни стало держать связь и помешать вмешательству пруссаков в битву.

В то же время маршалу Нею отдается приказ наступать. Веллингтон должен быть отброшен раньше, чем придут пруссаки: никакая ставка не является слишком смелой при столь малых шансах. И в эти вечерние часы следуют одна за другой ужасающие атаки, подкрепляемые свежими пехотными батальонами. То они штурмуют разрушенные селения, то их оттесняют, и снова бросается волна поднятых знамен на раздробленное уже каре. Но Веллингтон выдерживает напор, а от Груши все нет известий. «Где Груши? Где застрял Груши?» — нервно бормочет император, замечая медленное наступление авангарда пруссаков. И его командующие начинают терять терпение. Побуждаемый желанием положить конец всему, швыряет маршал Ней столь же отважно, сколь нерешительно действовал Груши, — три лошади уже унесены пулями под ним, — в одну дружную атаку всю французскую кавалерию. Десять тысяч кирасиров и драгун бросаются в этот смертный галоп, сминая каре, уничтожают батареи и взрывают первые ряды. Правда, их отбрасывают, но сила английской армии гаснет, когти, впившиеся в эти холмы, начинают ослабевать. И когда поредевшая французская кавалерия отступает перед снарядами, последний резерв Наполеона — старая гвар-

дия — тяжкими и медленными шагами приближается, чтобы атаковать холмы, обладание которыми определит судьбу Европы.

## РАЗВЯЗКА

Четыреста пушек гремят с утра с обеих сторон. На фронте топот кавалькад кавалерии сливается с залпами ружей, раздаётся барабанный бой, степь содрогается от многообразного гула. Но на возвышении, на двух холмах, оба командующих настороженно прислушиваются, сквозь грохот сражения, к звукам более тихим.

Двое часов чуть слышно, как сердце птицы, тикают в их руках, заглушая для них грохотание масс. Наполеон и Веллингтон, оба неотрывно смотрят на хронометр, считая часы и минуты, которые должны принести решающую помощь. Веллингтон знает, что Блюхер близок, Наполеон надеется на Груши. Оба не имеют больше резервов, и кто раньше их получит, тот победил. Оба направили свои подозрительные трубы на лесную опушку, где, словно легкое облако, появляется прусский авангард. Но застрельщики это или сама армия, спасающаяся от Груши? Уже слабеет сопротивление англичан, но и французские полки устали. Тяжело дыша, как два борца, стоят они, утомленные, друг против друга, переводя дух перед последней схваткой: невозвратный час решения настал.

И вот наконец загрели пушки с фланга у пруссаков: перестрелка, ружейные залпы! «Enfin Grouchy!» — «Наконец Груши!» Наполеон вздыхает свободнее. Уверенный, что его фланги обеспечены, он собирает остатки войска и снова бросается на центр армии Веллингтона, чтобы сломить затворы Брюсселя, раскрыть ворота в Европу.

Но ружейный огонь был недоразумением: это приближающиеся пруссаки, введенные в заблуждение незнакомой формой, начали перестрелку с ганноверцами; скоро они прекратили ошибочную стрельбу, и беспрепятственно, широкой и могучей волной, выходят из леса их массы. Нет, это не Груши,

подошедший со своими полками, это Блюхер, и вместе с ним — развязка. Весть быстро распространяется среди императорских полков, они начинают отступать, — пока еще в порядке. Но Веллингтон учитывает критическую минуту. Он скачет к краю так яростно защищавшегося холма, снимает шляпу и машет ею над головой, указывая на отступающего врага. Сразу подхватывают его подчиненные этот торжествующий жест. Дружно поднимается остаток английских полков и бросается на ослабленную массу французов. В то же время сбоку на усталую, разбитую армию набрасывается прусская кавалерия, подымается вой, предсмертное «*Sauve qui peut!*»\*

Еще несколько минут — и великая армия превращается в неудержимый, гонимый страхом поток, который всех, даже Наполеона, увлекает за собой. Словно в воду, не встречая сопротивления, бросается неприятельская кавалерия в этот быстро откатывающийся и широко разлившийся поток; из сплошной пены воплей страха и отчаяния выживают экипаж Наполеона, войсковую казну и всю артиллерию; только наступление ночи спасает императору жизнь и свободу. Но тот, кто в полночь, грязный и усталый, опускается в кресло в маленьком деревенском трактире, — уже не император. Его царству, его династии, его судьбе пришел конец: нерешительность маленького, ничтожного человека разрушила все, что самый смелый и дальновидный созидал в течение двадцати лет, полных героических подвигов.

## ВОЗВРАТ И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

Не успела английская атака сломить Наполеона, как некто, доселе неизвестный, несется в экстренной почтовой карете по брюссельской дороге, из Брюсселя к морю, где его ждет корабль. Он переправляется в Лондон, чтобы прибыть раньше правительственных курьеров; благодаря тому, что вести еще

---

\* Спасайся, кто может! (фр.)

не дошли, ему удастся взорвать биржу: это Ротшильд, создающий гениальным ходом новую империю, новую династию — капитала.

На следующий день Англия узнает о победе, а в Париже Фуше, — этот неизменный предатель — о поражении. Уже звучат в Брюсселе и Германии победные колокола. Только один человек на следующее утро ничего не знает о Ватерлоо, несмотря на то, что он всего на расстоянии четырехчасового перехода от рокового места: это несчастный Груши; неустанно и планомерно он следует приказу — гнать по пятам пруссаков. Но удивительно: он их нигде не находит: это внушает ему некоторую неуверенность. И все громче и громче пушечные выстрелы, точно взывающие о помощи. Он слышит, как дрожит земля, и каждый выстрел отдается в его сердце. Все знают: это не простая перестрелка — разгорелась гигантская, решающая битва.

Нервно скачет Груши, окруженный своими офицерами. Они избегают спорить с ним: их советы отвергнуты.

Избавлением кажется им, когда у Вавра они наталкиваются на единственный прусский отряд — прикрытие Блюхера. Словно сорвавшиеся с цепи, они бросаются к траншеям. Жерар впереди всех: гонимый мрачными предчувствиями, он ищет смерти. Пуля сражает его; поднявший свой голос громче всех — умолк. С наступлением ночи они штурмуют селение; но чувствуется: победа над этим арьергардом не имеет значения, ибо в той стороне, где поле битвы, — все успокоилось. Угрожающе тихо, жутко спокойно, отвратительная мертвая тишина. И все чувствуют, что грохот орудий был все же лучше, чем эта томящая нервы неизвестность. Битва, должно быть, решена, битва при Ватерлоо, о которой Груши получает наконец (уввы, слишком поздно!) известие, вместе с настоятельным требованием Наполеона о помощи. Она решена, должно быть, эта гигантская битва, но в чью пользу?

И они ждут всю ночь. Тщетно! Известий нет, словно армия забыла о них; они бессмысленно стоят здесь, в непроницаемом мраке. Утром они срываются с бивуака и снова пускаются в

поход, смертельно усталые и уверенные, что их маневрирование и передвижение потеряли всякий смысл. И вот, наконец, в десять часов утра примчался офицер из главного штаба. Они помогают ему сойти с лошади, забрасывают его вопросами. Но с лицом, искаженным от страха, с мокрыми у висков волосами, дрожа от сверхчеловеческого напряжения, он бормочет лишь невнятные слова, слова, которых они не могут или не хотят понять. Они принимают его за сумасшедшего, за пьяного, ибо он заявляет, что нет более императора, нет императорской армии, Франция погибла. Но постепенно они начинают понимать истину, воспринимают убийственную, смертельно ранящую весть.

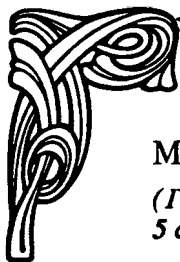
Груши, бледный, дрожащий, опирается на саблю; он знает, что теперь начнется для него жизнь мученика. Но со всей решимостью берет он на себя тяжесть вины. Подначальный, нерешительный, подчиняющийся, он оказался не на высоте в роковую минуту, но теперь, бок о бок с неотвратимой опасностью, он становится мужчиной, почти героем. Он тут же собирает всех офицеров и со слезами гнева и печали на глазах — в кратком обращении к ним — оправдывается в своей нерешительности и горько о ней сожалеет. Каждый мог бы его обвинить, утверждать, что был лучшего мнения о нем. Но никто не осмеливается и не желает этого сделать. Они молчат, молчат. Бесконечная печаль сомкнула им уста.

И как раз в этот час, пропустив роковую секунду, Груши показывает — увы, слишком поздно! — всю силу своей воли. Все его добродетели — благоразумие, работоспособность, предусмотрительность и добросовестность — ясно выявляются, с той минуты как он предоставлен себе и не подчиняется предначертанному приказу. Несмотря на пятикратный перевес окружающего его противника, он мастерски выполненным тактическим маневром проводит свои полки, без единого пушечного выстрела, не потеряв ни одного человека, и спасает Францию, империи, остатки ее армии. Но императора нет, некому его поблагодарить; нет и врага, которому он мог бы противопоставить свои полки. Он пришел слишком поздно, и, хотя его

и назначают главнокомандующим, пэром Франции и он во всех положениях проявляет мужественность и здравый смысл, — ничто не вернет ему того мгновения, которое сделало его вершителем судьбы и в котором он оказался не на высоте положения.

Так страшно мстит эта великая секунда, — секунда, которая редко предстает смертному, тому, кто призван ошибочно, кто использовать ее не может. Все обыденные добродетели, удовлетворяющие требованиям скромной повседневности, — предусмотрительность, повиновение, усердие, осторожность, — все они беспомощно плавают в пламени решающей судьбы минуты: только гению открывается она и дает ему бессмертие. Нерешительного она отталкивает с презрением и лишь смелого возносит, как земного Бога, в царство героев.





## МАРИЕНБАДСКАЯ ЭЛЕГИЯ

*(Гете на пути из Карлсбада в Веймар.  
5 сентября 1823 года)*

Пятого сентября 1823 года по шоссе из Карлсбада в Эгер медленно катится дорожный экипаж; утро уже дрожит осенней свежестью, резкий ветер проносится по сжатым полям, но безоблачно синее небо раскинулось над широкими далями. В коляске сидят трое мужчин: великого герцога Саксен-Веймарского тайный советник фон Гете (как его пышно именует карлсбадский список приезжих) и оба его неизменных спутника: Штадельман, старый слуга, и Джон, секретарь, чьей рукой впервые нанесены на бумагу почти все гетевские произведения нового столетия. Ни один из них не произносит ни слова, потому что, с тех пор как они покинули Карлсбад, где молодые женщины и девушки с поцелуями и приветствиями обступили отъезжающего, губы стареющего человека ни разу не разомкнулись. Неподвижно сидит он в экипаже, и лишь задумчивый, обращенный в себя взгляд указывает на внутреннее волнение. На первой почтовой станции он сходит; спутники видят, как он торопливо пишет что-то карандашом на случайно подвернувшемся листке, и то же повторяется всю дорогу до Веймара, в пути и на остановках. В Цвотау, едва прибыв, на следующий день — в замке Хартенберг, в Эгере и затем в Песснеке, всюду он первым делом наспех записывает то, что обдумал, сидя в коляске. И дневник только лаконически сообщает: «Работал над стихами» (6 сентября), «В воскресенье продолжал стихи» (7 сентября), «В пути еще раз просмотрел стихи» (12 сентября). В Веймаре, у цели, произведение уже закончено — не

что иное, как «Мариенбадская элегия», значительнейшее, задушевнейшее, а потому и любимейшее им стихотворение его старости, его героическое прощание и мужественный почин.

«Дневник внутренних состояний» — так однажды в разговоре Гете назвал стихи, и, быть может, в дневнике его жизни ни одна страница не лежит перед нами такой открытой, такой ясной в своем зачатии и возникновении, как это трагически вопрошающее, трагически сетующее свидетельство его затаеннейшего чувства: ни одно лирическое излияние его юношеских лет не порождено так непосредственно поводом и событием, ни одно произведение не слагается до такой степени отчетливо на наших глазах, черта за чертой, строфа за строфой, час за часом, как эта «чудесная песнь, нам уготованная», эти глубочайшие, зрелейшие, действительно по-осеннему пламенеющие запоздалые стихи семидесятичетырехлетнего старца. «Плод в высшей степени страстного состояния», как он их назвал Эккерману, они в то же время обладают возвышеннейшей сдержанностью формы: так жгучее мгновение въяве и вместе с тем таинственно претворяется в образ. Еще сегодня, сто лет спустя, ничто не поблекло и не померкло в этом великолепном листе его широковетвенной, многошумной жизни, и еще века пребудет это пятое сентября достопамятным в сознании и чувствах грядущих немецких поколений.

\* \* \*

Над этим листом, над этим стихотворением, над этим человеком, над этим часом стоит, сияя, редкая звезда — звезда возрождения. В феврале 1822 года Гете довелось перенести тягчайшую болезнь; лютый озноб сотрясает тело, подчас уже гаснет сознание, и сам он, видимо, угасает. Врачи, не усматривая каких-либо определенных симптомов и только чуя опасность, растеряны. Но вдруг болезнь как пришла, так и исчезает: в июне Гете отправляется в Мариенбад, совершенно преобразенный, и можно подумать, что этот припадок был лишь симптомом какого-то внутреннего обновления, какой-то «но-



вой возмужалости»; замкнутый, зачерствелый, педантичный человек, в котором поэзия почти целиком сохлась в ученость, опять, после нескольких десятков лет, всецело отдается чувству. Музыка «окрыляет его», по его словам; он почти не в силах слушать без слез, как играют на клавире, в особенности когда играет такая красивая женщина, как Симановская; глубокий инстинкт влечет его к юности, и окружающие с изумлением видят, как семидесятичетырехлетний старец до полуночи проводит время в женском обществе; видят, как он, после стольких лет, снова принимает участие в танцах и ему, как он с гордостью рассказывает, «при смене дам попадают в руки самые красивые дети». Его оцепеневшая природа магически тает посреди этого лета, и распахнувшаяся душа подпадает под влияние прежних чар вековечного волшебства. Дневник нескромно говорит о «миротворных снах», в нем снова оживает «старый Вертер»: женская близость вдохновляет его на небольшие стихотворения, он шаловливо шутит и подтрунивает, как, бывало, полвека тому назад с Лили Шенеман. Стремление к женственному еще не уверено в своем выборе: сначала красавица полька, затем девятнадцатилетняя Ульрика фон Левецов волнуют его вновь ожившее чувство. Пятнадцать лет тому назад он любил и чтил Ульрикину мать, еще год тому назад он отечески дразнил «дочурку», и вот теперь склонность сразу вырастает в страсть, охватывая все его существо, как новая болезнь, и глубже потрясая его в вулканическом мире чувств, чем какое-либо переживание за многие годы. Семидесятичетырехлетний старец мечтает, как мальчик: стоит ему слышать в аллее смеющийся голос, как он бросает работу и спешит, без шляпы и палки, навстречу веселому ребенку. Он и сватается, как юноша, как мужчина: разыгрывается забавное зрелище, чуть-чуть сатирическое в своем трагизме. Посоветовавшись втайне с врачом, Гете обращается к старейшему из своих спутников, великому герцогу, с тем чтобы тот просил для него у госпожи Левецов руки ее дочери Ульрики. И великий герцог, вспоминая не одну совместно проведенную полвека тому назад безумную ночь, быть может, тихо и злорадно

посмеиваясь над человеком, которого Германия, которого Европа почитает, как мудрейшего из мудрых, как зрелейший и просветленнейший дух столетия, — великий герцог торжественно возлагает на себя звезды и ордена и отправляется к матери просить для семидесятичетырехлетнего старца руки ее девятнадцатилетней дочери. Ответ в точности неизвестен, — он, по-видимому, клонился к тому, чтобы повременить, подождать. И вот Гете — полуобнадеженный жених, очастливленный лишь беглым поцелуем, ласковыми словами, меж тем как его все более и более страстно обуревают желание еще раз обладать юностью в этом нежном облици. Снова домогается вечно нетерпеливый высшей милости мгновения: покорно следует он за возлюбленной из Мариенбада в Карлсбад, находя и здесь лишь неуверенность в ответ на пламенность своего желания, и с уходящим летом растет его мука. Наконец, близится прощание, ничего не обещая, даря мало надежд, и вот, в дорожном экипаже, великий прозорливец чувствует, что нечто огромное кончилось в его жизни. Но, вечный спутник глубочайшей боли, в омраченный час приходит старый утешитель: над страждущим склоняется гений, и не обретающий утешения в земном взывает к божеству. Опять, как уже несчетное число раз, но теперь в последний раз, Гете ищет спасения от жизни в творчестве, и в чудесной благодарности за эту последнюю милость семидесятичетырехлетний старец надписывает над своим стихотворением строки из «Тассо», которые он сложил сорок лет тому назад, чтобы теперь их вновь изумленно пережить:

И если в скорби молкнет человек,  
Мне Бог судил поведать, как я стражду.

\* \* \*

И вот старый человек задумчиво сидит в катящемся экипаже, хмуро взволнованный противоречием внутренних вопро-

сов. Еще сегодня утром, при «шумном прощании», Ульрика подбежала к нему вместе с сестрой, еще сегодня юные, любимые уста целовали его, но был ли то нежный, был ли то дочерний поцелуй? Будет ли она его любить, не позабудет ли его? А сын, а невестка, беспокойно ждущие богатого наследства, потерпят ли они женитьбу, не станет ли над ним смеяться свет? Не будет ли он через год слишком стар для нее? И если они опять увидятся, что ему сулит свидание?

Беспокойно всплывают вопросы. И вдруг один, основной, слагается в стих, в строфу, — вопрос, тревога становится стихотворением, «Бог дал ему поведать, как он страждет». Прямой, обнаженный, в стихи вторгается крик, мощный порыв внутреннего смятения:

Что мне сулит грядущее свиданье,  
Земного дня цветок еще закрытый?  
Блаженный рай, безмерное страданье...  
Каким волненьем глуби сердца вскрыты!

И вот боль устремляется в кристаллические строфы, чудесно очищенные от собственной муки. И, блуждая в мучительном хаосе своего внутреннего состояния, в «душной атмосфере», поэт вдруг подымает взор. Из катящей коляски он видит в утренней тишине божемский ландшафт, божественный мир, противопоставленный его тревоге, и только что увиденная картина уже переливается в его стихи:

Но разве мир не тот же? Или горы  
Не венчаны священными тенями?  
Не зреет жатва? Вольные просторы  
Не льнут к реке зелеными лугами?  
И свод надмирный не раскинут, синий,  
То сонмищем видений, то пустыней?

Но слишком неодоушевлен для него этот мир. В этот страстный миг он ничего не постигает вне связи с образом любимой,

**и магически возникает воспоминание об очистительном обновлении:**

Как хрупко-светел, грезой бестелесной,  
Всплывает ввысь, из хора строгих туч,  
Подобно ей, там, в синеве небесной,  
Прозрачный образ, строен и летуч!  
Так пред тобой, в весельи легком бала,  
Нежнейшая из нежных танцевала.  
Но лишь мгновенье ты ее заметишь,  
В воздушном очерке запечатленной;  
Взгляни же в сердце! Там вернее встретишь  
Любимый лик, волшебно переменный,  
Многообразный, каждый миг неожиданный  
И каждый миг по-новому желанный.

Но, едва вызванные, черты Ульрики принимают уже чувственное обличие. Он рисует, как она его встречала и «шаг за шагом делала счастливей», как вслед за последним поцелуем она запечатлела на его губах еще «самый последний», и, блаженный счастьем воспоминания, престарелый мастер слагает на возвышеннейший лад одну из чистейших строф о чувстве самоотречения и любви, которую когда-либо создавал немецкий или какой бы то ни было язык:

В груди у нас растет тоска живая —  
Чистейшей, высшей, незнакомой власти,  
Таинственное имя постигая,  
Отдаться вольно в благодарном счастье.  
То счастье веры! Этим высям ясным  
И я пред ней бываю сопричастным.

Но сама память об этом блаженном состоянии делает для покинутого еще мучительнее теперешнюю разлуку, и вот прорывается боль, почти раздирающая возвышенно-элегический строй великолепного стихотворения, прорывается обнаженность чувства, какая возможна разве только раз во много лет

при произвольном воплощении непосредственного переживания. Потрясает эта жалоба:

И я далек! Чего же хочет властно  
Наставшая минута? Я не знаю;  
Все, чем она богата и прекрасна,  
Меня гнетет, я это отвергаю.  
Меня томят немислимые грезы,  
И мой удел отныне — только слезы.

И затем возрастает, казалось бы, уже до предела напряженный, последний, самый страшный вскрик:

Простимся здесь, друзья моих скитаний!  
Пусть на скалах останусь я один.  
Ваш путь — вперед! Вам все открыты грани,  
Величье неба, широта равнин.  
Исследуйте, копите, созерцайте,  
В язык вселенной по складам вникайте!

А я погиб для мира, я, который  
Еще вчера любимцем был богов.  
Они мне дали встретиться с Пандорой,  
Носительницей бедственных даров,  
К волшебнoустой простираю я руки,  
Я разлучен, и я не снес разлуки.

Никогда еще у этого сдержанного человека не вырывалось подобной строфы. Тот, кто юношей умел таиться, кто мужем владел собой, кто почти всегда отражал свои сокровеннейшие тайны лишь в подобию, тайнописи и символах, здесь, старцем, впервые с великолепной свободой раскрывает свое чувство. Быть может, ни разу за пятьдесят лет чувствующий человек, великий лирический поэт не был в нем таким живым, как на этой незабываемой странице, на этом знаменательном перевале его жизни.

Таким же таинственным, как редкую милость судьбы, воспринимал и сам Гете это стихотворение. По возвращении в Веймар он первым делом, прежде чем обратиться к какой-либо иной работе или к домашним занятиям, собственноручно изготавливает каллиграфический список элегии. Три дня переписывает он стихи на особо выбранной бумаге, большими, торжественными буквами, словно инок в келье, и оберегает их, как тайну, даже от ближайших друзей, даже от довереннейшего из них. Чтобы не дать разнестись болтливой молве, он сам переплетает работу, укрепляет рукопись шелковым шнурком в красной сафьяновой крышке (которую он впоследствии велел заменить чудесной синей холщовой обложкой, поныне хранящейся в Архиве Гете и Шиллера). Дни раздражают и злят, мысль о женитьбе встретила дома одни лишь насмешки, а в сыне вызвала проявления открытой ненависти; только в стихах удастся ему побыть с любимой. Лишь когда приезжает его навестить красавица полька Симановская, воскресают ощущения светлых мариенбадских дней, и он опять становится общителен. Наконец, 27 октября он призывает к себе Эккермана, и уже по той торжественности, которой он обставляет чтение, видно, с какой особой любовью он относится к этому стихотворению. Слуге велят поставить на письменный стол две восковые свечи, и только после этого Эккермана приглашают занять место напротив свечей и прочесть элегию. Мало-помалу допускаются к слушанию и другие, но только самые близкие, потому что Гете лелеет ее, по словам Эккермана, «как святыню». Что она имеет в его жизни особое значение, показывают уже ближайшие месяцы. Повышенная активность помолодевшего вскоре сменяется упадком. Он снова кажется близким к смерти, влачитя от кровати к креслу, от кресла к кровати, не находя покоя; невестка в отлучке, сын полон ненависти, некому помочь и пособить одинокому больному старику. Тогда приезжает, очевидно вызванный друзьями, Цельтер из Берлина, ближайший его наперсник, и сразу

видит внутренний пожар. «Что я нахожу, — пишет он в удивлении, — человека, у которого такой вид, словно в теле у него любовь, вся любовь с муками юности». Чтобы исцелить его, он читает ему и перечитывает, «с искренним участием», его собственное стихотворение, и Гете не устает его слушать. «Как странно, — пишет он позже, выздоравливая, — ты своим проникновенным, мягким голосом много раз читал мне нечто до того мною любимое, что я сам себе в этом не сознаюсь». И затем пишет: «Я не могу с ним расстаться, но если бы мы жили вместе, ты должен был бы мне его читать и петь, пока не выучил бы наизусть».

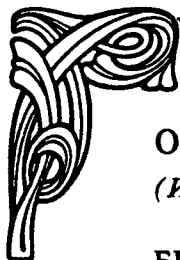
Так, по выражению Цельтера, «исцеление приходит от копья, которым он был ранен». Гете спасается — это можно утверждать — этим стихотворением. Наконец, мука осилена, последняя трагическая надежда побеждена, мечте о совместной супружеской жизни с любимой «дочуркой» настал конец. Он знает, что никогда уже не вернется в Мариенбад, в Карлсбад, в веселый мир беспечных; отныне его жизнь принадлежит труду. Он выдержал искушение и отказался от обновленной судьбы: зато в его жизненный круг вступает другое великое слово: «завершение». Строгим взором окидывает он свою работу, обнимающую шестьдесят лет, видит ее раздробленной и рассеянной и решает, раз уж он не может больше строить, по крайней мере — собирать; заключается договор на «Собрание сочинений», приобретает охранительное свидетельство. Его любовь, которая еще недавно витала вокруг девятнадцатилетней девушки, обращается снова к старейшим спутникам его юности, к «Вильгельму Мейстеру» и к «Фаусту». Бодро берется он за работу, по пожелтевшим листам воссоздается замысел прошлого века. Прежде чем ему минуло восемьдесят лет, «Годы странствий» закончены, и с героическим мужеством приступает он на восемьдесят втором году к «главному делу» своей жизни, к «Фаусту», которого заканчивает через семь лет после этих роковых дней и с тем же почтительным благоговением, что и элегию, замыкает от света печатью и тайной.

Между этими двумя областями чувства, между последним

вожделением и последним отречением, между началом и завершением, стоит, как перелом, как незабвенный миг внутренней перемены, это пятое сентября, прощание с Карлсбадом, прощание с любовью, претворенное в вечность потрясающей жалобой. Этот день мы вправе назвать достопамятным и благоговейно вызвать воспоминание о нем сто лет спустя, ибо с тех пор немецкая поэзия не знала более страстного и великолепного часа, нежели тот, когда неодолимое чувство излилось в эти мощные стихи.







## ОТКРЫТИЕ ЭЛЬДОРАДО

*(И. А. Зутер, Калифорния. Январь 1848 года)*

### БЕГСТВО ИЗ ЕВРОПЫ

1834 год. Американский пароход отчаливает от Гавра, направляясь в Нью-Йорк. Среди нескольких сот утомленных Европой людей находится и Иоганн Август Зутер, тридцати одного года, родом из Ринненберга близ Базеля; он спешит океаном отгородить себя от европейских трибуналов. Банкрот, вор, подделыватель векселей, он бросил на произвол судьбы жену и трех детей, с фальшивым паспортом в руках добыл в Париже кое-какие деньги и отправляется теперь на поиски новой жизни. 7 июля он прибывает в Нью-Йорк и в течение двух лет занимается всеми возможными и невозможными делами: становится упаковщиком, аптекарем, зубным врачом, продавцом снадобий, содержателем таверны. Наконец, скопив немного денег, он приобретает маленькую гостиницу, потом продает ее и, подчиняясь магическому зову времени, устремляется к берегам Миссури. Там он становится земледельцем, обзаводится вскоре небольшим состоянием, получает возможность спокойно коротать свой век. Но мимо его дома беспрестанно шныряют разные люди: меховщики, охотники, авантюристы, солдаты; они приходят с запада, идут на запад; и постепенно слово «запад» начинает звучать магически. Там, как рассказывают, степи, сначала одни лишь степи со стадами буйволов, пустынные днями и неделями, — их пересекают одни лишь краснокожие, — потом идут горы, высокие, недостижимые, и, наконец, прославленный, неведомый край сказочного богатства,

ником еще не исследованная Калифорния, с молочными реками и кисельными берегами, край, доступный каждому, кто хочет владеть им, но далекий, бесконечно далекий; его можно достигнуть лишь с опасностью для жизни.

Но в жилах Иоганна Августа Зутера течет кровь авантюриста; ему не по нраву спокойная оседлая жизнь земледельца. В один прекрасный день 1837 года он продает свой дом, снаряжает экспедицию, с повозками, лошадьми и гуртами волов, и отправляется из форта Индепенденс в неведомые дали.

## ПОХОД В КАЛИФОРНИЮ

1838 год. Два офицера, пять миссионеров, три женщины пускаются в запряженных волами повозках в необъятное пространство. По бесконечным степям, через горы пробираются они к Тихому океану. Три месяца длится странствие; в конце октября они прибывают в форт Ванкувер. Офицеры еще раньше покинули Зутера, теперь и миссионеры отказываются идти дальше, три женщины отдали дань лишениям — умерли в пути.

Зутер один; тщетно стараются удержать его в Ванкувере, предлагая ему службу, — он не соглашается; соблазн магического имени волнует его кровь. На жалком парусном судне он пускается в путь по Тихому океану, направляясь сначала к Сандвичевым островам, и с невероятными трудностями, миновав берега Аляски, причаливает к заброшенному уголку — Сан-Франциско. Сан-Франциско — не нынешний разросшийся вдвое после землетрясения город с миллионным населением — нет, жалкое рыбацье село, названное так в честь миссии францисканцев; это даже не главный город Калифорнии, никому не ведомой, запущенной мексиканской провинции, прозябающей в богатейшей полосе материка без всякой культуры.

Там — испанский беспорядок, усугубленный отсутствием какого бы то ни было авторитета, восстаниями, нехваткой

рабочей силы, животных и людей, недостатком все преодолевающей энергии. Зутер нанимает лошадь и скачет в плодородную долину Сакраменто; ему достаточно одного дня, чтобы убедиться, что здесь место не только для фермы, для большого имения, но и для целого королевства. На следующий день он отправляется в жалкую столицу Монтерей, представляется губернатору Альверато и излагает ему свое намерение заняться обработкой земли. С островов он захватил канаков и собирается постепенно пополнять ряды работников этими усердными, трудолюбивыми представителями цветной расы; он хочет построить селения, основать небольшое государство: колонию — Новую Гельвецию.

— Почему Новую Гельвецию? — спрашивает губернатор.

— Я швейцарец и республиканец, — отвечает Зутер.

— Согласен, поступайте по собственному разумению. Я даю вам концессию на десять лет.

Как видно, договоры заключаются там быстро. За тысячу миль от цивилизации энергия отдельного человека значит больше, чем дома.

## НОВАЯ ГЕЛЬВЕЦИЯ

1839 год. Караван медленно тянется вдоль берегов Сакраменто. Впереди Зутер верхом на лошади, с ружьем за спиной, за ним два-три европейца, в сопровождении ста пятидесяти канаков в коротких рубахах, тридцати повозок, запряженных волами и нагруженных съестными припасами, семенами и амуницией, пятидесяти лошадей, семидесяти пяти мулов, стада коров и баранов и, наконец, небольшой арьергард — вот и вся армия, идущая на завоевание Новой Гельвеции.

Перед ними катится гигантская огненная волна. Они поджигают леса, расчищая этим удобным способом почву для возделывания. Еще не успел погаснуть пробежавший по стране пожар, а они среди дымящихся еще пней принимаются за

работу. Строят магазины, роют колодцы, засевают не нуждающуюся во вспахивании землю, устраивают загоны для многочисленных стад; из соседних селений, из покинутых миссионерских колоний стекается народ.

Успех грандиозен. Посев дает до пятисот процентов. Амбары ломятся, стада насчитывают тысячи голов, и, несмотря на экспедиции против туземцев, смело врываются в расцветающую колонию, Новая Гельвеция раскинулась во всей своей грандиозной тропической красоте. Возникают каналы, мельницы и склады, реки наполняются пароходами, курсирующими вверх и вниз по течению; Зутер снабжает не только Ванкувер и Сандвичевы острова, он сажает фруктовые деревья и кусты, плоды которых славятся и возбуждают удивление и поныне. Он выписывает из Франции и с берегов Рейна виноградные лозы, и через несколько лет виноградники покрывают громадные пространства. Для себя он строит дома и роскошные фермы, выписывает из Парижа, пренебрегая ста восьмьюдесятью днями дороги, рояль фирмы Плейель, а из Нью-Йорка — паровую машину, проташенную через весь материк шестьюдесятью волами. У него кредиты и аккредитивы в самых больших банкирских домах Англии и Франции, и теперь, на сорок пятом году жизни, достигнув славы, он вспоминает, что четырнадцать лет тому назад бросил где-то жену и троих детей. Он пишет им и приглашает в свои владения. Теперь он цепко держит в своих руках приобретенное богатство, он властелин Новой Гельвеции, один из первых богачей мира; таким он останется навсегда. Наконец Соединенные Штаты, в свою очередь, вырывают из мексиканских рук заброшенную колонию. Теперь все прочно и спокойно. Еще несколько лет — и Зутер будет самым богатым человеком мира.

## РОКОВОЙ УДАР ЗАСТУПА

1848 год. Январь. Неожиданно плотник Джемс В. Маршалль является, взволнованный, к Иоганну Августу Зутеру, желая во что бы то ни стало его повидать. Зутер удивлен — он только вчера послал Маршала на ферму в Колому, начать постройку новой лесопилки. А тот, вернувшись без разрешения, стоит теперь, дрожа от волнения, перед ним, оттесняет его в кабинет, закрывает за собой дверь на ключ и вытаскивает из кармана горсть песка с несколькими желтыми крупинками. Ему вчера бросился в глаза этот странный металл, когда он рыл землю; он высказал предположение, что это золото, но его высмеяли. Зутер с сосредоточенным видом берет зерна, производит пробу: предположение подтверждается: да, это золото. Он решает на следующий день подняться с Маршалем вверх к ферме, но плотник охвачен уже лихорадкой, которой суждено с молниеносной быстротой заразить весь мир; еще ночью, в бью, гонимый нетерпением, он скачет обратно.

На следующее утро полковник Зутер приезжает в Колому; они устраивают на канале запруду и рассматривают песок. Достаточно просеять его слегка сквозь решето, чтобы на темном плетении последнего засверкали задержавшиеся там золотые зерна. Зутер собирает вокруг себя нескольких находящихся с ним европейцев и берет с них честное слово, что они будут хранить тайну, пока постройка лесопилки не закончится; сосредоточенный, полный решимости, он возвращается на свою ферму. Целый рой волнующих мыслей мелькает в голове. Еще не было случая, чтобы золото находили на поверхности земли, чтобы оно добывалось с такой легкостью; и эта земля принадлежит ему, это собственность Зутера! За одну ночь он перешагнул целое десятилетие.

## САРАНЧА

Самый богатый? Нет — самый бедный, самый жалкий, самый разочарованный нищий на земном шаре. Через неделю тайна выдана; женщина — о, эти женщины! — рассказала случайному прохожему и дала ему несколько зернышек. Последствия беспримерны. Тотчас же рабочие Зутера оставляют работу, слесари бегут из кузниц, пастухи бросают стада, виноградари — виноградники, солдаты — оружие; все, словно одержимые, бегут, захватив решета и кастрюли, к лесопилке — вытряхивать золото из песка. На следующую ночь селение покинуто, коровы, которых некому доить, мычат и подышают, волю ломают загородки и топчут поля, где гибнет зерно в колосьях, сыроварни бездействуют, амбары рушатся, громадный механизм гигантского производства остановился. Телеграф передает золотую грезу через моря и материки. Люди стекаются из городов, из гаваней, матросы покидают корабли, чиновники — свои места; длинными, бесконечными веренищами тянется с востока, с запада, пешком, верхом, в повозках, поток человеческой саранчи — золотоискатели. Необузданная, грубая толпа, признающая только закон кулака и расправу револьвером, наводняет цветущую колонию. Для них не существует собственности, никто не осмеливается выступить против этих отчаянных. Они режут коров Зутера, рушат его амбары, чтобы построить себе дома, топчут его поля, крадут его машины. Прошла одна ночь — и Иоганн Август Зутер беден, как царь Мидас, задушенный собственным золотом.

Все неукротимее становится беспримерная погоня за золотом; весть распространилась по всему свету; из одного Нью-Йорка отчаливают сто кораблей, из Германии, Франции, Испании прибывают в течение четырех лет несметные толпы авантюристов. Некоторые огибают мыс Горн, более нетерпеливым этот путь кажется слишком длинным, они избирают более опасный, сушей, через Панамский перешеек. Предприимчивая компания строит здесь железную дорогу; тысячи ра-

бочих гибнут от лихорадки, чтобы доставить возможность нетерпеливым завладеть золотом на две-три недели раньше. Через материк тянутся громадные караваны, — люди всех рас и всех национальностей, — и все роются в земле Иоганна Августа Зутера, как в собственных владениях. На территории Сан-Франциско, принадлежащей ему, закрепленной за ним государственной печатью, вырастает со сказочной быстротой город; чужие люди продают друг другу его землю, и «Новая Гельвеция» — наименование его владения, — заглушается магическим словом: Эльдorado, Калифорния.

Иоганн Август Зутер, вторично обанкротившийся, беспомощно взирает на этот грандиозный посев раздора. Сперва он пытается принять участие в поисках, думая использовать богатство при помощи слуг и товарищей, но все его покидают. И он оставляет золотоносный участок, поселяется на отдаленной ферме «Эрмитаж», ближе к горам, вдали от проклятой реки и злополучного песка. Там его находит наконец жена с тремя взрослыми сыновьями; но едва добравшись, она умирает от перенесенных в дороге лишений. Иоганн Август Зутер с тремя сыновьями, имея в своем распоряжении, таким образом, восемь рабочих рук, снова берется за обработку земли; еще раз, с помощью своих сыновей, он пробивается спокойно, неутомимо, пользуясь фантастическим плодородием этого края. Еще раз лелеет он и таит грандиозный план.

## ПРОЦЕСС

1850 год. Калифорния входит в состав Соединенных Штатов. Благодаря строгому режиму в одержимой погоней за золотом стране водворяется наконец порядок. Анархия подавлена, закон снова вступает в свои права.

И тут Иоганн Август Зутер неожиданно предъявляет требования. Вся земля, на которой построен город Сан-Франциско, утверждает он, принадлежит ему по праву и закону. Государство обязано возместить убытки, понесенные им благо-

даря хищению его собственности. Из добытого в его земле золота он желает получить свою долю. Начинается невиданный по размерам процесс. Иоганн Август Зутер предъявляет обвинение семнадцати тысячам двумстам двадцати одному фермеру, осевшим на его плантациях, и требует их выселения с захваченной земли; требует двадцать пять миллионов долларов от штата Калифорнии за присвоенные им дороги, каналы, мосты, сооружения, мельницы, которые он построил; требует от Соединенных Штатов двадцать пять миллионов долларов в возмещение убытков, причиненных разрушением принадлежавшего ему имущества, и, кроме того, свою часть золота. Он заставляет старшего сына, Эмиля, окончить юридический факультет в Вашингтонском университете, чтобы вести этот процесс, и тратит громадные доходы со своих новых ферм на то, чтобы питать эту дорогостоящую тяжбу. В течение четырех лет проводит он процесс по всем инстанциям.

15 марта 1855 года выносится наконец приговор. Неподкупный судья Томпсон, высший чиновник Калифорнии, признает требования Иоганна Августа Зутера на землю справедливыми и право его — незабываемым.

В этот день Иоганн Август Зутер у цели. Он самый богатый человек в мире.

## КОНЕЦ

Самый богатый человек в мире? Нет, и еще раз нет, самый последний нищий, самый несчастный, самый придавленный человек. Снова судьба направила против него убийственный удар, удар, сокрушивший его окончательно. В ответ на приговор поднимается целая буря в Сан-Франциско и во всей стране. Десятки тысяч людей объединяются, — все задетые приговором собственники, уличная чернь, всегда готовые к грабёжам подонки; они бросаются к зданию суда, поджигают его, отыскивают судью, чтобы расправиться с ним судом Линча, и громадной толпой поднимаются, чтобы разгромить имущество Зутера. Его старший сын, застигнутый бандитами, стреляется,



второго убивают, третий спасается, но, возвращаясь домой, тонет. Огненный смерч проходит по Новой Гельвеции. Фермы Зутера сожжены, его виноградники растоптаны, его имущество, его коллекции, его золото разграблены; с немилосердной злобой громадное поместье Зутера обращено в пустыню. Сам Зутер спасается от гибели с большим трудом. От этого удара Иоганн Август Зутер никогда не оправился. Все им созданное уничтожено, его жена, его дети погибли, его ум омрачен; только одна мысль неотступно вспыхивает в затуманенном мозгу: справедливость, процесс.

Целых двадцать лет блуждает старый, слабый рассудком, плохо одетый мужчина вокруг здания суда в Вашингтоне. Там во всех отделениях знают «генерала» в грязном сюртуке и рваных ботинках, требующего свои миллионы. И все еще находятся адвокаты, авантюристы и жулики, которые выманивают его последнее достояние — пенсию — и впутывают его в новый процесс. Он не хочет денег для себя, он ненавидит золото, которое обратило его в нищего, убило трех сыновей, загубило его жизнь. Он требует лишь справедливости и защищает ее с неотступной горечью маньяка. Он обращается в сенат, обращается в конгресс, он становится гернгутером\* и завещает все свои права общине, которая раздувает это дело, облачает Зутера в смешную генеральскую форму и таскает несчастного, как пугало, из учреждения в учреждение, от делегата к делегату. Это длится двадцать лет, с 1860 до 1880 года, — двадцать отчаянных, нищенских лет. Изо дня в день он осаждает здание конгресса, служит посмешищем для чиновников, забавой для уличных мальчишек; он — владелец богатейшей страны земного шара, он — на чьей земле стоит ежечасно разрастающаяся вторая столица громадного государства. Но надоедливого человека заставляют ждать, и 17 июля 1880 года в послеобеденный час, на лестнице здания конгресса, он умирает от разрыва сердца; тело нищего убира-

---

\*Протестантская секта последователей Чешских братьев, религиозного течения в Чехии.

ют. Тело нищего, в кармане которого бумага, обеспечивающая ему и его наследникам законное право на самое крупное состояние в мировой истории.

До сих пор никто из наследников Зутера не предъявил права на его наследство. До сих пор город Сан-Франциско и целое государство стоят на чужой земле. До сих пор не восторжествовала справедливость, и только художник Блэз Сандрар закрепил за забытым Иоганном Августом Зутером основное право исключительной судьбы — право на восторженную память последующих поколений.





## СМЕРТНЫЙ МИГ

*(Достоевский. Петербург, Семеновский плац.  
22 декабря 1849 года)*

Сонного подняли ночью, поздно,  
Хрипом команды, лязгом стали,  
И по стенам каземата грозно  
Призраки-тени заплясали.  
Длинный и темный ход.  
Темным и длинным ходом — вперед.  
Дверь завизжала, ветра гул,  
Небо вверху, мороз, озноб,  
И карета ждет — на колесах гроб,  
И в гроб его кто-то втолкнул.

Девять бледных, суровых  
Спутников — тут же, в ряд;  
Все в оковах,  
Опущен взгляд.  
Каждый молчит —  
Знает, куда их карета мчит,  
Знает, что в повороте колес  
Жизни и смерти вопрос.

Стоп!  
Щелкнула дверь, распахнулся гроб.  
Цепью в ограду вошли,  
И перед взорами их — глухой,  
Заспанно-тусклый угол земли.  
С четырех сторон

В грязной изморози дома  
Обступили площадь, где снег и тьма.

Эшафот в тумане густом,  
Солнца нет,  
Лишь на дальнем куполе золотом —  
Ледяной, кровавый рассвет.  
Молча становятся на места;  
Офицер читает приговор:  
Государственным преступникам — расстрел,  
Смерть!  
Этим словом все сражены,  
В ледяное зеркало тишины  
Бьет оно  
Тяжким камнем, слепо, в упор,  
И потом  
Отзвук падает глухо, темно  
В морозную тишь, на дно.

Как во сне  
Все, что кругом происходит,  
Ясно одно: неизбежна смерть.  
Подошли, накидывают без слов  
Белый саван — смертный покров.  
Спутникам слово прощанья,  
Легкий вскрик,  
И с горящим взглядом  
Устами он к распятью приник,  
Что священник подносит в немом молчаньи,  
Потом прикручивают крепко их,  
Десятерых,  
К столбам, поставленным рядом.

Вот  
Торопливо казак идет  
Глаза прикрыть повязкой тугою,

И тогда — он знает: в последний раз! —  
Перед тем как облечься тьмою,  
Обращается взор к клочку земли,  
Что маячит смутно вдали:  
Отсвет сиянья,  
Утра священный восход:  
Острого счастья хлынула к сердцу волна...  
И, как черная ночь, на глазах пелена.  
Но за повязкой  
Кровь заструилась, кипит многоцветною сказкой.  
Взмыла потоком кровь,  
Вновь рождая и вновь  
Образы жизни.  
Он сознает:  
Все, что погибло, что было,  
Миг этот с горькою силой  
Воссоздает.  
Вся жизнь его, как немой укор,  
Возникает вновь, струясь в крови:  
Бледное детство, в оковах сна,  
Мать и отец, и брат, и жена,  
Три крохи дружбы, две крохи любви.  
Исканье славы и позор, позор!

И дальше, дальше огненный пыл  
Погибшую юность струит вдоль жил.  
Вся жизнь прошла перед ним, пролетела,  
Вплоть до минуты,  
Когда он стал у столба, опутан.  
И у предела  
Тяжкая мгла  
Облаком душу заволокла.

Миг, —  
Чудится, кто-то сквозь боль и тьму  
Медленным шагом идет к нему,

Ближе, все ближе... приник,  
Чудится, руку на сердце ему кладет,  
Сердце слабеет... слабеет... вот-вот замрет, —  
Миг, — и на сердце уж нет руки.  
И солдаты  
Стали напротив, в один слепительный ряд...  
Подняты ружья... шелкнули звонко курки...  
Дробь барабана, раскаты...  
Дряхлость тысячелетий таит этот миг.

И неожиданно крик:  
— Стой! .  
С белым листком  
Адъютант выходит вперед,  
Голос четкий и зычный  
Тишину могильную рвет:  
Государь, в милосердье своем  
Безграничном,  
Отменить изволил расстрел,  
Приговор смягчить повелел.

Слово  
Странно звучит, и нет в нем смысла живого,  
Но вот  
В жилах кровь начинает снова алеть,  
Ринулась ввысь и тихо-тихо запела.  
Смерть  
Нехотя покидает тело,  
И глаза, повязку еще храня,

Ощущают отсвет вечного дня.  
Потом  
Веревки распутываются палачом,  
Повязку белую чьи-то руки  
С висков, пламенеющих от муки,  
Сдирают, как с березы пленку коры,

И взор, возникнув вновь из могилы,  
Неловкий еще, неверный, хилый,  
Готов с иною, с новою силой  
Былые прозреть миры.

И он  
Видит: там, за дальней чертой,  
Разгорается купол золотой  
И пылает, весь озарен.  
Дымной встают грядюю  
Туманы, словно влача  
Мрак и тлен земли за собою,  
И тают в легких лучах,

И звуками полнится глубь мировая,  
Сливая  
Их в один многотысячный хор.  
И впервые внятен ему,  
Сквозь глухую земную тьму,  
Единый пламенный звук  
Неизбывных человеческих мук.  
Он слышит голоса забитых судьбою,  
Женщин, безответно себя отдавших,  
Девушек, посмеявшихся над собою,  
Одиноких, улыбки не знавших,  
Слышит гневные жалобы оскорбленных  
Беспомощное детское рыданье,  
Тихий вопль обманно совращенных,  
Слышит всех, кому ведомо страданье,  
Всех отверженных, темных, павших,  
Не снискавших  
Мученического венца и сиянья.  
Слышит всех, слышит их голоса,  
Как они к отверстым небесам  
Вопиют в извечно-жалостном хоре.  
И он сам

В этот миг единственный сознает,  
Что возносят ввысь только боль и горе,  
А земное счастье — гнетет.

И дальше, и дальше ширится в небе свет.  
Выше и выше  
Голоса возносят  
Скорбь, и ужас, и грех;  
И он знает: небо услышит  
Всех, без изъятия всех,  
Кто его милосердья просит.  
Над несчастным  
Небо суда не творит,  
Пламенем ясным  
Вечная благодать чертог его озарит.  
Близятся последние сроки,  
Боль претворится в свет, и счастье в боль для того,  
Кто, пройдя через смерть, иной и глубокой,  
Скорбно-рожденной жизни обрел торжество.

И он  
Падает, словно мечом сражен.  
Вся правда мира и вся боль земли  
Перед ним мгновенно прошли.  
Тело дрожит,  
На губах проступает пена,  
Судорогою лицо светло,  
Но стекают на саван слезы блаженно,  
Светло,  
Ибо лишь с тех пор,  
Как со смертью встретился смертный взор,  
Радость жизни — вновь совершенна.

Наскоро освобождают от пут.  
И тут  
Как-то разом потухает лицо.



**Всех  
В карету толкают, везут назад.  
Взгляд  
Странно туп, неподвижность в чертах,  
И лишь на дергающихся устах  
Карамазовский желтый смех.**





## БОРЬБА ЗА ЮЖНЫЙ ПОЛЮС

(Капитан Скотт, 1 января 1912 года)

### БОРЬБА ЗА ЗЕМЛЮ

**Д**вадцатый век взирает на мир, лишенный тайн. Все страны изучены, отдаленнейшие моря прорезаны килями бесчисленных кораблей. В горах проложены дороги, в пустынях — рельсы. Страны, еще полвека тому назад дремавшие в блаженном сумраке безвестности, наслаждаясь свободой, рабски служат теперь нуждам Европы; вплоть до истоков Нила, которых искали так долго, устремляются пароходы; водопады Виктории, впервые полвека тому назад открывавшиеся взору европейца, служат источниками электрической энергии; последняя тайна — леса Амазонки — ныне вырублены, и единственная целомудренная страна — Тибет — утратила свою девственность. Термин старых карт и глобусов «terra incognita» исчез; человек двадцатого века знает свою путеводную звезду. Для исследователя земля обеднела, и пытливая воля подыскивает себе новые пути, — она опускается в зеленый подводный мир, к фантастической фауне морских глубин, поднимается в бесконечные воздушные выси. Неизведанным остался лишь путь к небу, и, с тех пор как тверди не дают пищи земному любопытству и лишены таинственности, стальные ласточки — аэропланы — состязаются в достижении новых высей, новых далей.

Но одну лишь тайну свою стыдливо скрыла земля от человеческого взора вплоть до нашего столетия; две точки своего истерзанного, изорванного тела уберегла она от алчности собственных созданий. Северный и Южный полюсы, спинной мозг

земного тела, эти две почти несуществующие, почти невещественные точки, вокруг которых она вертится веками, сохранила она нетронутыми, незапятнанными. Ледяными барьерами оградила она эту последнюю тайну, вечную зиму поставила на страже ее, в защиту от людской жадности. Мороз и вихри стеной ограждают вход, ужас и опасность смерти отгоняют смельчаков. Вечный и беспросветный сумрак витает над полюсами: над этими никем не достигнутыми краями, далеко за пределами нашего теплого мира, точно в сказочных пещерах, скрывающих клады, долгие месяцы царит мрак. Лишь солнцу дано бегло окидывать взглядом тот край, но человеку — никогда.

Десятки лет экспедиции сменяют одна другую. Никто не достигает цели. Где-то в стеклянном гробу покоится храбрейший из храбрых, Андрэ, тот, что вздумал на воздушном шаре подняться над полюсом, чтобы издали взглянуть на тайну земли: он не вернулся. Каждая попытка разбивалась о сверкающие ледяные стены; никому из смертных не удалось овладеть добычей, схватить хоть крупицу вечной тайны. Тысячелетия, вплоть до наших дней, победоносно скрывала Земля облик этого края от страстных взоров своих созданий. Стыдливо хранила она его целомудренным и чистым, пряча от любопытного мира.

Но юный двадцатый век в нетерпении простирает руки. Он выковал в лабораториях новое оружие, изобрел новый панцирь против стужи; сопротивление лишь усиливало его жажду. Он хочет знать истину, и уже первое его десятилетие стремится к завоеванию того, что не могли завоевать тысячелетия. Храбрость отдельных смельчаков поддерживается соперничеством наций. Не только за полюс борются они, но также и за флаг, которому суждено развеяться над новой землей; гордость рас взвинчивает самолюбие исследователей. К месту священных вожеланий снаряжается крестовый поход наций. Англия, властительница морей, хочет и здесь сохранить свое *imperium mundi*\*: Шекльтон храбро продвигается к Южному

---

\* Мировую власть (лат.).

полюсу; но почти у самой цели силы покидают его. Его неудача лишь убеждает других в возможности достижения полюса, и поход возобновляется со всех сторон. Нетерпеливо ждет человечество, оно знает: ставкой является последняя тайна Земли. Америка снаряжает Кука и Пири к Северному полюсу; на юг направляются два корабля: одним командует норвежец Амундсен, другим англичанин — капитан Скотт.

## СКОТТ

Некто Скотт, капитан английского флота. Некто! Его биография соответствует его рангу. Он исполнял свои служебные обязанности к полному удовлетворению своего начальства и принял участие в экспедиции Шекльтона. В его поведении нет ничего героического. Его лицо, судя по фотографии, ничем не отличается от тысячи, от десятка тысяч английских лиц: холодное, неподвижное, словно застывшее, оно полно затаенной энергии. Серые глаза, крепко сжатые губы. Ни одной романтической черты, ни проблеска веселости в этом лице, проникнутом волей и практическим здравым смыслом. Его почерк — обыкновенный английский почерк без оттенков, без прикрас, быстрый, уверенный. Его слог — ясный и выдержанный, захватывающий своей деловитостью, но без малейшего полета воображения — словно рапорт. Скотт пишет по-английски, как Тацит по-латыни, — неотшлифованными глыбами. Во всем проглядывает человек без фантазии, фанатик действительности, настоящий представитель английского народа, где даже гений скован оцепеневшей формой исполнения долга. Этот Скотт уже сотни раз являлся в английской истории: он завладел Индией и бесконечным количеством островов Архипелага, он колонизировал Африку и сражался с целым миром с той же неизменной железной энергией, с тем же сознанием связи с коллективом и с тем же холодным, застывшим лицом.

Но как сталь тверда его воля; это обнаружилось еще до совершения подвига. Скотт намерен закончить то, что начал

Шекльтон. Он снаряжает экспедицию, но ему не хватает средств. Это его не останавливает. Он жертвует своим состоянием и делает долги, уверенный в успехе. Его молодая жена дарит ему сына. Он не медлит, подобно Гектору, покинуть Андромаху. Друзья и товарищи найдены быстро, ничто земное не может поколебать его воли.

«Терра Нова» называется замечательный корабль, который должен доставить их на край Ледовитого океана. Он замечателен двойственностью своего оборудования: наполовину Ноев ковчег, полный всякой живности, наполовину современная лаборатория с тысячами инструментов и книг. Должно быть взято с собой все, что нужно для души и тела в этом пустынном необитаемом мире, и странно выделяются примитивные предметы первобытного обихода — меха, шубы, живность, наряду с утонченным современным снаряжением. И так же, как этот корабль, фантастична и двойственность самого предприятия: приключение — но обдуманное и рассчитанное, как коммерческое предприятие; смелость — в соединении с изощренной предусмотрительностью; бесконечно тонкий расчет — наряду с бесконечными случайностями.

Первого июня 1911 года они покидают Англию. В эти дни англосаксонская страна на редкость красива. Сочной зеленью покрыты луга, тепло и блестяще светит солнце над безоблачным миром. Взволнованные, следят они, как исчезают из вида очертания берегов. Они знают, что на годы прощаются с теплом, с солнцем, а иные, быть может, и навсегда. Но вверху, на корабле, развевается английский флаг, и они утешают себя мыслью, что и он плывет с ними к единственному еще не завоеванному клочку земли.

## АНТАРКТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В январе они причаливают, после кратковременного отдыха у мыса Эванса, к границам вечного льда и сооружают дом для зимовки. Декабрь и январь считаются там летними меся-

цами, единственными, когда солнце несколько часов в день сияет на свинцово-белом небе; единственными, дающими кораблю возможность пробираться через льды. Стены выстроены из дерева, как и в прежних экспедициях, но внутри чувствуется современный прогресс. В то время как те сидели в полутьме, при лампах, наполненных ворвань, наскучившие друг другу, утомленные однообразием бессолнечных дней, люди двадцатого века владеют в своих четырех стенах всем миром, всей наукой в миниатюре. Мягко льется ацетиленовый свет, кинематограф воссоздает волшебные сцены их путешествия, проекционный прибор — тропические виды далеких стран, пианола — музыку, граммофон — человеческие голоса, библиотека — современную науку. В одной из комнат постукивает пишущая машинка, другая, темная, — для проявления кинематографических и цветных снимков. Геолог испытывает радиоактивность минералов, зоолог обнаруживает новых паразитов у пойманных пингвинов, метеорологические наблюдения сменяются физическими опытами; каждому участнику обеспечена работа на время темных месяцев, и благоразумный метод превратил единичные исследования в систему общего обучения. Ибо эти двадцать человек читают друг другу ежевечерне доклады-лекции университетского курса; каждый старается сообщить свои знания другому, и в оживленном обмене мыслями пополняется мировоззрение каждого. Узкоспециальные исследования отказываются здесь от своего выскомерия и пытаются стать, в общедоступных формах, понятными. Среди первобытного мира, затерянные в безграничном пространстве, двадцать человек передают друг другу последние достижения двадцатого столетия, и тут, в этих стенах, ощущаются не часы, а секунды мирового времени. Трогательно читать, как эти серьезные люди воспринимают радость зажженной елки, увлекаются чтением юмористической газеты «Южный полюс», издаваемой ими, как ничтожные события — всплывший кит, поскользнувшийся пони — становятся значительными, и, с другой стороны, могущественные явления природы — южное сияние, ужасающий мороз, бес-

конечное одиночество — приобретают характер повседневных и привычных.

Вместе с тем они отваживаются на небольшие продвижения. Они испытывают свои моторные сани, упражняются в ходьбе на лыжах, дрессируют собак. Они снаряжают склад для большого путешествия; но медленно, медленно обрывается календарь, листок за листком — до лета (до декабря), когда к ним вернется корабль с письмами из дома, до лета, когда они двинутся, наконец, вперед, к желанной цели.

Весел маленький университет во льдах, но вместе с тем серьезен и сосредоточен, ибо все понимают, что их работа должна выдержать серьезное испытание. Небольшими группами они зимой уже организуют экскурсии на несколько дней, испытывая палатки, приобретая опыт. Не все удается; но возникающие затруднения лишь возбуждают энергию. Когда они возвращаются после экспедиций, утомленные и продрогшие, встречая радостный прием и теплый блеск плиты, эта уютная хижина на семьдесят седьмом градусе широты кажется им, после нескольких дней лишений, блаженнейшим местом в мире.

Но вот возвращается с запада одна из экспедиций, и принесенная ею весть водворяет тишину. В своих странствиях они наткнулись на зимнюю квартиру Амундсена, и Скотт сразу соображает, что, помимо мороза и опасности, возникает еще угроза того, что другой приобретет славу раскрытия тайны упорствующей земли. Он рассматривает карту, измеряет. И с ужасом отмечает, что зимняя квартира Амундсена на 110 километров ближе к полюсу, чем его. Он огорчен, но не унывает. «Вперед, к славе родины!» — пишет он гордо в своем дневнике.

Один-единственный раз упоминается имя Амундсена в его дневнике. И больше оно не встречается. Но чувствуешь: с того дня тень ужаса легла на одинокую хижину во льдах, и каждый час, во сне и наяву, заполнен этим ужасом.

## ПОХОД К ПОЛЮСУ

На расстоянии мили от хижины, на холме, установлен наблюдательный пост. Там, на крутом возвышении, одиноко, точно пушка, обращенная к незримому врагу, стоит аппарат для измерения первых тепловых колебаний приближающегося солнца. Уже много дней ждут они его появления. Утреннее небо волшебным образом окрашено чудесными отражениями, но солнечный диск пока еще не встает над горизонтом. Это небо, сверкающее магическим красочным светом, окрыляет их нетерпение. И наконец, с вышки хижины раздается долгожданный телефонный звонок: солнце, в первый раз за несколько месяцев, подняло чело свое над зимней ночью. Его свет еще слаб, его дыхание еще не согревает морозного воздуха, еще колеблющиеся лучи не дают в аппарате долгожданных знаков, но одно приближение его уже означает счастье. В лихорадочном волнении снаряжается экспедиция, чтобы использовать короткий период света, вмещающий и весну, и лето, и осень, — период, который нам, при наших понятиях о тепле, показался бы суровой зимой. Впереди летят моторные сани. За ними сани, запряженные сибирскими пони и собаками. Дорога разделена на отдельные этапы, каждые два дня воздвигается склад, где приготовлены для возвращающихся одежда, пища и самое важное — керосин, это конденсированное тепло, защищающее от первобытного мороза. Они выступают все вместе с тем, чтобы возвращаться отдельными группами и чтобы, таким образом, последней маленькой группе, которая должна достигнуть полюса, досталось самое большое количество припасов, самые свежие собаки и лучшие сани. Мастерски выработан план, всевозможные неудачи предусмотрены. И конечно, в них нет недостатка. После двухдневного путешествия ломаются моторные сани, и их оставляют, как ненужный балласт. Пони также оказались не столь выносливыми, как можно было ожидать, но в этом случае органические орудия показали свои преимущества над техническими. Приведенные в негод-



ность, застреленные, они дают собакам желанную горячую пищу и поддерживают их силы.

Первого ноября 1911 года они пускаются в путь отдельными отрядами. На снимках мы видим этот странный караван: сначала тридцать путешественников, потом двадцать, десять и, наконец, только пять человек, странствующих по белой пустыне первобытного необитаемого мира. Впереди один, похожий на дикое существо, закутанный в шубы и платки, которые оставляют открытыми лишь бороду и глаза: рука, закутанная в мех, держит на поводу пони, который тащит тяжело нагруженные сани. За ним второй, в таком же одеянии и такой же позе, за ним третий — двадцать черных точек, вытянувшихся в линию, среди бесконечной и слепящей белизны. Ночью они укладываются в палатках, снеговые стены сооружаются в направлении ветра, чтобы защитить пони; и утром возобновляется однообразный и отчаянный поход на ледяном воздухе, который впервые за тысячелетия вдыхают человеческие легкие.

Неудачи множатся. Погода неприветлива; вместо сорока километров они делают иногда лишь тридцать; а между тем каждый день драгоценен, с тех пор как стало известно, что кто-то незримый движется по этой пустыне к той же цели. Каждая мелочь кажется угрозой. Сбежала собака, пони не хотят есть — все вызывает тревогу; в этом одиночестве ценности меняются удивительным образом. Каждый предмет становится незаменимым. От четырех подков пони зависит, быть может, слава; облачное небо и ветер могут помешать бессмертному подвигу. Состояние здоровья путешественников ухудшается: некоторые стали страдать снежной слепотой, у некоторых отморожены ноги. Пони теряют работоспособность, так как приходится уменьшить количество корма, и, наконец, недалеко от глетчера Бирдмора их окончательно покидают силы. Печальный долг умерщвления этих храбрых животных, ставших за два года совместной жизни вдали от мира друзьями, которых каждый знал по имени и награждал ласками, должен быть исполнен. «Лагерем бойни» называли это печаль-

ное место. Часть экспедиции отделяется и возвращается, остальные собирают все силы для трудного пути через глетчер, к опасной стене, опоясывающей полюс, которую может одолеть лишь страстное напряжение человеческой воли.

Все медленнее продвигаются они. Снег здесь обледенелый, и сани приходится не тянуть, а тащить. Твердый лед прорезает полозья, ноги изранены от ходьбы по хрусткому снегу. Но они не унывают: 30 декабря достигнут 78-й градус широты, крайняя точка Шекльтона. Конец года переполнен горечью: последний отряд должен вернуться, только пять избранных могут участвовать в походе к полюсу. Скотт внимательно осматривает людей. Они не осмеливаются противоречить, но им тяжело в такой близости от цели расстаться с товарищами и предоставить им славу первыми увидеть полюс. Жребий брошен. Еще раз пожимают они друг другу руки, мужественно скрывая волнение, — и расходятся. Два маленьких незаметных отряда двинулись: один к югу — навстречу неизвестности, другой к северу, на родину. Они оглядываются, желая в последний раз убедиться в присутствии дружественного и живого существа. Вот уже скрылась из виду и последняя фигура. Одинокó тянутся в неведомую даль пять избранных: Скотт, Боуэрс, Отс, Уильсон и Эванс.

## ЮЖНЫЙ ПОЛЮС

Беспокойнее становятся записи в эти последние дни; они трепещут лихорадочно, как синяя стрелка компаса, при приближении к полюсу. В первый раз нервное нетерпение прорывается настоящим воплем: «Как бесконечно долго обходят тени вокруг нас, с правой стороны сзади и спереди налево!» Но тут же сверкает и луч надежды. Все увереннее записывает Скотт расстояния: «Еще сто пятьдесят километров; если будем так двигаться, не выдержим». Через два дня: «Сто тридцать семь километров до полюса, но они достанутся нам нелегко». И вдруг: «Всего только девяносто четыре километра до полюса.

Если мы и не доберемся, мы все же будем чертовски близко». 14 января надежда переходит в уверенность. «Только семьдесят километров, цель почти достигнута». На следующий день пишет он торжествующе, почти радостно: «Еще ничтожных пятьдесят километров; дойдем, чего бы это ни стоило!» Во взволнованных строках чувствуется напряженность нервов, трепет надежды, ожидание, нетерпение. Добыча близка; они стирают руки, чтобы овладеть последней тайной Земли.

Но следующий день — 16 января — рушит все мечты. Утром они выступают раньше обычного, нетерпение прервало ночной отдых в спальнях мешках: им хочется как можно скорее окинуть взором страшное, прекрасное в своей таинственности место. Безмолвно, но весело шагают они по бездушной белой пустыне. Внезапно беспокойство охватывает Боуэрс. Его взор привлекла небольшая темная точка в необъятном снежном пространстве. У него не хватает мужества высказать свое предположение, но сердца всех встревожены той же ужасной мыслью: неужели человеческой рукой установлены здесь путеводные вехи? Искусственно поддерживают они спокойствие духа. Как Робинзон, который, заметив на острове следы человеческих ног, тщетно надеялся сначала, что это его собственные следы, так и они убеждают себя, что это — ледяная трещина или, быть может, мираж. В трепетном беспокойстве они подходят ближе, все еще стараясь обмануть друг друга, хотя знают уже, что это — норвежцы, что Амундсен опередил их.

И последнее сомнение разбивается о непреложный факт развевающегося черного флага, высоко прикрепленного к полозьям саней на месте покинутой стоянки. Совершилось великое, непостижимое: полюс Земли, тысячелетиями и, может быть, с момента создания вселенной недоступный взору человеческому — в какую-то молекулу времени, в течение пятнадцати дней, открыт дважды. И они являются вторыми в глазах человечества, для которого первый — все, а второй — ничто! Напрасны все усилия, смешны лишения, бессмысленны надежды, которыми жили они недели, месяцы, годы. Слезы за-

волакивают им глаза; несмотря на усталость, они не могут уснуть и, недовольные, упавшие духом, точно осужденные, делают последний переход к полюсу, который думали так победоносно завоевать. Сожаление — слишком ничтожное чувство для ужасающей трагедии, заключающейся в этом незначительном опоздании. Слова утешения застывают на устах; безмолвно тащатся они дальше. 18 января капитан Скотт достигает со своими четырьмя товарищами полюса. Стремление быть первым уже не затуманивает его взора, и он тупым взглядом окидывает убогий ландшафт. «Ничего для глаза, ничего, что бы отличалось от ужасающего однообразия последних дней» — вот описание полюса, которое дает Роберт Ф. Скотт. Единственное, что их поразило, создано не природой, а ненавистной рукой человека: палатка Амундсена с норвежским флагом, нагло и радостно развевающимся на отвоеванной человечеством крепости. Они находят письмо конквистадоров к неизвестному второму, который ступит на это место, с просьбой отправить послание норвежскому королю Гакону. Скотт берет на себе исполнение тяжелого долга: быть перед миром свидетелем чужого подвига, к которому сам он стремился пламенной душой.

Печально покидают они «изменившее им место их стремлений», холодный ветер дует в спину, возвещая близость зимы. С пророческим чувством пишет Скотт в своем дневнике: «Страшно подумать об обратном пути».

## ГИБЕЛЬ

Опасность при возвращении увеличилась в десять раз. Дорогу к полюсу им указывал компас. Теперь, на обратном пути, они должны внимательно следить за тем, чтобы не потерять собственных следов, не отойти от складов, где находится пища, одежда и тепло, заключенное в нескольких галлонах керосина. Беспокойство охватывает их при каждом шаге; метель застилает глаза, а всякое отклонение от пути равносильно

верной смерти. Ногам не хватает прежней свежести, когда тело еще согрето было химической энергией обильного питания и теплом их антарктической квартиры.

К тому же в груди ослабла пружина волевого напряжения. В походе к полюсу их поддерживала сверхчеловеческая надежда удовлетворить любопытство и мечту всего мира; сознание бессмертного подвига придавало им нечеловеческие силы. Теперь они борются только за спасение своего тела, за тленное свое существование, за бесславное возвращение, которого они скорее опасаются, чем желают.

Тяжело читать записи тех дней. Погода хмурая; зима началась раньше обыкновенного, и мягкий снег под их ногами смерзается в опасные трещины и провалы; он становится западней, замедляющей их шаги, и мороз томит усталое тело. После длительных блужданий они доходят до склада — маленькое торжество; огонек надежды вспыхивает в разговорах. Ничто не выявляет грандиознее духовного героизма этих людей, затерянных в необъятном одиночестве, чем то, что исследователь Уильсон, даже здесь, на волосок от смерти, неустанно продолжает научные наблюдения и к неизбежной тяжести своих саней прибавил шестнадцать килограммов редких минералов.

Но постепенно человеческое мужество уступает природе, которая гневно, с тысячелетиями закаленной силой надвигает на смельчаков орудия гибельной своей мощи — мороз, снег, ветер. Давно изранены ноги, и тело, недостаточно согрето скудной горячей пищей, ослабленное уменьшенными порциями, начинает поддаваться. С ужасом замечают товарищи, что Эванс, самый сильный, внезапно начинает проделывать фантастические вещи. Он отстает, жалуется на существующие и воображаемые страдания, и, содрогаясь, они заключают из его странных речей, что несчастный, вследствие падения или ужасных мук, лишился рассудка. Долг велит им не покидать его, но, с другой стороны, им необходимо добраться до склада, иначе... — Скотт не решается начертать это слово. В час ночи 17 февраля несчастный офицер умирает на расстоя-

нии однодневного перехода от того «Лагеря бойни», где они впервые могут вдоволь поесть, благодаря заколотым месяцам тому назад пони.

Вчетвером они возобновляют поход, но следующий склад приносит новое тяжкое разочарование; там слишком мало керосина, и они должны экономно расходовать самое необходимое — топливо, единственное верное оружие против мороза. Они тащатся дальше, один из них, Отс, — с трудом, с отмороженными пальцами ног. Ветер стал суровее, и на следующем складе, 2 марта, повторяется жестокое разочарование: снова слишком мало топлива.

Страх снова выливается в слова. Чувствуется, как Скотт старается скрыть ужас, но сквозь сдержанность речи прорывается вопль отчаяния: «Придет ли провидение нам на помощь? От людей нам больше ждать нечего». И они тащатся все дальше и дальше, без надежды, закусив губы. Отс не поспевает, он в тягость друзьям. Они вынуждены убавить шаг при полуденной температуре в 42 градуса, и несчастный знает, что он становится для них роком. Они готовы ко всему. Они просят Уильсона — исследователя — выдать каждому по десять таблеток морфия, чтобы, в случае необходимости, ускорить конец. Еще один день тащат они больного за собой. Несчастный сам обращается к ним с просьбой оставить его в спальном мешке и не связывать свою судьбу с его судьбой. Все энергично отвергают предложение, хотя дают себе полный отчет в том, что это принесло бы им облегчение. Шатаясь, он плетется еще несколько километров на отмороженных ногах до ночной стоянки и укладывается спать до следующего утра. Они выглядят: снаружи бушует ураган.

Внезапно Отс подымается. «Я выйду на минутку, — говорит он друзьям. — Немного побуду снаружи». Их охватывает трепет, каждый понимает, что значит эта прогулка. Никто не решается возразить. Никто не решается протянуть ему руку на прощанье, и все благоговейно сознают, что Лоренс И. Е. Отс, ротмистр Иннискилингского драгунского полка, встретит смерть, как герой.

Три усталых, обессиленных человека тащатся дальше. Все ужаснее становится погода, на каждом складе новое разочарование: все время недостаток керосина, тепла. 21 марта они в двадцати километрах от склада, но ветер дует с такой убийственной силой, что они не могут выйти из палатки. Каждый вечер они надеются на следующее утро, чтобы достигнуть цели; припасы убывают и с ними — последняя надежда. Топливо иссякло. Перед ними выбор между смертью от холода или от голода. Восемь дней борются они со смертью в маленькой палатке, среди белизны первобытного мира. 29-го они приходят к пониманию того, что нет чуда, которое могло бы их спасти. Они решают ни на шаг не приближаться к грядущему року и встретить смерть гордо, как встречали все постигшие их невзгоды. Они влезают в свои мешки, и весть об их последних страданиях не доходит до мира.

## ПИСЬМА

В эти минуты, в одиночестве, в непосредственной близости от незримой смерти, капитан Скотт вспоминает всех, с кем он связан, и один на лоне природы проникается сознанием братских уз, связывающих его с нацией, со всем человечеством. Фата-моргана духа наполняет эту белую пустыню образами всех людей, которые были связаны с ним любовью, верностью, дружбой, и он обращается к ним. Замерзающими пальцами дает капитан Скотт письменный отчет в своем дневнике. Он пишет письма в час своей одинокой смерти всем живым, которых он любит.

Удивительные письма! Они свободны от всего мелочного в этой неминуемой близости смерти, в них отражен кристально чистый воздух спокойного неба, сообщающий им блеск и ясность. Они обращены к отдельным людям, а говорят всему человечеству. Они обращены к эпохе, но являются достоянием вечности.

Он пишет жене. Он заклинает ее беречь сына, — его лучшее

наследство, — просит предостеречь его от вялости и лени и, совершив один из возвышеннейших подвигов мировой истории, сознается: «Ты знаешь, я должен был заставлять себя быть энергичным, — у меня всегда была склонность к косности». И на краю гибели он, взамен того, чтобы сожалеть, прославляет свое решение: «Как много мог бы я рассказать тебе об этом путешествии! И насколько это лучше, чем сидеть дома, среди всяческих удобств».

Он пишет друзьям, со всей скромностью по отношению к себе, но преисполненный гордостью за нацию, сыном, и достойным сыном, которой он себя с воодушевлением признает в это час. «Я не знаю, был ли я способен на большое открытие», — говорит он без излишнего самомнения, но, как англичанин, находит для себя хвалебные выражения: «Наша смерть послужит доказательством тому, что храбрость и выносливость не покинули нашу расу». И в чем не позволили ему сознаться целую жизнь упрямство мужчины и душевное целомудрие, — в дружеских чувствах, — он сознается теперь, в свой смертный час. «Я никогда в жизни не встретил человека, — пишет он своему лучшему другу, — которого бы я так любил и уважал, как вас; но я никогда не мог вам показать, что для меня означает ваша дружба; вы многое мне дали, а я ничего дать не умел».

И он пишет последнее письмо, лучшее из всех, — английскому народу. Он чувствует себя обязанным засвидетельствовать, что в борьбе за славу нации стал жертвой невзгод без собственной вины. Он приводит все случайности, которые вооружились против него, и голосом, которому близость смерти придает удивительный пафос, просит всех англичан не оставлять его близких. Его последняя мысль отделяется от собственной судьбы, его последнее слово — не о смерти, а о жизни других. До последней минуты, пока карандаш не выскользнул из замерзших рук, капитан Скотт вел своей дневник. Надежда, что у его трупа найдут эти листки, свидетельствующие об английском мужестве, дала ему силы для нечеловеческого напряжения. Последние слова этого героического дневника



посвящены близким. «Перешлите этот дневник моей жене», — пишет он. И в жестоком сознании грядущей смерти вычеркивает «моей жене» и пишет сверху страшные слова: «моей вдове».

## ОТВЕТ

Неделями ждут товарищи в хижине. Сначала спокойно, потом с легкой тревогой, наконец, с возрастающим волнением, которое постепенно переходит в глухую уверенность. Дважды высылались экспедиции на помощь, но погода гнала их назад. Всю долгую зиму остаются несчастные в хижине; тень катастрофы тяжестью ложится на их сердца. В эти месяцы судьба и подвиг капитана Роберта Скотта преданы снегу и молчанию. Природа наложила на них свою печать; но друзья отправляются в путь, чтобы вырвать тайну из ее рук и спасти ее для человечества. 29 октября, в начале полярной весны, снаряжается экспедиция на поиски трупов. 12 ноября они достигают палатки. Там находят тела героев, находят Скотта, который, умирая, братски обнял Уильсона, находят письма, документы. Сооружают могилу. Простой черный крест над снежным холмом одиноко высится в белом пространстве, простотой своей являя величественный памятник. 18 января прибывает, наконец, корабль «Тегга Нова», хижину сносят. Печально, но гордо возвращаются участники экспедиции с драгоценными записями в Новую Зеландию. После месяца плавания они причаливают, и телеграф передает миру весть о капитане Скотте. В одно мгновение слова телеграммы облетают оба полушария, и весть, месяцами таившаяся в снегу, находит отзвук в сердцах миллионов людей. Лондон, Англия, весь мир за несколько минут узнают, что завещал умирающий в глубоком одиночестве полярной природы: он сознавал в этот страшный час, что умирает ради всего мира, ради будущего, — и вот весь мир вновь охвачен на мгновение сочувствием к его судьбе. Ни одно слово поэта не читалось Англией с таким пламенным чувством, как эти строки; ни один герой со време-

ни гибели Нельсона не задел в такой степени героического сознания целой нации; его портрет мелькает в бесчисленном количестве экземпляров перед глазами; все колокола Англии прославляют его подвиг; все сердца полны им. Бесконечное напряжение жизни — ответ на его предсмертный призыв, ибо его жизнь и деятельность явились для нашего времени доказательством, что героизм не отцвел вместе с мифическим миром, что он пребывает и в нашей жизни. Этот призыв к духовному величию обращен был к каждому, — мы чувствовали это, — и в каждом из нас горячо заговорило героическое чувство, то, что тускло мерцает в повседневности. В грандиозной борьбе противоречивых жизненных сил смерть создала многогранную жизнь, неудача породила новый прилив мужества, гибель — героический подъем. И последний удар угасающего сердца заставил тысячи сердец забиться звонко и трепетно.

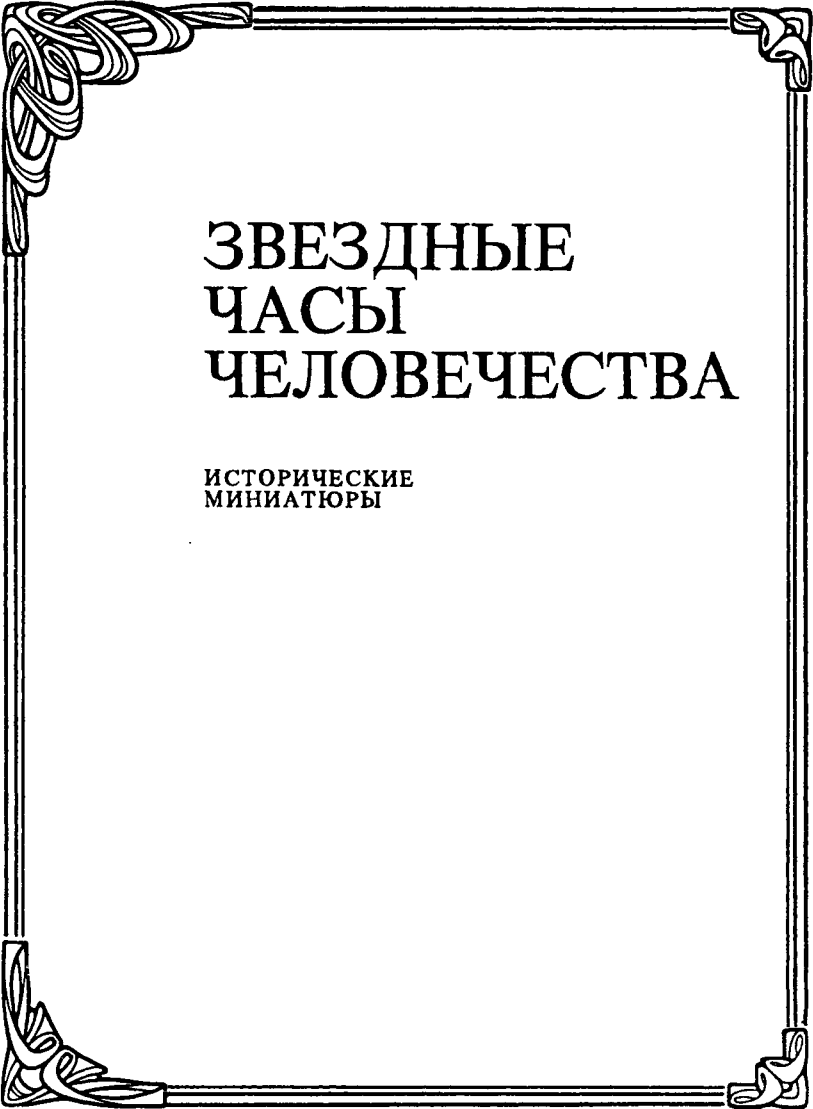
О всем величии его подвига, о сменах ужаса и надежды свидетельствует книга\*; с трепетным благоговением открываешь ее страницы, перелистываешь сначала небрежно, потом с возрастающим волнением; это — дневник, найденный на груди замерзшего. Он выкопан из белой могилы, принявшей его, запечатлен смертью, начертан той возвышенной жизнью, которую мы называем героической, с тех пор как не осмеливаемся признать в нашем существе присутствие божественного. Эти страницы сопровождаются большим количеством иллюстраций, и многие из них изображают то, чего не видел ни один смертный: Скотта и его товарищей у полюса и накануне их героической гибели. Бесцветная пластинка, однажды освещенная, запечатлела то, что было когда-то, и эти картины, немые свидетели великих мгновений, отражают чудеса, сотворенные нашей эпохой; они закрепили прошлое, оживили мертвое и воссоздали облик тех людей, которые свидетельствуют о необыкновенном в нашем мире не менее убедительно, чем новейшие изобретения и открытия. Ничто в наши дни не

---

\* «Последнее путешествие капитана Скотта».

показало с большей убедительностью, чем эта неудачная экспедиция, что не по исходу нужно судить о достижениях воли, а по затраченной энергии. Деяние само по себе бесплодно, будучи единичным, но воля и напряжение бессмертны, так как они порождают подражание. Смерть капитана Скотта — это мученическая смерть за веру в человека, чудо человеческой воли; его кончина должна быть священна для мира. Из такой смерти произрастет тысяча жизней, и такое умирание не гибель, а прямая ее противоположность: бессмертие.





# ЗВЕЗДНЫЕ ЧАСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ИСТОРИЧЕСКИЕ  
МИНИАТЮРЫ

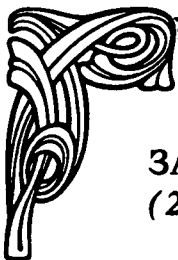


*Ни один художник не бывает художником изо дня в день, все двадцать четыре часа в сутки; все истинное, непреходящее, что ему удастся создать, он создает лишь в немногие и редкие минуты вдохновения. Так и история, в которой мы чтим величайшего поэта и творца всех времен, отнюдь не творит непрерывно. И в этой «таинственной мастерской Господа Бога», как назвал историю Гете, происходит очень много незначительного и заурядного. И здесь, как повсюду в искусстве и в жизни, великие и незабываемые мгновения редки. Чаще всего история с бесстрашием летописца отмечает факт за фактом, прибавляя по звену к гигантской цепи, которая тянется сквозь тысячелетия, ибо каждый шаг эпохи требует подготовки, каждое подлинное событие созревает исподволь. Из миллионов людей, составляющих народ, рождается только один гений, из миллионов впустую протекших часов только один становится подлинно историческим — звездным часом человечества.*

*Зато, если в искусстве явится гений, он останется жить в веках; если пробьет звездный час, он предопределяет грядущие годы и столетия, и тогда — как на острие громоотвода скопляется все атмосферное электричество — кратчайший отрезок времени вмещает огромное множество событий. То, что обычно протекает размеренно, одновременно или последовательно, сжимается в это единственное мгновение, которое все устанавливает, все предрешает: одно-единственное «да» или «нет», одно «слишком рано» или*

*«слишком поздно» предопределяет судьбу сотен поколений, направляет жизнь отдельных людей, целого народа или даже всего человечества.*

*Такие драматически напряженные, такие знаменательные мгновения, когда поворот событий, от которых зависит не только настоящее, но и будущее, совершается в один день, в один час или даже в одну минуту, редки в жизни человека и редки в ходе истории. О некоторых, взятых из самых разных эпох и стран звездных часах — я назвал их так потому, что, подобно вечным звездам, они неизменно сияют в ночи забвения и тлена, — я попытался здесь напомнить. Нигде я не дерзнул при помощи собственных домыслов приглушить или усилить внутреннюю правду жизненных событий — скрытых или явных. Ибо в мгновения своего наивысшего мастерства история не нуждается в поправках. Там, где она творит, как вдохновенный поэт и драматург, ни один художник не смеет и мечтать превзойти ее.*



## ЗАВОЕВАНИЕ ВИЗАНТИИ (29 мая 1453 года)

### ОПАСНОСТЬ НАДВИГАЕТСЯ

**5** февраля 1451 года тайный гонец, посланный в Малую Азию, приносит старшему сыну султана Мурада, Мухаммеду, двадцати одного года, весть о том, что его отец скончался. Не обмолвившись ни словом своим советникам, своим министрам, хитрый и вместе с тем энергичный князь вскакивает на свою лучшую лошадь, нахлестывая великолепного чистокровного коня, мчится без передышки все сто двадцать миль до Босфора и сразу же переправляется на европейский берег, в Галлиполи. Только там открывает он самым верным своим приближенным, что отец его умер, и, желая сразу пресечь любые покушения на престол, немедленно составляет отборный отряд и ведет его на Адрианополь, где Мухаммеда беспрекословно признают повелителем Оттоманской империи. Первый же правительственный акт султана показывает, как страшна его беспощадная решимость. Чтобы заранее устранить всех возможных соперников одной с ним крови, он приказывает утопить в купальне своего несовершеннолетнего брата, а потом немедленно — что также свидетельствует о его коварной и жестокой предусмотрительности — отправляет на тот свет вслед за убитым и наемного убийцу.

Весть о том, что вместо рассудительного Мурада турецким султаном стал молодой, безудержный и жаждущий славы Мухаммед, вызывает в Византии ужас. Ибо с помощью сотни лазутчиков стало известно, что этот честолюбец поклялся за-



владеть ее столицей, считавшейся некогда столицей мира, и что он, несмотря на свои молодые годы, проводит дни и ночи, обсуждая стратегию этого главного плана своей жизни; с другой стороны, все слухи единодушно подтверждают выдающиеся военные и дипломатические способности нового падишаха. Мухаммед одновременно благочестив и свиреп, пылок и коварен, он человек ученый и любит искусство, он читает Цезаря и биографии римлян в подлиннике, а вместе с тем он варвар и проливает кровь, как воду. В этом человеке с мечтательным, меланхолическим взором и злым, крючковатым, как у попугая, носом сочетались неутомимый труженик, отважный воин и лицемерный дипломат, и все эти опасные силы концентрируются ради одной цели: превзойти деяния его деда Баязета и его отца Мурада, впервые показавших Европе военное превосходство новой турецкой нации. Но его первый удар — это понимают, это чувствуют все — будет направлен на город Византий, последний сверкающий великолепием самоцвет в императорской короне Константина и Юстиниана.

Этот самоцвет очень доступен для жадной руки захватчика и совершенно не защищен. Византия, она же Восточноримская империя, некогда владела миром и простиралась от Персии до Альп и снова до азиатских пустынь, и ее можно было измерить только долгими месяцами пути, а теперь ее спокойно проходят из конца в конец пешком за три часа. От прежнего Византийского государства осталась, увы, только голова без туловища, столица без страны, Константинополь, град Константина, в древности — Византий, и даже в этом Византии, императору, василевсу, принадлежит только часть, нынешний Стамбул, а Галата уже находится в руках генуэзцев, и вся земля вне городской стены захвачена турками; владения последнего императора теперь величиной с ладонь, это всего-навсего гигантская стена, церкви и дворцы да скопление домов — словом то, что называют Византием. Город, однажды уже разграбленный дотла крестоносцами, наполовину вымерший от чумы, измотанный необходимостью вечно обороняться от нашествий номадов, раздираемый национальными и религиозными распря-

ми, город этот теперь не в состоянии обрести ни солдат, ни мужества, чтобы защищаться собственными силами от врага, который давно уже обхватил его со всех сторон своими щупальцами; пурпур последнего императора Византии Константина Драгаша — это плащ, подбитый ветром, его корона — игральное судьи. Но именно потому, что Византий, уже окруженный турками, освящен всем западным миром через их общую тысячелетнюю культуру, город этот служит для Европы как бы символом ее чести; только если объединенное христианство защитит этот последний, уже распадающийся оплот на Востоке, сможет Святая София остаться базиликой веры, последним и прекраснейшим собором восточноримского христианства.

Константин сразу же видит опасность. Невзирая на все миролюбивые речи Мухаммеда, он охвачен вполне понятным страхом и шлет гонцов за гонцами в Италию, гонцов в Венецию, гонцов в Геную, прося о присылке галер и солдат. Но Рим колеблется, и Венеция тоже. Ибо между религией Запада и религией Востока все еще зияет прежняя теологическая пропасть. Греческая церковь ненавидит римскую, и ее патриарх отказывается признать в лице папы верховного пастыря. Правда, перед лицом надвигающейся турецкой угрозы на двух соборах — в Ферраре и Флоренции — уже давно принято решение о воссоединении обеих церквей, и за это Византии обещана помощь против турок. Но едва опасность перестала быть для нее столь близкой, как греческие синоды не пожелали, чтобы договор вступил в силу; и только теперь, когда Мухаммед становится султаном, нужда пересиливает упорство православного духовенства; вместе с просьбой о помощи Византия посылает в Рим извещение о том, что готова уступить. И вот на галеры погружают солдат и боеприпасы, но на одном из кораблей плывет и папский легат, он должен торжественно отпраздновать примирение обеих церквей и возвестить миру, что тот, кто посягнет на Византию, бросит вызов всему христианскому человечеству.

## ОБЕДНЯ ПРИМИРЕНИЯ

Этот декабрьский день отмечен величественным зрелищем: в чудесной базилике, с ее мрамором, мозаикой и поблескивающими драгоценностями, — глядя на теперешнюю мечеть, эту былую роскошь даже трудно себе представить — свершается праздник примирения. Окруженный всеми сановниками империи, появляется Константин, василевс, он и его императорская корона являются как бы верховными свидетелями и поручителями за то, что вечное согласие и мир не будут нарушены. Гигантский храм переполнен, его озаряют тысячи свечей; перед алтарем по-братски служат обедню легат папского престола Исидор и православный патриарх Григорий; впервые в этой церкви имя папы включается в молитвы, впервые плывет волнами к высоким сводам вечного собора благочестивое пение на языках латинском и греческом, в то время как внизу оба примирившиеся причта торжественно проносят мощи святого Спиридона. Восток и Запад, та и другая вера кажутся навеки связанными, и после многих-многих лет преступных раздоров идея Европы, смысл Запада как будто осуществлены.

Но в истории минуты примирения и торжества разума кратки и преходящи. Еще в храме благочестиво сливаются голоса, вознося общую молитву, а за его стенами, в монастырской келье, ученый монах Геннадий уже обличает латинян и предательство истинной веры; эту связь, едва закрепленную с помощью разума, фанатизм тут же снова разрывает, и если греческое духовенство даже не помышляет об искреннем подчинении, то и друзья на том конце Средиземного моря не вспоминают об обещанной помощи. Правда, послано несколько галер и несколько сотен солдат, но потом город брошен на произвол судьбы.

## ВОЙНА НАЧИНАЕТСЯ

Замышляя войну, деспоты, если они еще не вполне вооружились, охотно разглагольствуют о мире. Так и Мухаммед при своем восшествии на престол, принимая послов императора Константина, расточает именно им самые приветливые и успокоительные слова; он публично и торжественно клянется Богом и его пророком, ангелами и кораном, что будет свято соблюдать договоры с василевсом. И одновременно этот двурушник заключает соглашение о двустороннем нейтралитете с венграми и сербами сроком на три года — именно на те три года, в течение которых он намерен без помех овладеть городом. И только после того, как Мухаммед наговорился о мире и клятвенно наобещал блюсти его, он совершает правонарушение и провоцирует войну.

До сих пор туркам принадлежал лишь азиатский берег Босфора, и поэтому суда могли беспрепятственно ходить из Византии через пролив в Черное море, к своему зернохранилищу. Мухаммед замыкает для них этот путь и, даже не стараясь оправдать свои действия, приказывает построить крепость на европейском побережье, возле Румели Хиссары, притом в самом узком месте, там, где во времена персидских войн отважный Ксеркс перешагнул через пролив. За одну ночь тысячи, десятки тысяч землекопов высаживаются на европейском берегу, который, согласно договору, не может быть укреплен (но какое значение для деспотов имеют договоры?), и они опустошают ради своего пропитания окрестные поля, они сносят не только дома, но издавна прославленную церковь святого Михаила, чтобы добыть камни для крепости; султан самолично, не зная покоя ни днем, ни ночью, руководит работами, а Византия беспомощно взирает, как стараются ее задушить, отрезав ей вопреки всем правам и договорам выход к Черному морю. Уже суда, которые намеревались пройти по до сих пор свободным водам, подверглись обстрелу, хотя еще никакой войны нет, но после этой первой удачной пробы своей мощи всякое притворство вскоре становится для султана из-

лишним. В августе 1452 года Мухаммед собирает всех своих пашей и ага, открыто заявляет им о своем намерении атаковать Византий и захватить его. За этим извещением следует и насилие; по всей турецкой империи рассылаются глашатаи, они созывают всех мужчин, способных носить оружие, и 5 апреля 1453 года, словно внезапно прорвавшийся штормовой прилив, необозримая оттоманская армия затопляет всю равнину перед Византием, вплоть до самых его стен.

Во главе своих войск в роскошных одеждах едет верхом султан, он намерен разбить свой шатер прямо перед воротами евангелиста Луки. Но прежде чем штандарты его главного штаба будут здесь развеиваться по ветру, он приказывает расстелить на земле молитвенный коврик. Босой, становится он на него, обратившись лицом в сторону Мекки, трижды склоняется, касаясь лбом земли, а позади него развертывается величественное зрелище: тысячи и тысячи солдат также склоняются в ту же сторону, произносят в таком же ритме ту же молитву, прося аллаха, чтобы он даровал им мощь и победу. Лишь после этого султан встает. Смиранный стал снова вызывающим, слуга господен — владыкой и воином, и по всему лагерю спешно расходятся его «теллалы», его глашатаи, чтобы, когда прогремит дробь барабанов и прозвенят фанфары, тут же возвестить: осада города началась.

## СТЕНЫ И ПУШКИ

У Византия есть только стены — в них его сила и спасение; ничего у него не осталось от бывшего всемирного могущества, кроме этого наследия более славных и счастливых времен. Треугольник города защищен тройным панцирем. Ниже каменные стены прикрывают город с флангов, со стороны Мраморного моря и Золотого Рога; и гигантской массой развертывается бруствер лицом к равнине, это так называемая стена Теодозия. Уже Константин, предвидя будущие опасности, опоясал Византий плитняком, а Юстиниан продолжал возве-

дение насыпей и укрепил их; но только Теодозий возвел настоящие бастионы со стеной в семь километров, о каменной мощи которой можно еще судить и теперь по оббитым плющом развалинам. Украшенная амбразурами и зубцами, защищенная рвами с водой, охраняемая мощными квадратными сторожевыми башнями, она тянется двумя и тремя параллельными рядами, и каждый государь, в течение целого тысячелетия, дополнял и обновлял ее; эта величественная окружная стена считалась в то время символом совершенной неприступности. Как некогда перед лицом неудержимых варварских орд и валивших валом турецких отрядов, так же и сейчас эти квадратные глыбы кажутся неуязвимыми для всех изобретенных до сих пор орудий войны: снаряды всякого рода катапульт и таранов и даже недавно созданных пищалей и мортир бессильно отскакивают от этой отвесной плоскости, ни один европейский город не защищен крепче и надежнее, чем Константинополь своей стеной Теодозия.

Мухаммеду лучше, чем кому-либо, известна мощь этих стен и их надежность. И во время бессонницы и в сновидениях вот уже долгие месяцы и годы он занят единственной мыслью об этих стенах, о том, как победить непобедимое, как разрушить нерушимое. На его столе непрерывно растет груда чертежей, изображающих размеры и очертания вражеских укреплений, он знает каждый холмик по ту и по эту сторону стен, каждый склон, каждый водосток, и его инженеры продумали вместе с ним каждую деталь. Но их постигло разочарование: все они высчитали, что при существующих орудиях стену Теодозия разрушить нельзя.

Значит, надо применить новые пушки! Они должны быть длиннее, более дальнобойные, более мощные, чем те, которые до сих пор известны военному искусству! И другие снаряды — из более крепкого камня, тяжелее, мощнее, разрушительнее, чем все применявшееся до сих пор! Для этой неприступной стены нужно изобрести новую артиллерию, иного решения нет, и Мухаммед заявляет, что готов любой ценой создать новые наступательные средства.

Любой ценой — такое заявление уже само по себе пробуждает творческие, движущие силы. И вот вскоре после объявления войны к султану приходит человек, известный как самый опытный и изобретательный пушечный мастер, Урбас или Орбас, венгерец. Правда, он христианин и только что предлагал свои услуги императору Константину; но, справедливо полагая, что найдет у Мухаммеда и лучшую оплату, и более смелые задачи для своего искусства, он заявляет, что готов, если ему предоставят неограниченные средства, отлить такую огромную пушку, какой на земле еще не бывало. Султан, которому, как и всякому одержимому одной-единственной мыслью, никакая цена не кажется слишком дорогой, тотчас дает ему любое число рабочих, и в Адрианополь доставляют тысячи повозок меди. За три месяца пушечник с великими усилиями изготавливает литейную форму в глине, применяя секретные способы закалки, лишь после этого должно начаться волнующее литье раскаленной массы. Выполнить задачу удастся. Гигантский пушечный ствол, самый большой из всех до сих пор известных в мире, выбивается из формы и остуживается, но перед тем, как произвести первый пробный выстрел, Мухаммед рассылает по всему городу глашатаев, чтобы предостеречь беременных женщин. И когда с чудовищным громом, освещенное словно вспышкой молнии жерло выбрасывает мощное каменное ядро, и это ядро, этот единственный пробный выстрел разрушает стену, Мухаммед тотчас приказывает создать целую артиллерию из орудий столь же гигантских размеров.

Первая большая «камнеметная машина», как впоследствии назовут эту пушку перепуганные греческие историки, наконец все же создана. Но возникает еще большая трудность: как протащить это чудовище, этого медного дракона через всю Фракию, до самых стен Византия? И начинается ни с чем не сравнимая Одиссея. Ибо целый народ, целая армия в течение двух месяцев волокут вперед упрямое чудовище с непомерно длинной шеей. Впереди мчатся отряды всадников, постоянные патрули, они должны защищать сокровище от всех возмож-

ных нападений, за ними следуют многие сотни, а может быть, и тысячи землекопов; они трудятся и возят день и ночь тачки с землей, устраняя все неровности почвы перед столь тяжелым транспортом, который на многие месяцы вновь разрушает позади себя дороги. В эту крепость на колесах впряжены пятьдесят пар волов, а на оси, как некогда обелиск, путешествовавший из Египта в Рим, уложены громадные стволы пушек, причем их тяжесть тщательно распределена: двести человек неумоимо подпирают справа и слева покачивающуюся от собственного веса громадину, а пятьдесят каретников и столяров то и дело заменяют или смазывают деревянные катки, укрепляют подпорки, наводят мосты; все понимают, что только шаг за шагом, медленной рысцою может этот бесконечный караван передвигаться через горные хребты и степи. Дивясь, собираются в деревнях мужики и крестьяне, глядя на медное чудище, которого, словно бога войны, несут из одной земли в другую его жрецы и служители; но вскоре уже волокут следом и его братьев, также отлитых из меди и извлеченных из глиняного материнского лона; человеческая воля еще раз сделала невозможное возможным. И вот уже двадцать или тридцать таких же чудовищ ощерили черные круглые пасти, направленные на Византий; тяжелая артиллерия совершила свой въезд в историю войн, и начинается поединок между простоявшей тысячелетия стеной императоров римского Востока и новыми пушками нового султана.

## СНОВА НАДЕЖДА

Медленно, упорно, неотвратимо сверкающими укусами перегрызают и перемалывают Мухаммедовы пушки стены Византия. Каждое из орудий может пока производить ежедневно не более шести-семи выстрелов, но изо дня в день султан устанавливает все новые пушки, и с каждым ударом среди облаков пыли и щебня в осыпающейся каменной кладке открываются все новые бреши. Правда, по ночам осажденные



затыкают эти бреши деревянными кольями, хотя кольев становится все меньше, и свернутыми в комок кусками холста, но все-таки они сражаются теперь уже не за прежней неприступной стеной, и с ужасом восемь тысяч осажденных, укрывающихся за насыпями, думают о том решающем часе, когда сто пятьдесят тысяч воинов Мухаммеда пойдут в решающее наступление и набросятся на продырявленные стены. Пора, давно пора христианскому миру вспомнить о данном обещании: толпы женщин с детьми целыми днями стоят на коленях в церквах перед раками с мощами, со всех сторожевых башен день и ночь высматривают солдаты, не появится ли наконец на волнах Мраморного моря, кишашего турецкими судами, обещанный папский или венецианский запасной флот.

Наконец 20 апреля в три часа загорается сигнал. На горизонте замечены паруса. Правда, это не тот мощный христианский флот, о котором грезили осажденные, все же ветер медленно гонит к берегу три больших генуэзских корабля, а позади них еще маленькое византийское судно с зерном, которое окружено этими тремя для защиты. Тотчас весь Константинополь собирается у береговых укреплений, чтобы восторженно приветствовать идущих им на помощь. Но в это же время Мухаммед вскакивает на коня, несется бешеным галопом от своей пурпурной палатки вниз к гавани, где стоит на якоре турецкий флот, и отдает приказ любой ценой помешать судам войти в гавань Византия, в Золотой Рог.

Турецкий флот состоит из ста пятидесяти хотя и меньших судов, и тотчас с моря доносится плеск нескольких тысяч весел. С помощью абордажных крюков, огнеметов и пращей сто пятьдесят каравелл с трудом подходят к четырем галионам, но, подталкиваемые сильным ветром, четыре мощных корабля обгоняют и давят суда турок, с которых доносится гомон, крики и стрельба. Величественно, с надувшимися круглыми парусами, направляются они, презирая нападающих, к надежной гавани Золотого Рога, где знаменитая цепь, протянутая от Стамбула до Галаты, будет им долго служить защитой против атак и наступлений. Четыре галиона уже почти у цели: уже

тысячи людей могут с береговых укреплений разглядеть каждое лицо в отдельности, уже мужчины и женщины бросаются на колени, чтобы возблагодарить Господа Бога и его святых за славное спасение, уже звякает портовая цепь, чтобы пропустить суда, снимающие с города блокаду.

И вдруг происходит нечто ужасное. Ветер неожиданно стихает. словно притянутые магнитом, цепенеют на месте четыре корабля, прямо в море, всего несколько бросков из пращи отделяют их от спасительной гавани, и с дикими торжествующими криками бросается вся свора с весельных судов на четыре застывших корабля, которые неподвижно высятся в заливе, как четыре башни. Подобно охотничьим псам, вцепившимся в оленя, повисают мелкие суда на боках больших, турки рубят их дерево топорами, чтобы они затонули; все новые группы взбираются по якорным цепям, швыряя в паруса факелами и головешками, чтобы их поджечь. Капитан турецкой армады решительно направляет свое адмиральское судно к галиону с зерном, намереваясь его протаранить; уже оба судна сцеплены друг с другом, точно кольца. Правда, защищенные высокими бортами и шлемами, генуэзские матросы еще в состоянии обороняться от лезущих наверх турок, они еще отгоняют нападающих крюками, камнями и греческим огнем. Но скоро этой борьбе наступит конец. Силы греков и турок слишком неравные. Генуэзские суда обречены.

Какое ужасное зрелище для тысяч людей, собравшихся на стенах города! Оно так же увлекательно близко, как на арене, когда народ следит за кровавыми поединками, а сейчас так мучительно близко, что он может воочию наблюдать морской бой и, видимо, неизбежную гибель своих защитников, ибо еще самое большее два часа, и все четыре корабля будут побеждены на арене моря нападающим врагом. Напрасен был приход друзей, напрасен! Греки, что на константинопольских укреплениях лишь на расстоянии брошенного камня от своих братьев, сжимают кулаки в бесполезной ярости, ибо не в силах помочь своим спасителям. Иные, отчаянно жестикулируя, стараются воодушевить друзей. Другие, воздев руки к небу,

призывают Христа, архангела Михаила и всех святых их храмов и монастырей, столько веков охранявших Византию, совершить чудо. Но на противоположном берегу, в Галате, турки тоже ждут, взывают и молятся так же горячо о даровании победы их войску: море стало как бы ареной, морское сражение — состязанием гладиаторов. Сам султан примчался галопом на берег. Окруженный своими пашами, въезжает он так глубоко в воду, что его одежда становится мокрой, и, приставив к губам руки в виде рупора, гневно выкрикивает своим солдатам команду во что бы то ни стало захватить христианские суда. И всякий раз, когда одну из его галер вынуждают отойти, осыпает он бранью и угрозами своего адмирала, заноса над ним кривую саблю: «Если не победишь, живым не возвращайся!»

Четыре христианских корабля все еще держатся, но бой идет к концу; уже метательные снаряды, которыми христиане отгоняют турецкие галеры, на исходе, уже устает у матросов рука после многочасового сражения с превосходящими греков в пятьдесят раз силами противника. День меркнет, солнце садится за горизонт. Еще час, и суда, если даже их до тех пор не возьмут турки на abordаж, будут отнесены течением к занятому неприятелем берегу за Галатой. Они погибли, погибли, погибли!

И вот происходит то, что отчаявшейся, воющей, взывающей толпе людей из Византия кажется чудом. Вдруг в море начинается легкое волнение, вдруг поднимается ветер. И сразу же надуваются повисшие паруса четырех галионов, становятся округлыми и большими. Ветер, желанный, спасительный ветер снова проснулся! Торжествующе поднимается нос галионов, распустив паруса, внезапным рывком обгоняют они и топят, перейдя к нападению, кишачие вокруг них вражеские суда. Они на свободе, они спасены! Под бурю тысячных, многотысячных ликующих толп входит первый корабль, потом второй, потом третий, потом четвертый в безопасную гавань, заградительная цепь, звякая, снова поднимается, а позади остается рассеянная по морю, беспомощная стая турец-

ких каравелл; и еще раз ликование надежды проносится, как пурпурное облако, над угрюмым, впавшим в отчаяние городом.

## ФЛОТ ПЕРЕПРАВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ГОРУ

Всего одну ночь продолжается безудержная радость осажденных. Но ведь ночь всегда пробуждает в нас фантазию и подмешивает в наши надежды сладостный яд мечтаний. Одну ночь осажденные считают себя спасенными и вне опасности. Ведь так же, как эти четыре судна благополучно доставили на берег солдат и провиант — мечтают люди в городе, — так же неделя за неделей будут приходить новые; Европа их не забыла, и они, отдавшись преждевременным надеждам, уже видят город свободным от осады, врага — посрамленным и разбитым.

Но и Мухаммед — мечтатель, правда, мечтатель иного рода, явление гораздо более редкое; он из тех, кто умеет благодаря силе воли претворять свои мечты в жизнь. И в то время как галионы, достигнув гавани Золотого Рога, уже мнят себя в безопасности, он создает план, столь фантастически дерзновенный, что в истории войн его можно, поистине не кривя душой, приравнять к отважнейшим деяниям Ганнибала и Наполеона. Византий лежит перед ним, точно золотой плод, но он не может овладеть им: главным препятствием для овладения и для нападения является глубокий морской залив. Золотой Рог — это бухта, похожая на слепую кишку, которая защищает Константинополь с одного фланга. Проникнуть в эту бухту фактически невозможно, ибо у входа в бухту лежит генуэзский город Галата, в отношении которого Мухаммед обязан сохранять нейтралитет, и оттуда тянется железная заградительная цепь через море, до вражеского города. Поэтому его флоту не проникнуть в бухту фронтальным ударом; лишь со стороны внутреннего бассейна, там, где кончается генуэзская территория, можно было бы завладеть христианскими судами. Но как провести флот в эту внутреннюю бухту?

Его можно было бы построить, конечно. Но на такое дело нужны месяцы и месяцы, а этот нетерпеливец ждать не может.

И тут Мухаммеда осеняет гениальная мысль: переправить волском свой флот из внешнего моря, где он стоит без пользы, через полуостров в виде косы во внутреннюю гавань Золотого Рога. Эта смелая, дух захватывающая идея переправиться с сотнями судов через гористый полуостров кажется на первый взгляд столь нелепой и невыполнимой, что и византийцы и генуэзцы в Галате отводят ей так же мало места в своих стратегических расчетах, как римляне, а затем австрийцы стремительному переходу через Альпы Ганнибала и Наполеона. Весь земной опыт говорит о том, что суда могут плыть только по воде, но никогда флот не переплывал через гору. Однако признаком демонической воли во все времена и является то, что она превращает невозможное в действительность, и военного гения всегда узнают по тому, что во время войны он пренебрегает обычными законами ведения войны и в нужную минуту заменяет испытанные методы творческой импровизацией. И вот начинается кампания, едва ли с чем-нибудь сравнимая в анналах истории. Мухаммед втайне приказывает доставить бесчисленное множество кругляков, плотники делают из них сани, и на них кладут потом суда, словно на подвижной сухой док. Одновременно работают тысячи землекопов, чтобы как можно лучше выровнять для транспорта узкую тропинку, идущую вверх и вниз по краю возвышенности Пера. Чтобы скрыть, однако, от врага столь великое скопление рабочих, султан каждую ночь и каждый день ведет устрашающий обстрел из мортир поверх нейтрального города Галаты; сам по себе обстрел лишен смысла, но цель его одна: отвлечь внимание и скрыть путешествие судов по горам и долинам из одних вод в другие. И пока враги заняты и ожидают атаки только с суши, турки уложили суда на круглые вальки, обильно смазанные маслом и жиром; бесчисленные пары буйволов на полозьях потащили суда, а матросы поддерживали их сбоку. Турки перетаскивают их с помощью этого гигантского катка одно за другим через гору.

Решающим во всех крупных военных операциях является момент неожиданности. И здесь мы видим потрясающее доказательство своеобразной гениальности Мухаммеда. Никто не подозревает о его намерениях. «Знай хоть один волос в моей бороде о моих замыслах, я вырвал бы его!» — сказал однажды о себе этот гениальный и коварный хитрец. И в то время как пушечные ядра гремят о стены, выполняется его приказ, 22 апреля семьдесят судов переправляются через горы и доли, через виноградники и пашни из одного моря в другое. На следующее утро византийцам кажется, что они все еще видят сон: вражеский флот, словно перенесенный рукою призраков, с вымпелами и матросами плывет посередине их бухты, которую они считали недоступной; они еще протирают глаза, стараясь понять, откуда взялось это чудо, а под их боковой стеной, до сих пор защищенной бухтой, уже ликуют фанфары, цимбалы и барабаны, и весь Золотой Рог, за исключением тесного нейтрального пространства возле Галаты, где изолирован христианский флот, благодаря этому гениальному ходу принадлежит уже султану и его армии. Беспрепятственно может он теперь повести свои войска по понтонному мосту к более слабо укрепленной стене: тем самым поставлен под угрозу и более слабый фланг, а и без того редкие ряды защитников должны теперь еще больше растянуться. Крепче и крепче сжимает железный кулак горло своей жертвы.

## ЕВРОПА, НА ПОМОЩЬ!

Осажденные уже не строят себе иллюзий. Они понимают: если даже они сосредоточат свои силы на прорванном фланге, они не смогут долго сопротивляться за этими разрушенными бомбардировками стенами, восемь тысяч человек против ста пятидесяти тысяч, если им немедленно не будет оказана помощь. Но разве венецианская синьория торжественно не обещала послать корабли? Разве папа может остаться равнодушным, если Святой Софии, благолепнейшему храму Запада,

грозит опасность превратиться в мечеть неверных? Разве Европа не понимает, что хоть и погрязшие в распрях, хоть и разделенные сотнями проявлений низменной зависти, греки все же не представляют собой опасности для культуры Запада? А может быть, утешают себя осажденные, запасной флот давно готов и медлит поднять паруса только от неведения и достаточно было бы довести до их сознания, какая грозная ответственность ложится на них за это убийственное промедление?

Но как подать весть венецианскому флоту? Мраморное море усеяно турецкими судами; двинуть весь флот значило бы обречь его на гибель, и, кроме того, защитники, где на счету каждый человек, лишившись двух-трех сотен солдат, станут еще слабее. Поэтому решают рискнуть одним, совсем маленьким судном с крошечной командой. Всего двенадцать человек — если бы в истории царила справедливость, их имена были бы прославлены не меньше, чем имена аргонатов, но мы не знаем ни одного из них, — эти двенадцать решаются на героический поступок. На маленькой бригантине поднимают вражеский флаг. Все двенадцать человек переодеваются турками, они в тюрбанах, или «тарбушах», чтобы не привлекать внимания. 3 мая, в полночь, заградительную цепь гавани беззвучно опускают, едва слышится приглушенный плеск весел, и отважная бригантина, пользуясь темнотой, выскальзывает из гавани. И что же — чудо свершается: неузнанным проходит утлое суденышко через Дарданеллы в Эгейское море. И, как всегда, безмерность отваги парализует противника. Кажется, все предусмотрел Мухаммед, но не мог себе представить, чтобы на своем одиноком судне двенадцать героев дерзнули преплыть мимо его флота с мужеством, равным мужеству аргонатов.

Однако какое трагическое разочарование: в Эгейском море не видно ни одного венецианского паруса. И Венеция и папа — все забыли о Византии, все оставили ее в пренебрежении, занятые мелкой, недалководидной политикой, почестями да присягами. Все вновь и вновь повторяются в истории эти

трагические моменты, когда для защиты европейской культуры необходимо величайшее сосредоточение и объединение всех сил, а властители и государства ни на малую толику не могут пожертвовать мелким соперничеством. Генуе важнее затмить Венецию, а Венеции — Геную, чем, объединившись хотя бы на несколько часов, совместно пойти на общего врага. И вот море пусто. В отчаянии гребут герои в своей ореховой скорлупе от острова к острову. Но повсюду гавани уже заняты врагом, и ни одно дружественное судно не отваживается войти в область военных действий.

Что делать? Кое-кто из двенадцати пал духом, что вполне естественно. Зачем возвращаться в Константинополь и еще раз проделать весь этот опасный путь? Никаких надежд они привезти не могут. Может быть, город уже пал; во всяком случае, если они вернуться, их ожидает плен или смерть. Но как великолепны те герои, которые никому не ведомы! — большинство все же высказывается за возвращение в Византий. Им дано поручение, и они должны его выполнить. Их послали за вестями, и они должны их привезти на родину, как бы тяжелы эти вести ни были. И вот хрупкое суденышко отважно пускается в обратный путь, через Дарданеллы, Мраморное море и мимо судов вражеского флота. 23 мая, спустя двадцать дней после отплытия — в Константинополе уже давно решили, что бригантина погибла, уже никто не думает о вестях и возвращении — несколько часовых на стенах вдруг начинают махать флагами, ибо под резкие удары весел маленькое судно устремляется к Золотому Рогу. И когда турки, услышав бурное ликование осажденных, с удивлением замечают, что эта бригантина, которая дерзко прошла под турецким флагом через их воды, на самом деле судно неприятеля, они со всех сторон окружают его своими галионами, чтобы успеть перехватить перед самым входом в безопасную гавань. На мгновение над Византием поднимаются ликующие крики. Люди полны радостной надежды на то, что Европа вспомнила о них и что первые корабли посланы вперед как вестники



помощи. Лишь вечером становится известной печальная правда: христианский мир забыл о Византии. Осажденные покинуты, они погибли, если не спасут себя сами.

## НОЧЬ ПЕРЕД ШТУРМОМ

После шести недель почти ежедневных боев султана наконец охватывает нетерпение. Его пушки во многих местах уже разрушили стены, но все атаки, которые он приказывает производить, отбиты с большим кровопролитием. У полководца теперь только две возможности: или отказаться от осады, или после бесчисленных отдельных атак наконец начать большое, решающее наступление. Мухаммед созывает своих пашей на военный совет, и его пылкая воля побеждает все сомнения. Великий решающий штурм назначается на 29 мая. С привычной энергией султан готовится к нему. Назначается день праздника, когда все сто пятьдесят тысяч воинов, от первого до последнего, должны выполнить все праздничные обряды, предписанные исламом, — семь омовений и три раза в день великая молитва. Еще остававшийся порох и снаряды подносятся к орудиям для усиленного артиллерийского обстрела, который подготовит штурм города; отдельные отряды размещаются в разных местах для атаки. С раннего утра и до поздней ночи Мухаммед не дает себе отдыха ни на час. От Золотого Рога до Мраморного моря, вдоль всего гигантского лагеря едет он от палатки к палатке, всюду лично подбадривает военачальников, воодушевляет солдат. Но, как опытный психолог, он знает, чем можно разжечь до предела боевой пыл его пятидесятитысячной армии; и он дает свирепое обещание, которое, к его чести и бесчестию, и выполняет до конца. Это обещание под гром барабанов и звуки фанфар его герольды выкрикивают на все четыре стороны света: «Мухаммед клянется именем аллаха, именем Магомета и четырьмя тысячами пророков, он клянется душой своего отца, султана Мурада, клянется жизнью своих детей и своей саблей, что после взятия

города он дарует своим войскам на три дня право неограниченного разграбления. Все, что имеется внутри его стен: утварь и всякое добро, украшения и драгоценности, монеты и сокровища, мужчины, женщины, дети, все это должно принадлежать победоносным воинам, сам он отказывается от какой-либо доли, кроме чести завоевания этого последнего оплота Восточной Римской империи».

Бешеным ликованием встречают солдаты свирепую весть. Словно буря, нарастает буйный шум ликования и неистовых криков «аллах-иль-аллах», вырывающихся из тысяч глоток, и долетает до перепуганного города. «Ягма», «Ягма» — «Грабьте!», «Грабьте!» Слово это становится боевым кличем, оно в дробь барабанов, оно в реве труб и звоне цимбал, и ночью лагерь превращается в праздничное море света. Содрогаясь, видят осажденные со своих насыпей, как на равнине и на холмах загораются мириады огней и факелов и неприятель под звуки труб, свистелок, барабанов и тамбуринов празднует победу еще до победы; это напоминает зловещую и шумную церемонию языческих жрецов перед принесением жертвы. Но в полночь, по приказу Мухаммеда, гаснут в один миг все огни и резко обрывается тысячеголосый гомон разгоряченной толпы. Но этот тяжкий мрак и внезапное безмолвие своей грозной решительностью больше угнетают расстроенных, насторожившихся греков, чем неистовое ликование буйных огней.

## ПОСЛЕДНЯЯ ОБЕДНЯ В СВЯТОЙ СОФИИ

Осажденным не нужны ни дозорные, ни перебежчики, они знают и так, что им предстоит. Они знают, что приказ о штурме крепости отдан, и предчувствие неслышанной ответственности и неслышанных опасностей нависает над городом, как грозная туча. Население, разъединенное ссорами и религиозными распрями, в эти последние часы вдруг забывает о всех разногласиях. Так обычно только крайняя беда являет нам зрелище несравненного человеческого единения на земле;

пусть все знают, какие ценности им предстоит защищать: веру, великое прошлое, общую культуру. Василевс повелевает совершить волнующую церемонию: по его приказу весь народ — православные и католики, священники и миряне, дети и старцы — выстраивается в одну процессию. Никто не имеет права, никто не хочет оставаться дома, начиная с самых богатых и кончая беднейшими, все выстраиваются, с благоговением запевая «Kyrie Eleison», и торжественное шествие сначала обходит город, а затем и внешние укрепления. Взятые из церкви иконы и реликвии несут впереди; повсюду, где в стенах пробита брешь, вешают иконы, они лучше, чем земное оружие, отразят штурм неверных. Одновременно император Константин собирает сенаторов, дворян и военачальников, чтобы последним обращением разжечь в них мужество. Правда, он не может, как Мухаммед, обещать им безмерную добычу. Но он живописует честь и славу, которые они добудут для всех христиан и всего западного мира, если они отразят этот последний решающий штурм и ту опасность, которая грозит всем, если они не устоят перед поджигателями к убийству; и Мухаммед и Константин знают, что этот день определит ход истории на многие века.

Потом начинается заключительная сцена, одна из самых захватывающих в Европе, незабываемый экстаз гибели. В соборе Святой Софии, тогда еще одном из самых великолепных соборов мира, который со дня объединения церковью был покинут и православными и католиками, собираются обреченные на смерть. Вокруг императора столпился весь двор, аристократия, греческое и римское духовенство, генуэзские и венецианские солдаты и матросы, все в доспехах и при оружии, а позади них стоят, молча и благоговейно преклонив колена, тысячи и тысячи бормочущих теней — молящийся, обуреваемый страхом и заботами народ; и свечи, свет которых едва рассеивает сумрак нависших сводов, озаряют эту в единодушной молитве склонившуюся долу, как единое тело, толпу. Сама душа Византии молится здесь Богу. И вот мощно и призывно раздается голос патриарха, ему отвечают хоры, еще раз

звучит в этом соборе священный вечный голос Запада — музыка. Затем один за другим подходят они к алтарю — первым император, — чтобы получить утешение веры, и, отдаваясь от стен огромного храма, до самых сводов гулко и звонко плещет высокий прибор неустанной молитвы. Последняя, заупокойная обедня Восточной Римской империи началась. Ибо в последний раз живет христианская вера в Юстиниановом соборе.

После этой потрясающей церемонии император только раз ненадолго вернулся в свой дворец, чтобы у всех своих подданных и слуг попросить прощения за всякую обиду, которую им когда-либо нанес. Затем он вскакивает на коня, в точности как Мухаммед, его великий противник, и едет в тот же час вдоль укреплений, чтобы воодушевить солдат. Ни один голос не звучит, ни один меч не звякнет. Но, взволнованные душой, ждут тысячи людей за городскими стенами рассвета и смерти.

## КЕРКАПОРТА, ЗАБЫТАЯ ДВЕРЬ

В час пополуночи султан отдает приказ к атаке. Развернут гигантский штандарт, и сотни тысяч людей с криками «аллах, аллах-иль-аллах» бросаются с оружием, лестницами, веревками и крюками на стены, и в то же время выбивают дробь все барабаны, пронзительные звуки труб, цимбал и флейт сливаются с криками людей и громом пушек, образуя сплошной оглушительный ураган звуков. Султан безжалостно бросает на стены неопытные отряды башибузуков, в его планах осады их полунагие тела должны играть роль упоров и предназначены для того, чтобы утомить и ослабить врага. Только после этого он введет в дело свои основные силы, которые и должны нанести решающий удар. Подгоняемые кнутами, бегут башибузуки в темноте вперед, неся сотни лестниц, карабкаются на зубцы, их сбрасывают вниз, они опять кидаются в атаку, все вновь и вновь, ибо пути назад им нет: позади этого предназначенного быть только жертвой и не имеющего ценности чело-

веческого материала уже стоят основные силы, которые беспрерывно гонят его в атаку, на почти верную смерть. Еще защитники берут верх, их кольчуги неуязвимы для бесчисленных камней и стрел неприятеля. Но главная угрожающая им опасность — и тут Мухаммед не ошибся в своих расчетах — это усталость. Осажденные вынуждены беспрерывно сражаться против все новых наступающих легковооруженных частей, то и дело перебегать с одного места на другое, и скоро оказывается, что в этой навязанной им защите большая часть их сил уже израсходована. И когда затем — после двухчасовых боев начинает светать — второй штурмовой отряд, анатолийцы, идет в атаку, борьба становится уже опасной. Ибо анатолийцы — дисциплинированные воины, они хорошо обучены и тоже защищены кольчугами, кроме того, они многочисленнее и полны сил, тогда как защитникам города приходится оборонять от вторжения нападающих то одно место, то другое. Однако атакующих еще повсюду отбрасывают назад, и султан вынужден ввести в бой свои последние резервы — янычар, кадровые войска, отборную гвардию оттоманской армии. Он сам становится во главе двенадцати тысяч молодых, отборных солдат, лучших, каких знала в те времена Европа: и, издав один единый крик, они бросаются на измотанного противника. Уже давно пора зазвонить всем городским колоколам и призвать на стены всех хоть сколько-нибудь боеспособных жителей, пора забрать матросов с кораблей, ибо сейчас разгорается действительно решающая битва. На беду защитников, каменное ядро тяжело ранит начальника генуэзских войск, отважного кондотьера Джустиниани, его уносят на суда, и от этой неудачи энергия осажденных на миг ослабевает. Но вот уже мчится галопом сам император, чтобы помешать угрожающему византийцам вторжению, и удастся еще раз столкнуть лестницы штурмующих: решимость противопоставлена отчаянной решимости, и на миг, краткий, как вздох, кажется, что Византий спасен, величайшее бедствие побеждает самое яростное нападение. И вдруг один трагический эпизод, одна из тех загадочных минут, какие порой возникают при неисповеди-

мых решениях истории, как бы одним ударом определяют судьбу Византии.

Произошло нечто совершенно неправдоподобное. Через одну из многочисленных брешей, пробитых во внешней стене, неподалеку от главной точки нападения, проникли несколько турок. Но к внутренней стене они боятся подступить. А когда они без всякого плана, любопытствуя, бродят между первой и второй городскими стенами, они замечают, что одни ворота, поменьше, так называемые керкапорта, по непостижимому недосмотру остались открытыми. В сущности, это просто калитка, предназначенная в мирное время для пешеходов, когда главные ворота еще закрыты; именно потому, что эта калитка не имеет никакого стратегического значения, среди всеобщей тревоги этой ночи о ее существовании совсем забыли. И янычары, к своему изумлению, видят среди грозного бастиона эту спокойно раскрытую перед ними дверь. Сначала они подозревают военную хитрость, ибо им кажется просто абсурдом, что здесь по-воскресному мирно открыта калитка керкапорта, ведущая к центру города, тогда как перед каждой брешью, каждым отверстием, каждым воротами крепости громоздятся тысячи трупов, осажденные мечут в осаждающих дротики и льют на них горящее, шипящее масло. На всякий случай янычары зовут подкрепление, и, не встретив никакого отпора, целый отряд турок врывается во внутренний город и внезапно нападает с тылу на ничего не подозревающих защитников наружных стен. Несколько воинов вдруг видят турок за своей спиной и, на свое несчастье, поднимают тот крик, который рождает ложные слухи: «Город взят!» И все громче его повторяют турки, ликуя: «Город взят!» И этот крик подрывает всякое сопротивление. Отряды наемников, вообразив, что их предали, покидают свои посты, стараясь поскорее достигнуть гавани и спастись на суда. Тщетно Константин с несколькими верными ему людьми бросается навстречу захватчикам, он падает, сраженный в сумятице, и только на другой день его узнают в груди убитых по пурпурным, украшенным золотым орлом башмакам и установят, что последний государь Восточной Римской

империи доблестно (в римском смысле этого слова) расстался с жизнью и с империей. Так случайная пылинка, керкапорта, забытая дверь, определила ход всемирной истории.

## КРЕСТ НИЗВЕРЖЕН

Порой история играет датами. Ибо ровно через тысячу лет после того, как Рим был столь знаменательно разграблен вандалами, начинается грабеж Византия. Верный своим клятвам, сдержал слово Мухаммед, свирепый победитель. После первой резни он без разбору отдает в руки своих солдат военную добычу: дома и дворцы, монастыри и церкви, мужчин, женщин и детей, и, словно дьяволы преисподней, мчатся турки тысячами по улицам, стараясь опередить друг друга. Первыми грабят церкви, там сверкают золотые сосуды, искрятся самоцветы, а когда солдаты врываются в какой-нибудь дом, они сейчас же вывешивают на нем свои знамена, чтобы идущие следом знали: здесь добыча уже конфискована; и добыча эта состоит не только из драгоценных камней, тканей, денег и движимого имущества; женщины — это тоже товар, годный для сералей, а мужчины и дети — для невольничьих рынков. Целыми толпами выгоняют победители кнутах тех несчастных, которые искали убежища в церквях, стариков приканчивают, ибо это бесполезные едоки и балласт, не имеющий спроса, а молодых связывают вместе, как скот, и утаскивают прочь, причем наряду с грабежом свирепствует бессмысленное разрушение. Все, что крестonosцы, грабившие, быть может, не менее жестоко, оставили, — часть драгоценных реликвий и произведений искусства, — неистовствующие победители теперь разбивают, разрывают на клочья, распарывают; они уничтожают ценнейшие картины, раскалывают молотками великолепные статуи, книги, в которых заключены мудрость веков, бессмертное сокровище греческой мысли и поэзии и которые должны были сохраняться на веки веков, сжигаются и небрежно выбрасываются. Никогда человечество не узнает

до конца, какое бедствие ворвалось в этот роковой час через открытую керкапарту и сколь многие духовные богатства мира были при разграблении Рима, Александрии и Константинополя утрачены.

Лишь во второй половине дня, ознаменованного великой победой, когда побоище уже кончилось, совершает Мухаммед свой въезд в завоеванный город. Гордый и серьезный, следует он на своем великолепном скакуне мимо диких сцен грабежа, не глядя в сторону, ибо он остается верен данному слову — не мешать солдатам, добывшим ему победу, в их ужасном деле. Но увидеть в первую очередь плоды победы, ибо это полная победа — не его цель, он гордо едет прямо к собору, к этой золотой главе Византия. Больше пятидесяти дней жадно взирал он из своей палатки на поблескивающий недоступный купол Святой Софии; теперь он, победитель, имеет право перешагнуть через порог ее бронзовых дверей. Но Мухаммед еще раз укрощает свое нетерпение: он хочет сначала возблагодарить аллаха, прежде чем навеки посвятить ему этот храм. Султан смиренно спешивается и склоняется до земли в молитве. Затем берет горсть земли и посыпает ею главу, дабы напомнить самому себе, что и сам он смертен и не должен чрезмерно гордиться своим триумфом. Лишь затем, показав Богу, как он смиренен, султан резко выпрямляется и вступает — первый слуга аллаха — в храм Юстиниана, в храм священной премудрости, в храм Святой Софии.

С любопытством и волнением разглядывает султан великолепное здание, высокие своды, поблескивающие мрамором и мозаикой, хрупкие арки, вздымающиеся из сумрака к свету; не ему, чувствует он, а его богу должен принадлежать этот благородный дворец молитвы. Тотчас посылает он за имамом, тот восходит на кафедру и оттуда провозглашает магометанский символ веры, а падишах, обратившись лицом к Мекке, читает молитву аллаху, владыке миров; она звучит впервые в этом христианском храме. На следующий же день мастеровые получают приказ убрать из церкви все знаки прежней религии; сносятся алтари, замазываются благочестивые картины



из мозаики: и высоко вознесенный крест на Святой Софии, в течение тысячи лет простиравший свои руки, чтобы охватить все земное страдание, с глухим стуком падает наземь.

Громким эхом отдается звук в храме и далеко за его стенами. Ибо от этого падения содрогается весь Запад. Вызывая испуг, отдается горестная весть в Риме, в Генуе, в Венеции, словно предостерегающий гром, докатывается она до Франции, Германии, и Европа, трепеща, осознает, что в результате ее тупого равнодушия через роковую забытую дверь, через керкапорту, ворвалась, подобно судьбе, разрушительная мощь, которая в течение веков будет связывать и сковывать силы Европы. Однако в истории народов, как и в жизни отдельного человека, сожалениями о потерянной минуте ее не возвратишь, и тысячелетию не исправить упущенного за один час.





## ПОБЕГ В БЕССМЕРТИЕ

*(Открытие Тихого океана 25 сентября 1513 года)*

### КОРАБЛЬ СНАРЯЖАЕТСЯ В ПУТЬ

**К**огда Колумб вернулся в Испанию после открытия Америки, он в своем триумфальном шествии по заполненным народом улицам Севильи и Барселоны выставил напоказ великое множество ценностей и диковинок — краснокожих людей доселе неизвестной расы, невиданных зверей, пестрых, крикливых попугаев, неповоротливых тапиров, удивительные растения и фрукты, которые вскоре затем привились в Европе, индийское зерно, табак и кокосовые орехи. Ликующая толпа с любопытством глазееет на все это богатство, но внимание королевской четы и ее советников приковано к нескольким ларчикам и корзинкам с золотом. Совсем немного золота привез Колумб из новой Индии — несколько украшений, отнятых или вымненных у туземцев, несколько маленьких слитков, две-три горсти золотых крупинок — скорее золотая пыль, нежели золото, — всей добычи хватило бы разве на чеканку нескольких сотен дукатов. Однако гениальный фантазер Колумб, который всегда слепо верит именно в то, во что он сейчас хочет верить, и который только что со столь великой славой утвердил свою правоту, открыв морской путь в Индию, хвастает, невольно впадая в преувеличение, что все это золото — только первый, ничтожный образец. Он, по его словам, получил достоверные известия о неисчислимых золотых россыпях, имеющих на этих новых островах; в иных местах драгоценный металл лежит под тонким слоем земли почти на поверхности.

Золото можно легко выгребать обыкновенной лопатой. Но дальше к югу есть страны, где короли пьют вино из золотых кубков, и золото там ценится дешевле, чем в Испании свинец. Король, вечно нуждающийся в деньгах, как зачарованный слушает рассказы об этом новом, принадлежащем ему золотом Офире; еще недостаточно известно высокое безумие Колумба, поэтому никто не сомневается в достоверности его слов. Тотчас же снаряжают большой флот для второго плавания, и на этот раз нет надобности в вербовщиках и глашатаях для найма корабельных команд. Всю Испанию сводит с ума весть о вновь открытом Офире, где золото можно взять голыми руками; люди сотнями, тысячами спешат в Эльдorado, в страну золота.

Но какую мутную волну выплескивает теперь жажда наживы изо всех городов, селений и деревень! Свои услуги предлагают не только дворяне, желающие основательно позолотить свой родовой герб, не только отчаянные искатели приключений и храбрые солдаты; волна выносит в порты Палос и Кадис всю грязь и все отбросы Испании. Клейменные воры, разбойники с большой дороги и грабители, рассчитывающие найти более выгодное дельце в стране золота, должники, спасающиеся от кредиторов, и мужья, удирающие от сварливых жен, — все эти отщепенцы и несчастливцы, преступники, отбывшие каторгу, и преступники, разыскиваемые полицией, — все они нанимаются на корабли; это разношерстная толпа неудачников, решивших одним махом добиться наконец богатства и готовых на любое насилие, любое преступление. Они так рьяно внушают друг другу веру в бредни Колумба, который утверждал, будто в тех странах достаточно вонзить лопату в землю, и взору тут же откроются сверкающие самородки, что переселенцы побогаче берут с собою слуг и мулов, надеясь сразу отгрузить целые горы драгоценного металла. Тот, кому не удастся попасть в состав экспедиции, пробирается другим путем; не слишком заботясь о королевском разрешении, бесшабашные авантюристы снаряжают корабли на свой страх и риск, чтобы как можно быстрее переправиться через океан и захватить в

свои руки золото, золото, золото. Испания одним ударом освободилась от беспокойных людей и самого опасного сброда.

Губернатор Эспаньола (впоследствии Сан-Доминго, или Гаити) с ужасом наблюдает, как эти незванные гости наводняют вверенный ему остров. Из года в год приходят груженные корабли, поставляя все более разнузданных головорезов. Однако и пришельцы горько разочарованы, ибо золото здесь вовсе не валяется на дороге, а из несчастных туземцев, на которых они набросились, как звери, нельзя выжать больше ни крупинки. Наводя ужас на злополучных индейцев и страх на губернатора, повсюду бродят и рыщут орды грабителей. Напрасно пытается губернатор превратить их в оседлых колонистов, отводит им земельные участки, наделяет скотом и даже — в немалом количестве — людьми на положении скота, а именно: каждому поселенцу шестьдесят — семьдесят туземцев-рабов. Однако и знатные идалго и бывшие разбойники равно не питают особой склонности к земледелию. Не для того они переселились сюда, чтобы возделывать пшеницу и разводить скот; ничуть не заботясь о посеве и жатве, они истязают несчастных индейцев — в течение немногих лет будет истреблено все население — или проводят время в притонах. За короткий срок большинство из них до такой степени увязло в долгах, что они вынуждены были продать не только свое имение, но и плащ, шляпу и последнюю рубашку и окончательно попадают в петлю к торговцам и ростовщикам.

Поэтому желанной вестью для всех неудачников на Эспаньоле явилось решение весьма уважаемого на этом острове человека — правоведа, «бакалавра» Мартина Фернандеса де Энсисо снарядить в 1510 году корабль, чтобы с новым отрядом прийти на помощь своей колонии на terra firma\* — на материке. В 1509 году два знаменитых искателя приключений, Алонсо де Охеда и Диего де Никуеса, получили от короля Фердинанда право основать близ Панамского пролива и побережья

---

\*Твердая земля (лат.); в мореходной терминологии того времени — материк.

Венесуэлы колонию, которую они несколько опрометчиво называли Кастилия дель Оро — «Золотая Кастилия»: Энсисо, законовед, не ведающий жизни, обольщенный звучным названием и обманутый лживыми слухами, вложил все свое состояние в это предприятие. Однако из этой колонии, основанной в Сан-Себастьяне у залива Ураба, приходит не весть о добытом золоте, а вопль о помощи. Половина людей погибла в боях с туземцами, остальные умирают от голода. Чтобы спасти деньги, вложенные в это дело, Энсисо рискует остатками своего состояния и снаряжает спасательную экспедицию. Едва стало известно, что Энсисо нуждается в солдатах, как все головорезы и бездельники на Эспаньоле ухватились за возможность бежать с острова. Только бы убраться отсюда, только бы улизнуть от кредиторов и надзора строгого губернатора! Однако и кредиторы настороже. Увидев, что самые злостные должники хотят с ними навеки распрощаться, они осаждают губернатора, требуя, чтобы он запретил покидать остров без его особого разрешения. Губернатор удовлетворяет эту просьбу. Устанавливается строгое наблюдение; корабль Энсисо вынужден находиться за пределами гавани: вокруг патрулируют правительственные шлюпки, следя за тем, чтобы на борт корабля тайком не пробрался человек, не имеющий на то права. И вот все отщепенцы и головорезы, боящиеся смерти меньше, чем честной работы или долговой тюрьмы, с безмерной горечью глядят, как корабль Энсисо на всех парусах уходит без них навстречу приключениям.

## ЧЕЛОВЕК В ЯЩИКЕ

На всех парусах несется корабль Энсисо от берегов Эспаньолы к американскому континенту, уже потонули в голубой дали очертания острова; это мирное плавание; сначала ничего примечательного не происходит, разве только то, что громадный пес необычайной силы, отпрыск знаменитой охотничьей собаки Бесерикко и сам вскоре прославившийся под именем

Леонсико, беспокойно бегает взад и вперед по палубе, обнюхивая все закоулки. Никто не знает, кому принадлежит это могучее животное и как оно попало на борт корабля. Наконец окружающим бросается в глаза, что собаку нельзя отогнать от очень большого ящика с провиантом, который был доставлен на борт корабля в последний день погрузки. Но что это? Крышка ящика неожиданно приподнимается, оттуда вылезает какой-то человек, лет тридцати пяти, вооруженный мечом и щитом и в шлеме, как Сант-Яго, кастильский святой. Это Васко Нуньес де Бальбоа, который сейчас впервые показывает свою изумительную дерзость и находчивость. Дворянин, родившийся в городе Херес де лос Кабаллерос, он отправился в качестве простого солдата с Родриго де Бастидас в Новый Свет; в конце концов после долгих блужданий его вместе с кораблем прибило к берегам Эспаньолы. Напрасно губернатор пытался сделать из Нуньеса де Бальбоа хорошего колониста; через несколько месяцев тот бросил на произвол судьбы предоставленное ему имение и настолько разорился, что не знал, куда деваться от кредиторов. Но тогда как другим должникам приходится, сжимая кулаки, глядеть с берега на правительственные шлюпки, мешающие им бежать на корабле Энсисо, Нуньес де Бальбоа дерзко обходит кордон Диего Колумба; он прячется в пустой ящик и поручает своим сообщникам перенести его на борт корабля, где в суете сборов никто не обнаруживает наглой и хитрой проделки. Только решив, что корабль достаточно далеко от берега и не повернет из-за него обратно, безбилетный пассажир заявляет о себе. Теперь он добился своего.

Бакалавр Энсисо — знаток права, и ему, как большинству правоведов, романтика не по душе. В качестве алькальда, в качестве начальника полиции в новой колонии он не намерен терпеть там присутствие безнадежных пьяниц и темных личностей. Поэтому он сурово заявляет Нуньесу де Бальбоа, что и не подумает брать его с собой, а посадит на первом же острове, который попадется им на пути, будь то обитаемый или необитаемый остров.

Но до этого дело не дошло. На пути к Кастилии дель Оро

встречается парусник, что было чудом в те времена, когда по этим неизвестным морям плавало всего несколько десятков кораблей, — парусник, переполненный людьми, под командой Франсиско Писарро, чье имя вскоре прогремит на весь мир. На борту находятся поселенцы из колонии Сан-Себастьян, принадлежащей Энсисо: сначала их принимают за бунтовщиков, самовольно покинувших свой пост, однако, к ужасу Энсисо, они сообщают: не существует больше колонии Сан-Себастьян; они последние, оставшиеся в живых колонисты; комендант Охеда бежал на корабле, а они располагали только двумя бригантинами, им пришлось ждать, пока часть людей умрет, потому что только семьдесят человек могли уместиться на двух таких маленьких суденышках. Одна из бригантин потерпела крушение, тридцать четыре человека под командой Писарро — это последние уцелевшие обитатели Кастилии дель Оро. Куда же теперь? После рассказа Писарро солдаты Энсисо не склонны ни подвергать себя опасности, которой грозит смертоносный болотистый климат покинутого селения, ни подставлять себя под отравленные стрелы туземцев; им кажется, что вернуться на Эспаньолю — единственный выход. В это решающее мгновение неожиданно выступает Васко Нуньес де Бальбоа. По его словам, во время плавания с Родриго де Бастидасом он хорошо узнал все побережье Центральной Америки, и, как ему помнится, они тогда нашли на берегу золотоносной реки место, называющееся Дарьен, где живут мирные туземцы. Именно здесь, а не в том гиблом месте надо основать новое поселение.

Вся команда тотчас же выражает свое согласие с Нуньесом де Бальбоа. По его предложению они направляются к Дарьену на Панамском перешейке, сначала устраивают обычную бойню среди туземцев, а затем, обнаружив в награбленном имуществе золото, головорезы принимают решение основать здесь поселок, после чего благочестиво и благодарно присваивают новому городу название — Санта Мария де ля Антига дель Дарьен.

## ОПАСНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ

Вскоре неудачливый колонизатор, бакалавр Энсисо, горько пожалеет о том, что не выбросил в свое время за борт ящик с Нуньесом де Бальбоа, ибо через несколько недель вся власть в колонии оказалась в руках этого смельчака. Законник, воспитанный на понятиях дисциплины и порядка, Энсисо, в качестве *Alcalde mayor*, преемника бесследно исчезнувшего правителя, пытается управлять колонией в интересах испанской короны; в убогой индейской хижине он составляет свои эдикты с такой же аккуратностью и строгостью, как некогда в своей севильской конторе стряпчего. В этих диких краях, еще не тронутых цивилизацией, он запрещает солдатам выменивать золото у туземцев, ибо сие есть привилегия короны; он пытается навязать этой разнузданной орде закон и порядок, но искателям приключений больше по душе человек с мечом, нежели человек с гусиным пером. Вскоре Бальбоа становится подлинным хозяином колонии; Энсисо вынужден бежать, спасая свою жизнь: когда же назначенный королем губернатор *terça firma* Никуеса наконец прибывает, чтобы навести порядок, Бальбоа и вовсе не дает ему высадиться на берег, и несчастный Никуеса, изгнанный из страны, которую пожаловал ему король, погибает во время обратного плавания.

Теперь Нуньес де Бальбоа, человек, явившийся из ящика, возглавляет колонию. Но, несмотря на достигнутый успех, он чувствует себя не очень хорошо. Ведь он открыто восстал против короля, и ему тем более не приходится рассчитывать на прощение, что по его вине погиб назначенный королем губернатор. Бежавший Энсисо уже на пути в Испанию; значит, рано или поздно по его жалобе Бальбоа будут судить за мятеж. Однако Испания далеко, и пройдет немало времени, пока корабль дважды пересечет океан. Бальбоа столь же умен, сколь и отважен; он находит единственный способ как можно дольше удерживать захваченную власть: он знает, что в нынешние времена успех оправдывает любые преступления и, основа-



тельно пополнив золотом королевскую казну, можно замять или затянуть всякое уголовное дело; значит, прежде всего надо добыть золото, ибо золото — это сила! Вместе с Франсиско Писарро он порабощает и грабит соседние туземные племена, и во время обычной кровавой резни на его долю выпадает неожиданная удача. Один из кациков, по имени Карэта, на которого Бальбоа коварно напал, грубо нарушив закон гостеприимства, предлагает ему, уже приговоренный к казни: не лучше ли вместо того, чтобы превращать индейцев в своих врагов, заключить союз с его племенем, а в качестве залога верности Карэта готов отдать ему свою дочь. Нуньес Бальбоа сразу понимает, как важно иметь надежного и сильного друга среди туземцев; он принимает предложение и — что особенно удивительно — до последнего часа сохраняет самую нежную привязанность к молодой индианке. Вместе с кациком Карэтой он покоряет все соседние индейские племена и приобретает среди них такое влияние, что в конце концов даже Комагре, самый могущественный индейский вождь, почтительно приглашает его к себе.

Пребывание у Комагре знаменует веку всемирно-исторического значения в жизни Васко Нуньеса де Бальбоа, бывшего доселе просто отщепенцем и дерзким бунтовщиком против короны, которого кастильские судьи неминуемо послали бы на плаху. Кацик Комагре принимает Бальбоа в просторном каменном доме, поражающем Васко Нуньеса своей невиданной роскошью; затем кацик преподносит гостю неожиданный подарок — четыре тысячи унций золота. Но теперь пришел черед удивляться кацику: едва сыны неба, эти могучие, богоравные чужеземцы, которых он принимает с таким почетом, увидели золото, как все их горделивое достоинство сразу же улетучилось. Точно собаки, спущенные с цепи, бросаются они друг на друга, выхватывают мечи, сжимают кулаки, кричат, бешено спорят, и каждый требует свою долю золота. С презрительным удивлением глядит кацик на беснующихся людей; так все дети природы во всех концах земли всегда удивляются цивилизованным людям, которым горсть желтого металла кажется цен-

нее всех духовных и материальных достижений собственной цивилизации.

Кацик обращается к испанцам с речью, и они, трепеща от алчности, слушают слова толмача. Как странно, говорит Комагре, что вы спорите между собой из-за такой безделицы, что из-за такого обыкновенного металла подвергаете себя тяжелым лишениям и опасности. За высокой грядой наших гор лежит огромное море, и все реки, впадающие в него, несут с собой золото. А живет там народ, который плавает на кораблях, подобных вашим, с парусами и веслами, и его короли пьют и едят на золоте. Там-то вы и добудете этого желтого металла сколько вашей душе угодно. Но ведет туда опасный путь, ибо вожди племени, наверное, откажут вас пропустить; зато этот путь продлится лишь несколько дней.

Васко Нуньес де Бальбоа поражен в самое сердце. Наконец он напал на след сказочной страны золота, о которой столь многие мечтали долгие годы; его предшественники искали ее повсюду, на юге и на севере: и вот теперь она совсем близко, всего в нескольких днях пути, если кацик сказал правду. Тогда доказано наконец существование того, другого океана, к которому тщетно искали путь Колумб, Кабот, Кортереал — все великие и славные мореплаватели; значит, тем самым открыт и путь вокруг земного шара. Тот, кто первый увидит это новое море и сделает его достоянием своего отечества, навеки прославит свое имя на земле. И Бальбоа становится ясно, какой подвиг он призван совершить, чтобы искупить свою вину и стяжать неувядаемую славу: он должен первым пересечь перешеек к *Mag del sur* — к Южному морю, ведущему в Индию, и завоевать для испанской короны новый золотоносный Офир. Этот час в доме кацика Комагре решил судьбу Бальбоа. Отныне жизнь заурядного искателя приключений приобрела высокое, непреходящее значение.

## ПОБЕГ В БЕССМЕРТИЕ

Судьба дарует человеку высшее счастье, если в середине жизненного пути, в годы творческой зрелости, он достигнет цель своей жизни. Нуньес де Бальбоа знает, перед каким выбором он поставлен: либо позорная смерть на плахе, либо бессмертие. Прежде всего надо купить примирение с короной, хотя бы задним числом оправдать и узаконить самовольный захват власти! Поэтому вчерашний бунтовщик, а теперь самый ревностный подданный короля, посылает Пасамонте, королевскому казначею на Эспаньоле, не только пятую часть даров Комагре, по закону причитающуюся короне, но, как человек в житейских делах более опытный, чем сухарь-законник Энсисо, к взносу в казну присовокупляет частным образом крупное денежное подношение казначею и просит утвердить его в звании генерал-капитана колонии. На это у казначея Пасамонте нет никаких полномочий, и все же в обмен на полновесное золото он посылает Нуньесу де Бальбоа временный и по существу ничего не стоящий документ. Между тем Бальбоа, стремясь обезопасить себя со всех сторон, направляет в Испанию двух самых доверенных людей, чтобы они рассказали при дворе о его заслугах перед короной и передали важное сообщение, которое ему удалось выманить у казика. Васко Нуньес де Бальбоа велит сказать в Севилье, что ему нужен только отряд в тысячу человек; с этим отрядом он берется совершить для Кастилии подвиги, еще не свершенные ни одним испанцем. Он обязуется открыть новое море и овладеть найденной наконец страной золота, которую Колумб лишь посулил, а он, Бальбоа, завоюет.

Казалось бы, все оборачивается к лучшему для этого пропадающего человека, бунтовщика и отщепенца. Однако первый же корабль из Испании привозит дурные вести. Один из соучастников Бальбоа по мятежу, которого он в свое время отправил в Испанию, чтобы опровергнуть при дворе жалобу ограбленного Энсисо, сообщает, что дело приняло для Бальбоа плохой оборот и даже жизнь его в опасности. Обманутый бакалавр

добился в испанском суде удовлетворения иска, предъявленного похитителю его власти, — Бальбоа обязан возместить ему убытки. А весть о том, что Южное море найдено, весть, которая могла бы спасти Бальбоа, еще не получена в Испании; во всяком случае, с ближайшим кораблем должен прибыть судья, чтобы привлечь Бальбоа к ответственности за мятеж и либо осудить его на месте, либо отправить в кандалах обратно в Испанию.

Васко Нуньес де Бальбоа понимает, что погиб. Приговор над ним вынесен до того, как было получено его сообщение о Южном море и золотом берегу. Это известие, разумеется, будет использовано, но тем временем его голова скатится с плеч и кто-нибудь другой совершит его деяние, то самое деяние, о котором он мечтал. Ему уже больше нечего ждать от Испании, там известно, что он обрек на гибель законного королевского губернатора, что он самовольно сместил с должности алькальда; хорошо еще, если присудят только к тюремному заключению и он не поплатится головой за свою дерзость! Не придется рассчитывать и на влиятельных друзей, потому что сам он больше не располагает властью, а голос его лучшего защитника — золота — звучит еще слишком слабо, чтобы добыть ему прощение. Только одно может спасти его от кары за дерзость — еще большая дерзость! Он спасется, если откроет новое море и новый Офир раньше, чем придут судьи, раньше, чем их подручные схватят его и закут в цепи. Здесь, на краю обитаемого мира, единственная возможность бежать — это побег в грандиозный подвиг, побег в бессмертие.

И вот Нуньес де Бальбоа решает не ждать прибытия из Испании тысячи человек, испрошенных им для завоевания неизвестного океана, не ждать и прибытия судебных властей. Лучше испытать судьбу вместе с немногими смельчаками! Лучше с честью умереть ради одного из самых дерзновенных приключений всех времен, нежели позорно, со связанными руками быть брошенным на плаху. Нуньес де Бальбоа созывает колонистов; не скрывая трудностей, он объявляет о своем намерении пересечь перешеек и спрашивает, кто желает сле-

довать за ним. Его мужество вселяет мужество в других. Сто девяносто — почти все обитатели колонии, способные носить оружие, — дают согласие; о вооружении колонистов не нужно заботиться, потому что эти люди и без того живут в постоянных битвах. И 1 сентября 1513 года, чтобы избежать виселицы или тюрьмы, Нуньес де Бальбоа, герой и разбойник, искатель приключений и бунтовщик, начинает свой поход в бессмертие.

## НЕПРЕХОДЯЩЕЕ МГНОВЕНИЕ

Переход через Панамский перешеек начинается в провинции Койба, в маленьком владении кацика Карэты, чья дочь — спутница жизни Бальбоа; как обнаружится позднее, Нуньес де Бальбоа выбрал не самое узкое место перешейка и по незнанию местности удлинил на несколько дней опасный переход. Но Бальбоа, очевидно, считал, что, совершая такой смелый прыжок в неизвестное, он прежде всего должен располагать поддержкой дружественного племени индейцев, если придется отступить или понадобится пополнение. В десяти больших каноэ отряд переправляется из Дарьена в Койбу — сто девяносто солдат, вооруженных копьями, мечами, аркебузами и самострелами, — в сопровождении большой своры свирепых охотничьих собак. Кацик — союзник Бальбоа — предоставляет ему своих индейцев в качестве вьючных животных и проводников, и уже 6 сентября начинается тот славный поход через перешеек, который потребовал небывалого напряжения воли даже от этих отважных и испытанных искателей приключений. В душном, расслабляющем, жгучем тропическом зное испанцам предстоит сначала пройти через низины; болотистая почва насыщена миазмами лихорадки и спустя столетия погубит многие тысячи людей при постройке Панамского канала. Уже с первых часов нужно пробивать путь в нехоженые места топором и мечом сквозь ядовитые заросли лиан. Словно в огромной зеленой шахте, передние в отряде вырубают штольни в непроходимых дебрях; по узким ходам, солдат за

солдатом, бесконечной вереницей шагает армия конкистадоров, всегда с оружием в руках, на чеку днем и ночью, всегда готовая отбить внезапное нападение туземцев. Удушающей становится жара в знойном, влажном сумраке под сводами исполинских деревьев, над которыми пылает беспощадное солнце. Все дальше, преодолевая милю за милей, бредут люди в тяжелых доспехах, покрытые потом, с запекшимися от жажды губами; затем вдруг низвергаются ураганные ливни, ручейки мгновенно превращаются в стремительные реки, их надо переходить либо вброд, либо по зыбким мосткам, наспех сплетенным индейцами из луба. Все, чем испанцы могут подкрепить силы, — это горсть маиса; измученные бессонницей, голодные, истомленные жаждой, облепленные мириадами жлящих, сосущих кровь насекомых, они пробиваются вперед в изорванной шипами одежде, с израненными ногами; глаза их лихорадочно блестят, лица распухли от укусов moskitov, они не знают ни отдыха днем, ни сна ночью и вскоре окончательно теряют силы. Уже через неделю значительная часть отряда не в состоянии больше выдержать тяготы пути, и Нуñес де Бальбоа приказывает остаться на месте всем истощенным и больным лихорадкой: он знает, что подлинные опасности еще впереди. Лишь с отборными людьми своего отряда отважится он на решающее испытание.

Наконец начинается подъем в гору. Редуют дремучие дебри, которые только в болотистых низинах предстали во всем своем тропическом буйстве. Но теперь, когда тень больше не защищает путников, тяжелые латы нестерпимо накаляются под отвесными жгучими лучами тропического солнца; изнуренные люди способны сейчас лишь медленно и только короткими переходами, преодолевая ступень за ступенью, взбираться по холмам к той горной цепи, к тому твердокаменному хребту, который тянется вдоль узкого промежутка между двумя океанами. Постепенно горизонт становится шире, а воздух прохладнее. После восемнадцатидневных героических усилий самые большие трудности, видимо, позади; перед путниками вздымается гребень горы, с ее вершины, по словам проводни-

ков-индейцев, взору откроются оба океана — Атлантический и другой, еще неведомый и безымянный, Тихий океан. Но именно теперь, когда, казалось бы, окончательно побеждено упорное и коварное сопротивление природы, их встречает новый враг: кацик, правящий областью, расположенной по другую сторону горного хребта, с сотнями своих воинов пытается загородить проход чужеземцам. Но у Нуньеса де Бальбоа уже есть большой опыт борьбы против индейцев. Стоит ему дать залп из аркебузов, и искусственная молния и гром вновь оказывают свое испытанное магическое действие на туземцев. Они разбегаются, испуская вопли ужаса, преследуемые испанцами и охотничьими собаками. И вместо того, чтобы радоваться легкой победе, Бальбоа, как и все испанские конкистадоры, оскверняет ее низкой жестокостью: он выпускает на безоружных и связанных, еще живых пленников — замена боя быков и игрищ гладиаторов — свору голодных, свирепых псов, которые их грызут, терзают, рвут на куски. Так гнусная бойня позорит последнюю ночь накануне бессмертного дня Нуньеса де Бальбоа.

Неповторимые, необъяснимые противоречия в характере и поведении испанских конкистадоров: на редкость верующие и набожные христиане, они от всего сердца призывают Бога и в то же время совершают его именем самые мерзкие, бесчеловечные злодеяния, какие только знала история. Способные на самые великолепные и героические проявления мужества, на самопожертвование, на изумительную стойкость в испытаниях, они борются между собой и бесстыдно обманывают друг друга: и все-таки даже в своем падении они сохраняют ярко выраженное чувство чести и чудесное, поистине достойное восхищения понимание исторического величия своей задачи. Тот самый Нуньес де Бальбоа, который накануне бросил на растерзание кровожадным псам невинных, безоружных и связанных пленников и, может быть, с удовольствием поглаживал еще влажные от свежей человеческой крови псы морды, — прекрасно понимает значение своего подвига в истории человечества и способен в решающую минуту на такой великолепный

жест, который навеки останется в памяти потомков. Бальбоа знает: этот день, 25 сентября, станет всемирно-историческим днем; и с чисто испанским пафосом показывает этот жестокий, ни перед чем не останавливающийся искатель приключений, что он глубоко постиг смысл своей исторической миссии.

Великолепный жест Бальбоа: вечером непосредственно после кровавой бойни один из туземцев указал ему на близкую вершину, сказав, что отуда уже можно увидеть море, неведомое. *Mar del sur*. Бальбоа тотчас же отдает необходимые распоряжения. Он бросает раненых и обессиленных людей в разоренной деревне и приказывает тем из его отряда, которые еще способны передвигаться, взойти на гору; из ста девяноста человек, выступивших с ним в поход из Дарьена, осталось только шестьдесят семь. Около десяти часов утра они приближаются к гребню. Еще надо взобраться на небольшую голую вершину, и тогда взору откроется беспредельность.

Бальбоа приказывает отряду остановиться. Никто не должен следовать за ним, ибо он не желает ни с кем делить право бросить первый взгляд на неведомый океан. Он хочет быть и остаться на вечные времена тем единственным первым испанцем, первым европейцем, первым христианином, который, переплыв один огромный океан земного шара, Атлантический, узрел другой, доселе неизвестный, Тихий океан. Медленно, с бьющимся сердцем, глубоко проникнутый сознанием величия этого мига, он подымается вверх, держа знамя в левой руке и меч в правой, — одинокая человеческая фигура в необозримом пространстве. Медленно, не торопясь подымается он на гору, ибо, в сущности, дело уже сделано. Еще только несколько шагов, еще немного, совсем немного. И в самом деле, когда он достигает вершины, перед ним открывается величественная картина. За круто обрывающимися скалами, за лесистыми и отлогими зелеными холмами простирается безбрежная гладь, отливающая металлическим блеском; вот оно, море, новое море, неведомое, до сих пор только грезившееся и никогда не виданное, легендарное, долгие годы Колумбом и всеми его преемниками тщетно разыскиваемое море, волны



которого омывают Америку, Индию и Китай. И Васко Нуньес де Бальбоа глядит и глядит, упиваясь гордым и блаженным сознанием, что он первый европеец, в чьих глазах отразилась бескрайняя синева этого моря.

Долго и самозабвенно смотрит вдаль Васко Нуньес де Бальбоа. Лишь после этого он призывает своих товарищей, своих друзей разделить с ним его радость, его гордость. Возбужденные, взволнованные, разгоряченные, задыхаясь, с громкими криками, то ползком, то бегом они взбираются на вершину, смотрят и любуются, восторженно глядят друг на друга. Вдруг сопровождающий их патер Андрес де Вера запевае псалом «Te Deum Laudamus»\*, и тотчас же крики и шум; сильные и грубые голоса всех этих солдат, авантюристов и разбойников сливаются в благочестивом хорале. С изумлением взирают индейцы на то, как по слову священника испанцы рубят дерево, сколачивают крест и вырезают на нем начальные буквы имени испанского короля. И когда этот крест водружен — кажется, будто обе его раскинутые деревянные руки стремятся охватить оба моря — Атлантический и Тихий океаны с их необозримыми далями.

В наступившей благоговейной тишине Нуньес де Бальбоа выходит вперед и держит речь перед своими солдатами. Это похвально, говорит он, что они благодарят Бога за ниспосланные им честь и милость и призывают божью помощь для завоевания этого моря и всех этих стран. Если они будут так же преданно, как и до сих пор, следовать за ним, они возвратятся из новой Индии самыми богатыми людьми в Испании. Бальбоа торжественно машет знаменем на все четыре стороны, как бы вводя Испанию во владение всеми дальними просторами, над которыми веют четыре ветра земли. Затем он зовет писца Андреса де Вальдеррабано и приказывает составить грамоту, которая закрепила бы на все времена торжественный акт вступления во владение. Андрес де Вальдеррабано разворачи-

---

\*«Тебя, Боже, хвалим...» — начальные слова молитвы ранних христиан (лат.).

вает пергамент, — он пронес его через девственный лес в запертом деревянном ларчике вместе с чернильницей и гусиным пером, — и приглашает всех дворян, рыцарей и солдат, присутствовавших при открытии Южного моря «благородным и высокочтимым сеньором капитаном Васко Нуньесом де Бальбоа, губернатором его величества», засвидетельствовать, что «сей сеньор Васко Нуньес был тем, кто первый узрел новое море и показал его своим спутникам».

Потом шестьдесят семь человек начинают спуск к морю, и с 25 сентября 1513 года человечеству известен последний, дотоле неведомый, океан нашей планеты.

## ЗОЛОТО И ЖЕМЧУГ

Сомнений больше нет. Они видели море. Но теперь надо спуститься вниз к берегу, погрузить руку во влажную стихию, коснуться воды, потрогать ее, отведать ее вкус и захватить добычу на побережье. Спуск длится два дня, и, чтобы впредь знать кратчайший путь, ведущий с гор к морю, Нуньес де Бальбоа разбивает свой отряд на несколько групп. Третья из этих групп во главе с Алонсо Мартином первой выходит на взморье; и все, включая простых солдат этого отряда авантюристов, до такой степени охвачены жаждой славы и бессмертия, что даже столь незначительный человек, как Алонсо Мартин, требует, чтобы писец тотчас же засвидетельствовал черным по белому, что он, Алонсо Мартин, первым погрузил ногу и руку в эти еще безымянные воды. И только после того, как он наделил свое маленькое «я» крупницей бессмертия, он извещает Бальбоа, что достиг моря и своей рукой коснулся его волны. Вслед за тем Бальбоа подготавливает новый патетический жест. На следующий день, в праздник архангела Михаила, он появляется на взморье в сопровождении лишь двадцати двух спутников и здесь, в доспехах, опоясанный мечом, как сам архангел Михаил, совершает торжественный обряд и вступает во владение новым морем. Бальбоа не сразу входит в воду,

а как ее господин и повелитель, отдыхая под деревом, надменно ждет, пока нарастающий прибой не докатит до него волну и не станет, точно послушная собака, лизать ему ноги. Только тогда Бальбоа встает, забрасывает за плечи щит, сверкающий на солнце, как зеркало, берет в одну руку меч, в другую — знамя Кастилии с изображением Божьей матери и входит в воду. Лишь когда волны омывают его уже по пояс и вокруг плещет неведомая, громадная водная стихия, лишь тогда Нуњес де Бальбоа, до сей поры бунтовщик и отщепенец, а ныне триумфатор и верный слуга короля, поднимает знамя, машет им во все стороны, громким голосом провозглашая: «Да здравствуют Фердинанд и Хуана, высокие и могучие владыки Кастилии, Леона и Арагона, именем коих я вступаю в подлинное, непосредственное и постоянное владение и присоединяю к короне кастильских королей все сии моря и земли, берега, и заливы, и острова и клянусь, что ежели какой-либо государь или другой военачальник, будь то христианин или язычник, любой веры и сословия, посягнет на сии земли и моря, я буду защищать их именем королей Кастилии, чьим достоянием они пребудут ныне и присно, пока мир стоит и до самого второго пришествия».

Все испанцы повторяют слова клятвы, и их голоса на мгновение заглушают мощный шум прибоя. Каждый омочил уста морской водой, и снова писец Андрес де Вальдеррабано составляет акт о вступлении во владение, заключая этот документ следующими словами: «Сии двадцать два человека, а с ними и писец Андрес де Вальдеррабано были первыми христианами, вступившими в воды *Mar del sur*, все они коснулись воды рукою и омочили уста, дабы узнать, соленая ли здесь вода, как и в том, другом море. И увидев, что сие истинно так, они возблагодарили Бога».

Великий подвиг совершен. Теперь нужно извлечь из доблестного деяния земные блага. Испанцы отнимают или выменивают у туземцев немного золота. Но в разгаре торжества открывается новая неожиданность. Индейцы приносят полные пригоршни драгоценных жемчужин — их на ближайших ост-

ровах несчетное множество, и среди принесенных жемчужин находится та, названная «Пеллегриной», которую воспели Сервантес и Лопе де Вега, ибо эта прекраснейшая из жемчужин украшала корону королей Испании и Англии. Испанцы набивают полные карманы и мешки жемчугом, которым здесь дорожат не больше, чем ракушками и песком морским; когда же они жадно спрашивают о том, что для них важнее всего на земле, — о золоте, один из кациков указывает на юг, туда, где очертания гор мягко расплываются на горизонте. Там, говорит он, лежит страна несметных богатств; правители той страны едят на золоте и драгоценные грузы возят в королевскую сокровищницу на больших четвероногих зверях, — кацик имеет в виду лам. Он произносит слово, обозначающее название страны, которая лежит южнее за морем и за горами. Это слово звучит, как «Биру», напевно и чуждо.

Васко Нуньес де Бальбоа пристально смотрит по направлению вытянутой руки кацика, туда, где далекие горы, бледнея, теряются в небе. Нежное, прельстительное слово «Биру» тотчас же запало ему в душу. Беспокойно бьется его сердце. Второй раз в жизни ему нежданно-негаданно открывается его предназначение. Первый раз, когда Комагре обещал, что море близко, — это сбылось: Бальбоа нашел жемчужный берег и *Mar del sur*; быть может, ему удастся и второе: открыть, завоевать государство инков, страну золота на нашей земле.

### РЕДКО ДАРУЮТ БОГИ...

Нуньес де Бальбоа все еще со страстной тоской глядит вдаль. Как звон золотого колокола, звучит в его душе слово «Биру» — «Перу». Однако, как ни горестно, он вынужден отказаться — он не может сейчас отважиться на новые поиски. Нельзя с двумя-тремя десятками изнуренных людей покорить государство. Итак, назад, в Дарьен; позднее, собравшись с силами, он направится по ныне найденной дороге в новый Офир. Но обратный путь не менее труден. Испанцы снова

пробираются сквозь дебри, снова отражают нападения туземцев. И 19 января 1514 года, после четырехмесячных чудовищных испытаний, в Дарьен возвращается уже не военный отряд, а горстка больных лихорадкой и едва передвигающих ноги людей; сам Бальбоа на волосок от смерти, индейцы несут его в гамаке. Но один из величайших подвигов в истории совершен. Бальбоа сдержал слово, — все участники отважного похода в неизвестность разбогатели; солдаты Бальбоа принесли с берега Южного моря такие сокровища, каких никогда не добывал ни Колумб, ни другие конкистадоры; остальные члены колонии также получают свою долю. Пятая часть добычи предоставляется в распоряжение короны: и никто не порицает победителя за то, что он, при оценке заслуг, наравне с другими воинами выделяет долю своему псу Леонсико, очевидно, в награду за то, что он так усердно рвал в клочья тела несчастных туземцев; — и Бальбоа приказывает навьючить на собаку пятьсот золотых песет. Теперь уже никто в колонии больше не оспаривает власть Бальбоа как губернатора. Авантюриста и бунтовщика почитают, точно Бога, и он может с гордостью утверждать в своем послании на родину, что после Колумба он совершил самый великий подвиг во имя кастильской короны. В своем стремительном восхождении солнце его счастья разогнало тучи, доселе омрачавшие жизнь Бальбоа. Теперь оно — в зените.

Однако счастье Бальбоа длится недолго. Через несколько месяцев, в ослепительный июньский день, жители Дарьена в изумлении толпятся на берегу. Светлый парус маячит на горизонте — поистине чудо в этом затерянном уголке земли! Но что это? Рядом с первым парусом возникает второй, третий, четвертый, пятый... Вот их уже десять, нет, пятнадцать... нет, двадцать — целая флотилия направляется к гавани. Вскоре все разъясняется: это ответ на послание Нуньеса де Бальбоа, не на весть о его триумфе, — она еще не достигла Испании, — а на первое письмо, в котором он передавал сообщение кацика о близости Южного моря и страны золота и просил дать ему отряд в тысячу человек, чтобы завоевать новые земли. Испан-

ское правительство не замедлило снарядить для этой экспедиции мощный флот, но в Севилье и Барселоне отнюдь не собирались доверить столь важную задачу Васко Нуньесу де Бальбоа, авантюристу и бунтовщице с такой дурной славой. Настоящий губернатор, богатый и знатный шестидесятилетний вельможа Педро Ариас Давилья, обычно именуемый Педрариасом, уполномочен в качестве королевского губернатора навести наконец порядок в колонии, учинить суд и расправу за все до сих пор совершенные преступления, найти Южное море и покорить обетованную страну золота.

Но Педрариас оказывается в щекотливом положении. В первых, он уполномочен привлечь к ответственности бунтовщика Нуньеса де Бальбоа, изгнавшего прежнего губернатора, и, буде его вина доказана, заковать Бальбоа в цепи или осудить на месте; во-вторых, Педрариасу поручено открыть Южное море. Однако едва шлюпка губернатора пристала к берегу, он узнает, что именно Нуньес де Бальбоа, которого он должен привлечь к суду, совершил на свой собственный страх и риск великое дело; этот бунтовщик уже успел отпраздновать свой триумф, присвоив лавры, уготованные Педрариасу, и оказал испанской короне величайшую услугу со времени открытия Америки. Разумеется, Педрариас не может такому человеку отрубить голову, как обыкновенному преступнику; он вынужден вежливо его приветствовать и горячо поздравлять. Но с этой минуты Нуньес де Бальбоа обречен. Никогда Педрариас не простит сопернику, что тот самостоятельно совершил открытие, порученное Педрариасу и сулившее ему славу на вечные времена. Впрочем, чтобы не озлоблять преждевременно колонистов, Педрариас должен скрывать свою ненависть к их герою: он откладывает судебное следствие и устанавливает мнимый мир, для чего объявляет о помолвке Нуньеса де Бальбоа со своей дочерью, оставшейся в Испании. Однако его ненависть и зависть к Бальбоа ничуть не ослабевают, наоборот, они еще усиливаются, когда из Испании, где, наконец, узнали о подвиге Бальбоа, прибывает указ, который присваивает задним числом бывшему бунтовщице подобающий ему титул, и

отныне он наравне с Педрариасом именуется губернатором, и Педрариасу предписано советоваться с ним по всем важным вопросам. Двум губернаторам тесно в этой стране: один из них должен будет отступить, одному из двух суждено погибнуть. Васко Нуньес де Бальбоа чувствует, что над ним занесен меч, ибо Педрариас держит в руках военную власть и правосудие. Бальбоа вторично замышляет побег, — ведь первый ему так блистательно удался, — побег в бессмертие. Он просит у Педрариаса дозволения снарядить экспедицию, чтобы обследовать берега Южного моря и расширить испанские владения. Однако тайный замысел закоренелого бунтовщика таков: он хочет на берегу другого моря освободиться от всякого надзора, построить свой флот, стать полновластным правителем собственной провинции, а там, быть может, завоевать легендарное Биру, этот Офир Нового Света. Педрариас коварно дает свое согласие: если Бальбоа погибнет — тем лучше; если же затея увенчается успехом, он всегда успеет избавиться от ненавистного честолюбца.

Итак, Нуньес де Бальбоа снова готовит побег в бессмертие; его второй подвиг, пожалуй, еще грандиознее первого, хотя и не принес ему такую же славу, потому что история всегда прославляет только тех, кто добился успеха. На этот раз Бальбоа пересекает перешеек не только со своим отрядом: несколько тысяч туземцев тащат на себе через горы строительный лес, доски, такелаж, паруса, якоря, лебедки для четырех бригантин. Ведь если у него будет флот по ту сторону гор, он овладеет всем побережьем, завоеует жемчужные острова и Перу, легендарное Перу. Однако на этот раз судьба противится замыслам дерзновенного мореплавателя, и он непрестанно наталкивается на все новые и новые препятствия. Так, во время пути сквозь болотистые дебри строительный лес источили черви, доски прибыли на место прогнившими и негодными к употреблению. Бальбоа не падает духом; он приказывает рубить деревья на побережье Панамского залива и изготовить свежие доски. Его энергия творит подлинные чудеса; все как будто удалось: уже построены бригантины, первые на Тихом океане. Но вдруг

налетает ураган — реки, на которых приготовлены бригантины, широко разливаются. Вода срывает с места готовые суда, уносит их в море, где они разбиваются в щепы. Надо начинать в третий раз. И теперь-то, наконец, Бальбоа удастся построить две бригантины. Нужны только хотя бы еще две-три, и он сможет отправиться в путь и покорить страну, о которой мечтает день и ночь, с тех пор как кацик указал ему рукой на юг, с тех пор как впервые для Бальбоа прозвучало прельстительное слово «Биру». Надо добиться, чтобы ему дали еще несколько смелых офицеров, надо как следует пополнить отряд, и тогда он сможет основать свое государство! Еще два-три месяца да немного удачи вдобавок к отваге Бальбоа, и мировая история назвала бы победителем инков, завоевателем Перу не Писарро, а Нуньеса де Бальбоа.

Но судьба не бывает слишком милостивой даже к своим любимцам. Редко даруют боги смертному более одного бессмертного деяния.

## ЗАКАТ

Нуньес де Бальбоа с железной энергией готовил свое великое предприятие. Но именно отвага и удача навлекают на него опасность, потому что встревоженный Педрариас следит подозрительным взором за приготовлениями своего подчиненного. Вероятно, ему стали известны через доносчиков честолюбивые мечты Бальбоа о власти; а может быть, Педрариас просто завидует и боится, как бы неисправимый бунтовщик не добился успеха вторично. Так или иначе, он шлет Бальбоа весьма сердечное письмо, в котором предлагает ему перед походом встретиться в Акле, городе близ Дарьена. Надеясь получить от Педрариаса пополнение своего отряда, Бальбоа тотчас же принимает приглашение. У городских ворот Аклы его встречает небольшой отряд солдат, по-видимому, чтобы оказать ему подобающие почести; Бальбоа радостно спешит обнять их командира, старого товарища по оружию, сородника



при открытии Южного моря и верного друга, — Франсиско Писарро.

Но Франсиско Писарро тяжело кладет руку на плечо Бальбоа и объявляет его арестованным. Писарро тоже жаждет бессмертия, и он тоже хочет завоевать страну золота, и, может статься, не прочь устранить смельчака, опередившего его на пути к славе. Губернатор Педрариас возбуждает судебное дело о якобы поднятом Бальбоа мятеже, суд чинят скорый и несправедливый. Через несколько дней Васко Нуньес де Бальбоа вместе с ближайшими соратниками всходит на плаху; сверкнул меч палача, голова скатилась с плеч, и в одно мгновение навеки померкли глаза того, кто впервые в истории человечества увидел оба океана, объемлющие нашу землю.





## ГЕНИЙ ОДНОЙ НОЧИ

*(Марсельеза, 25 апреля 1792 года)*

1792 год. Уже целых два — уже три месяца не может Национальное собрание решить вопрос: мир или война против австрийского императора и прусского короля. Сам Людовик XVI пребывает в нерешительности: он понимает, какую опасность несет ему победа революционных сил, но понимает он и опасность их поражения. Нет единого мнения и у партий. Жирондисты, желая удержать в своих руках власть, рвутся к войне; якобинцы с Робеспьером, стремясь стать у власти, борются за мир. Напряжение с каждым днем возрастает: газеты вопят, в клубах идут бесконечные споры, все неистовей роятся слухи, и все сильней и сильней распаляется благодаря им общественное мнение. И потому, когда 20 апреля король Франции объявляет наконец войну, все невольно испытывают облегчение, как бывает при разрешении любого трудного вопроса.

Все эти бесконечно долгие недели над Парижем тяготела давящая душу грозная атмосфера, но еще напряженнее, еще тягостнее возбуждение, царящее в пограничных городах. Ко всем бивакам уже подтянуты войска, в каждой деревне, в каждом городе снаряжаются добровольческие дружины и отряды Национальной гвардии; повсюду возводятся укрепления, и прежде всего в Эльзасе, где знают, что на долю этого маленького клочка французской земли, как всегда в боях между Францией и Германией, выпадет первое, решающее сражение. Здесь, на берегу Рейна, враг, противник — это не отвлеченное, расплывчатое понятие, не риторическая фигура, как

в Париже, а осязаемая, зримая действительность; с предмостного укрепления — башни собора — можно невооруженным глазом различить приближающиеся прусские полки. По ночам над холодно сверкающей в лунном свете рекой ветер несет с того берега сигналы вражеского горна, бряцанье оружия, грохот пушечных лафетов. И каждый знает: одно слово, один королевский декрет — и жерла прусских орудий извергнут гром и пламя, и возобновится тысячелетняя борьба Германии с Францией, на сей раз во имя новой свободы с одной стороны, и во имя сохранения старого порядка — с другой.

И потому столь знаменателен день 25 апреля 1792 года, когда военная эстафета доставила из Парижа в Страсбург сообщение о том, что Франция объявила войну. Тотчас же из всех домов и переулков хлынули потоки возбужденных людей; торжественно, полк за полком, проследовал для последнего смотра на главную площадь весь городской гарнизон. Там его ожидает уже мэр Страсбурга Дитрих с трехцветной перевязью через плечо и трехцветной кокардой на шляпе, которой он размахивает, приветствуя дефилирующие войска. Фанфары и барабанная дробь призывают к тишине, и Дитрих громко зачитывает составленную на французском и немецком языках декларацию, он читает ее на всех площадях. И едва умолкают последние слова, полковой оркестр играет первый из маршей революции — Карманьолу. Это, собственно, даже не марш, а задорная, вызывающе-насмешливая танцевальная песенка, но мерный звякающий шаг придает ей ритм походного марша. Толпа снова растекается по домам и переулкам, повсюду разнося охвативший ее энтузиазм; в кафе, в клубах произносятся зажигательные речи и раздаются прокламации. «К оружию, граждане! Вперед, сыны отчизны! Мы никогда не склоним выи!» Такими и подобными призывами начинаются все речи и прокламации, и повсюду, во всех речах, во всех газетах, на всех плакатах, устами всех граждан повторяются эти боевые, звучные лозунги: «К оружию, граждане! Дрожите, коронованные тираны! Вперед, свобода дорогая!» И слыша эти пламенные слова, ликующие толпы снова и снова подхватывают их.

При объявлении войны на площадях и улицах всегда ликует толпа; но в эти же часы всеобщего ликования слышны и другие, осторожные голоса; объявление войны пробуждает страх и заботу, которые, однако, притаились в робком молчании либо шепчут чуть слышно по темным углам. Всегда и повсюду есть матери; а не убьют ли чужие солдаты моего сына? — думают они; везде есть крестьяне, которым дороги их домишки, земля, имущество, скот, урожай; так не будут ли их жилища разграблены, а нивы истоптаны озверелыми полчищами? Не будут ли налитаны кровью их пашни? Но мэр города Страсбурга, барон Фридрих Дитрих, хотя он и аристократ, как лучшие представители французской аристократии, всей душою предан делу новой свободы; он желает слышать лишь громкие, уверенно звучащие голоса надежды, и потому он превращает день объявления войны в народный праздник. С трехцветной перевязью через плечо спешит он с собрания на собрание, воодушевляя народ. Он приказывает раздать выступающим в поход солдатам вино и дополнительные пайки, а вечером устраивает в своем просторном особняке на Плас де Бройльи прощальный вечер для генералов, офицеров и высших административных лиц, и царящее на нем воодушевление заранее превращает его в празднество победы. Генералы, как вообще все генералы на свете, твердо уверены в том, что победят; они играют на этом вечере роль почетных председателей, а молодые офицеры, которые видят в войне весь смысл своей жизни, свободно делятся мнениями, так и подзадоривая друг друга. Они размахивают шпагами, обнимаются, провозглашают тосты и, подогретые добрым вином, произносят все более и более пылкие речи. И в речах этих вновь повторяются зажигательные лозунги газет и прокламаций: «К оружию, граждане! Вперед, плечом к плечу! Пусть дрожат коронованные тираны, пронесем наши знамена над Европой! Священна к родине любовь!» Весь народ, вся страна, сплоченная верой в победу, общим стремлением бороться за свободу, жаждет в такие моменты слиться воедино.

И вот в разгар речей и тостов барон Дитрих обращается к

сидящему возле него молоденькому капитану инженерных войск по имени Руже. Он вспомнил, что этот славный не то чтобы красавец, но весьма симпатичный офицерик полгода тому назад написал в честь провозглашения конституции неплохой гимн свободе, тогда же переложенный для оркестра полковым музыкантом Плейелем. Вещица оказалась мелодичной; военная хоровая капелла разучила ее, и она была успешно исполнена в сопровождении оркестра на главной площади города. Не устроить ли такое же торжество и по случаю объявления войны и выступления войск в поход? Барон Дитрих небрежным тоном, как обычно просят добрых знакомых о каком-нибудь пустячном одолжении, спрашивает капитана Руже (кстати говоря, этот капитан без каких бы то ни было оснований присвоил дворянский титул и носит фамилию Руже де Лиль), не воспользуется ли он патриотическим подъемом, чтобы сочинить походную песню для Рейнской армии, которая завтра уходит сражаться с врагом.

Руже — маленький, скромный человек: он никогда не мнил себя великим художником — стихи его никто не печатает, а оперы отвергают все театры, но он знает, что стихи на случай ему удаются. Желая угодить высокому должностному лицу и другу, он соглашается. Хорошо, он попробует. — «Браво, Руже!» — Сидящий напротив генерал пьет за его здоровье и велит, как только песня будет готова, тотчас же прислать ее на поле сражения — пусть это будет что-нибудь вроде окрыляющего шаг патриотического марша. Рейнской армии в самом деле нужна такая песня. Между тем кто-то уже произносит новую речь. Снова тосты, звон бокалов, шум. Могучая волна всеобщего воодушевления поглотила случайный краткий разговор. Все восторженней и громче звучат голоса, все более бурной становится пирушка, и лишь далеко за полночь покидают гости дом мэра.

Глубокая ночь. Кончился столь знаменательный для Страсбурга день 25 апреля, день объявления войны, — вернее, уже наступило 26 апреля. Все дома окутаны мраком, но мрак

обманчив — в нем нет ночного покоя, город возбужден. Солдаты в казармах готовятся к походу, а во многих домах с закрытыми ставнями более осторожные из граждан, быть может, уже собирают пожитки, готовясь к бегству. По улицам маршируют взводы пехотинцев; то проскачет, цокая копытами, конный вестовой, то прогрохочут по мостовой пушки, и все время раздается монотонная переключка часовых. Враг слишком близок; слишком взволнована и встревожена душа города, чтобы он мог уснуть в столь решающие мгновения.

Необычайно взволнован и Руже, добравшийся наконец по винтовой лестнице до скромной своей комнатухи в доме 126 на Гранд Рю. Он не забыл обещания поскорей сочинить для Рейнской армии походный марш. Он беспокойно расхаживает из угла в угол по тесной комнате. Как начать? Как начать? В ушах его все еще звучит хаотическая смесь пламенных воззваний, речей, тостов. «К оружию, граждане!.. Вперед, сыны свободы!.. Раздавим черную силу тирании!..» Но вспоминаются ему и другие, подслушанные мимоходом слова: то голоса женщин, дрожащих за жизнь сыновей, голоса крестьян, боящихся, что поля их будут растоптаны вражескими полчищами и политы кровью. Он берет перо и почти бессознательно записывает первые две строки; это лишь отзвук, эхо, повторение слышанных им воззваний:

Вперед, сыны отчизны милой!  
Мгновенье славы настает!

Он перечитывает и сам удивляется: как раз то, что нужно. Начало есть. Теперь подобрать бы подходящий ритм, мелодию. Руже вынимает из шкафа скрипку и проводит смычком по струнам. И — о чудо! — с первых же тактов ему удастся найти мотив. Он снова хватается за перо и пишет, увлекаемый все дальше какой-то внезапно овладевшей им неведомой силой. И вдруг все приходит в гармонию: все порожденные этим днем чувства, все слышанные на улице и банкете слова, ненависть к тиранам, тревога за родину, вера в победу, любовь к свободе. Ему даже не приходится сочинять, придумывать, он

лишь рифмует, облакает в ритм мелодии переходившие сегодня, в этот знаменательный день, из уст в уста слова, и он выразил, пропел, рассказал в своей песне все, что перечувствовал в тот день весь французский народ. Не надо ему сочинять и мелодию, сквозь закрытые ставни в комнату проникает ритм улицы, ритм этой тревожной ночи, гневный и вызывающий; его отбивают шаги марширующих солдат, грохот пушечных лафетов. Быть может, и слышит-то его не сам он, Руже, чутким своим слухом, а дух времени, на одну только ночь вселившийся в брентную оболочку человека, ловит этот ритм. Все покорнее подчиняется мелодия ликующему и словно молотом отбиваемому такту, который выстукивает сердце всего французского народа. Словно под чью-то диктовку, поспешнее и поспешнее записывает Руже слова и ноты — он охвачен бурным порывом, какого доселе не ведала его мелкая мещанская душа. Вся экзальтация, все вдохновение, не присущие ему, нет, а лишь чудесно завладевшие его душой, сосредоточились в единой точке и могучим взрывом вознесли жалкого дилетанта на колоссальную высоту над его скромным дарованием, словно яркую, сверкающую ракету метнули до самых звезд. На одну только ночь суждено капитану Руже де Лилю стать братом бессмертных; первые две строки песни, составленные из готовых фраз, из лозунгов, почерпнутых на улице и в газетах, дают толчок творческой мысли, и вот появляется строфа, слова которой столь же вечны и непреходящи, как и мелодия:

Вперед, плечом к плечу шагая!  
Священна к родине любовь.  
Вперед, свобода дорогая,  
Одушевляй нас вновь и вновь

Еще несколько строк — и бессмертная песня, рожденная единым порывом вдохновения, в совершенстве сочетающая слова и мелодию, закончена до рассвета. Руже гасит свечу и бросается на постель. Какая-то сила, он сам не знает какая, вознесла его до неведомых ему высот духовного озарения, а

теперь та же сила повергла в тупое изнеможение. Он спит непробудным сном, похожим на смерть. Да так оно и есть: в нем снова умер творец, поэт, гений. Но зато на столе, целиком отделившись от спящего, который создал в порыве истинно святого вдохновения это чудо, лежит законченный труд. Едва ли за всю долгую историю человечества был другой случай, когда бы слова и звуки столь же быстро и одновременно стали песней.

Но вот колокола древнего собора возвещают, как и всегда, наступление утра. Время от времени ветер доносит с того берега Рейна звуки залпов — началась первая перестрелка. Ружье просыпается, с трудом выбираясь из глубин мертвого сна. Он смутно чувствует: что-то произошло с ним, оставив по себе только слабое воспоминание: И вдруг он замечает на столе исписанный листок. Стихи? Но когда же я их сочинил? Музыка? Ноты, набросанные моей рукой? Но когда же я это написал? Ах, да! Обещанная вчера другу Дитриху походная песня для Рейнской армии! Ружье пробегает глазами стихи, мычит про себя мотив. Но, как всякий автор только что созданного произведения, чувствует лишь полную неуверенность. Рядом с ним живет его товарищ по полку. Ружье спешит показать и спеть ему свою песню. Тому нравится, он предлагает лишь несколько небольших поправок. Эта первая похвала вселяет в Ружье уверенность. Сгорая от авторского нетерпения и гордясь, что так быстро выполнил обещанное, он мчится к мэру и застаёт Дитриха на утренней прогулке; расхаживая по саду, он сочиняет новую речь. Как! Уже готово? Ну что ж, послушаем. Оба идут в гостиную; Дитрих садится за клавесин, Ружье поет. Привлеченная необычной в столь ранний час музыкой, приходит супруга мэра. Она обещает переписать песенку, размножить ее и, как истая музыкантша, вызывается написать аккомпанемент, чтобы сегодня же вечером можно было исполнить новую песню, вместе со многими другими, перед друзьями дома. Мэр, который гордится своим довольно приятным тенорком, берется выучить ее наизусть; и вот 26 апреля, то есть вечером того же дня, на заре которого были



написаны слова и музыка песни, она впервые исполняется в гостиной мэра города Страсбурга перед случайными слушателями.

Вероятно, слушатели дружески аплодировали автору и не скупались на любезные комплименты. Но, разумеется, ни у кого из гостей особняка на главной площади Страсбурга не мелькнуло даже малейшего предчувствия, что в их бренный мир впорхнула на незримых крылах бессмертная мелодия. Редко случается, чтобы современники великих людей и великих творений сразу же постигали все их значение; примером может служить письмо супруги мэра своему брату, где это свершившееся чудо гениальности низведено до уровня банального эпизода из светской жизни: «Ты же знаешь, мы часто принимаем гостей, и поэтому, чтобы внести разнообразие в наши вечера, вечно приходится что-то придумывать. Вот мужу и пришла мысль заказать песню по случаю объявления войны. Некий Руже де Лиль, капитан инженерного корпуса, славный молодой человек, поэт и композитор, очень быстро сочинил слова и музыку походной песни. Муж, у которого приятный тенор, тут же спел ее, песенка очень мила, в ней есть что-то своеобразное. Это Глюк, только гораздо лучше и живее. Пригодился и мой талант: я сделала оркестровку и написала партитуру для клавира и других инструментов, так что на мою долю выпало немало труда. Вечером песня была исполнена у нас в гостиной к большому удовольствию всех присутствующих».

«К большому удовольствию всех присутствующих» — каким холодом дышат для нас эти слова! Но ведь при первом исполнении Марсельеза и не могла возбудить иных чувств, кроме дружеского сочувствия и одобрения, ибо она не могла еще предстать во всей своей силе. Марсельеза не камерное произведение для приятного тенора и предназначена отнюдь не для того, чтобы исполняться в провинциальной гостиной одним-единственным певцом между какой-нибудь итальянской арией и романсом. Песня, волнующий, упругий и ударный ритм которой рожден призывом: «К оружию, гражда-

не!» — обращение к народу, к толпе, и единственный достойный ее аккомпанемент — звон оружия, звуки фанфар и поступь марширующих полков. Не для равнодушных, удобно расположившихся гостей создана эта песня, а для единомышленников, для товарищей по борьбе. И петь ее должен не одинокий голос, тенор или сопрано, а тысячи людских голосов, ибо это походный марш, гимн победы, похоронный марш, песнь отчизны, национальный гимн целого народа. Всю эту многообразную, вдохновляющую силу зажжет в песне Руже де Лилия вдохновение, подобное тому, что породило ее. А пока ее слова и мелодия, в их волшебном созвучии, не проникли еще в душу нации; армия не познала еще в ней своего походного марша, песни победы, а революция — бессмертного пеона, гимна своей славы.

Да и сам Руже де Лиль, с которым произошло это чудо, не больше других понимает значение того, что он создал в лунатическом состоянии под чарами некоего изменчивого духа. Этот симпатичный дилетант от души рад аплодисментам и любезным похвалам. С мелким тщеславием маленького человека он стремится до конца использовать свой маленький успех в маленьком провинциальном кругу. Он поет новую песню своим друзьям в кофейнях, заказывает с нее рукописные копии и посылает их генералам Рейнской армии. Тем временем по приказу мэра и рекомендациям военного начальства страсбургский полковой оркестр Национальной гвардии разучивает «Походную песню Рейнской армии», и четыре дня спустя, при выступлении войск, исполняет ее на главной площади города. Патриотически настроенный издатель вызывается напечатать ее, и она выходит с почтительным посвящением Руже де Лилия его начальнику, генералу Люкнеру. Никто из генералов и не думает, однако, вводить у себя при походе новый марш: очевидно, и этой песне Руже де Лилия, подобно всем предшествующим ей произведениям, суждено ограничиться салонным успехом одного вечера, остаться эпизодом провинциальной жизни, обреченным на скорое забвение.

Но никогда живая сила, вложенная в творение мастера, не даст надолго упрятать себя под замок. Творение могут на время забыть, оно может быть запрещено, даже похоронено, и все же стихийная сила, живущая в нем, одержит победу над переходящим. Месяц, два месяца о «Походной песне Рейнской армии» ни слуху ни духу. Печатные и рукописные экземпляры ее валяются где-нибудь или ходят по рукам равнодушных людей. Но достаточно и того, если вдохновенный труд воодушевит хотя бы одного-единственного человека, ибо подлинное воодушевление всегда плодотворно. 22 июня на противоположном конце Франции, в Марселе, клуб «Друзей конституции» дает банкет в честь выступающих в поход добровольцев. За длинными столами сидят пятьсот пылких юношей в новеньких мундирах Национальной гвардии. Здесь царит то же лихорадочное оживление, что и на пирушке в Страсбурге 25 апреля, но еще более страстное и бурное благодаря южному темпераменту марсельцев и вместе с тем не столь крикливо победоносное, как тогда, в первые часы по объявлении войны. Ибо, вопреки хвастливым заверениям генералов, что французские революционные войска легко переправятся через Рейн и повсюду будут встречены с распростертыми объятиями, этого отнюдь не произошло. Напротив, неприятель глубоко вклинился в пределы Франции, он угрожает ее независимости, свобода в опасности.

В разгар банкета один из юношей — имя его Мирер, он студент-медик университета в Монпелье — стучит по своему бокалу и встает. Все умолкают и глядят на него, ожидая речи, тоста. Но вместо этого юноша, подняв руку, запекает песню, какую-то совсем новую, незнакомую им и неведомо как попавшую в его руки песню, которая начинается словами: «Вперед, сыны отчизны милой!» И вдруг, словно искра попала в бочку с порохом, вспыхнуло пламя: чувство соприкоснулось с чувством — извечные полюсы человеческой воли. Все эти выступающие в поход юноши жаждут сразиться за дело свободы, готовы умереть за отечество; в словах песни они услышали выражение своих самых заветных желаний, самых сокровен-

ных дум; ее ритм неудержимо захватывает их единым восторженным порывом воодушевления. Каждая строфа сопровождается ликующими возгласами, песня исполняется еще раз, все уже запомнили ее мотив и, повскакав с мест, с поднятыми бокалами громовыми голосами вторят припеву: «К оружию, граждане! Ровняй военный строй!» На улице под окнами собрались любопытные, желая послушать, что это здесь поют с таким воодушевлением, и вот они тоже подхватывают припев, а на другой день песню распевают уже десятки тысяч людей. Она печатается новым изданием, и когда 2 июля пятьсот добровольцев покидают Марсель, вместе с ними выходит оттуда и песня. Отныне всякий раз, когда люди устанут шагать по большим дорогам и силы их начнут сдавать, стоит кому-нибудь затащить новый гимн, и его бодрящий, подхлестывающий ритм придает шагающим новую энергию. Когда они проходят по деревне и отовсюду сбегаются крестьяне поглазеть на солдат, марсельские добровольцы запевают ее дружным хором. Это их песня: не зная, кем и когда она была написана, не зная и того, что она предназначалась для Рейнской армии, они сделали ее гимном своего батальона. Она их боевое знамя, знамя их жизни и смерти, в своем неудержимом стремлении вперед они жаждут пронести ее над миром.

Париж — вот первая победа Марсельезы, ибо так будет вскоре называться гимн, сочиненный Руже де Лилем. 30 июля батальон марсельских добровольцев со своим знаменем и песней шагает по предместьям города. На улицах толпятся тысячи и тысячи парижан, желая оказать солдатам почетную встречу; и когда пятьсот человек, маршируя по городу, дружно, в один голос поют в такт своим шагам песню, толпа настаивается. Что это за песня? Какая чудесная, окрыляющая шаг мелодия! Какой торжественный, точно звуки фанфар, припев: «К оружию, граждане!» Эти слова, сопровождаемые раскатистой барабанной дробью, проникают во все сердца! Через два-три часа их поют уже во всех концах Парижа. Забыта Карманьола, забыты все истасканные куплеты и старые

марши. Революция обрела в Марсельезе свой голос, и революция приняла ее как свой гимн.

Победоносное шествие Марсельезы неудержимо, оно подобно лавине. Ее поют на банкетах, в клубах, в театрах и даже в церквях после *Te Deum*, а вскоре и вместо этого псалма. Как-нибудь два-три месяца, и Марсельеза становится гимном целого народа, походной песней всей армии. Серван, первый военный министр французской республики, сумел почувствовать огромную окрыляющую силу этой единственной в своем роде национальной походной песни. Он издает приказ срочно разослать сто тысяч экземпляров Марсельезы по всем музыкантским командам, и два-три дня спустя песня неизвестного автора получает более широкую известность, чем все произведения Расина, Мольера и Вольтера. Ни одно торжество не заканчивается без Марсельезы, ни одна битва не начинается, прежде чем полковой оркестр не проиграет этот марш свободы. В сражениях при Жемаппе и Нервиндене под его звуки строятся для атаки французские войска, и вражеские генералы, подбадривающие своих солдат по старому рецепту двойной порцией водки, с ужасом видят, что им нечего противопоставить всеокрушающей силе этой «страшной» песни, которая, когда ее хором поют тысячи голосов, буйной волной бьет по рядам их солдат. Всюду, где сражается Франция, парит Марсельеза, подобно крылатой Nike, богине победы, увлекая на смертный бой бесчисленное множество людей.

А между тем в маленьком гарнизоне Хюнинга сидит никому на свете не известный капитан инженерных войск Руже де Лиль, прилежно вычерчивая планы траншей и укреплений. Быть может, он успел уже и забыть «Походную песню Рейнской армии», созданную им в ту давно минувшую ночь на 26 апреля 1792 года; по крайней мере, когда он читает в газетах о новом гимне, о новой походной песне, покорившей Париж, ему и в голову не приходит, что эта победоносная «Песня марсельцев», каждый ее такт, каждое слово ее и есть то самое чудо, которое совершилось в нем, произошло с ним далекой апрельской ночью. Злая насмешка судьбы: эта до небес звуча-

щая, к звездам возносящая мелодия не вздымает на своих крыльях единственного человека — именно того, кто ее создал. Никто в целой Франции и не думает о капитане инженерных войск Руже де Лиле, и вся огромная, небывалая для песни слава достается самой песне: даже слабая тень ее не падает на автора. Имя его не печатается на текстах Марсельезы, и сильные мира сего, верно, так и не вспомнили бы о нем, не возбудил он сам их враждебного к себе внимания. Ибо — и это гениальный парадокс, который может изобрести только история, — автор гимна революции вовсе не революционер; более того: он, как никто другой способствовавший своей бессмертной песней делу революции, готов отдать все свои силы, чтобы сдержать ее. И когда марсельцы и толпы парижан с его песней на устах громят Тюильри и свергают короля, Руже де Лиль отворачивается от революции. Он отказывается присягнуть Республике и предпочитает выйти в отставку, чем служить якобинцам. Он не желает вкладывать новый смысл в слова своей песни «свобода дорогая»; для него деятели Конвента то же, что коронованные тираны по ту сторону границы. Когда по приказу Комитета общественного спасения ведут на гильотину его друга и крестного отца Марсельезы, мэра Дитриха, генерала Люкнера, которому она посвящена, и всех офицеров-дворян, бывших первыми ее слушателями, Руже дает волю своему озлоблению; и вот — ирония судьбы! — певца революции бросают в тюрьму как контрреволюционера, судят его за измену родине. И только 9 термидора, когда с падением Робеспьера распахнулись двери темниц, спасло французскую революцию от нелепости — отправить под «национальную бритву»\* творца своей бессмертной песни.

И все же то была бы героическая смерть, а не прозябание в полной безвестности, на которое он обречен отныне. Больше чем на сорок лет, на тысячи и тысячи долгих дней суждено злополучному Руже пережить свой единственный в жизни

---

\*Имеется в виду гильотина.

подлинно творческий час. У него отняли мундир, лишили его пенсии; стихи, оперы, пьесы, которые он пишет, никто не печатает, их нигде не ставят. Судьба не прощает дилетанту его вторжения в ряды бессмертных; мелкому человеку приходится поддерживать свое мелкое существование всякого рода мелкими и далеко не всегда чистыми делишками. Карно и позднее Бонапарт пытаются из сострадания помочь ему. Однако с той злосчастной ночи что-то безнадежно надломилось в его душе; она отравлена чудовищной жестокостью случая, дозволившего ему три часа пробить гением, богом, а затем с презрением отшвырнувшего его к прежнему ничтожеству. Руже ссорится со всеми властями: Бонапарту, который хотел ему помочь, он пишет дерзкие патетические письма и во всеуслышание хвастает, что голосовал против него. Запутавшись в делах, Руже пускается на подозрительные спекуляции, попадает даже в долговую тюрьму Сент-Пелажи за неуплату по векселю. Всем досадивший, осаждаемый кредиторами, выслеживаемый полицией, он забирается под конец куда-то в провинциальную глушь и оттуда, точно из могилы, всеми покинутый и забытый, наблюдает за судьбой своей бессмертной песни. Ему довелось еще быть свидетелем того, как Марсельеза вместе с победоносными войсками Наполеона вихрем промчалась по всем странам Европы, после чего Наполеон, едва став императором, вычеркнул эту песню, как слишком революционную, из программ всех официальных торжеств, а после Реставрации Бурбоны и совсем запретили ее. И когда по прошествии целого человеческого века, в июльскую революцию 1830 года, слова и мелодия песни со всей былой силой вновь прозвучали на баррикадах Парижа и король-буржуа Луи-Филипп пожаловал ее автору крохотную пенсию, озлобленный старик не испытывает уже ничего, кроме удивления. Зброшенному в своем одиночестве человеку кажется чудом, что о нем кто-то вдруг вспомнил; но и эта память недолговечна, и когда в 1836 году семидесятишестилетний старец умер в Шуази-ле-Руа, никто уже не помнил его имени.

И лишь во время мировой войны, когда Марсельеза, давно уже ставшая государственным гимном, вновь воинственно гремела на всех фронтах Франции, последовал приказ перенести прах маленького капитана Руже де Лилия в Дом Инвалидов и похоронить его рядом с прахом маленького капрала Бонапарта; наконец-то неведомый миру творец бессмертной песни мог отдохнуть в усыпальнице славы своей родины от горького разочарования, что лишь единственную ночь довелось ему быть поэтом.







## ПЕРВОЕ СЛОВО ИЗ-ЗА ОКЕАНА

(Сайрус Филд, 28 июля 1858 года)

### НОВЫЙ РИТМ

**В** течение тысяч, а может быть, и сотен тысяч лет, прошедших со времени появления на земле удивительного существа, именуемого человеком, мерилom скорости была скорость бегущей лошади, катящегося колеса, корабля, идущего на веслах или под парусами. Все, вместе взятые, технические открытия, сделанные за весь тот короткий, освещенный сознанием промежуток времени, который мы называем мировой историей, не привели к сколько-нибудь значительному ускорению ритма движения. Армии Валленштейна продвигались вперед едва ли быстрее, чем легионы Цезаря: войска Наполеона не наступали стремительнее, чем орды Чингисхана; корветы Нельсона пересекали моря лишь немногим быстрее, чем пиратские ладьи викингов или галеры финикийцев. Лорд Байрон в путешествиях Чайльд-Гарольда преодолевал ежедневно не больше миль, чем Овидий на пути в понтийскую ссылку; Гете в восемнадцатом столетии путешествовал почти с таким же комфортом и такой же скоростью, как апостол Павел в начале первого тысячелетия. В эпоху Наполеона время и пространство так же разделяли страны, как и в годы Римской империи; упорство материи все еще брало верх над человеческой волей.

И только девятнадцатый век коренным образом меняет ритм и мерилo скорости на земле. За первые два десятилетия страны и народы сблизались теснее, чем за все прошедшие тысячелетия; железные дороги и пароходы свели к одному дню

многодневные путешествия прошлого, превратили в минуты бесконечные часы, проводимые доселе в пути. Но какими поразительными ни казались современникам скорости железных дорог и пароходов, они все-таки не выходили из пределов, доступных пониманию. Их скорости в пять, десять, двадцать раз превосходили ранее известные, однако все же было возможно следить за ними взглядом и постигать умом разгадку кажущегося чуда. Но уже первые успехи электричества, этого Геркулеса еще в колыбели, производят настоящий переворот, опрокидывают все ранее установленные законы, отбрасывают все принятые мерки. Мы, более поздние поколения, никогда не сможем до конца понять восхищения тех, кто был свидетелем первых успехов электрического телеграфа, их безмерного и восторженного удивления перед тем, что та же самая, едва ощутимая искра Лейденской банки, которая еще вчера преодолевала лишь расстояние в один дюйм до сустава подставленного пальца, превратилась вдруг в могучую силу, способную проложить себе путь через равнины, горы и целые материки; что едва додуманная до конца мысль, не успевшая еще просохнуть запись на бумаге в ту же секунду принимается, читается, понимается за тысячи миль; что невидимый ток между полюсами крошечного вольтова столба может распространяться по всей земле, пробегая ее из конца в конец; что игрушечный прибор в лаборатории физика, еще вчера способный лишь на то, чтобы наэлектризованным стеклом притянуть несколько клочков бумаги, заключает в себе силу и скорость, равную миллионам и миллиардам человеческих сил и скоростей, невидимую силу, которая приводит в движение поезда, освещает дома и улицы, доставляет известия и, как Ариэль, незримо витает в воздухе. Это открытие впервые со дня сотворения мира в корне меняет представление о времени и пространстве.

Этот знаменательный для всего мира 1837 год, когда телеграф впервые связал воедино разобщенные человеческие судьбы, лишь изредка упоминается авторами наших школьных

учебников, которые, к сожалению, все еще считают более важным повествовать о войнах и победах отдельных полководцев или государств вместо того, чтобы говорить о всеобщих — единственно подлинных — победах человечества. И, однако, новая история не знает другого такого события, которое могло бы по своему психологическому воздействию сравниться с этой переоценкой самого понятия времени. Мир стал другим с тех пор, как в Париже можно узнать, что в эту самую минуту происходит в Амстердаме, Москве, Неаполе, Лиссабоне. Нужно сделать последний шаг — и все части света будут вовлечены в грандиозный всемирный союз, объединенный единым общечеловеческим сознанием.

Но природа все еще противится окончательному воссоединению человечества, все еще ставит непреодолимые преграды, и еще два десятилетия остаются разобращенными те страны, которые отрезаны друг от друга морями. Проложить электрическую линию через море невозможно, так как вода поглощает ток, который в воздухе беспрепятственно распространяется по проводам, подвешенным на фарфоровых изоляторах, а вещество, которое могло бы изолировать железные и медные провода в водной среде, еще не открыто.

К счастью, в эпохи интенсивного развития одно изобретение прокладывает путь для другого. Через несколько лет после постройки первых сухопутных телеграфных линий найдено вещество, которое способно изолировать в воде провода, несущие ток, — гуттаперча. Теперь можно включить в телеграфную сеть Европы важнейшую страну вне континента — Англию. Инженер по фамилии Брет прокладывает первый кабель через Ла-Манш, в том самом месте, где впоследствии Блерио первым пересечет его на самолете. Нелепый случай помешал немедленному успеху предприятия: в Булони один рыбак, решив, что ему попался необычайно жирный угорь, вытащил на поверхность уже проложенный кабель. Но в 1851 году вторая попытка увенчалась полным успехом. Итак, Англия присоединена к матерiku, и с этого момента Европа впервые стала настоящей Европой, единым организмом, который одним об-

щим сердцем и одним общим мозгом одновременно воспринимает все события эпохи.

Такие блестящие достижения в течение столь немногих лет — ибо десятилетие не больше чем краткий миг в истории человечества — не могли не пробудить безграничную отвагу в современниках. Все, что задумано, — удастся, удастся со сказочной быстротой. Проходит немного лет, и вот телеграф уже связал Англию с Ирландией, Данией и Швецией, а Корсику с материком, и уже нащупывается почва для включения в общую сеть Египта, затем Индии. Только одна часть света, и едва ли не важнейшая — Америка, — казалось, обречена еще долгое время оставаться вне этой связующей весь мир цепи. Как пронизать одной линией безбрежные просторы Атлантического или Тихого океана, где невозможно создать какую-либо промежуточную станцию? В те годы, когда электричество едва вышло из младенчества, задача состояла из одних неизвестных. Еще не измерена глубина океана, недостаточно исследован рельеф его дна, не проверено, может ли кабель, опущенный на такую глубину, выдержать давление гигантских масс воды. И даже если бы прокладка такого бесконечно длинного кабеля на такой глубине была технически осуществима, где найти корабль, который может поднять две тысячи миль кабеля из железа и меди? Где найти генератор, вырабатывающий ток, способный беспрепятственно преодолеть расстояние, которое корабли проходят в лучшем случае за две-три недели? Все необходимые предпосылки отсутствуют. Еще не установлено, не циркулируют ли в океанских глубинах магнитные токи, которые могут вызвать отклонение электрического тока; нет достаточно надежной изоляции, точных измерительных приборов; известны только элементарные законы электричества, едва пробудившегося от своего векового сна. «Неосуществимо! Безумие!» — отмахиваются ученые, как только речь заходит о прокладке трансокеанского кабеля. «Может быть, позже», — говорят наиболее смелые из инженеров. Даже сам Морзе, человек, который больше всех способствовал усовершенствованию телеграфа, считает это предприятие слишком

смелым. Но ему же принадлежат пророческие слова, что в случае успеха прокладка трансокеанского кабеля будет «the great feat of the century» — величайшим подвигом столетия.

Для того чтобы чудо или принимаемое за чудо свершилось, необходим прежде всего человек, способный уверовать в него. Мужество неведения иногда преодолевает препятствия, перед которыми в нерешительности останавливаются ученые. И как это часто бывает, и здесь простая случайность дает первый толчок всему грандиозному предприятию. Один английский инженер, по фамилии Гисборн, начавший в 1854 году подготовительные работы по прокладке кабеля из Нью-Йорка к самой восточной точке Америки — Ньюфаундленду, чтобы известия с кораблей поступали на несколько дней раньше, должен прервать эти работы, так как его денежные средства исчерпаны. Он отправляется в Нью-Йорк, рассчитывая найти там финансовую помощь. И там по чистой случайности, этой матери стольких славных подвигов, он сталкивается с одним молодым человеком, сыном пастора, Сайрусом Филдом, который благодаря неизменной удаче в коммерческих делах быстро нажил значительное состояние и смог еще в молодости отойти от дел. К этому ничем не занятому человеку, слишком молодому и энергичному, чтобы вынести долгую бездеятельность, и обращается Гисборн, надеясь получить от него помощь для завершения начатой работы. Однако Сайрус Филд — можно сказать, к счастью, — не инженер, не специалист. Он ничего не понимает в электричестве и никогда в жизни не видел кабеля. Но в крови у сына пастора — страстная вера, в крови американца кипит энергия и отвага. И там, где английский инженер видел лишь простую и близкую цель — связать Нью-Йорк с Ньюфаундлендом, — увлекающийся молодой человек увидел иные возможности. Почему в таком случае не связать подводным кабелем Ньюфаундленд с Ирландией? С небывалой энергией, готовый преодолеть любое препятствие (за один только год этот человек тридцать один раз пересек океан, отделяющий Старый Свет от Нового) Сайрус Филд принимается за дело, твердо решив посвятить все

силы и средства осуществлению задуманного предприятия. Это и явилось той искрой, которая вызывает взрыв, превращающий мысль в созидательную силу. Новая волшебная сила электричества соединилась с другим, сильнеешим движущим началом — человеческой волей. Человек нашел свою жизненную задачу, и задача нашла человека, способного ее разрешить.

## ПРИГОТОВЛЕНИЯ

С небывалой настойчивостью принимается Сайрус Филд за дело. Он связывается со специалистами, осаждает правительства просьбами о разрешении, в обоих полушариях проводит кампанию по сбору необходимых средств; и так сильна энергия, исходящая от этого совершенно неизвестного человека, так непоколебима его страстная убежденность, так велика его вера в чудотворную силу электричества, что акции основного капитала на сумму триста пятьдесят тысяч фунтов стерлингов размещены в Англии в течение нескольких дней. В Ливерпуле, Манчестере, Лондоне достаточно было призвать богатейших коммерсантов к учреждению «Telegraph Construction and Maintenance Company»\*, чтобы деньги полились рекой. Среди акционеров — Теккерей и леди Байрон; они далеки от деловых интересов, но грандиозная идея увлекла их, и они пожелали внести свой вклад в задуманное предприятие. И ни в чем не проявилась так ярко вера в технику, воодушевлявшая Англию во времена Стивенсона, Брюнеля и других великих изобретателей, как в той легкости, с какой огромная сумма была предоставлена по первому призыву на совершенно фантастическое и безнадежное начинание.

Приблизительная стоимость прокладки кабеля — единственное достоверно известное из всех исходных данных. Нет технического опыта прокладки, на который можно было бы опереться. Нет опыта планирования; такие грандиозные пред-

---

\*Компания по постройке и эксплуатации телеграфа (англ.).

приятия еще неизвестны девятнадцатому веку. Разве можно сравнить трудности прокладки трансокеанского кабеля с преодолением узкой полосы воды между Дувром и Кале? Там все дело свелось к тому, чтобы размотать с верхней палубы обыкновенного колесного парохода тридцать или сорок миль кабеля, который раскручивался с такой же легкостью, как простая якорная цепь. При прокладке кабеля в проливе можно было спокойно ждать благоприятной погоды, была точно известна глубина, корабль всегда оставался в виду одного из берегов, что ограждало от неприятных неожиданностей, и, наконец, все предприятие не требовало для своего осуществления больше одного дня. Но при работе в океане, которая должна продлиться по меньшей мере две-три недели, кабель, в сто раз длиннее и тяжелее, нельзя оставлять на верхней палубе, подвергая его всем превратностям непогоды. Да и ни один корабль того времени не может вместить в свой трюм этот гигантский кокон из железа, меди и гуттаперчи, ни один корабль не обладает достаточной мощностью, чтобы поднять такой груз. Для этого требуется по меньшей мере два основных судна и несколько вспомогательных, которые следили бы за правильностью курса и в случае необходимости могли бы оказать помощь. Правда, английское правительство предоставило для этой цели «Агамемнон» — один из самых крупных военных кораблей, флагманское судно английского флота под Севастополем, американское правительство — «Ниагару», крупнейший по тем временам фрегат водоизмещением в пять тысяч тонн. Но оба корабля сначала нужно специально оборудовать, чтобы каждый из них мог поднять половину бесконечной цепи, которая должна соединить две части света. Однако главное затруднение представлял, конечно, сам кабель. Огромные требования предъявлены к этой гигантской пуповине, которой предстоит связать два полушария. Кабель должен быть так же прочен на разрыв, как стальной трос, и вместе с тем не терять гибкости, чтобы его легко было укладывать. Он должен выдерживать любое давление, любую нагрузку и вместе с тем разматываться с легкостью шелковой нити. Он должен быть мас-

сивным, но не громоздким, прочным, но настолько чувствительным, чтобы передавать на две тысячи миль самый слабый электрический сигнал. Достаточно тончайшей трещины, малейшей неровности на каком-либо участке этого гигантского провода, чтобы прекратить движение тока по всему четырнадцатидневному пути.

Но Сайрус Филд принимает вызов! День и ночь работают фабрики, несокрушимая воля этого человека приводит в движение весь механизм. Целые рудники опустошаются, чтобы доставить необходимое количество железа и меди; целые леса каучуковых деревьев отдают свою кровь, чтобы изготовить гуттаперчевую оболочку такой колоссальной длины. Но ничто не показывает так ощутимо огромных масштабов задуманного, как триста шестьдесят семь тысяч миль переплетенных жил, в совокупности составляющих стержень кабеля, — в тридцать раз больше, чем требуется, чтобы опоясать Землю, и столько же, сколько нужно, чтобы соединить прямой линией землю с Луной. Со времен Вавилонской башни человечество не отваживалось на столь грандиозное, с технической точки зрения, предприятие.

## ПЕРВОЕ ОТПЛЫТИЕ

Целый год неустанно крутились машины, непрерывно наматывалась в трюмах обоих кораблей тонкая, ровная нить кабеля, поступающего с фабрик, и, наконец, после многих тысяч оборотов, каждая половина кабеля на каждом корабле намотана на барабаны. Уже установлены снабженные тормозами специально сконструированные тяжеловесные машины, способные давать обратный ход, которым предстоит безостановочно в течение одной, двух, трех недель опускать кабель в глубину океана. Лучшие инженеры и электротехники, в числе которых сам Морзе, собрались на борту, чтобы во время прокладки непосредственно проверять своими приборами действие электрической цепи. Репортеры и художники присоеди-



нились к флотилии, чтобы кистью и пером запечатлеть это волнующее отплытие, которое может сравниться лишь с отплытием экспедиций Колумба и Магеллана.

Наконец, все приготовления закончены, и если до сих пор многие относились к задуманному скептически, то теперь вся Англия со страстным интересом следит за развитием событий. 5 августа 1857 года сотни лодок и судов окружают кабельную флотилию в маленьком ирландском порту Валенсии, чтобы быть свидетелем того исторического момента, когда конец кабеля будет спущен с корабля и закреплен на земле Европы. Прощание стихийно превратилось в торжество. Правительство прислало своих представителей, произносятся речи, в волнующих словах священник испрашивает божье благословение смелым путешественникам. «О Боже всемогущий, — говорит он, — ты один распростираешь небеса, держишь в руке волны морские и повелеваешь бурями и ветрами. Воззри с милосердием на слуг твоих. Устрани могуществом твоим все преграды с их пути, сокруши все препятствия, дабы они свершили свой благородный замысел».

Тысячи рук и шляп взметнулись на берегу и в гавани. Медленно скрывается из глаз земля. Близится осуществление одного из самых смелых мечтаний человечества.

## НЕУДАЧА

Первоначально предполагалось, что оба корабля, «Агамемнон» и «Ниагара», несущие каждый по половине кабеля, вместе дойдут до заранее намеченной точки посреди океана, где обе половины кабеля будут сращены. Затем один корабль должен был направиться на запад, взяв курс на Ньюфаундленд, другой — на восток, к Ирландии. Однако риск потерять при первой же попытке весь драгоценный кабель показался слишком большим, и было решено, что первый участок будет прокладываться начиная от берегов Ирландии, тем более что еще неизвестно, сможет ли вообще исправно дей-

ствовать подводная телеграфная линия такой протяженности.

Задача уложить кабель от берега до середины океана выпала на долю «Ниагары». Медленно, осторожно отправляется в путь американский фрегат, словно гигантский паук, выпуская из своего туловища непрерывную нить. Медленно, размеренно грохочет на борту укладываемая кабель машина, производя привычный, хорошо известный всем морякам шум разматываемой якорной цепи, которая погружается в глубину с барабана лебедки. И уже через несколько часов люди на борту корабля обращают на этот однообразный, размеренный шум не больше внимания, чем на биение собственного сердца.

Все дальше и дальше уходит в море корабль, все так же непрерывно опускается за корму кабель. И кажется, что нет ничего необычного в этом необычном плавании. Только в специальной каюте сидят у своих аппаратов электротехники, непрерывно обмениваясь сигналами с ирландским берегом. И поразительно: хотя берег давно пропал из вида, подводный кабель работает с такой же четкостью, как если бы линия связывала один европейский город с другим. Уже остались позади небольшие глубины прибрежной полосы, уже пройдена часть так называемого глубоководного плато, поднимающегося позади Ирландии, но все так же равномерно, как песок в песочных часах, бежит за корму металлическая нить, по которой одновременно передаются и принимаются известия.

Уже уложено триста тридцать пять миль — в десять раз больше, чем расстояние от Дувра до Кале, уже преодолена неуверенность и тревога первых пяти дней и ночей, уже решил себе отдохнуть после многочасового напряжения и беспокойства вечером одиннадцатого августа Сайрус Филд. И вдруг что-то произошло — равномерный грохот машины оборвался. Как мгновенно просыпается от неожиданной остановки поезда задремавший пассажир, как в ужасе вскакивает с постели мельник, когда останавливается мельничное колесо, так в мгновение ока все участники экспедиции уже на ногах и бросаются на палубу. Один взгляд на машину — и все ясно:

барабан укладываемой машины пуст. Кабель оборвался так внезапно, что невозможно было подхватить оторвавшийся кусок, и теперь совершенно безнадежно искать его в глубине, чтобы поднять на поверхность. Произошло непоправимое: небольшая техническая ошибка свела на нет работу многих лет. Победенными возвращаются отважные участники экспедиции в Англию, которую внезапно замолкший телеграф уже подготовил к самому худшему.

## СНОВА НЕУДАЧА

Сайрус Филд, единственный, оставшийся непоколебимым герой и вместе с тем коммерсант, подводит баланс. Насколько велики убытки? Триста миль кабеля, около ста тысяч фунтов акционерного капитала и — что, быть может, более всего удручает его — потеря целого года. Ибо экспедиция может рассчитывать на благоприятную погоду только летом, а в этом году время уже упущено. Но плавание принесло не только убытки; во время первой экспедиции приобретен немалый практический опыт. Сам кабель, доказавший свою полную пригодность, можно перемотать и использовать в следующей экспедиции. Необходимо изменить только конструкцию укладываемых машин, по вине которых произошел злополучный обрыв. Так в ожидании и подготовительных работах проходит еще год. Наконец, 10 июня 1858 года те же самые корабли со старым кабелем и новыми надеждами выходят в море. Так как при первом путешествии телеграфная линия работала безукоризненно, решено вернуться к первоначальному плану: производить укладку одновременно в обе стороны, начиная с середины океана. Первые дни новой экспедиции ничем не примечательны. Лишь на седьмой день, когда будет достигнут намеченный пункт, должна начаться укладка кабеля и вместе с ней настоящая работа. А пока что экспедиция напоминает обычную морскую прогулку. Машины стоят в бездействии, матросы отдыхают и наслаждаются ясной по-

годой; безоблачно небо, спокоен, может быть, слишком спокоен, океан.

Однако на третий день смутное беспокойство охватывает капитана «Агамемнона». Взглянув на барометр, он увидел, что столбик ртути падает с ужасающей быстротой. Это предвещает резкую перемену погоды, и действительно, на четвертый день разражается буря, такая буря, какую даже бывалым морякам редко приходилось испытывать в Атлантическом океане. По воле случая ураган захлестнул именно английский корабль. Превосходно оснащенный, испытанный в бурях и в огне войны, флагманский корабль английского флота, казалось, должен бы противостоять любому несчастью. Но, к несчастью, корабль полностью перестроен для приема гигантского груза. Кроме того, невозможно было, как это делают на обыкновенных грузовых пароходах, равномерно распределить нагрузку по всей площади трюма, и вся огромная тяжесть кабеля приходилась на его середину. Только небольшая часть кабеля была перегружена на носовую часть, но это только усугубило опасность, так как при каждом движении корабля вверх и вниз качка увеличивалась вдвое. Это облегчает буре ее жестокую игру: корабль накреняется вправо, влево, вперед, назад, под углом в 45 градусов, волны перекатываются через палубу, смывая все находящиеся на ней предметы. Новое несчастье: при одном чудовищном ударе, который сотрясает корабль от киля до мачт, лопается перегородка, за которой находился сложенный на палубе уголь. Градом черного щебня обрушивается вся масса угля на матросов, и без того уже окровавленных и измученных. Многие ранены кусками угля, находившиеся в камбузе обварены кипятком из перевернувшегося котла, один из матросов сошел с ума, не вынеся десятидневного шторма. Команда уже готова прибегнуть к крайнему средству: выбросить за борт часть кабеля, который грозит погубить корабль. К счастью, капитан, не решаясь взять на себя такую ответственность, воспротивился этому и оказался прав. «Агамемнон» выдержал все испытания десятидневного шторма и, несмотря на значительное опоздание, присоединился к остальным ко-

раблям в условленном месте, откуда должна была начаться укладка.

Но только теперь обнаруживается, как сильно пострадал от беспрестанных толчков драгоценный, изготовленный из тысячекратно переплетенных проволок чувствительный груз. В некоторых местах перепутались жилы, протерлась или прорвалась гуттаперчевая оболочка. Несмотря на все это, почти без всякой надежды на успех, делается несколько попыток начать укладку, но они приводят только к потере двухсот миль кабеля, которые без всякой пользы исчезают в океане. Пришлось еще раз спустить флаг и возвратиться на родину не триумфаторами, а побежденными.

### ТРЕТЬЕ ПЛАВАНИЕ

В Лондоне перепуганные акционеры, уже осведомленные о новой неудаче, ожидали возвращения Сайруса Филда, того, кто ввел их в искушение и расходы. Половина акционерного капитала уже истрачена на две экспедиции — и ничего не достигнуто, ничего не доказано; не приходилось сомневаться, что большинство заявит теперь: «Довольно!» Председатель правления советует спасти то, что еще можно спасти. Он предлагает снять с кораблей неиспользованный кабель, продать его, в крайнем случае даже в убыток, и поставить крест на этом безумном плане трансокеанской связи. Вице-председатель присоединяется к его мнению и заявляет о своей отставке, чтобы подчеркнуть, что он не желает иметь ничего общего с этим абсурдным предприятием. Но вера Сайруса Филда и его упорство непоколебимы. Ничто еще не потеряно, говорит он. Кабель блестяще выдержал испытание, на кораблях его еще достаточно, чтобы предпринять новое путешествие, флотилия готова к отплытию, экипажи наняты, а страшная буря, разразившаяся во время последней экспедиции, позволяет надеяться на несколько недель ясной, безветренной погоды. Нужно мужество, одно только мужество. Надо

собрать все силы для последней попытки — теперь или никогда!

Акционеры растерянно переглядываются: неужели доверить этому одержимому остаток капитала? Но так как сильная воля всегда увлекает за собой колеблющихся, то Сайрус Филд вырвал у акционеров согласие на новую экспедицию. 17 июля 1858 года, через пять недель после второго злополучного плавания, флотилия в третий раз выходит из английского порта.

И на этом примере еще раз подтверждается старая истина, что важнейшие предприятия лучше всего удаются, когда вокруг них не поднимают шума. На этот раз отплытие проходит совершенно незамеченным. Лодки и яхты не провожают отплывающие корабли пожеланиями удачи, толпы любопытных не собираются на берегу, не устраивается торжественного прощального банкета, не произносят речей, не испрашивают Божьей помощи. Скрытно и бесшумно, как пиратские корабли, выходит в море флотилия. Но море встречает их дружелюбно. Точно в назначенный день, 28 июля 1858 года, через одиннадцать дней после отплытия из Куинстауна, «Агамемнон» и «Ниагара», встретившись в указанном месте, могут начать свой титанический труд.

Редкостное зрелище — корма с кормой сходятся корабли. Теперь между ними будут сращены концы кабеля. Без всякой торжественности, не вызывая даже особого интереса у матросов, разочарованных предыдущими бесплодными попытками, железно-медный кабель опускается в глубину, на самое дно океана, куда не опускался еще ни один лот. В последний раз приветствуют друг друга оба судна, поднимаются на мачтах флаги — и английский корабль направляется к берегам Англии, американский — к берегам Америки. Корабли удаляются друг от друга, как две блуждающие точки в безграничных просторах океана, но кабель продолжает связывать их; впервые в истории человечества два корабля, разделенные пространством и невидимые друг другу, могут переговариваться сквозь ветер, волны и океанские дали. Каждый несколько часов электрический сигнал с одного корабля, промчавшись по

глубинам океана, извещает другой о длине уложенного кабеля, и каждый раз второй корабль посылает ответный сигнал, извещая, что погода благоприятствует укладке и что преодолено такое же расстояние. Так проходит день, второй, третий, четвертый. Наконец, 5 августа с «Ниагары» сообщают, что корабль находится в заливе Тринити на острове Ньюфаундленд, в виду американского берега, уложив по меньшей мере тысячу тридцать миль кабеля. В тот же день торжествует победу и «Агамемнон», уложивший около тысячи миль и подошедший к берегам Ирландии. Впервые между двумя материками, Европой и Америкой, установилось непосредственное живое общение. Но лишь два корабля — несколько сот людей, находящихся на их борту, — знают, что подвиг совершен. Мир, который уже успел забыть об экспедиции, еще ничего не подозревает. Никто не встречает возвращающиеся корабли ни в Ирландии, ни на Ньюфаундленде; но в ту же самую секунду, когда кабель будет включен в сухопутную телеграфную сеть, все человечество сразу узнает об одержанной им грандиозной победе.

## ВЕЛИКОЕ СЛАВОСЛОВИЕ

Радость, вызванная этим известием, тем сильнее, что оно грянуло как гром среди ясного неба. Почти одновременно, в первые августовские дни, Старый и Новый Свет узнают об успешном завершении работы; произведенное впечатление не поддается описанию. В Англии газета «Таймс», обычно весьма сдержанная, пишет в передовой статье: «Со времени открытия Колумба не было сделано ничего, что в какой-либо степени могло бы сравниться с этим гигантским расширением сферы человеческой деятельности». Сити охвачено лихорадкой. Но робкой и бледной кажется горделивая радость Англии по сравнению с той бурей восторга, которая охватила Америку, едва новость успела там распространиться. Деловые операции приостановлены, улицы заполнены возбужденными людьми, спрашивающими, спорящими, кричащими. Доселе никому не

известный Сайрус Филд становится национальным героем. Его имя ставят рядом с именами Франклина и Колумба, весь Нью-Йорк и сотни других городов с лихорадочным и шумным нетерпением ждут появления человека, благодаря твердости которого осуществилось «бракосочетание юной Америки со Старым Светом». Но восторг еще не достиг своего апогея, так как получено всего лишь скупое предварительное сообщение, что кабель проложен. А работает ли он? Удалось ли установить прочную связь между материками? Грандиозное зрелище: целый город, целый народ, затаив дыхание, ждет первого слова из-за океана. Известно, что прежде всего будет передано поздравление английской королевы, и его ждут с растущим час от часу нетерпением. Но проходят дни за днями, и только вечером 16 августа, после того как наконец устранено случайное повреждение кабеля в самом Ньюфаундленде, послание королевы Виктории достигает Нью-Йорка.

Долгожданная весть пришла слишком поздно, чтобы газеты успели опубликовать официальные сообщения, но едва только послание вывешивается на дверях редакций и телеграфных контор, как огромные толпы людей собираются перед ними. Газетчики, в разорванной одежде, с трудом продираются сквозь праздничные толпы. Новость объявлена в театрах и ресторанах. Тысячи людей, в мозгу которых еще не укладывается, что телеграф на много дней обгоняет самый быстроходный корабль, устремляются в Бруклинский порт, чтобы приветствовать «Ниагару» — героический корабль, одержавший эту мирную победу. На следующий день газеты выходят с огромными заголовками: «Кабель работает безукоризненно», «Восторг населения не знает границ», «Небывалая сенсация всколыхнула весь город», «Настал час всеобщего ликования».

Небывалая победа: впервые с момента возникновения мышления на земле мысль со скоростью мысли пронеслась через океан. И уже гремит артиллерийский салют из ста орудий, возвещая, что президент Соединенных Штатов ответил на послание королевы. Теперь никто не осмеливается сомне-



ваться. Вечером Нью-Йорк и все другие города сверкают десятками тысяч огней и факелов. Все окна освещены, и даже пожар, начавшийся на крыше ратуши, не может помешать ликованию. Следующий день приносит новую радостную весть: в Нью-Йорк прибыла «Ниагара», на борту которой находится сам виновник торжества, Сайрус Филд. Остаток кабеля с триумфом провезен по городу, команде корабля оказан достойный прием. День за днем в каждом городе Соединенных Штатов, от Мексиканского залива до Тихого океана, происходят манифестации, как будто Америка во второй раз празднует свое открытие.

Но и этого мало! Соответствующее моменту триумфальное шествие должно быть еще великолепнее, самым грандиозным из всех, которые когда-либо видел Новый Свет. Приготовления длятся две недели, и наконец в ясный осенний день 31 августа весь город чувствует одного человека — Сайруса Филда, как со времен цезарей и императоров ни один народ не чувствовал победителей. Торжественная процессия так велика, что ей потребовалось шесть часов, чтобы пересечь город с одного конца до другого. По украшенным флагами улицам проходят полки с развернутыми знаменами. За ними бесконечным потоком — хоры и оркестры, пожарные команды, школьники, ветераны. Каждый, кто в состоянии идти, — идет, каждый, кто может петь, — поет, каждый, кто может ликовать, — ликует. В карете, запряженной четверкой лошадей, едет, словно античный триумфатор, Сайрус Филд, во второй — капитан «Ниагары», в третьей — президент Соединенных Штатов, далее — мэры города, высшие чиновники, ученые. Речи, банкеты, факельные шествия без перерыва следуют друг за другом, звонят колокола, гремят артиллерийские залпы, все вновь и вновь вспыхивают взрывы ликования в честь второго Колумба, победителя пространства, объединившего Старый и Новый Свет и ставшего в этот день самым прославленным и любимым героем Америки, — в честь Сайруса Филда.

## КРЕСТНЫЕ МУКИ

Тысячи и миллионы голосов слились в этот день в громкий, ликующий хор. Лишь один-единственный и важнейший голос не присоединился к нему — голос электрического телеграфа. Быть может, уже посреди бурного празднества Сайрус Филд предчувствует ужасную истину, и кто знает, как тяжело ему — единственному, кто осведомлен о том, что именно в этот день трансатлантический кабель перестал действовать; в последние дни по телеграфу поступали все более сбивчивые, все менее четкие сигналы, пока наконец последний невнятный сигнал не долетел, как предсмертный вздох, и провод не замолк окончательно. Только несколько человек во всей Америке, наблюдающие за приемом сигналов в Ньюфаундленде, знали об этом постепенном ухудшении связи. Но и они медлили день за днем, не решаясь сообщить эту горькую весть в самый разгар праздничного ликования. Однако скоро замечают, что телеграммы из Европы поступают очень редко. В Америке ждали, что вести из-за океана будут приходить каждый час, но вместо этого аппарат лишь изредка выстукивает неразборчивые, бессвязные сигналы. Так не могло долго продолжаться, и вот пополз слух, что в спешке и нетерпении, стараясь добиться улучшения связи, по проводам пустили слишком сильный ток, и кабель, и без того уже несовершенный, теперь окончательно испорчен. Еще остается надежда устранить повреждение, но вскоре уже невозможно сомневаться: сигналы становятся все реже, все бессвязнее. И как раз утром 1 сентября, когда не успело еще рассеяться праздничное похмелье, аппарат не принял из-за океана ни одного ясного сигнала.

Люди менее всего склонны проявлять снисходительность в тех случаях, когда их искренние увлечения оканчиваются разочарованием, и особенно к тем, от кого они ожидали всего и кто обманул их ожидания. Едва подтвердился слух о том, что прославленный телеграф перестал действовать, как бурная волна ликования отхлынула обратно и с яростным ожесточением обрушилась на без вины виноватого Сайруса Филда. Он

обманул весь город, всю страну, весь мир, утверждают в Сити, он давно знал о неисправности телеграфа, но из себялюбия предоставил людям чувствовать его, а сам за это время преспокойно сбыл с рук принадлежавшие ему акции, получив неслыханные барыши. Распространяется самая злонамеренная клевета; уже безапелляционно утверждают, что трансатлантический кабель по-настоящему вообще никогда не работал, что все телеграммы оказались мошенничеством и мистификацией, что послание английской королевы было привезено заранее, а вовсе не передано по телеграфу. За все это время, утверждают далее, ни одна телеграмма не была принята в связном виде, и директора телеграфной компании сами стряпали воображаемые тексты сообщений, основываясь на догадках и хаотических сигналах. Разразился подлинный скандал. И те, кто накануне ликовал с особым рвением, теперь громче всех выражают свое негодование. Весь город, вся страна стыдится своих неумеренных и опрометчивых восторгов. Жертвой всеобщего гнева избран Сайрус Филд: тот, кто еще вчера был национальным героем, братом Франклина и преемником Колумба, сегодня должен прятаться, как преступник, от своих прежних друзей и почитателей. Его слава, созданная в один день, в один день и разрушена. Необъятны размеры поражения: потерян капитал, утрачено доверие, и бесполезный кабель, как мифическое морское чудовище, лежит в неизведанных глубинах океана.

## ШЕСТИЛЕТНЕЕ МОЛЧАНИЕ

Шесть лет пролежал бесполезный кабель на дне океана. Шесть лет как царит прежнее холодное молчание между двумя континентами. Шесть лет прошло с того знаменательного момента, когда согласно бился пульс Америки и Европы, которые в мгновение близости, краткое, как вздох, обменялись несколькими сотнями слов и снова, как в прошедшие тысячелетия, оказались разъединенными непреодолимым простран-

ством. Самое отважное предприятие девятнадцатого века, которое еще недавно едва не стало действительностью, снова превратилось в легенду, в миф. Разумеется, никому и в голову не приходит возобновить наполовину удавшуюся попытку; тяжкое поражение парализовало все силы, отняло всякую надежду. В Америке все интересы поглощены гражданской войной Севера и Юга, в Англии еще заседают время от времени комитеты, но им потребовалось два года, чтобы высидеть тощее решение, что теоретически прокладка подводного кабеля возможна. Между этим академическим заключением и превращением его в действительность лежит длинный путь, на который никто не выражает желаний вступить; шесть лет о возобновлении практических попыток думают так же мало, как и о бесполезном кабеле, покоящемся на дне океана.

Но шесть лет — лишь краткое мгновение в грандиозном ходе движения истории — в такой молодой науке, как электротехника, стоят целого тысячелетия. Каждый год, каждый месяц приносит новые открытия. Все более мощными, все более совершенными становятся динамо-машины, все расширяется область их применения, все точнее делаются приборы. Телеграфные линии объединяют уже самые отдаленные уголки континентов, уже проложен кабель через Средиземное море, связавший Европу с Африкой, и год от года рассеивается туман фантастики, который так долго окутывал идею прокладки трансатлантического кабеля. Неизбежно должен наступить час, когда попытка будет возобновлена. Нет только человека, который мог бы вдохнуть в старый замысел новую энергию.

И внезапно человек появился. Кто же он? Все тот же Сайрус Филд, полный прежней веры и прежней убежденности, Сайрус Филд, которого не могли сломить ни молчаливое презрение, ни злобные нападки. В тридцатый раз он пересекает океан и снова появляется в Лондоне. Ему удастся возобновить старые разрешения и собрать новый капитал в шестьсот тысяч фунтов стерлингов. Есть, наконец, и гигантский корабль, о котором раньше приходилось лишь мечтать, — знаменитый

четырёхтрубный «Грейт Истерн» водоизмещением в двадцать две тысячи тонн, построенный Изабаром Брюнелем, корабль, который один способен поднять весь огромный груз кабеля. И — чудо за чудом — именно в 1865 году корабль, слишком смелая конструкция которого опередила свое время, не может найти себе применения и стоит в бездействии. В два дня корабль куплен и снаряжен для экспедиции.

То, что раньше было безмерно трудным, стало теперь простым и легким. 23 июля 1865 года корабль-великан, нагруженный новым кабелем, покидает Темзу. И хотя первая попытка не удастся из-за обрыва кабеля в двух днях пути от цели и ненасытный океан поглощает еще шестьсот тысяч фунтов стерлингов, вера людей в технику слишком сильна, чтобы эта неудача могла заставить их пасть духом. И когда 13 июля 1866 года «Грейт Истерн» снова плывет через океан, то эта вторая экспедиция увенчивается полным успехом. Ясно и четко работает теперь телеграф. Несколько дней спустя найден старый, забытый кабель, и две линии связывают воедино Старый и Новый Свет. Вчерашнее чудо стало нынешней действительностью, и с этого момента пульс времени забился одновременно по всей земле. Все страны и народы одновременно слышат, и видят, и понимают друг друга во всех концах земли, и человечество стало божественно вездесущим благодаря своим собственным творческим силам. Победа над временем и пространством навеки объединила людей, и будущее их было бы прекрасно, если бы не роковое ослепление, все вновь и вновь заставляющее их разрушать это грандиозное единство и применять те же средства, которыми они утвердили свою власть над природой, для уничтожения самих себя.



## СОДЕРЖАНИЕ

### НЕЗРИМАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. *Новеллы*

Лепорелла. <i>Перевод П. Бернштейн</i> . . . . .	7
Незримая коллекция. <i>Перевод П. Бернштейн</i> . . . . .	32
Принуждение. <i>Перевод П. Бернштейн</i> . . . . .	47
Случай на Женевском озере. <i>Перевод П. Бернштейн</i> . . . . .	85
Страх. <i>Перевод И. Хародчинской</i> . . . . .	93
Тайна Байрона. <i>Перевод П. Бернштейн</i> . . . . .	139
Мендель-букинист. <i>Перевод П. Бернштейн</i> . . . . .	161
Неожиданное знакомство с новой профессией. <i>Перевод И. Татариновой</i> . . . . .	188
Шахматная новелла. <i>Перевод В. Ефановой</i> . . . . .	225

### ЛЕГЕНДЫ

Легенда о сестрах-близнецах. <i>Перевод П. Бернштейн</i> . . . . .	283
Глаза извечного брата. <i>Перевод Д. Горфинкеля</i> . . . . .	307
Лионская легенда. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i> . . . . .	343
Легенда о третьем голубе. <i>Перевод Н. Касаткиной</i> . . . . .	353

### РОКОВЫЕ МГНОВЕНИЯ. *Исторические миниатюры*

Миг Ватерлоо. <i>Перевод П. Бернштейн</i> . . . . .	360
Мариенбадская элегия. <i>Перевод М. Лозинского</i> . . . . .	374

Открытие Эльдорадо. <i>Перевод П. Бернштейн</i> . . . . .	384
Смертный миг. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i> . . . . .	394
Борьба за Южный полюс. <i>Перевод П. Бернштейн</i> . . . . .	401

**ЗВЕЗДНЫЕ ЧАСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Исторические миниатюры**

Завоевание Византии. <i>Перевод В. Станевич</i> . . . . .	423
Побег в бессмертие. <i>Перевод Е. Гнедина</i> . . . . .	449
Гений одной ночи. <i>Перевод Г. Еременко</i> . . . . .	473
Первое слово из-за океана. <i>Перевод Л.Засецкого</i> . . . . .	488

**СТЕФАН ЦВЕЙГ**  
**Собрание сочинений**  
**в десяти томах**  
**Том второй**

**Редактор**  
*И. Шурыгина*

**Художественный редактор**  
*И. Марев*

**Технический редактор**  
*Г. Шитова*

**Корректоры**  
*Н. Кузнецова, И. Сахарук*

ЛР № 030129 от 02.10.91 г.  
Подписано в печать 26.03.96 г. Уч.-изд. л. 26,2.  
Цена 21 900 р.

Издательский центр «ТЕРРА».  
113184, Москва, Озерковская наб., 18/1, а/я 27.